

Н О В Ы Й
М И Р

6

1957

6

Н О В Ы Й
М И Р

1957

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIII

№ 6

Июнь, 1957 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
НА СОРОКОВОМ ГОДУ. ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВЛАДИМИР КУРОЧКИН — <i>Снова в Сормове</i>	3
ИЗ СТИХОВ ПОЭТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ	26
Алим Кешоков. <i>Мой край. Мама. Девочка с косичками. Улыбка.</i> — Кайсын Кулиев. <i>Россия. В землях многих как друг я, скитаясь, был...</i> Журавли. <i>Горная баллада.</i> — Зубер Тхагазитов. <i>Сердце.</i> — Хабас Шогенов. <i>Ошхамахо.</i> Перевели Я. Козловский, С. Липкин, Вера Звягинцева, Николай Тихонов, Е. Елисеев, Н. Коржавин, Дм. Голубков.	
СЕРГЕЙ СНЕГОВ — <i>В полярной ночи</i> , роман. Продолжение	34
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ — <i>Мои реки</i> , стихи	104
ВАДИМ ШЕФНЕР — <i>Стихи о Васильевском острове</i>	105
ЛЕВ ЯШИН — <i>О любви к Родине</i> , стихи	108
М. РЫЛЬСКИЙ — <i>Черемуха после дождя</i> , стихи. Перевел с украинского Бор. Ирнин.	109
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
С. МАРШАК — <i>Из Роберта Браунинга. Из Гейне</i>	110
С. ЗАЛЫГИН — <i>В стране наших друзей. Окончание</i>	122
СОРОК ЛЕТ НАЗАД. ИЮНЬ, 1917 год...	161
С. ШУЛЬГА — <i>«Есть такая партия!»</i>	
Я. РУДНИК — <i>Слышны раскаты Октября</i>	
М. СУЛИМОВА — <i>«Это будет последний и решительный бой»</i>	
К. ЛИХАЧЕВ — <i>Карпаты. Фронт</i>	
ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕХ ДНЕЙ	
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
МАТВЕЙ ФРОЛОВ — <i>Ленинградцы</i>	191
МАТЭ ЗАЛКА — <i>ГЕНЕРАЛ ЛУКАЧ</i>	209
М. Залка. <i>Новогоднее слово. Челюскинская эпопея как литературная тема.</i> — Алексей Эйсер. <i>Смерть генерала Лукача.</i>	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ОЗЕРОВ — Красота нового человека	222
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	244
Александр Ивич. Портрет планеты. — В. Сквозников. Очки против солнца. — В. Тимофеева. Книга о жизни и творчестве поэта. — Л. Лазарев. Живой опыт литературы. — Н. Кузьмин. Древнерусское искусство.	
<i>Политика и наука</i>	257
Доктор исторических наук профессор М. Ветошкин. Воспоминания выдающегося революционера. — Инженер В. Левачев. На стальных магистралях. — Академик М. Лаврентьев. Мемуары большого ученого. — Сергей Марков. Исследователь Русской Америки. — Л. Василевский. Современные проблемы астронавтики. — Т. Лильни. Читая Курта Типпельскирха... — Адмирал Л. Владимирский. Уроки войны на Тихом океане.	
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	272
Вл. Лидин. Наедине с книгами	
РЕПЛИКИ	277
В. Марецкая, народная артистка СССР. Красивое, недорогое — в быт. — А. Наркевич. Забытые имена. — С. Хмельницкий, архитектор. Кому это нужно?	
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	280
Борис Лавренев. Кровосмешение на Олимпе. — Александр Лацис. На букву «Ф». — А. И. Скользкие места. — Е. Сашенков. Впервые ли?.. — А. М. Небывалая царица. — П. С. Воскресший из мертвых,	
КОРОТКО О КНИГАХ	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

НА СОРОКОВОМ ГОДУ

Очерки новых дней

ВЛАДИМИР КУРОЧКИН

★

СНОВА В СОРМОВЕ

Город и завод

Было так: в поезде, километров за тридцать от Горького, заспанные пассажиры в пижамах, с полотенцами и мыльницами в руках еще лишь выстраивались к умывальникам, а на шоссе у Сормова уже гудели разноголосые толпы народа. Празднично одетые люди, свежие, веселые, но и не теряющие своей рабочей степенности, собирались группками, цехами, отделами, неторопливо становились в свои ряды.

За окнами поезда белоногая рощица стояла по колена в полой воде. Казалось, что березы, спасаясь от весеннего разлива, стараются повыше поднять свои новые нежно-зеленые юбки, освещаемые сбоку лучами утреннего раннего солнца. А на шоссе то же солнце радостно погружало свои лучи в буйное кипение бело-розовых цветов, которые чудесным образом за каких-нибудь полчаса распустились в руках молодежи на всем протяжении от Сормова до Горького. Здесь много заводов, и каждый выводил свои колонны к шоссе, выстраивал, ровнял, чтобы идти в Канавино к праздничным трибунам на площади перед Московским вокзалом...

Чудесно подъезжать в такой праздничный час к городу! Мне посчастливилось в то утро увидеть рождение первомайской демонстрации, вернее, только лишь одной ее части — колонны сормовичей.

...Бывают города, одно имя которых уже откликается в наших сердцах теплым, благодарным чувством. Таково Сормово. Впрочем, тут следует оговориться: громада города Горького уже давно дотянулась своими окраинами до Сормова, превратив его лишь в свой городской район. Однако это несколько не отняло у маленького промышленного волжского городка его своеобразной прелести, его самобытности. Как и раньше, здесь много одноэтажных крепких домов, окруженных палисадничками, в которых любят покопаться после дневной смены отцы семейств. И хотя здесь так же охотно, как и везде у нас, реконструируют и заливают асфальтом улицы, строят многоэтажные жилые дома, внушительные общественные здания, все же не блекнет индивидуальность этого столетнего городка, с которым связаны биографии замечательных русских заводских умельцев. Приятна здешняя городская тишина, нарушаемая в определенные часы заводскими гудками, но все-таки создающая подобие сельского покоя. Забавно и немного трогательно бывает вдруг на оживленной центральной улице Сормова, по которой мчатся современные краснобокие автобусы, увидеть белоснежное стадо гусей во главе с красноклювым сердитым гусакom.

Таково Сормово, прославленное своим неповторимым судостроительным заводом. Моряки хвалят высокое качество нефтяных танкеров,

пассажиры наслаждаются отдыхом, путешествуя на теплоходах и дизель-электроходах, созданных сормовичами. Ну, а кто же не знает сормовских емких, быстрых на плаву самоходных барж, так называемых сухогрузов — отличных судов для перевозки товаров, машин и зерна!

Я не знаю, может быть, у каждого есть такой город, в который он накрепко влюбился, — я хочу в это верить. Что же касается меня, то мои симпатии целиком принадлежат удивительному городку на Волге. Ему придает свое очарование самая эта великая река, могуче катящая неиссякаемые воды мимо берега, по которому языками спускаются застроенные улицы, мимо завода с его затонами, забитыми спущенными со стапелей свежеекрашенными судами.

Ему придает особое очарование и та романтическая светлая дымка революционного прошлого нашей страны, прошлого, от которого неотделимо «Красное Сормово». Кто из нас, обратившись к истории, не вспомнит, что и сорок лет назад, в канун Великой пролетарской революции семнадцатого года, и много раньше — в 1905-м, и еще раньше — в 1902 году, сормовичи принимали живейшее участие в революционной борьбе против капиталистического строя! Кто не вспомнит «Мать» М. Горького, книгу, в которой нашла отражение одна из первых в России политических демонстраций рабочего класса! Ведь мать и сын Власовы — тоже сормовичи!

Здесь самые дома и улицы — свидетели борьбы, классовой солидарности местного пролетариата, рождения лучших его революционных качеств, непреклонности, воли к победе и особой, рабочей гордости, гордости людей, создающих своими руками материальные ценности.

Вот улица Свободы с ее домами, на деревянных резных фронтонах которой прочтешь такие даты: «1875 года», «1887», «1905»... Вот улица Баррикад. Тут перед самым входом в заводоуправление стоит небольшой двухэтажный домик с потемневшей надписью: «1896 года». Дом, несомненно, видел, как шли к начальству, к заводским властям делегации бастующих рабочих. Или знаменитый дом Плесковых на улице Коминтерна! В нем перевязывали раненых рабочих во время революционных событий.

И, наконец, вполне современное огромное здание сормовского Дворца культуры. На его месте ведь когда-то были болото и роща, в которой сормовичи проводили свои первые маевки. Это ли не яркий образ, самая наглядная история города и завода, выросших в труде и революционной борьбе!

Я познакомился на первомайской демонстрации со старым сормовичом Павлом Алексеевичем Баландиным. Ему шестьдесят лет, но у него еще черные блестящие волосы, крепкие зубы, ясные, светлые глаза. Сейчас он пенсионер, однако пришел к своим товарищам-мартеновцам, чтобы проделать весь путь от Сормова до Канавина. Как же иначе? Он ходил этим путем два раза в год вместе со всем заводом уже не один десяток лет!

Даже кажется, что Павел Алексеевич помолодел в этот весенний солнечный денек. Он много курит, перекидывается шутками со знакомыми. Глаза его поблескивают, и расходятся лучиками морщины на висках от довольной улыбки после сказанного острого словца.

Есть такая потребность у каждого советского человека, и особенно отчетливая, пожалуй, у рабочих, — видеть свою реальную силу на людях, в коллективе, когда воочию убеждаешься в содружестве тружеников, общности чувств, схожести интересов.

И нигде, конечно, так отчетливо, так впечатляюще не проявляются мощь рабочего класса, его гордость своими достижениями, как на праздничной демонстрации. Вот движется колонна, впереди плывут гордые

слова: «Красное Сормово». Видны изображения двух орденов Ленина, ордена Отечественной войны первой степени, ордена Трудового Красного Знамени, которыми был награжден завод за сорок лет существования Советской власти.

...Сюда, в «Красное Сормово», понятно, и потянуло меня, когда захотелось узнать и рассказать о новых чертах молодого поколения рабочего класса. Когда, как не сейчас, в преддверии сороковой годовщины Октябрьской революции, задуматься об этом? Где еще, как не в Сормове, искать для этого материал? И вот уже — в который раз за эти годы! — поезд подъезжает к Сормову.

Я всматриваюсь в демонстрацию. На красочных транспарантах, плакатах, в макетах представлены все те трудовые достижения, за которые имя завода известно всей стране. Дух захватывает!

Да, гордость рабочего класса Советского Союза — это не что-то литературно-условное, не только слова, произносимые в торжественных случаях. Это — живое, горячее чувство, волнение до слез у тех, кто еще помнит прошлое, когда на заводах царской России культивировался «дух приниженности и раболепия». Мне рассказывал Павел Алексеевич, как ему — завальщику в то время — даже к «форточке» мартена не разрешал подходить сталевар. Он боялся каждого смекалистого паренька — работу отобьет. И хозяину нужны были именно эти качества работающих у него людей: покорность, зависть, недоверие. Ему была страшна даже мысль о демонстрации — праздничной солидарности и гордости рабочих.

Однако в наши дни гордость рабочего класса — это не только чувство торжества и ощущение своей победы над классовым врагом. Это действительная сила для воспитания молодых рабочих, сотворения в полном смысле этого слова н о в о г о человека, когда наравне со знаниями и трудовыми навыками какому-нибудь взбалмошному, неустойчивому в своих поступках пареньку прививают, усиливают в нем, очищают от всего наносного лучшие человеческие качества; готовят его не только к труду, но и к совершению благородных поступков, которые в социалистическом обществе составляют главную ценность гражданского поведения.

Я не впервые в Сормове и уже не раз убеждался в силе того оружия морального воздействия на души молодых, которое вручили Советская власть и Коммунистическая партия старшему поколению рабочего класса.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы все всегда выходило гладко. Я вспоминаю, как одиннадцать лет назад в кабинете директора Сормовской школы ФЗО № 15 стояли четыре молодчика, возраст которых в сумме не превышал шестидесяти лет. И как же далеко им было еще до мудрости и зрелого понимания сложных законов жизни! Уныло смотрели они поверх головы директора, получая каждый свою порцию упреков и наставлений. Разговор шел о самовольной отлучке одного из них, о дохлой крысе, запущенной через всю столовую, и о всяких других неприглядных вещах.

С нагоняем было покончено, и провинившиеся, шмыгнув носами, смиренно двинулись к двери. Не прошло и минуты, как на лестнице раздались страшный топот, свистки и крики, донеслось снизу громовое хлопанье наружной двери. Так высвобождалась энергия, стиснутая было стенами небольшого кабинета. Директор слабо улыбнулся. И я его понимал. Трудно, очень трудно было представить кого-либо из четверки, допустим, в должности подручного сталевара на большом заводе.

Нелегкое было тогда и время — 1946 год. Только что закончилась война, неустройство и разруха давали еще о себе знать на каждом шагу. Мастера производственного обучения выезжали из школы ФЗО в районы, вербовали учеников, рассказывали подросткам о труде на заводе, уговаривали. А когда привозили в город, то главной заботой каждого мастера

было смотреть в оба глаза: как бы не удрали ученики обратно к материнской юбке.

И некоторые бегали. Их уговаривали, они возвращались, их учили, учили не только труду, но и жизни.

Этот терпеливый подвиг взрослых, эти ломкие трудные судьбы ребят и заставили меня тогда взяться за повесть о подростках, осваивающих сложную профессию сталеварения. Бригадой смысленных захотелось мне назвать всю эту компанию в форменных ученических одеждах, шумливо, озорно выстраивающуюся в шеренги, с показной степенностью вышагивающую перед начальством и с искренней радостью отдающуюся труду в тех случаях, когда приходило подлинное увлечение. Так я и назвал повесть: «Бригада смысленных».

Многие читатели, присылая свои отзывы о прочитанной книге, нередко спрашивали, существуют ли мои герои, как живут в настоящее время, где работают.

Что может ответить автор в таких случаях? Прежде всего он должен признаться, что воспользовался вымышленными именами и фамилиями, что изменил многое в облике своих героев и в характерах также что-то добавил, усилил, а что-то и убрал, пригушил, примериваясь к тому, что уже родилось, крепло, складываясь в повесть.

Ну, а живы ли те, кто в какой-то степени послужил натурой для литературных героев и кем они стали сегодня? Кем стали за это время, например, те из бригады смысленных ребят, кто задержался, осел в Сормове? Моя новая поездка осенью прошлого года и должна была дать ответ на эти вопросы.

Но получилось так, что за этой поездкой последовала еще одна и еще одна, да и материал, собранный в этих поездках, оказался шире первоначальной темы. Задумал написать о судьбах моих давних знакомцев — бывших учеников ФЗО, хотел как бы ответить на письма читателей, а получается очерк о рабочих-сормовичах нынешнего, сорокового года.

И вот я, прежде чем попасть на завод, снова нахожусь у директора Сормовской школы ФЗО. И опять я вижу одного из строптивых и трудных молодых посетителей этой комнаты. Он вылетает в коридор с пылающим лицом и дрожащими губами. А в кабинете остается его мать. Она пришла хлопотать о приеме сына в школу.

Женщина эта была когда-то красивой, это бесспорно, еще и сейчас влажно светились ее голубые глаза, молод был блеск каштановых волос, за которыми, видимо, не переставали ухаживать. Но уже осень была видна в сетке морщинок, плотно легших на лицо, в скорбно опущенных уголках рта, как бы ни старались губы изредка улыбаться.

Все было ясно с первых же услышанных мною слов. Муж-партизан убит. Сын ее то учился в средней школе, то бросал, связался с дурными товарищами, попал в одну неприятную историю... Как она хочет, чтобы он стал человеком, полезным, трудовым человеком!

— Примите его.

— Но все уже укомплектовано. Поздно. В этом году был очень большой наплыв.

— Я опоздала из-за переезда. Я бросила все и приехала сюда, в город, где когда-то училась. Я пошла на все, чтобы оторвать сына от этих... от его друзей...

— Но он может и тут опять отыскать подходящих... Он пьет вино?

— Да, было... Бывало... С этого началось...

Директор молчит, он знает, чем грозит коллективу учеников сын этой женщины, какая таится в таком пареньке опасность.

— Примите его. Вы видели, как он выскочил отсюда, когда я не удержалась и заплакала. Вы же слышали, как он крикнул: «Не унижайся, мама!» Мама! Значит, он не окончательно еще...

— Нет, это не значит, что его не потянет опять.

— Если вы его не примете, он очерствеет совсем, он пойдет на все, он будет мстить...

— Кому же?

— Да, может быть, одной мне! Только мне одной. За то, что я не смогла... Была бессильна, не умела.. Все время одна... Разве может человек все время один?..

И директор принял парнишку сверх всяких норм. Это был долг коммуниста — взять на себя ответственность за судьбу сбившегося с пути подростка, помочь одинокой женщине в ее нелегкой, пока что безуспешной борьбе за сына.

Я, невольно ставший свидетелем этой сцены, подумал: «Теперь будем ждать. Началась та сложная, трудная, важная и бесконечно благородная работа, которую с успехом можно назвать искусством сотворения рабочего человека».

И тем более мне захотелось как можно скорее попасть на завод, чтобы убедиться в силе советской системы воспитания рабочей молодежи.

...Еще содрогается по-утреннему свежий и пахнущий первым морозцем воздух от басовитого заводского гудка, а поток людей уже течет через проходную. Бесперывно крутятся, лязгают металлические, до блеска натертые одежками крылья вертушек, пропуская все новых и новых рабочих.

Я стою и жадно ловлю в текущей, перемежающейся толпе заслоняющие друг друга лица, стараюсь угадать тех, кого можно было называть когда-то запросто Алехой, Колей, Ванюшкой, Леней и другими мальчишескими именами.

Где же вы, мои старые знакомцы?

Ваня

Человек, которого я позволю себе разочек так назвать на правах старого знакомства, — не подросток, не юноша. Это всеми уважаемый кадровый работник завода Иван Михайлович Черников, плавильный мастер новомартеновского цеха. Но он-то как раз и принадлежит к числу тех, кто носился в свое время по двору школы ФЗО № 15, участвовал в первых проказах и первых опытах труда того выпуска, который мне особенно дорог и памятен. Что и говорить, трудно представить себе Ивана Михайловича в роли провинившегося подростка в кабинете директора или вообразить его верхом на товарище перед фронтом мартеновских печей. Нет, невозможно! И все же далекое теплое дыхание старого, пережитого касается лица (может быть, жаркие мартены виноваты, близ которых мы стоим), и до меня будто долетает издалека: «Эй, Ванька, Ванюха, влепи ему, дай, дай ему «разá!» И целая ватага дерущихся мальчишек вываливается из дверей учебной комнаты в коридор школы...

И в прищуре серых с желтинкой глаз самого Ивана Михайловича, мне кажется, тоже мелькает что-то лукавое, озорное, точно и ему приходит на память нечто подобное. Но нет, это только так кажется. Плавильный мастер солидно знакомится наново:

— Иван Михайлович Черников.

Мы находимся в новомартеновском цехе, где Иван Михайлович только что принял смену. От проходных ворот завода мы добрались почти одновременно, и на лице плавильного мастера еще сохраняется свежесть ясного утра, которая пропитала кожу щек и тщательно пробритого подборка с ямочкой. Мастер от дома к заводу всегда ходит пешком.

— Ну, как вы находите, изменился цех с тех пор? — спрашивает Черников. И я улавливаю в его голосе самолюбивые нотки местного патриота,

коренного, или, как мне тут часто приходилось слышать, «дородного», сормовича (Иван Михайлович женился на местной девушке, и его сыну уже шесть лет).

Изменился ли цех?

Правда, я не увидел пока ничего похожего на те феерические изменения, которые, по словам некоторых мечтателей, вот-вот перевернут самое наше представление о горячих цехах. Ни кафеля и сплошного стекла, ни ослепительно белых стен, ни тишины, похожей на безмолвие автоматических электростанций. Нет, по-старому глаз натыкался на прокопченные от гудящего дыхания расплавленной стали потолки и стены, по-прежнему была утомительна для непосвященного человека сумятица шихтового пролета (кучи доломита, груды железного лома, штабеля чугуновых чушек, стружка всех видов — и прессованная в пакеты и так просто, в виде металлических кудрявых клубков). Все так же мрачным чадом подернут был литейный зал; и, как огненные солдаты, стояли строем на канавах освобожденные от изложниц остывающие слитки.

Но я заметил и другое. Свободнее, например, было на площадках перед мартенами, не чувствовалось больше прежней толкотни — значит, меньше стало тут народу, сократились работы вручную. Я помню, какая это была эффектная картина, когда подручные сталевара начинали «скачивать» из печи шлак, какая поднималась суетня! Появлялись подтаскиваемые краном железные короба, и люди с помощью длинных гребков (по двое на каждый) гнали за порог огненную пену.

Теперь уже, увы, не было той «красоты», на описание которой в повести у меня ушло немало страниц. Все происходило и быстрее и будничнее: шлак, когда надо, просто выливался через порог среднего окна печи вниз, под стальные плиты площадки, в специальную шлаковню.

Поразили меня и самые печи. Словно бы и те и не те. Так поражает иногда возмужавший человек, которого когда-то приходилось видеть юношей. И ума прибавляется, и мускулов, и морщин! Так и тут: печи, может быть, и не выросли по своим размерам, но как-то стали мощнее, словно бы и осанка их изменилась, сделалась солиднее — та осанка, которая у любого технического сооружения целиком зависит от всевозможных приспособлений. По бокам каждого из мартенов видны были металлические длинные ящики со стеклянными иллюминаторами приборов — будто поставленные на по́а пульты. Мигающие стрелки приборов как нельзя лучше говорили о «здоровье» печей, реагировали на любое изменение их мощного жаркого дыхания. В этих ящиках был упрятан мозг мартеновских печей — автоматика.

Я особенно долго стоял у «десятки» — и неспроста. Мартеновская печь № 10 вызывала у меня особые воспоминания, так как все свои действия моя бригада смысленных фезеошников производила когда-то именно у этой печи.

Память услужливо преподносит мне одну цифру: 50 тонн стали. Это был предел того, что могла дать раньше «десятка» за плавку. И то тогда гордились этой цифрой, она была по душе всем, начиная от начальника цеха и кончая еще не оперившимся подручным. Но появились на этой печи водоиспарительное охлаждение, оборудование под кислородное дутье, установили хромомagneзитовый термостойкий свод, переоборудовали под печи... И вот с этой же самой печи вместо пятидесяти — целых девяносто тонн за плавку!

— Но как же вы разливаете эту сталь? Ведь у вас пятидесятитонные ковши, я помню.

— Приловчились, в два ковша. Вот сварим — покажем.

Трудно говорить с плавильным мастером, его все время отрывают дела. И они нешуточные, хотя и идет самый обыкновенный, будничный день.

Я записываю в свой блокнот: «Раньше цех давал в месяц только четыре тысячи тонн стали, а сейчас — до двенадцати тысяч».

— Вот именно! — поддакивает Иван Михайлович, заглядывая в листок таким знакомым мальчишеским, любопытствующим движением, что на миг перестает быть суровым плавильным мастером; но затем это уже снова хозяин смены, человек, отвечающий за печи, за работу сталеваров, за качество выдаваемого металла. Он говорит сердито: — И еще бы больше давали, да снабжение, случается, подводит. Вот, например, сегодня... Не хватает у меня железного лома.

Это он произносит уже на ходу, так как сталевар «десятки» издали зовет его, размахивая большой брезентовой рукавицей.

Я остаюсь и записываю нечто сухое и, казалось бы, малоговорящее о человеческих чувствах и характерах. Я фиксирую: «Была одна завалочная машина, стало две. Было пять разливных ковшей, стало семь. На канавах был один кран в 75 тонн, стало два. На шихтовом дворе было два крана, стало четыре...» Я записываю эту «скуку» с особенным удовольствием: нет ничего приятнее этого ощущения обеспеченности и богатства!

Беседовать с плавильным мастером все время приходится урывками. То печь неправильно «пошла», и сталевар, беспокоясь за судьбу плавки, решил посоветоваться, получить указание. То нужно бежать в контору и, плотно засев у телефона, выяснять, пришла ли наконец «казна» (казенные, то есть не заводские, железнодорожные платформы с металлическим ломом, столь необходимым для прожорливых глоток мартенов), требовать, доказывать, уговаривать, торопить. То требуется отпустить двух парней в военкомат и надо срочно, на ходу так переставить людей, чтобы работа не пострадала... Я хожу по пятам за Иваном Михайловичем, слушаю его разговоры с людьми, вглядываюсь в его лицо, стремясь угадать, как приходило к нему не только мастерство сталеплавильщика и новые технические знания, но и опыт руководителя, как мужал он за эти годы, каким образом получился из подростка-голубятника этот волевой и, я бы даже сказал, жестковатый командир производства.

Только что выпущена плавка, пора загружать печь. Бригадир печи выжидательно смотрит на Ивана Михайловича. Он знает, что у мастера есть еще запас лома, хотя и небольшой. Машинист завалочной машины тоже ждет распоряжений. Но у мастера свои расчеты, у него не одна печь. Через полчаса — час даст плавку «десятка», самая мощная в цехе. Если загрузить сейчас полностью малую печь, то не хватит шихты на большую. Решение приходит сразу — надо уметь жертвовать малым ради большого. В таком случае важен маневр.

— Получишь несколько мульд. Завалишь подину частью шихты, — говорит отрывисто Иван Михайлович бригадиру, — а остальное будешь ждать на малом газу.

— Да как так! — У бригадира пресекается дыхание. Хотя он отлично знает положение с ломом, но своя рубашка ближе к телу. — Да как же так, Иван Михайлович, что же мы загорать, выходит, должны? Люди-то страдают... Нет, это дело так не пойдет!

— Пойдет, — сухо говорит мастер. Светло-серые с желтинкой, цвета речной воды глаза Ивана Михайловича властно смотрят на бригадира. «Люди страдают», — только что он сам бросил эту фразу в разговоре с дежурным по заводу, добиваясь своего, зубами выдирая нужный ему лом. Но здесь он должен быть непреклонен. — Подождете. Как только «десятку» завалим, весь остаток — вам.

— Но ведь это же злостное нарушение графика! Недаром говорят, что вам на все правила и графики плевать. — Бригадир готов сейчас на всякие преувеличения, нет для него врага лютее Ивана Михайловича. —

Сами на собраниях разоряемся, а сами нарушаем. Так? С какой же это стати моя бригада должна за всех отдуваться? Я этого так не оставляю...

— Ну все. — Иван Михайлович отошел.

Но когда я нагнал его, он сказал даже не мне, а как бы себе самому:

— Пойду все же пробьюсь сейчас к начальнику производства. Надо же кончать, наконец, с этим... — Он сжал зубы. Лицо его теряло утреннюю свежесть, оно точно каменело постепенно, и тусклым уже был блеск бритого подбородка. А впереди еще добрая половина трудового дня.

В тот момент я еще не очень многое знал об Иване Михайловиче, не разговаривал о нем с людьми, работающими в цехе. Это уже много позднее ко мне по кусочкам, по клочкам отовсюду сходились сведения, и я узнавал, что Черников смел в работе и, пожалуй, даже немного «рисковый», что умеет преодолевать трудности. Мне стало также известно, что он обладает, мягко выражаясь, «жилкой свободной воли», иными словами, не считается иногда с установленными правилами, ждет решения чаще всего только от самого себя, не пугаясь ответственности. Так постепенно до меня доходил смысл этого сурового деятельного характера.

У меня с Иваном Михайловичем были встречи и вне мартеновского цеха. Мы толковали и не на производственные темы — скажем, о капусте и помидорах, собранных на его огороде. Мастер вспоминал о прошлом, когда он мальчишкой в деревне Лимовое, на Орловщине, прятался в погребке от фашистских солдат, вместе с другими ребятами ждал прихода партизан, среди которых был и его отец. Да мало ли о чем можно поговорить: о семье, об учебе, о театре... И все же самым большим удовольствием для меня было видеть Ивана Михайловича на производстве, в цехе. Там он раскрывался как-то полнее, шире, при всей своей сдержанности и немногословии. Я угадывал талант этого человека — не плясать, не балагурить, не блистать в компании остроумием, а работать. Работать так, что становится ясно: это не пришло извне, а воспитано, накоплено здесь, в самом цехе, рождено непосредственно у печей, по соседству с этой кипящей сталью.

...И вот снова молодецзатое, звучащее заводскими гудками трудовое утро Сормова, снова мы с Иваном Михайловичем встречаемся на площадке перед закипающими огненной яростью мартенами. Длинные прозрачные факелы желтовато-белого пламени вылетают из круглых смотровых окошек. В дрожавшем венце оранжево-розовых языков кажутся раскаленными огнеупорные крышки, прикрывающие квадратные зевы печей. И невольно думаешь, что нет более впечатляющего, более мощного зрелища, чем работающий в полную свою огненную силу мартен в момент наивысшего теплового режима, когда совершается таинство рождения одного из крепчайших металлов — стали. Я делюсь с плавильным мастером своей восторженностью. И вижу, что это невопад: мастер хмурится. Черт возьми, ну а сам-то он разве не влюблен в эти печи?

— Влюблен-то я влюблен, все мы влюблены, — говорит каким-то загадочным тоном Иван Михайлович и не выдерживает, улыбается. Ему доставляет удовольствие спустить меня с поэтических высот на грешную землю. — Мощь! Нанвысший тепловой режим! Все ведь это понятия весьма относительные. Тут надо построже смотреть. У нас, например, один тепловой режим, а на московском «Серпе и молоте» — другой. Горячее ведут.

— Вы были в Москве?

Да, он был у сталеваров «Серпа и молота». И вот что выясняется. Москвичи больше дают металла на печах той же конструкции. На московском заводе придерживаются мнения, что экономически выгоднее давать максимальное количество тепла в мартены, не считаясь с расходом мазута, подходя близко к тому тепловому пределу, который уже опасен для

свода. Иван Михайлович собственными глазами видел, как на одной из московских печей подгорал огнестойкий свод. Он даже ахнул, внутренне содрогаясь. Ведь на «Красном Сормове» за подобное явление и сталевар и плавильный мастер сразу бы получили хороший нагоняй. Их только и предупреждают: «Смотрите в оба за сводом!» А вот московским сталеварам хоть бы что, знай себе дают температуру! Как же тут не подивиться и не задуматься!..

— Ну ясно: пуганая ворона и куста боится! — усмехнувшись, говорит мастер. — Я вернулся сюда и ставил вопрос, другие товарищи, побывавшие со мной, — тоже. Нас ведь за живое берет. Но отклика пока не нашли. Нам говорят: «Это еще неизвестно, что выгоднее. Надо экономически оценить...» А что уж тут оценивать, если в Москве за одну кампанию свод сто двадцать плавок выдерживает, у нас то же, а металла даем меньше. Нет, так оставить этого нельзя!..

Есть, очевидно, и другие взгляды на этот вопрос. Но хорош был в эту минуту Иван Михайлович, когда уверенно, по-хозяйски рассуждал о серьезном заводском деле, высказывая твердое мнение и готовность к борьбе.

Рос цех, рос и заводской человек — Иван Михайлович. Был подручным сталевара, затем сталеваром, хозяином печи, и вот стал мастером, руководителем сталеваров, хозяином большого миллионного дела. Он умеет думать и за себя и за других, умеет решать и держать ответ за свои решения. Этому не учат в вузах, это приходит в кипении самой жизни. Иван Михайлович в цех, как говорится, не с неба свалился — руководитель вырос снизу. Его начало — школа ФЗО, затем бригада на заводе. Воспитывали, подготавливали Трудовые резервы, а окончательно «сделал» завод. Зрелости его решений могут позавидовать некоторые молодые инженеры, пришедшие в цех только что из вуза. Они ведь к Ивану Михайловичу к первому же и обратятся за советом, за решительным словом. Производство воспитывает волю, формирует характер, накладывая на него неизгладимый отпечаток, и молодым инженерам предстоит еще пройти эти университеты...

В один из последних дней моего пребывания на заводе мне с восторгом пересказывал паренек, молодой подручный сталевара, один эпизод, о котором Иван Михайлович в разговорах со мной не упоминал никогда.

Дело было так. Только что заступили на вахту. Металл в печи был уже перед концом плавления. Вдруг все увидели — сталевар заметался. Жутко стало с непривычки новичку: что случилось? «У нас простенок работает!» — это были страшные слова не только для тех, кому впервые приходилось присутствовать при аварии. Оказалось, что предыдущая смена плохо заправила переднюю стенку печи и оставила «козелка» — горстку металла, которая, нагревшись, стала бурлить и вымывать доломитовую броню стены. Понятно было волнение сталевара. Хромистую руду, которой пытались забросать опасное место, мгновенно выкидывало обратно. Язык металла приближался к раме окна. Еще минута-другая, и металл доберется до рамы, в которой циркулирует вода, произойдет взрыв, разрушение печи...

Сталевар уже кинулся останавливать печь, когда появился мастер. Иван Михайлович подошел быстро, но спокойно, ничем не показывая, что дело опасное. Секунду он смотрел сквозь синее стекло на маленький бурлящий гейзер металла и отстранил рукой сталевара. Печь не остановили. Мастер распорядился выключить только охлаждение одной рамы. Он рискнул. Металл проел раму, но воду не нашел, взрыва не было.

Оттеснив меня к решетчатой галерее шихтового пролета, подручный сталевара, жарко дыша, приблизив лицо, торопился закончить рассказ; голос его иногда прерывался — не хватало красок и слов, и тогда он только схватывал пятерней воздух, сжимал кулак и этим порывистым

движением как бы хотел показать, какой умелый человек мастер Черников, какой он замечательный командир.

— Есть же люди, — сказал он под конец, — право, даже и не поймешь... Родится, что ли, человек таким?

Трудно было не улыбнуться, слушая эти наивные слова паренька, который вдруг чем-то, не то сдвинутой набок кепкой, не то жестом, напомнил мне мальчишку Ваню Черникова.

Леня

— Сейчас на канавы? — киваю я на пенящийся золотым шлаком ковш.

— Нет, на машину, — отвечает Черников, — на УНРС. Но только вам об этом расскажет Леонид Гвоздев. Он это знает лучше. Он, кстати, тоже бывший ученик ФЗО.

Леонид Максимович Гвоздев, второй плавильный мастер новомартеновского цеха, невысок и даже хрупковат с виду. У него голубоватые, несколько блеклые небольшие глаза, тонкий нос, плотно сжатые с властным рисунком губы самолюбивого человека. Высокий с залысынами лоб он прячет под кепочкой, чуть сбитой набок.

Он коротко рассказывает о себе. Да, учился в школе ФЗО № 15 вместе с Иваном Черниковым. И обоих выпустили по пятому разряду, но плавильным мастером он стал раньше Черникова года на два. В 1955 году был назначен мастером на машину непрерывной разливки стали.

«Вот это-то как раз мне и надо», — думаю я, с любопытством разглядывая человека, который не понаслышке знает об этой одной из первых в Советском Союзе установок непрерывной разливки стали, а лично участвует в работе агрегата УНРС. Вот что означают эти буквы.

Способ получения стальных слитков из горячего металла в течение долгого времени оставался неизменным — лили металл в литые изложницы. Подготовка изложниц и сам сложный процесс розлива жидкого металла требовали большого труда, внимания; остывала сталь в изложницах чрезвычайно медленно. Все это долгие десятилетия казалось неизбежным, неотвратимым. Утверждать, что жидкая, еще кипящая сталь без всяких чугунных изложниц, а так просто, почти на глазах, будет густеть, покрываться яркой, светящейся, но все же твердой коркой и сказочно вытягиваться в длинный прямоугольный нескончаемый сляб, — утверждать так вчера мог бы лишь неисправимый фантазер.

А между тем вот оно перед нами это чудо: по высоте — трехэтажное здание. Но его не сразу и заметишь в цехе, оно уходит вниз, под стальные плиты площадки, зарывается глубоко в землю. И молодой мастер, бывший еще сравнительно недавно учеником школы ФЗО, неприметным хрупким подростком, терявшимся среди товарищей, вовсе не благоговеет и даже довольно хладнокровно делает замечания о некоторых несовершенствах установки.

— Штука хорошая, слов нет. У нас раньше канавы всё тормозили. Зашивались мы. А теперь дышать свободнее стало. — Он говорит быстро и как-то буднично. — Установка эта нас сильно выручила. А главное, дисциплинировала, повысила качество плавок. Впрочем, штука эта довольно капризная. Внутренние трещины в слитках бывают. Еще кое-какие дефекты. Но вещь в общем-то удобная...

Можно ли упрекать мастера Гвоздева за снисходительный тон по отношению к новой, прекрасной технике? Для него, начинавшего после ФЗО трудовую жизнь со второго подручного сталевара, поднимавшегося к мастерству по всей лестнице так называемой рабочей сетки, «штука», или, как он ее охарактеризовал, «удобная вещь», была действительно явлением простым, обыденным, которое, может быть, даже несколько запоздало.

Но оно не могло не совершиться. Для чего же тогда существует Советская власть!

В спортивной вельветовой курточке с застежкой-молнией у ворота и нагрудных карманов, нервно подвижной, мастер Гвоздев энергично двигался по площадке. Мы, собственно, стояли на крыше трехэтажного здания. Под ногами у нас был целый маленький завод, способный выпекать, как хлеба, пепельно-серые плоские прямоугольные слитки, которые железнодорожные платформы вывозили отсюда к станам прокатного цеха. Впрочем, расскажу об этом по порядку.

Если читатель наблюдал, как у края крыши на глазах вырастают сосульки, то он поймет, каким образом растет вниз, все удлиняясь и удлиняясь по мере остывания и затвердевания, стальной слиток. Разница только в том, что сосулька капля за каплей наращивается с нижнего ее конца, а стальной слиток намораживается сверху. Да, да, именно намораживается!

По знаку мастера массивный крюк мостового крана поднес к площадке разливочный ковш, до краев налитый расплавленным металлом. Сверху сталь, чтобы не остывала раньше времени, прикрыта, конечно, слоем шлака, как шубой. Шлак золотится и багровеет, скрывая живой слепящий свет металла. Сейчас он прольется.

Последний взгляд мастера на разливочное устройство — хорошо ли оно прогрето? Это низкий и широкий промежуточный ковш, похожий на чашу. В нем два отверстия для выпуска стали, так как установка непрерывной разливки имеет две секции, дающие сразу два слитка.

Внизу под ковшом расположены два невидимых нам кристаллизатора — две металлические прямоугольные формы без дна. Их гладкие, почти зеркальные стенки, позволяющие слиткам скользить вниз, омываются беспрерывно изнутри холодной водой. В этих формах, очень важных по своему назначению, и начинается процесс замораживания жидкого металла, процесс его кристаллизации. Здесь образуется первая тонкая корочка, которая все густеет и плотнеет, скользя вниз по гладким стенкам формы. Как чехлик, полный жидкого огня, сантиметр за сантиметром оплетаемый хрупкой корочкой, рождающийся слиток медленно ползет вниз. Я пытаюсь представить себе, как конец этой огромной огненной, если так можно выразиться, сосульки только что выскользнул из кристаллизатора и, ярко светя, как фонарь, повис над двумя этажами уходящего в землю сооружения. Слиток удлиняется на глазах. Но ведь это же надо видеть воочию!

— Скорее вниз! — Я беру мастера за локоть.

— Одну минуту, — говорит он. С того момента, как слепящий колеблющийся свет ожившей стали залил цех, мастер успел уже проверить пирометром температуру струи металла. Успел проконтролировать, как смазывают жидким парафином стенки кристаллизатора, чтобы слиток лучше скользил, не привариваясь к ним. А затем мастеру необходимо проконтролировать операторов, которые стоят у пультов и регулируют скорость движения слитков. Мастер повторяет мне: — Сейчас. Одну минуту.

Одна минута! Но ведь это же так много! За одну минуту огненная сосулька вырастает на девяносто сантиметров. Почти метр. Это наивысшая скорость движения валиков, тянущих слиток вниз. Правда, валики могут вращаться и совсем медленно, слиток в минуту будет вырастать только на двадцать сантиметров. Это в случае опасности, когда свежая корка, случайно пристык к одной из стенок формы, зависает, образуя разрыв в оболочке слитка. Об этом лишний раз и напоминает мастер дежурным операторам. Он и сам еще разок нагибается над верхней частью кристаллизаторов, чтобы убедиться, нет ли нарушений.

Но вот наконец-то наши каблуки гулко стучат по металлическим сту-

пенькам лестничных переходов, и мы оказываемся в машинном отделении. Вокруг внушительные двигатели, редукторы, всевозможные приспособления, передающие движение к валикам в тянущую клеть. Однако меня занимает пока что только одно: завораживающее, апельсинового цвета свечение в глубине помещения. Я протискиваюсь туда — понаблюдать хотя бы за одной из двух секций. Мне везет, я вижу еще нижний конец раскаленного слитка. Он вот-вот сейчас исчезнет из поля зрения, уйдет вниз, во второй этаж сооружения. Но пока что отлично виден металлический поддон, на котором и стоит слиток. Впрочем, это уже не слиток, а целая светящаяся колонна, пышущая жаром.

Слиток, можно сказать, уже достаточно возмужал, и все же невольно кажется: ткни его металлической пикой — и брызнет изнутри огненная струя жидкого металла, хитроумно закованного в цветную радужную оболочку.

Мастер, когда поддон исчез из виду, говорит весьма буднично:

— Ну, вот и все. Готово дело! Теперь если только в газорезку сходить, посмотреть, как разделяют на порции эту балду. — Он кивает на живую, переливающуюся огнями колонну раскаленного металла и, не удержавшись, хитро улыбается. — Оно с первого-то раза, я понимаю, завлекательно... Так к газорезчикам махнем, что ли?..

У газорезчиков, к которым мы спустились, уже шипели, работали необычайно внушительные кислородные горелки. Две светло-карминовые жаркие колонны прошивали теперь все сооружение сверху донизу. Здесь я видел их совершенно отчетливо, ничто не мешало мне рассматривать их ровные боковины, уходящие вверх, их плотные уже не жидкие сердцевинки, когда отрезанные кислородом слябы с глухим, но ощутимым стуком проваливались вниз.

Резка шла автоматически. Как только за стеклянной перегородкой проваливался под пол с тяжелым шумом очередной сляб, газовая горелка, к которой тянулись толстые гибкие шланги, начинала сама двигаться вверх. Ее тянула специальная штанга, соединенная с механизмом. Горелка поднималась вдоль раскаленной колонны металла до заданной высоты. Затем штанга останавливалась, и сразу же включалась горелка. Мощное пламя (кислород под давлением в 16 атмосфер и ацетилен) легко, с ходу, пробивало тридцатисантиметровую толщину слитка, острое жало горелки, двигаясь поперек слитка, резало многопудовую стальную отливку, как брусоч сыра.

Есть что-то колдовское в умных действиях совершенной техники, когда она, подчиняясь человеку, создает у всех на виду материальные ценности. Можно часами смотреть на работу какого-нибудь автомата, через каждую минуту выбрасывающего готовую деталь, следить за хитроумной сноровкой машины, завертывающей конфеты, наблюдать за упрямым и, казалось бы, нескончаемым движением ткацкого станка, прибывающего к опушке ткани все новые и новые нити...

Девяносто метров разрезанного на слябы металла! И без всяких излохниц, без длительной подготовки, без тяжелого ручного труда. Если несколько дней назад плавильный мастер Иван Михайлович спросил меня, как я нахожу, изменился ли цех за десять лет, и я немного замешкался, оценивая обстановку, то теперь могу сказать от души: «Изменился, друзья, сказочно изменился, так же как и вы сами».

Вот бы ахнул от удивления старый Бенардаки, бывший владелец скромного предприятия «Нижегородской фабрики буксирного пароходства», если бы каким-то чудом он очутился сейчас, сегодня в новом цехе и стоял бы, как карлик, перед этой махиной, не понимая ни ее назначения, ни смысла ее агрегатов, ослепленный свечением металла. Его ошеломило бы то, что кажется таким привычным Леониду Гвоздеву и его товарищам.

— Так пойдемте наверх, еще кое-что покажу!

И с живостью, в которой есть что-то мальчишеское, мастер Гвоздев уже готов был нырнуть вверх, не сомневаясь, видимо, что я от него не отстану. Но я придержал его за руку: достаточно, я уже досыта был «угощен» новой техникой, а меня ведь, в сущности, больше интересовали люди.

Мастер, рассчитывая услышать еще какой-нибудь вопросик об этой замечательной технике, которой гордились люди участка, цеха, завода, с готовностью и даже какой-то легкой снисходительностью ждал.

— Леонид Максимович, а вот интересно, вы учитесь где-нибудь сейчас? — Я был в полной уверенности, что услышу если не о заочном институте, то, по крайней мере, о первом курсе вечернего техникума.

Однако мой мастер, не ожидавший такого вопроса, немного смутился, а затем рассмеялся:

— Нет, нигде пока не учусь... — И добавил, как-то неопределенно пошевелив в воздухе пальцами: — Текучка, текучка заедает... Да и дома — семья, двое детей. Парни, с ними воевать надо.

А ведь у мастера Гвоздева за плечами всего только семилетка сельской школы...

Вот был он не так давно подростком, еще более вертким, словно заряженным электричеством (на фотографии аттестата, выданного школой ФЗО, у него совсем юное худенькое и оживленное лицо), а сейчас его воспитали, жизнь подняла до мастера. Нельзя сказать, чтобы это был особо какой-то редкостный путь, — он характерен для любого смышленного человека на производстве. Обстановка школы, условия работы на заводе давали простор для развития способностей Леонида Гвоздева. Человек самолюбивый, живой, схватывающий многое на лету, он опередил кое-кого из своих сверстников, стал мастером, как мы видели, раньше, чем, например, Черников.

Гвоздеву доверили новую технику, он высоко стоит. Но положение обязывает: самый уровень, которого он достиг, требует движения вперед, новых знаний, раздумья, инженерного отношения. Готов ли он к этому?

Вот он, знакомя меня с машиной, говорил, например, о трещинах в слябах. А знает ли он о причинах их появления? И думал ли о возможности их устранения? Разве не тревожит его как производственника то обстоятельство, что слитки с трещинами годны только на прокат стального листа? В прокатном стане под валами трещины завариваются. А для крупносортового стана — гордости «Красного Сормова», новинки, которую поставили здесь тоже недавно, — эти слитки уже не годятся.

Уходя из цеха, весь еще под обаянием новой, прекрасной техники, я с тревогой задумался о завтрашнем дне мастера Гвоздева. Ему нужно, что-то преодолев в себе, сделать следующий шаг вперед.

Коля

Вот и окончилось партийное собрание. Озабоченный, прошел к себе начальник цеха, который только что в этом содружестве коммунистов говорил как равный перед равными. Хлопала легкая дверь красного уголка, теснясь выходили сталеплавильщики. Я видел разгоряченные лица. Кто-то доругивался в коридоре, другие уже шутили, посмеивались...

Партийные собрания на производстве всегда напоминают торопливый, напряженный разговор коммунистов-воинов в минуту передышки между боями. Ведь вот и здесь люди смогли собраться только в пересменок, когда тянуть особенно нельзя; а вопросы важные, решать с кондачка недопустимо. У одних коммунистов — спецовки, с лиц не смыты подтеки

пота. Другие только что из дому — свежие. Но и те и другие одинаково взбудоражены. Можно уловить по отрывкам разговоров, что дело не простое: как мартовцам готовиться к сорокалетию Советской власти. Здесь, на старом заводе, который сам является живой историей пролетарской революции, есть хорошая традиция — загодя думать о торжественных событиях. Ведь заводской люд их отмечает не столько парадными речами, сколько серьезными и весомыми делами; а дела нужно продумать, подготовить, организовать. Коммунисты новомартеновского цеха мечтают, например, увеличить выпуск стали настолько, чтобы без ущерба для завода отказаться от услуг дряхлеющего старомартеновского цеха, ветерана, замечательного труженика, который, однако, уже отработал свое. Об этом-то как раз и время говорить, спорить, ругаться, если потребуется, до хрипоты, не забывая ни о каких «мелочах», чтобы не тормозили они, не мешали.

Жидкое солнце, проливаясь сквозь сетку рваных серых туч, скупое играло на металлических плоскостях сваленного вдоль подъездных путей лома. Оба мои мастера стояли на улице у самого входа в цех, курили и о чем-то своем спорили.

— Нет, Ваня, так дело не пойдет. Раз вы сами виноваты, так признавайся. А на машину не сваливай.

— Знаешь, Леня, уж лучше ты брось. Поди докажи, что мы виноваты. Это ты сейчас горазд руками махать, а сталь-то в ковше вы от нас приняли, претензий не имели. Так! Ну, что же тогда толковать-то...

Я подошел и узнал, что в сегодняшнюю смену металл не пошел в разливочную машину. Он оказался холодным и начал густеть, еще не добравшись до кристаллизаторов. Вот и шел спор, по чьей же вине сталь остыла (ее пришлось срочно разлить по изложницам). На УНРС считали, что виноваты сталевары — подали холодный металл, а сталевары клялись, что они тут ни при чем, это на УНРС недоглядели, остудили ковш. И боюсь, что трудно было бы спорщикам разобраться в этом деле, если бы не прибавился еще один собеседник. Он буквально вынырнул из-за спин мастеров, положив им на плечи широкие кисти рук в брезентовых рукавицах.

— Ну что, хлопцы, скандал у вас, я вижу? — Он был в спечовке, такой же работающий человек, как и все в цехе. И только глаза, яркие синие глаза были не по-служебному лишены озабоченности, глядели весело и свежо, точно в праздник какой. — Нет, хлопцы, это вы напрасно, напрасно, — продолжал он примиряющим, ласковым голосом, но затем словно поддал жару: — Ты, Иван Михайлович, оставь, не надо на технику клепать. На технику надейся, а сам не плошай, так старики еще наши говаривали. Что уж тут толковать, дело ясное — ищи, брат, виновника в бригаде у печи. Холодную сталь дали на машину, отсюда все...

— Ну уж ты, Коля, хватанул. — Иван Михайлович не отступал.

— Это точно. — Тот, кого называли Колей, крепко захватил инициативу. — Понадеялись на пирометр и температуру не уточнили... Хороший сталевар такую сталь не выпустил бы из своих рук. Постыдился. Меня так воспитывали, так я это дело и разумею. Нет, дружище, техника техникой, а сталевар у печи — это пока еще главная фигура в цехе. Он первый в ответе за сталь. С него спрос. Потому что ему талант на это дан. Раз ты в горячем цехе, так работать должен горячо, споро, это я вам говорю, Николай Анищенко. А они прошляпили.

Я уже не вслушивался в сущность спора. Меня поразила вскользь брошенная фамилия. Иван Михайлович, угадывая причину моего волнения, помог мне.

— Узнаете? Это тоже наш товарищ. Вместе учились, одного выпуска. На руке, которую я пожимал, синела старая татуировка: сердце; про-

зенное стрелой и кинжалом. Моя память заработала. Я старался мысленно уменьшить широкую и твердую, словно стальную, руку до размеров кисти подростка. Но это никак не удавалось, слишком вещественна и материальна была эта рабочая, натруженная рука. Мой новый знакомец, перехватив мой пристальный взгляд, смутился:

— А это так, баловство было! — Он потер синее сердце крупным твердым пальцем, точно желая вдавить поглубже в кожу. — Это уже после ФЗО я учудил, после выпуска. В общежитие мы переехали. Все стали накалывать, ну и я тоже...

Николай Иванович Анищенков — человек веселый и общительный. О таких говорят одобрительно: «Парень он артельный!» Это качество, столь дорогое и ценное в любом рабочем коллективе, совершенно необходимо в бригаде, работающей у горячей печи. Чувство локтя, чувство товарищества и кровной заинтересованности в трудовом успехе каждого члена коллектива — вот что характерно для этого сильного, веселого человека с открытой, словно распахнутой душой. Вырос Николай на многолюдье, и отсюда его «артельность». Ведь на завод его привел мастер из ФЗО еще мальчишкой. Как ему тогда необходимо была эта трогательная и одновременно суровая близость членов бригады у печи! Было ведь время, когда и он сам, этот веселый Коля, жмурился, с опаской поглядывая на открывающееся окошко мартена, куда — хочешь не хочешь, хоть отворачивайся, хоть плачь от робости, — а кидай свою лопату доломита, но только не трусь, следуй примеру учителей — грубоватых и прокаленных, притерпевшихся к огню старших членов бригады.

Мы стоим у «десятки». Печь пуста, сброшен газ, и через открытое окно видно раскаленное чрево мартена. Как в знойный июльский день, дрожат белым маревом стенки и подина — металл ушел в ковш. Сейчас будет новая завалка печи, очередное кормление ненасытной утробы. Уже подъезжает, позванивая предупредительно, завалочная машина, и машинист готовится, поддев массивным хоботом первую стальную мульду с шихтой, сунуть ее и перевернуть в печи, вывалить содержимое. Но сначала предстоит одна из важнейших операций — заправка печи. Николай Иванович не суетлив, но и не медлителен. Именно по этим его точным, осторожным движениям с мягкой, грациозной силой и угадывается степень его высокого мастерства. Он вплотную на какое-то мгновение застывает с лопатой у открытого настежь окна мартена, откуда вырывается хотя и не пламя, но обжигающий и какой-то переливающийся нестерпимым для глаза светом, оживший, ставший почти материальным воздух. Мгновение, и дело сделано: произведена точная оценка всех бед, которые натворил вышедший из ванны металл. И уже полетела первая лопата доломита к задней стенке, чтобы заполнить образовавшуюся ямку, заварить ее ровным слоем.

Сталевар оторвался от печи, а его место занимают по очереди подручные. Каждый точно повторяет движения старшего, забрасывает доломит, чтобы подправить боковые откосы, и отходит, уступая место следующему.

По лицу сталевара и не угадаешь, что он «в запарке», что дорога каждая минута. Он находит время сказать мне:

— Вот сегодня был у меня с хлопцами разговор о том, что есть сталевар. Помните? У нас часто считают, что раз техника — значит, валяй, кнопки нажимай. Нет, шалишь: техника за тебя раскидывать мозгами не будет. Ту же печь нашу взять. Вон приборов сколько. Ну и что? Может, скажешь, что теперь дело в шляпе? Нет, брат, приборы только помогают, только подсказывают, а сталевар остается главной фигурой. Никакая техника не подскажет мне того, что я своими глазами вижу, своей кожей чувствую. Вон, глянь-ка... Смотри на подину, что усмотришь?

Он подтолкнул меня к печи. Ну, что я мог усмотреть там такого особенного? Рытая, ноздреватая поверхность оплавленного доломита, словно (профессиональная тяга к сравнениям не оставляет меня и тут)... словно при яркой солнечной погоде снег весной, который рассматриваешь сквозь цветное стекло. И везде все ровно, все однообразно, ничего приметного. Так я и говорю сталевару.

— Ничего особенного? Добре! — Николай Иванович сияет от удовольствия. — Ан и нет, вон она беда там какая. Целый козенок остался...

И, прикрываясь от жара рукавицей, указывает внутрь, где в предательской ямке осталось немного расплавленного металла. Если этого не заметить и не убрать металл, то он может окончательно проесть подину в момент плавки и открыть путь всей многотонной массе стали. Что получится? Тяжелая авария.

В руках у Николая Ивановича появился шланг с длинной металлической трубкой. Сталевар выдувает воздухом металл из ямки, и тотчас подручные закидывают опасное место магниезитом. Все! Поставлена крепкая заплата. Я люблюсь, как работает Николай Иванович. Вот он, сталевар, главная фигура в цехе! Вот он, человек у мартена!

Николай Иванович что-то кричит машинисту, показывая ему на окна. Тот, видимо, возражает. Энергичные взмахи рук, спор. Николай Иванович совершенно явственно одерживает верх. Машинист включает моторы и с недовольным лицом переносит полную железного лома мульду от центра к левому окну, там и заваливает в печь массивные куски металла поближе к форсунке, из которой уже бьет длинный синевато-белый факел. Я только потом узнаю подоплеку так ярко развернувшейся мимической сценки. Дело в том, что машинисты обычно как попало заваливают шихту, лишь бы поскорее освободиться. Но опытный сталевар, знающий свою печь, ее жаркие и холодные участки, начинает «мудрить». Он придиричливо заглядывает в мульды — литые корыта, оценивает шихту и указывает, куда следует ту или иную мульду опрокидывать. Вот и возникают конфликты.

Отличный сталевар всегда деспотичен. Слово его — закон для бригады. Сталевар сам умеет подчиняться трудовой дисциплине, умеет и потребовать. Без этого не дашь стали!

Ускорить плавку металла — это прежде всего вести завалку при высоком тепловом режиме. Тысяча семьсот градусов! Немудрено, что машинист завалочной машины, который должен подъехать вплотную к открытому окну и вывалить по указанию сталевара порцию шихты в точно указанное место, чувствует себя, как на чугунной раскаленной сковороде. И есть у него в этот момент заветное желание: чтобы сталевар хоть немного сбросил газ...

Неопытные сталевары, из молодых, те, у кого сердце помягче, сбавляют газ. Им и самим невтерпех такая жарница. И заваливают они шихту суетливо, во все окна, лишь бы опорожнить мульды. Ну, и застуживают металл, или, как говорит Николай Иванович, «закозляют», то есть тем самым затягивают плавление.

Я видел, как в «десятку» заваливали металлическую стружку. Привезенная с металлообрабатывающих заводов, она вся была в масле. И от каждой мульды, брошенной в печь, вырывалось из окна дымное свирепое пламя, старающееся дотянуться своими языками даже до стеллажей, на которых, как на прилавке магазина, была разложена приготовленная шихта. Эта обстановка «адской кухни» была явно не по душе дежурному машинисту. Он попытался как-то воздействовать на «хозяина»:

— Полегче, Коля. Скинь чуток газку.

Но Николай Иванович только пальцем погрозил.

— Ничего, ничего. Не на кондитерской, брат, фабрике.

Николай Анищенко не родился сталеваром. Мастерство приходило к нему постепенно, накапливалось за эти годы исподволь. И для тех, кто каждый день, из смены в смену, бывал с ним рядом у печи в цехе, может быть, и не были так разительны изменения, совершавшиеся в рабочем человеке. Для меня же, увидевшего все сразу в этом сталеваре, целиком получившего впечатление от его зрелой и какой-то ухватистой манеры работать, веселой и непринужденной (может быть, оттого, что истинное мастерство всегда расковывает человека), для меня же это было подобно какому-то удивительному чуду, волнующему и укрепляющему веру в неограниченные возможности талантливого нашего рабоче-го класса, передающего свое мастерство, как эстафету, от поколения к поколению, донесшего его до сорокового года Советской власти.

Я видел Николая Анищенко в трудные, напряженные часы завалки мартеновской печи. Видел я его и в менее ответственный момент — кипения стали. Что уж, казалось бы, проще: все сделано, твердые массивные куски стального и чугунного лома, разные части от старых машин, плиты, скрап, чушки чугуна, пакеты стружки, глыбы известкового камня, заброшенные в печь старые шестеренки, ломаные гаечные ключи, отслужившая свой век посуда — чугуны, сковороды, казаны — словом, все, с чем покончены всякие расчеты даже самых скаредных хозяев, — все это расплавлено и бурлит, пузырится, кипит, как обыкновенная вода в котелке. Ну с чем сравнить эту играющую стеклянным блеском, светящую голубоватым отливом поверхность ванны, с выпрыгивающими крупными, словно бычий глаз, и лопающимися пузырями? На что похоже? «Будто дождь идет хороший, хлещет по лужам» — это помог мне образно оценить картину сам Николай Иванович.

Мы с Николаем Ивановичем снова у смотрового очка мартеновской печи. Он делает кому-то из помощников знак рукой — в мартене выключается газ. А мы смотрим пристально внутрь. Там, в ванне, над ее облитой голубоватым блеском, словно бы отлакированной поверхностью образовалась вдруг синеватая дымка и застыла над зеркалом расплавленного металла.

— Видишь? — крикнул на ухо Николай Иванович. — Точно вечером у речки. Как пойдет такой туманчик, значит все в точку получилось, сталь горячая... И уж такой металл у меня ни за что не застынет на разливочной машине, пройдет, как в трубочку. Понимаешь теперь? — И, сдвинув кепку вместе с очками назад, говорит неожиданно: — Этому меня еще старый мастер ФЗО Александр Иванович Бибикин учил.

Еще один Коля

Много лет подряд, приезжая в Сормово, навещал я старого мастера производственного обучения школы ФЗО, сталеплавильщика Бибикина. Мне дороги были его традиционное гостеприимство, хозяйское радушие много поработавшего на своем веку человека.

На этот раз я не застал уже в живых седого сталевара, который до самых последних дней своих учил молодежь, выводил на самостоятельную дорогу.

Когда я узнал о смерти этого человека, пятьдесят лет проработавшего у мартеновской печи, для меня Сормово как бы осиротело. Что говорить, были здесь и другие знаменитые и уважаемые старые мастера, которые еще вместе с Петром Заломовым, героем «Матери» А. М. Горького, участвовали в первой русской революции 1905 года. И все же печально было подумать, что не пройдет больше Александр Иванович Бибикин по улице Баррикад к заводу во главе своей группы подростков, то чинно шагающих парами, то сбивающихся вдруг в табунок вокруг старика, когда он

неторопливо начинал рассказывать о революционных традициях сормовичей, кивая на угловое каменное старинное здание, в котором помещался когда-то штаб дружинников-революционеров.

Кто же теперь ходит этой проторенной дорогой к заводу от школы ФЗО, кто теперь говорит первые напутственные слова вновь принятым, «сырым» еще ученикам, которых заранее страшит этот никогда не виданный шумный и людный мартеновский — горячий! — цех? Кто сопутствует ныне будущим сталеварам?

И вот я подглядел однажды этот первый выход пареньков, которым предстоит стать рабочими. Был среди них и тот подросток, который закричал в кабинете директора школы: «Не унижайся, мама!», когда его мать стала умолять директора (я писал об этом в начале очерка) взять сына, помочь ему стать трудовым человеком. Теперь он, получив место в общежитии, переодевшись в школьное обмундирование, был суров и замкнут. Только что произошло важное событие в его новой жизни — знакомство с воспитателем, с тем человеком, который будет отвечать за судьбу будущего молодого рабочего.

Мне не терпелось узнать: каков же этот человек, заменивший Александра Ивановича Бибикина, и очень ли пострадает дело от такой замены?

Было утро, когда я увидел группу новичков, впервые направляющихся к «Красному Сормову». Я издали наблюдал за ними, стараясь понемногу нагнать. Мне это удалось, когда вся группа, так по-знакомому сбившись в кучку, остановилась на углу улиц Коминтерна и Баррикад. Все стояли у фундаментального и немного мрачного здания старинной кирпичной кладки, у здания, на стене которого висела мемориальная доска; она напоминала серьезными и строгими словами о тех, которые в 1905 году, забаррикадовавшись здесь, выдерживали натиск царских войск.

Но об этом полном революционной романтики времени говорил теперь ребятам не сутуловатый и такой близкий своей домашностью дед, а тоненький, как струнка, худенький юноша, который и отличался-то от некоторых слишком рослых пареньков только своей формой мастера производственного обучения.

И по тому, с какой страстностью звенел его голос, по тому, какими деталями и подробностями он украшал свой рассказ, можно было догадаться, что далекое революционное прошлое Сормова не менее дорого ему, чем было дорого когда-то старому мастеру, воссию повидавшему все то, о чем говорил нынче молодой. Познакомившись с Николаем Васильевичем Цветковым, я спросил его, здешний ли он, сормович ли.

— Нет, костромской. Из Кологривского района, деревня Кузнечиха, что на реке Инжа.

Я сказал, что это не входит, должно быть, в учебную его программу — рассказывать о революционном прошлом Сормова. Он усмехнулся и ответил:

— Не входит. Ну и что ж?.. Разве так уж трудно рассказать ребятам, впервые сюда попавшим, как боролись люди за победу рабочего дела?.. По правде сказать, мало сейчас у нас стали об этом вспоминать. Может быть, потому, что все меньше и меньше становится здешних старожилков. Уходят на пенсию, умирают... Не знаю, как других, а меня так очень задело, когда я узнал, помимо всякой учебной программы по сталеварению, о боевой славе сормовских рабочих, о схватках с полицией, об их дружной семье.

Так я познакомился еще с одним плавильным мастером, четвертым по счету, тоже бывшим учеником школы ФЗО. За плечами у Николая Цветкова пять классов сельской школы, тревожные и голодные годы войны, ФЗО, не слишком благоустроенное заводское общежитие в первые

годы самостоятельной работы на «Красном Сормове», вечерняя школа... Настоящее Николая Цветкова у нас перед глазами. Сейчас он учится на четвертом курсе Сормовского машиностроительного вечернего техникума, стал только что отцом (сын родился), получил комнату и перебрался из общежития. Короче говоря, приходится собирать по крупицам настоящее Николая Цветкова, так как биография мастера сталеварения, преподающего это искусство молодым воспитанникам школы ФЗО, еще только у своего истока.

Потом я видел его в цехе с теми же ребятами. Их уже вводили в работу. Цветков был напряжен и серьезен. Иногда он оттаскивал иного смельчака, безрассудно сующегося в открытое окошко печи. Но когда дело дошло до лопат, то первый же Николай и подтолкнул какого-то нерадивого или слишком робкого паренька, который только и знал, что беспомощно топтался с полуопущенной лопатой. Цветков положил ему руку на плечо. Тот обернулся, и я узнал все того же вихрастого и нервного подростка, сидевшего у директора со своей матерью. Он, видимо, огрызнулся на мастера, но Николай знал эти «штуки», он и сам пережил такую же трудную ломку. Я увидел сцену без слов: точным и сильным толчком мастер направил паренька к печи, и тот вдруг послушно сделал нужное движение, правда, пустой лопатой.

И позднее, наблюдая Николая среди ребят, я не раз замечал, что дает себя знать не только моральный авторитет мастера — право наказывать и поощрять, но его какое-то неуловимое в момент первого знакомства физическое превосходство над очень рослыми и крепкими парнями, которых специально отбирали для трудной профессии сталевара.

При всей тонкости стана и не очень высоком росте Николай Цветков одним легким движением кисти поворачивал за плечо без длинных нравов учений иного хлопца на сто восемьдесят градусов, и тот, сразу подтянувшись, принимался за дело. Меня поражало еще и то, что невидный Коля отлично управлялся возле мартеновской печи с ее режимом наивысшего физического напряжения.

Я заговорил с мастером Цветковым на эту деликатную тему, он сконфуженно посмотрел на меня и сказал, точно оправдываясь:

— Ничего такого загадочного нет. Просто гимнаст я, правда, третьего еще только разряда. А вот по лыжам второй разряд имею. Ну, что еще? Двухпудовую гиру люблю выжимать. Балуюсь этим дома каждую свободную минуту... А когда у печи в бригаде работал, то характерно — ни разу не болел. Брал я в то время ловкостью: заправка ли печи, завалка ли — все одно... А вообще-то говоря, я и сейчас на всяких собраниях одно только и долблю, чтобы физкультуру у нас в школе двигали вперед. Слабо еще с этим делом в Сормове, только одни футболисты и вывозят сормовичей. Ими только и знамениты мы в Российской Федерации.

Николай Цветков говорил, а я думал о том, что в его годы Александр Иванович Бибикин был совсем иным, ходил еще в подручных, гнул спину перед плавильным мастером, бегал ему за водкой. Варварски, безжалостно терялись время и силы человека.

Советская хозяйственная система научила нас, заставила открывать те залежи человеческих талантов, которые раньше пропадали втуне. Мы научились в течение этих четырех десятилетий быстрее, надежнее, а главное, в массовых масштабах вызывать к жизни таланты.

Окинем мысленно то, что пережито, вспомним все, что веками стоит на пройденном пути. Ленинские субботники, ударничество, «двадцатипятипятисычники», строительство первых гигантов индустрии, почин донецких шахтеров, давших толчок новому поступательному движению промышленности, героический труд тыла в годы Отечественной войны, период восстановления народного хозяйства страны, движение новаторов

в промышленности, строительство крупнейших гидроэлектростанций... Кажалось бы, вот уже и предел, после которого предстоит двигаться только по горизонтали, как на диаграмме, когда достигнут наивысший пик. Но нет, идем выше — целина! Идем дальше — движение молодежи на стройки, особенно в бескрайние просторы Сибири, на Восток. Так бьет неиссякаемый горячий источник...

Мастер производственного обучения Бибкин любил своих питомцев-новичков водить на экскурсию по заводу. Он словно прослеживал вместе с будущими сталеварами весь путь металла от мартеновской печи до готового корабля. Был и я с ним на одной из таких неторопливых прогулок, которая дает возможность лучше понять и оценить масштабы этого первоклассного судостроительного завода на Волге.

Через много лет я снова совершал эту экскурсию уже с Колей Цветковым, который знал здесь все пути-дороги не хуже самого Бибкина и любил говорить:

— По нашему заводу пройдешь — университет кончишь.

Как развернулось «Красное Сормово», можно было увидеть на берегу Волги, у затона. Когда-то суда здесь закладывались прямо на берегу в так называемой судьяме. Строили на воздухе, на ветру, в дождь, в снег, в лютую непогоду. Теперь этой судовой ямы не было и в помине. Цехи вплотную подошли к воде, особенно огромный третий судосборочный, крытый, как эллинг, застекленными полукружиями.

В этом здании, похожем на пристанище могучих дирижаблей, человека оглушает непрерывная дробь пневматических зубил. Готовят для электро-сварки края стальных листов, которые будут навеки схвачены плотным швом. Это уже знакомые нам расплющенные многопудовые слябы, рождение которых совершалось на наших глазах в новомартеновском цехе, — над ним день и ночь из взметнувшихся в небо четырех кирпичных труб ползут дымы, свидетельствуя о том, что ни на минуту в печах не затихает глухой шум плавки.

А здесь, в третьем судосборочном, стальные листы, словно огромные куски разрубленной чудовищной рыбы, срстаются под руками сварщиков. И вот уже висит в цехе на сравнительно тонких ножках стапельных тележек внушительное, почти стометровое тело корабля с плоскодонным, точно у икрянистой рыбины, широким, крашенным суриком брюхом.

Они выставлены в ряд, эти корабли, они находятся в разной степени готовности. У одного нет еще совсем кормы, у другого уже и рули поставлены, но не видно надпалубных построек. В третьем месте мы видим на рельсах лишь стапельные тележки с прикрепленными к ним кильблоками — деревянной «постелью» для будущего корабля. Здесь идет закладка судна.

Есть что-то сходное в судьбах корабля, впервые спускаемого с берега на воду, и молодого человека, начинающего свой самостоятельный трудовой путь. Сравнение это, конечно, не из новых, и все же именно оно неизменно приходит на ум, когда видишь спуск готового судна.

Был серенький, прохладный день. Ворота эллинга, словно нехотя, раскрыли черный и глубокий зев, из которого с помощью троса и мощной лебедки степенно выдвинулась громада корабля. Он спокойно плыл по рельсам, вытянувшись на стапельных тележках.

Нет теперь на «Красном Сормове» красивого, романтического и, я бы сказал, почти языческого праздника, когда рубили канаты и корабль с берега, разгоняясь все быстрее и быстрее по деревянным склизам, с шумом и брызгами врезался в воду. Ныне в Сормове все будничнее, все деловитее. Судно спускается при помощи слипа. Это — великолепное сооруже-

ние, оснащенное автоматикой. Корабль на стапельных тележках неторопливо вкатывается на узкую платформу трансбольдера, который затем начинает свое осторожное движение по наклонным рельсам к затону. Каких-нибудь час—полтора, и судно в абсолютной тишине, словно огромной отеческой ладонью, бережно поставлено на воду.

Все управление ведется из небольшого зала, где перед пультом сидит оператор. Через широкое окно видны элинг, рельсы и трансбольдер слипа, поблескивает Волга, хмурятся серовато-сизые дали.

— Наверняка из нашего ФЗО, — говорит мне Николай Цветков, кивая на оператора.

— Если ловкий и сноровистый работник, так уж обязательно из вашего ФЗО? — засмеялся я.

— Не в этом дело, — смущается Цветков, — просто тут, как и везде, много наших бывших учеников.

Действительно, оператор оказался воспитанником школы ФЗО № 15. Леонид Корнилов не забыл об этом, он ухитрился даже достать школьный аттестат за номером 291 419. Его выпустили тогда по четвертому разряду. Сейчас он имеет восьмой разряд, работает бригадиром электриков на слипе. Уже давно женат, и тоже на бывшей ученице Сормовской школы ФЗО. Растут дети, дочь пошла в первый класс...

А между тем на гребне слипа уже полностью вытянулся длинный корпус корабля. Силуэтом он отчасти напоминает авианосец: такая же просторная палуба, словно рассчитанная на посадку самолетов, и отнесенные к корме, собранные там в один узел надпалубные постройки. Но это только отдаленное внешнее сходство. На самом деле перед нами сугубо штатское, мирное судно — огромная самоходная баржа, сухогруз для перевозок по нашим водным магистралям так называемых генеральных грузов: машин, хлопка, зерна...

Мы с Колей Цветковым по очереди с помощью бинокля, любезно предложенного нам хозяевами слипа, разбираем свежую надпись на борту корабля: «Нальчик». Это восьмое судно такого типа, спущенное сормовичами в это время. Целая серия! Первым был корабль «Шестая пятилетка», прошедший уже в те дни ходовые испытания. За ним один за другим поступали из цеха следующие — потоком.

Поднимаю бинокль чуть выше: по основному серебристому руслу Волги мимо завода плывет теплоход. Пассажиры на его палубах видят рождение нового корабля. «Нальчик» все ближе и ближе спускается к Волге, вот он уже совсем скрывается за гребнем слипа. Надо спешить на берег, и я тороплю мастера Цветкова.

На берегу ходит с телефонной трубкой в руках, озябший на свежем ветру, начальник слипа Сергей Григорьевич Щепкин. Это — его последнее судно, на днях он уходит на пенсию.

Словно сжалившись, проглянуло солнце. И вот уже первые волны коснулись крашенного сурика яркого днища, заплескались, заволновались у бортов. Волжская вода впервые осветила их своим особенным, живым блеском, побежали слепящие глаза блики... И мы невольно переглянулись с Колей Цветковым, так как, видимо, подумали об одном и том же. Их сталь, сталь новомартеновского цеха, начала свою службу.

Освобожденное судно стало слегка разворачиваться под ветром. Над рекой раздался зычный голос караванного капитана Александра Ивановича Козлова, уже какой десяток лет принимающего «новорожденных» из рук судосборщиков.

Два буксира деловито подошли и взяли «Нальчик», потянули на выход, к причалам. Они делали свое дело нежно и озабоченно. На борту одного из буксиров чернела надпись: «Владимир Крылов». Это было имя главного конструктора завода, погибшего много лет назад во время авиа-

ционной катастрофы. Трогательными казались усилия этого небольшого сильного буксира — речного труженика, — словно продолжал жить и служить своей Родине сам Владимир Михайлович Крылов.

Есть у судостроителей примечательное выражение — «на плаву»: Оно означает, что корабль хотя и не готов еще полностью, нужны кое-какие доделки, оснастка, но уже способен прочно держаться на воде. Вот так же и с молодыми рабочими, выпущенными из школы ФЗО в цехи завода. Они тоже словно на плаву. Требуется время, труд, внимание и забота коллектива, чтобы они стали настоящими рабочими, такими, скажем, как плавильные мастера Черников, Гвоздев, Анищенков, такими, как Коля Цветков.

Трудно, но почетно построить большой корабль. Не менее трудно и не менее почетно выпестовать кадры молодых квалифицированных рабочих. Сормовичи, у которых уже есть свои замечательные в этом отношении традиции, хорошо знают, какое великое удовлетворение приносит благородный труд создания рабочего характера.

И вот мы снова в широченных пролетах новомартеновского цеха. Розовые зарницы на канавах, где идет фасонная отливка деталей, белесые всполохи в дальнем углу цеха, где расположены небольшие электропечи, и, наконец, ослепительное зарево над одним из мартенов — происходит выпуск очередной плавки. Жизнь огромного цеха идет своим чередом.

«Объясняется» с шихтовым двором плавильный мастер Черников, на месте и мастер Гвоздев — смотрит, как легко и в то же время плотно бьет в ковш брызгающая искрами струя готовой стали. Анищенков, освещенный чуть дымным светом из распахнутой печи, уже оглядывает откосы и указывает подручным сталеварам, куда следует бросить лишнюю лопату доломита для лучшей заправки.

Но сегодня здесь и еще один мастер — Николай Цветков, наследник Александра Ивановича Бибикина. Десятка два слегка оглушенных светом, разморенных жарой ребят то жмутся вблизи Цветкова, который жарко кричит что-то в этот сбившийся кружок, то незаметно расползаются и стараются быть подальше от печи.

Я подошел к задней стенке мартена, к желобу, движимый все тем же всесильным чувством восхищения перед могучим полетом горячей, словно живой, стали, готовой ревоплотиться хоть сегодня же в крутые бока речного тяжеловоза.

Сталь все еще бежала, покидая материнское ложе печи... И вдруг чуть сбоку плеча мастера Гвоздева, позади напряженных спин подручных, я увидел две примкнувшие друг к другу фигурки подростков. У одного из них в крепко стиснутых пальцах было синее, бог знает откуда добытое, в фанерной темной оправе стекло. Он смотрел в него, не отрываясь. А второй с не меньшей напряженностью разглядывал его щеку, притушенные световые отблески на скуле, так как для незащищенных глаз нестерпим был блеск жидкой стали. Он смотрел и ждал своей очереди, когда в его руки попадет заветное стеклышко.

И я забыл на время о чуде рождения металла, меня увлекло гораздо сильнее это молодое умное (у паренька даже глаз светился голубым вдохновенным светом!) чувство познания нового, это золотое внимание юности, залог рождения таланта рабочего человека, этот молодой жадный порыв, такой же мощный, неудержимый, как движение тяжелой кипящей стали, стремительно несущейся вперед.

И вот, когда я вновь тут, в Сормове, в этот праздничный майский день, узнаю кое-что новое и о судьбах своих героев. Например, Иван

Черников работает уже начальником целой смены. Значит, забот у него прибавилось: под командой ведь больше ста человек. Надо думать теперь не только о шихте да о печном пролете, но и о литейном зале, о разделочном участке, где обрубают и режут слитки. Идут теперь к нему с вопросами и слесари, и электрики, и газорезчики, и крановщики...

У Анищенкова Николая все по-старому, он на своей «десятке». А вот Леонид Гвоздев перешел с разливочной машины к мартенам — мастером. Досадно, что и сейчас у него еще пока не налаживается продолжение дальнейшего образования.

Мастер же Николай Цветков собирается переводиться в штат завода, так как сейчас, в момент серьезнейших событий в хозяйственной жизни страны, когда проводится дальнейшее совершенствование управления промышленностью и строительством, должен измениться и профиль школы ФЗО.

Таково бурное течение жизни, совсем как у этой могучей реки, на которую смотришь со знаменитого нижегородского моста. Усиленная вешними буйными водами, Волга еле сдерживает свою величавость и, не теряя даром времени, самоотверженно работает, несет на своих многосаженных крутых плечах и дизель-электроходы, и плоты леса, и караваны барж, и верткие буксиры, которые, кажется, вспарывают ее лоснящуюся от солнца поверхность, не обижают и рыбацкие суденышки — тоже колышет и бережно несет вперед...

Сормово, 1957, май.



ИЗ СТИХОВ ПОЭТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

АЛИМ КЕШОКОВ

★

МОЙ КРАЙ

Если мчишься ты в машине
И тебя вдруг укачало,
А ишак неторопливый
Преградил внезапно путь,
Если, стоя на вершине,
Где река берет начало,
Ты согласишься вниз с обрыва
И тебя охватит жуть,
Не робей: в моем краю
Рядом я с тобой стою!

Если облако заходит
В дверь открытую с рассветом
И его метлой хозяйка
Выпровождает вон,
Если шубу наизнанку
Носят горы даже летом
И взошел, держась за посох,
Виноград на горный склон,
Значит: видишь наяву
Край, в котором я живу.

Если ты устал, шагая
По горам, где путь извилист,
В дверь любую можешь смело
Иль в окошко постучать.
Будешь гостем ты желанным,
Встретит гостя кабардинец
Теплым хлебом, сыром белым
И не даст ему скучать.
Нет для края моего
Выше дружбы ничего!

Если ты коней увидишь,
Иноходцев быстроногих,
Если встретишь альпинистов,
Что идут на штурм горы,
Если прямо у дороги
Ключевой водою чистой
Ты напьешься, улыбаясь,
В час полуденной жары,

Значит: ты в моем краю,
Где ручей бежит к ручью.

Если встретишь человека,
Что стихи порою пишет,
Где чабан за облаками
Тучным стадом окружен,
Если встретишь человека,
Что стихи порою пишет,
И гордится земляками,
И в товарищей влюблен,
Значит: мы с тобой друзья,
Потому что это я!

МАМА

Под вечер мать накрыла стол.
Кого ждала она с дороги?
Никто к нам в гости не пришел,
Не постучался на пороге.

Накинув на плечи платок
Поверх неяркого наряда,
Сказала мама:
— Спи, сынок,
Тебе ведь в школу утром надо...
Проснулся я.

Напев щегла
Звенел над мокрою листвою,
А мама,
сидя у стола,
Спала с поникшей головою.
Кто был у нас?

Кто за столом
Всю ночь сидел здесь с мамой вместе?
Нетронута бутылка с вином,
И хлеб и сыр на прежнем месте.
А на столе портрет отца,
С лицом веселым и суровым.
Пал смертью храброго бойца
Мой папа в битве под Ростовом.
Но этой ночью оттого
Был рядом с мамой, как бывало,
Что день рождения его
Она, я знаю, отмечала.

ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ

Девочке из села Арик.

«Снова на Эльбрусе выпал снег,
Облаков полуденных белей,
Может, оттого, что выпал снег,
Стало маме холодно моей».
За водой ли направляется к ручью,

КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

РОССИЯ

Мы любим тебя, как мудрую мать,
что кос не рвала в беде, причитая,
пророчествам злым не стала внимать,
любимых сынов на бой провожая.

Мы любим тебя, как любят бойца,
чьей крови в сраженье пришлось пролиться,
который держался в бою до конца.
Мы любим отвагу твою, орлица!

Мы любим тебя, как любит река
то море, где путь ее так просторен.
Россия! Россия для нас на века,
как небо для звезд и поле для зерен.

В дни горя был дорог твой теплый хлеб,
так сильно мы наш союз ощутили,
и каждый из нас душою окреп
в те годы, когда мы на бой выходили.

Под Ленинским знаменем легче бой,
а в сердце: березы, дубы, опушки
и русского неба свод голубой,
которым в былом любовался Пушкин.

Безмолвие длинных твоих дорог,
обрызганных вражеской темной кровью,
сухие глаза старевших не в срок,
врагом обреченных на долю вдовью,

глухие леса — наш тайный ночлег,
гудение сосен на древнем взгорье,
тяжелые волны медленных рек,
уже не стремящихся влиться в море,

и Пушкина стих — прозрачный родник,
и пляска, и ведра на коромысле,
и тот несравненный русский язык,
который открыл нам Ленина мысли,

и то, что из рук своих никогда
ты стяга свободы не выпускала,
хоть кровью твоих сыновей беда
так часто в пути его обагрjala,—

всё это, как песня земли родной,
так близко душе и навеки свято,
и горец любой и латыш любой —
твои нестигаемые солдаты.

Нас всех возвышает России высь
и Ленина вечно живое слово,
мы Партии в верности поклялись,
как знамени перед борьбой суровой.

Перевела с балкарского Вера Звягинцева.

Мелькнула бурка, галстук рядом
мелькнул, и все исчезло вдруг.
Лети туда, моя баллада,
где красный галстук на ветру.

Как будто свист погони сзади —
летит машина все быстрее,
а следом в бурке мчится всадник,
как будто гонится за ней.

Машина стала. В клубах пыли
домчался всадник и — с коня.
Пожали руки, прикурили
и дальше в путь в сиянье дня.

Орел с высот своих победных
на горы как владыка гор
взирает. Две реки соседних
никак не кончат разговор.

Зашедшим в горы пионерам
гроза испортила маршрут,
и в шерстью пахнувших пещерах
они нашли себе приют.

И козы на скале заснули.
Охотник сжал винтовки сталь.
А гордый тур, как в карауле,
застыв над стадом, смотрит вдаль.

И видя, как он гордо замер,
стрелок заколебался вдруг.
Как будто высечен из камня,
тур со скалы глядит вокруг.

Но ветер потянул прохладой,
и ноздри тура дух людской
ожег. Хотел он прыгнуть к стаду,
чтоб дать сигнал тревожный свой.

Но выстрел огласил раздолье,
дорогу преградив ему.
И вот, закрыв глаза от боли,
тур в пропасть валится, во тьму.

На миг открыв глаза, он стадо
увидеть думал, но не смог,
а увидел последним взглядом
небес кровавый уголок...

Летит машина. Солнце село.
Догнал нас ливень в блеске брызг.
Мы, как в поэзию Пшавелы,
под гром в ущелье ворвались.

Кинжалами звенели струи,
сек сильный ливень скал тела,
но, разрывая мглу сплошную,
машина наша шла и шла.

Как вражьих части, дивень спорый
нам ставил тысячи преград,
стремясь закрыть дорогу в горы,
остановить, погнать назад.

Из полного дождем ущелья
въезжаем в праздничный аул.
В одном доме царит веселье,
зурна играет, топот, гул.

Тут затанцует и калека —
в колхозе горном знатный пир:
сегодня свадьба Темирбека,
женился лучший бригадир.

Вновь за машиной всадник скачет.
Ущелье сзади. Тишина.
И высоко орел маячит,
и далеко поет зурна...

Когда коня ты гонишь, надо
весь путь хлестать его хлыстом.
Я также гнал тебя, баллада,
теперь мы вместе отдохнем.

В горах на тех глядят с досадой,
кто хлещет доброго коня.
А я хлестал тебя, баллада,
пусть Тихонов простит меня!

Перевел с балкарского Н. Коржавин.

ЗУБЕР ТХАГАЗИТОВ

★

СЕРДЦЕ

Сердце бьется дни и ночи,
Как часы, стучит:

тик-тик...

К этой песенке рабочей
Каждый сызмала привык.

Но захочется покоя —
Прекратится ровный бег.
В мире сердце есть такое —
Трудится девятый век.

Этим сердцем мир гордится,
Им страна моя жива.
Это ты, моя столица,
Ясноглазая Москва!

Насмерть с ворогом боролась,
Защищала честь друзей.
Твой высокий, чистый голос
Год от году все звучней.

Это сердце бесконечно
 Будет биться — не умрет;
 Потому что правда вечна,
 Вечны свет,
 земля,
 народ!

Перевел с кабардинского Дм. Голубков.

ХАБАС ШОГЕНОВ

★

ОШХАМАХО *

Ошхамахо, древний Ошхамахо!
 Славился ты гордой высотой,
 Ты внушал восторг и чувство страха,
 Непрístupный,
 грозный
 и седой.

Помнишь ясно, хоть и очень стар ты,
 Звон мечей внизу и гром гранат...
 Даже смелые герои — нарты —
 Круч твоих страшились, говорят.
 Но потомки этих нартов ныне,
 Поднебесный, у тебя в гостях:
 На твоей сверкающей вершине
 Дней грядущих водружают стяг.
 Не печалься —
 ты, как прежде, в силе,
 Статен, и прекрасен, и велик.
 Просто —
 счастье дало людям крылья,
 Просто —
 люди выросли, старик.
 Древний, как отчизны нашей слава,
 Вечным снегом блещущий Эльбрус,
 Ошхамахо наш высокоглавый,
 Высотой твоею
 я горжусь!

Перевел с кабардинского Дм. Голубков.

* Ошхамахо — гора счастья: так кабардинцы издавна называют Эльбрус.



СЕРГЕЙ СНЕГОВ

★

В ПОЛЯРНОЙ НОЧИ

Роман*

8

После ссоры со своим главным инженером Назаров развил необычную для него энергию. Он разговаривал с химиками, разыскивал среди них серноокислотчиков, в кабинет забегал только на несколько минут, потом уносился к Лесину или на участки. Он готовился к драке с Седюком, и, казалось, это встряхнуло его и пробудило к деятельной жизни. Седюк же этим не интересовался, особенно теперь, когда новые, заманчивые мысли поднимались в нем и тревожили.

Все началось с того, что он с пристрастием допросил себя: почему, в самом деле, он с таким холодком относится к этому важному делу? Только ли потому, что оно не такое срочное? И он честно ответил себе: нет, не только поэтому, а еще потому, что дело это нудное. Уж кто-кто, а он знал, что значит возиться с производством серной кислоты, когда оно не основное, а вспомогательное. Он вспомнил свои муки на кавказском заводе, когда отходящие газы отражательной печи передавали в пристроенный к заводу маленький серноокислотный цех. Печь лихорадило, рабочие и мастера сбивались с ног, — то получался очень бедный для приготовления кислоты газ, то пережигали концентраты и теряли много меди. Тогда на Кавказе у него было много времени на эксперименты, были опытные рабочие, можно было пожертвовать несколькими десятками тонн меди. Сейчас нет ни времени, ни настоящих мастеров, ни лишней меди. Кислота, конечно, для меди необходима, но производство ее на месте затруднит выдачу меди, а медь — это главное, это помощь фронту! Нет, все, что угодно, только не производство кислоты из тех концентратов, которые потом пойдут на плавку. На это соглашаться нельзя. И хотя он уже согласился на это в разговоре с Караматиным, он отменит свое согласие, предложит другой способ.

Он читал как-то о производстве серной кислоты из отбросных конвертерных газов. В самом деле, чем не сырье? Каждый медеплавильный завод ежегодно выбрасывает из своих труб миллионы кубометров сернистого газа, этот газ оседает на землю, сжигает растительность, отравляет людей. Пустыня, мертвая пустыня окружает каждый такой завод. А если этот газ уловить, не выпуская его в воздух, и направить в контактные аппараты, то получится серная кислота, та самая серная кислота, без которой они не могут производить медь.

Так, разговаривая с самим собой, убеждая и опровергая себя, он пришел на совещание к Сильченко. Назаров сухо поздоровался с Седюком. Его обида еще не прошла, и он нарочно подогревал ее. Докладчиком был Назаров — уж одно это доказывало, что совещание созвано по его

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

инициативе и что он не скрыл разногласий со своим главным инженером. Но в докладе его, как и ожидал Седюк, не было ничего нового и спорного: без кислоты не обойтись, проект и строительство сернокислотного цеха нужно форсировать, чтобы еще до пуска завода накопить достаточные резервы кислоты.

Сильченко повернулся к Седюку:

— Ваше мнение?

Седюк понимал, что от него ждут возражений. Он сказал спокойно:

— Что же, доклад правилен. Кислота нужна.

Сильченко удивленно переспросил:

— Значит, возражений у вас нет?

— Нет, — подтвердил Седюк. — Но стандартная схема неудобна и нерациональна. Я хочу предложить другое...

Он начал излагать свою мысль.

Удивление и настороженность на лицах слушавших его людей показывали, насколько новой и смелой кажется им всем его идея.

Когда Седюк кончил, Сильченко спросил:

— На каком-нибудь заводе уже опробована эта предлагаемая вами схема?

— Не знаю, Борис Викторович. Возможно, в других странах есть что-нибудь похожее. Я не читал о работающих цехах, но идея такого производства упоминается во многих местах.

Сразу вспыхнул спор. Караматин хмуро сказал, что он проектант и обязан в своих чертежах предлагать только то, что не вызывает сомнения. Конечно, осуществление схемы товарища Седюка сулит огромные преимущества, но при одном «если»: если она осуществима. Он, Караматин, считает, что проектировать нигде не испробованный процесс — безумие.

Назаров поддержал Караматина: если схема, предлагаемая главным инженером медеплавильного, не пойдет или пойдет плохо, это приведет к провалу всего завода — о таких вещах надо заранее думать и думать.

Вслед за Назаровым встал Телехов. Его лицо порозовело, сам он, казалось, помолодел. Седюк почти с нежностью смотрел на старого инженера. Этот человек когда-то на заре пятилеток был одним из самых смелых новаторов страны, одним из создателей отечественной электрометаллургии, его курс, ставший настольным для студенчества, при своем появлении вызвал нападки и споры, он был расценен как вызов всем признанным авторитетам, как потрясение всех священных догм. И вот сейчас усталый, осуществивший, может быть, все, что ему полагалось осуществить в жизни, он встрепенулся, как только услышал новое, свежее слово.

Он стал живо и радостно защищать мысль Седюка. Когда он кончил, Сильченко не громко сказал Седюку:

— Еще один вопрос к вам. Всякому интересно утилизировать отбросные газы, вместо того чтобы отравлять ими землю и людей, а между тем нигде это не делается. Как вы думаете, почему?

Вопрос этот был естественным и логичным. Седюк сам задавал его себе. Но от этого он не становился более простым. Конечно, он не может ручаться ни за что, и трудности с новым методом неизбежны, и сам по себе он очень не прост. Ясно одно: преимущества предлагаемого метода так велики, что стоит пойти на любые трудности, лишь бы осуществить его.

— Дайте-ка мне, Борис Викторович, — проговорил молчавший до этого Дебрев.

Он сразу разглядел в поведении Сильченко недоверие к новой идее. Одно это заставило его защищать Седюка — в последнее время Дебрев ощущал непреодолимую потребность везде, где можно, делать все наперекор Сильченко.

— Вы говорите, новый процесс? — сказал он, обращаясь к Караматину. — А почему мы не можем попробовать в Ленинске новый процесс? Нигде в мире не применяли высоковольтного электропрогрева, а мы попробовали — и ничего, пошло! Мы не ставим все на одну карту, как азартные игроки. Если опыты покажут, что переработка конвертерных газов в кислоту идет плохо, мы всегда успеем возвратиться к испытанной схеме. Я предлагаю: без всякого промедления пристраивать к опытному цеху экспериментальную сернокислотную установку и ставить на ней новый процесс. А Семен Ильич пока, конечно, пусть делает свой стандартный проект. — И, повернувшись к Сильченко, Дебрев проговорил с еле заметной, но всеми сразу угаданной иронией: — Вы часто говорите, Борис Викторович, что нам необходимо сейчас дерзать, творить, прокладывать новые пути. Чем это не новый путь в технике?

Мнение Дебрева решило спор. Сильченко в отличие от Дебрева, защищавшего любое свое мнение, раз уж оно высказано, часто уступал главному инженеру в технических спорах.

После совещания Седюк вернулся в опытный цех. Теперь, когда ему удалось отстоять свою идею, все повернулось совсем иной стороной. Он вспомнил возражения Караматина и Назарова, пытливые вопросы Сильченко. Да, он, пожалуй, поторопился. Конечно, старый процесс был сложен, наладка его могла затянуться и снизить выдачу меди. Но новый процесс неясен, шут его знает, какие еще неожиданности в нем откроются. Сильченко прав: специалисты до сих пор нигде не пускали еще процесса на конвертерных газах, а он прочитал об этом процессе в случайной статье и еще два-три слова в учебниках и сразу бахнул: мы можем! Нет, Сильченко молодец, он в серной кислоте никак не разбирается, но всем своим опытом старого хозяйственника понял — рискованно. И Караматин, если говорить по-честному, прав — он не может проектировать нигде не испробованные процессы. Телехов, старик, загорелся от первого его слова: он, наверно, вспомнил, как ему самому приходилось копя ломать, но ведь он не химик, поддержка его от принципа, что все новое и передовое нужно поощрять. «Правда, и Дебрев поддержал, и крепко поддержал, а он уж разбирается в деле, — возразил себе Седюк. Но тут же строго прикрикнул на себя: — Не гордись! Это не потому, что план твой хорош, нет. Просто он верит в тебя, он тебя откопал, и пока ты оправдываешь его надежды. А тут ты опозоришься... А может, не опозоришься?»

С этими невеселыми мыслями он зашел к Кирееву. Киреев в плавильном отделении испытывал только что пущенную опытную отражательную печь. Плавкой руководил Романов, но Киреев то и дело вмешивался в его распоряжения. Переведенные на прошлой неделе в опытный цех нганасаны Яков Бетту и Семен Яптуне, в брезентовых спецовках и кожаных рукавицах, подбрасывали лопатами флюсы в раскрытые окна печи. Киреев, раздражаясь, доказывал Романову:

— Ста градусов не хватает, понимаете? Если вы немедленно не добавите факела, вся плавка пойдет в брак!

Романов говорил просительно:

— Хватает температуры, Сидор Карпович, ей-богу, хватает. Вот разрешите мне довести плавку до конца, сами увидите. Поверьте старику, за последние тридцать лет ни разу плавку в брак не выпустил.

— Бросьте, пусть Василий Евграфович сам ведет плавку, — посоветовал Седюк. — А вы лучше пойдите со мной, надо посоветоваться.

Киреев был рассержен, что Седюк его не поддержал, и слушал невнимательно.

— Все знают, что серная кислота необходима, в Ленинске об этом говорят даже в детских садах, — сказал он грубо. — Возьмите элементар-

ный учебник по основной химии и списывайте — обжиг сульфидов или элементарной серы, окисление сернистого газа в серный, поглощение его серной же кислотой, и больше ничего. Что тут исследовать? Только то, насколько полученная таким образом серная кислота окажется дороже золота.

— В том-то и дело, что мы хотим получать ее из отвального сырья, которое ничего не стоит, — объяснил Седюк. — И вот я сомневаюсь, что это пойдет...

Смысл слов Седюка наконец-то дошел до Киреева. Он задумался. А когда заговорил, уже был убежденным сторонником нового метода.

— Вздор! — закричал он запальчиво. — Какие тут могут быть сомнения! Именно конвертерные газы — ведь этой дряни будет до черта, она всю растительность нам погубит, а тут мы ее перехватим и пустим в полезное дело. Нет, правильно, правильно, только конвертерные газы! Я уже давно об этом процессе подумывал!

— Ничего вы об этом не думали, — сухо возразил Седюк. — Просто у вас дурная привычка хвататься за всякое новое дело только потому, что оно новое, независимо от его существа. А я боюсь, что взялся строить каменное здание на соломе. Ведь никто еще до сих пор...

— Вы говорите чепуху! — закричал Киреев. — Все, что вы говорите, вздор, потому что вы правы — нужно использовать конвертерные газы, и, отвергая это, вы не правы.

— Вздор... Правы... Не правы!.. — досадливо промолвил Седюк. — Ей-богу, голова трещит от этой неразберихи. Остыньте немного, тогда поговорим. А сейчас я пойду к Кольцовой — помнится, она кое-что смыслит в серной кислоте.

Но Киреев, не отставая, провожал Седюка до самой химической лаборатории и все убеждал его братья без страха за новое и «такое интересное дело, подумайте сами, Михаил Тарасович!».

9

Седюк вошел к Варя, когда она, кончив смену, надевала пальто.

— Вы меня проводите, Михаил Тарасович? — спросила она.

— Непременно провожу, Варя. Но сейчас снимите пальто: у меня к вам дело и — длинное. Скажите, вы имеете какое-нибудь отношение к серной кислоте?

Она ответила, что отношение к кислоте у нее самое прямое — дипломный проект она защитила по камерному производству кислоты, первый завод, на котором ей пришлось работать, тоже был сернокислотный. А зачем ему знать это?

— Я ничего не слыхала о таком методе, — сказала она, выслушав Седюка. — На тех заводах, где мне пришлось бывать, он не применялся.

— Неудивительно, — рассмеялся Седюк. — Зачем в обычных условиях перерабатывать сложные по составу и сильно запыленные газы, когда есть чистая кусковая сера и железосернистые руды? Вся суть в том, что мы в Ленинске, на краю земли... Приходится мудрить.

Варя с сочувствием слушала его. Она понимала его тайный страх, хотя он в этом страхе не признавался. Теперь, после того как он настоял на своем, ему нельзя было ни отступить, ни колебаться. Он должен быть твердо убежден в своей правоте, а убежденности этой не было. Помолчав, она спросила:

— А чем я могу вам помочь?

— Очень многим, Варя. Вы примете участие в исследованиях и проектировании, будете монтировать промышленную установку. И еще я

порекомендую вас в главные инженеры сернокислотного цеха. Не пугайтесь, не боги чертежи выпускают. Мы все поможем вам.

Они вышли к семи часам. Сторож запер за ними дверь, в цехе остался один Киреев. Недавно промчалась пурга, и снег, отполированный ветром, сухо скрипел под ногами. Седюк повернул от широкой автомобильной дороги на тропинку. Варя остановила его.

— Михаил Тарасович, мы ходим только по дороге, в лесу снежные наносы.

Но он молча взял ее под руку и увлек за собой. Дорога с каждым шагом становилась хуже, только узкая стежка пролегла в снегу. Седюк оставил Варю и пошел вперед.

Вокруг них темнела и поднималась ввысь огромная праздничная ночь. Было совсем тепло, не более двадцати градусов мороза. Тучи разорвались и ушли, над лесом висели неяркие, похожие на льдинки звезды. Их затмевало неистовое, метавшееся по небу сияние. Оно начиналось в полной тьме, горизонт вдруг вспыхивал желто-зеленым пламенем, и с запада на восток мчались огромные сияющие реки. Реки сияния кружились, заворачивались в кольца и раскидывали сверкающую всеми цветами бахрому — она расширялась, превращалась в копья и стрелы и опадала. Небо роняло эти сияющие копья и стрелы, как дерево в осенний холодный ветер роняет свои листья.

— Интересно, сколько люксов дают все эти беспорядочные танцы электронов в ионосфере? — шутиливо сказал Седюк.

Но Варе не по душе был этот трезвый разговор. Совершавшееся в небе сумрачное пышное торжество вызывало в ней совсем иные чувства. Она сказала тихо:

— А мне кажется, небо страдает и корчится от мук. Эти языки пламени и копья — безмолвные крики, вырывающиеся наружу.

— Ой, ой, сколько поэзии, — засмеялся Седюк. Он снова взял Варю под руку. — Пойдемте, Варя, эта небесная кинокартина, конечно, великолепна, но зал не отапливается и долго стоять на одном месте не рекомендуется.

И все-таки он был взволнован и покорен развернувшейся над ними великолепной картиной, и она это чувствовала. Седюк крепко прижимал к себе ее руку, и теперь это было совсем иное пожатие, чем обычно, когда они возвращались домой и он поддерживал ее. Он шел медленно, словно для того, чтобы не прогнать быстрым шагом ощущение близости и теплоты, возникшее между ними. Снег завалил низкорослые деревья по самую макушку, на твердых его сугробах и пластах кое-где торчали, словно иглы, вершинки лиственниц. Потом, когда они выбрались из низины, погребенной под глухими завалами ручья, снега стало меньше, а деревьев больше, и деревья снова вытягивались в рост человека. Седюк и Варя молча, неторопливо пробирались по тропе, карабкались на сугробы и холмы, и это их долгое взволнованное молчание в сияющей темноте праздничной ночи казалось им важным, до предела наполненным, захватывающе интересным разговором.

На вершине холма, где они когда-то открыли заросли цветущего кипрея, Седюк остановился передохнуть. Он всматривался в непроницаемое пространство, но ничего не было видно, кроме редких лиственниц, неясно встающих вблизи, и неистового сияния, пляшущего в небе. Варя тихо положила руку ему на плечо. Он повернул к ней лицо, она догадывалась, что он улыбается: ему было приятно прикосновение ее руки. И тогда внезапно для самой себя она спросила, чувствуя, что сейчас можно и даже необходимо об этом говорить, и замирая от собственной смелости:

— Михаил Тарасович, скажите... Мне говорили... я знаю... Где ваша жена?

Она сама не знала, какой непрерывно ноющей и скрываемой ото всех раны она коснулась. А он удивился тому, что ее вопрос не рассердил его, не вызвал гнева. Еще совсем недавно Сильченко спросил его о том же, и он готов был наговорить Сильченко дерзостей, лишь бы не отвечать. А сейчас этот проклятый, мучительный вопрос представлялся ему простым и неизбежным, он даже удивился, что Варя до сих пор никогда не спрашивала его об этом. Он видел ее лицо, светящееся в сумраке, вглядывался в ее большие, казавшиеся теперь темными глаза. И то, что надо было настойчиво защищать от пытливой пронизательности Сильченко, можно, даже непременно нужно было рассказать этой малознакомой, недавно встретившейся девушке, рассказать, ничего не скрывая, ничего не приукрашивая. Все же он помедлил с ответом — не хватало слов.

— Не знаю, Варя... Может быть, просто покинула меня. Может быть, умерла. Она пропала, Варя!

Она ответила тихо:

— Не понимаю.

Он горько засмеялся и заговорил весело, своим обычным насмешливым тоном:

— А что тут непонятного? Обычная история: муж — здесь, жена — там. Многие семьи у нас стянуты такими некрепкими обручами, толкни, и все разваливается. — Он умолк, потом продолжал уже серьезно: — А факты, Варя, таковы: она осталась по ту сторону фронта. Соседи эвакуировались, а она осталась. Последнее письмо было из Ростова. Она писала, что не знает, где я, и спрашивала, что ей нужно сейчас делать. Я дал ей телеграмму — немедленно уезжать, она не ответила. Я потом разыскал соседей, они сообщили, что Мария в день их отъезда даже не готовилась к эвакуации. Даже не готовилась, вы это понимаете?

— Может быть, она не верила, что наши войска сдадут город? — спросила Варя.

— Оставьте, Варя! Все жители слышали приближающуюся орудийную пальбу, видели наши отступающие части. Нет, дело не в этом.

— Так в чем же, Михаил Тарасович?

Он молчал, заново вспоминая и обдумывая то, что постоянно мучило и угнетало его. Варя тоже молчала, не мешая ему думать. Она знала, что он заговорит. И он заговорил без оглядки, неудержимо, выкладывая на этот раз все: и факты, и сомнения, и муки, и бешенство, терзавшие его. Пусть Варя знает все. Мария красивая женщина, очень красивая, в этом, может быть, истинная причина всех ее несчастий. Отец ее был знаменитый актер, мать взбалмошная, капризная женщина. Марию с детства безмерно баловали, она привыкла к тому, что все создано только для того, чтобы ее ублажать. С годами это чувство крепло. Она всегда была бесконечно уверена в действии своей красоты на людей, уверена, что никто не причинит ей зла, все могут только бороться за право ей угождать. И, собственно, ее ничего искренне не интересовало, кроме вот этого, чтобы вокруг нее вертелись и угождали ей. Ну, что ж, Варя должна это знать: жизнь их была неудачной. Он кончил институт, его послали в провинцию, она отказалась ехать с ним. Дело чуть не дошло до разрыва. Перед самой войной произошла вторая ссора, он предложил развод, она в раздражении согласилась, потом искала примирения. Война, как ни странно, снова сблизила их — было не до своих мелких горестей, когда такое огромное горе обрушилось на всю страну. Мария в это время была очень одинока: мать у нее умерла, отец погиб в октябре сорок первого в ополчении, она страдала и металась, она очень любила отца. Он, Седюк, приехал по делу в Москву и увез ее к себе на Кавказ, но оставил

в Ростове у знакомых, — это была, конечно, большая ошибка, нужно было везти ее дальше. Она прихворнула, он не хотел, чтобы она блуждала с ним по прифронтовым дорогам. Перед его отъездом у них был нехороший разговор. Она прямо сказала, что не верит в зверства немцев, все это вздор, газетные выдумки, на свете не может быть людей, совершающих то, что приписывают немцам. Он часто вспоминал этот разговор, она говорила с такой убежденностью... И вот муж где-то пропал, все кругом страшно перепуталось, нужно быть решительной, терпеливой, настойчивой — всего этого ей как раз не хватает. И притом она воображает, что фашисты такие же люди, как все, и никаких зверств не будет. «Она сама, сознательно могла остаться, понимаете, Варя? Из недоверия к нашим газетам, от убежденности, что ей везде будет хорошо, от эгоизма красивой женщины, которой наплевать на всеобщее горе...» Когда он думает об этом, он ненавидит ее. В эти минуты он жалеет, что перед войной не настоял на своем, не развелся, он имел бы право не вспоминать о ней, выбросить ее из своей жизни как ошибку. А потом начинает мучиться. Что с ней? Где она? Конечно, она виновата, но, может быть, нынешняя ее горестная жизнь искупила ее вину. Когда он так думает о ней, ему кажется, что еще никогда она не была ему ближе и дороже. И он готов все ей простить за ее теперешние страдания. Впрочем, все это очень сложно и запутанно, он сам во всем этом еще как следует не разобрался, говорить об этом трудно.

Он замолчал. Варя взяла его под руку и тихо спросила:

— Пойдемте, мне холодно.

Они медленно поднимались к поселку. У Вариного общежития они остановились. Он стоял перед ней мрачный и взволнованный. Варя сказала, положив руку на его рукав, глядя ему прямо в глаза:

— Михаил Тарасович, а может быть, все это совсем не так? Ну, что там соседи видели и знали! Может быть, она эвакуировалась куда-нибудь в глушь и не пишет оттого, что не знает вашего адреса.

Он с горечью покачал головой.

— Нет, Варя. Не будем обманывать себя. Я оставил свой адрес всем нашим знакомым, отсюда писал письма. Если бы она оказалась на нашей стороне, кто-нибудь получил бы от нее весточку.

10

Это был дружеский разговор, хороший дружеский разговор, в нем он раскрыл перед ней всю свою душу. Теперь она знает о нем самое главное: у него есть жена, она красива, очень красива — так он сказал, — он любит ее. И ее нет, она пропала, может быть умерла. Варя стояла на лестнице и не могла открыть дверь в свою квартиру — там были девушки, а ей хотелось побыть одной. Она смотрела перед собой сияющими, счастливыми и печальными глазами и видела весь пройденный ими путь — заваленный снегом лес, торжественно нарядное сияние, дверь парадной. Она ощущала прикосновение его руки, слушала его горькое признание. Она думала только о нем и о его горе. Ей казалось, что она могла бы умереть, только бы он стал счастлив со своей найденной женой. На глазах у нее выступили слезы, она решила и рванула дверь — больше нельзя было стоять на лестнице, она боялась, что разрыдается.

В комнате на кровати одетая спала Ирина Моросовская. Зины Петровой не было. Варя умылась, разогрела ужин и села за стол.

В половине девятого, минута в минуту, проснулась Ирина. Она открыла глаза, потом вскочила и не спеша, но быстро стала собираться.

— Вы так скоро, Варя? За вами, кажется, зашел Седюк?

— Мы разговаривали о серной кислоте,— пояснила Варя, изо всех сил стараясь не краснеть.— Знаете, Ирина, у нас начинается новое производство. Немцы потопили всю нашу кислоту, а без нее нельзя.

— Да? — равнодушно переспросила Ирина.— Очень интересно. Мне тоже показалось, что ваш поклонник увлечен: он разговаривал с таким жаром.

Варя почувствовала, что краснеет.

— Товарищ Седюк мой друг, а не поклонник,— сказала она с досадой,— и даже не друг, а просто хороший знакомый.

— Вот я и говорю, хороший знакомый,— ответила Ирина. Она напудрилась, тщательно подкрасила губы и внимательно осмотрела себя в зеркале.— Я совсем не хочу лезть в ваши личные дела, Варя, но просто все наши девочки считают, что Михаил Тарасович за вами ухаживает, а Зина Петрова прямо говорит, что вы скоро поженитесь.

— Какой вздор! — воскликнула Варя, вспыхнув.

— Я тоже считаю, что это чепуха,— заметила Ирина, внимательно взглядывая на Варю. — Я, вероятно, поздно приду: у Владимира Леонардовича важные опыты по обогащению углей, он просил меня вечером помочь ему. Очень прошу, не запирайте двери на крючок, а только на ключ, чтобы я вас не беспокоила.

— Хорошо,— пообещала Варя.— На дворе темно и пустынно, Ирина, сейчас очень опасно ходить одной.

— Что вы, Варя, кругом горят фонари. А ночью меня проводит Владимир Леонардович.— Она подошла к Зининой тумбочке и порылась в ней.— На всякий случай я возьму электрический фонарик. Зина вчера его принесла и куда-то задевала.

— Она кинула его на стол, а я спрятала в ящик шкафа, там лучше. Вот, возьмите.

— Вы ужасный человек, Варя,— проговорила Ирина и улыбнулась.— Я иногда смотрю на вас и удивляюсь: вы способны, не злясь, сто раз ставить на свое место брошенную где попало кружку. Мне кажется, это иссушает душу!

— Зато порядка стало больше,— возразила Варя.

Порядка в самом деле было больше, хлеб уже не лежал возле мыла, постели были аккуратно заправлены. Но в остальном ничего не изменилось, в комнате было шумно и неспокойно, к Зине — она была заводилой — прибегали девушки со всего общежития.

Варя привязалась к Зине, она была веселой, сердечной девушкой. Ирина по-прежнему не нравилась Вале своей трезвой рассудительностью, своим равнодушием. Но было в ней что-то хорошее, может быть ее прямота и незлобивость. Зина Петрова иной раз, обидевшись на какое-нибудь замечание Ирины, начинала кричать и сердиться, но на другой день они мирились. Примирения обычно просила Зина, но Моросовская тотчас соглашалась забыть ссору.

Варе нравилось, что Ирина ни о ком не отзывалась худо, а о своем руководителе Газарине она своим холодным, ровным тоном говорила восторженно — по ее словам, не было таких достоинств, какими не обладал бы Газарин, умный, талантливый, добрый и даже красивый, с чем Варя уже не могла согласиться.

— Да не влюблены ли вы? — воскликнула однажды Варя, слушая Ирину.

Ирина ответила со свойственной ей прямой рассудительностью, поразившей Варю больше, чем неожиданный приступ откровенности у других людей:

— Он мне нравится. Я иногда подумывала, не сделать ли так, чтобы он начал за мной ухаживать. Хорошо, когда есть такой муж, как он. Но

это неосуществимо — у него жена и двое детей. Они где-то в Ленинграде, на письма не отвечают, но он надеется, что они живы. Жена и двое детей... Нет, ничего серьезного в этих условиях получиться не может.

В одиннадцать в комнату к Варя постучали Сеня Костылин и Вася Накцев. Костылин ухаживал за Зиной, но по общему признанию без успеха. Зина открыто утверждала, что так будет всегда: она не терпела тех, кто ей угождал.

— Здравствуйте, Варвара Петровна! — громко и вежливо поздоровался Костылин еще на пороге. Варя была старше его почти на пять лет, и он невольно обращался с ней иначе, чем с другими девушками. — Зашли на огонек. Как, Зина еще не вернулась из клуба?

— А я даже не знаю, в клубе ли она, — ответила Варя. — Когда я пришла домой, ее уже не было.

— Долго они там трудятся, — неодобрительно сказал Костылин. — Полный рабочий вечер — покрепче, чем у нас на площадке. Ну, извините за беспокойство, мы с Васей потопаем.

Но Варя встревожилась. По городу ползли страшные слухи о ночных нападениях, ограблениях и убийствах. Это не были праздные рассказы. Неделю назад в снегу нашли труп убитого бухгалтера шахты. А через два дня произошло событие, поразившее своей дерзостью весь Ленинск. Под самое утро на кухню столовой явились трое, закутанные до глаз, показали повару и судомойке ножи и утащили два мешка консервов и сахара, отпущенных со склада на приготовление завтрака.

Варя попросила Костылина пойти Зине навстречу. Сеня, поколебавшись, — он знал, что Зина не любит, когда с ней обращаются, как со слабой девочкой, — решил.

— Пошли, Вася, — сказал он приятелю. — Ничего, конечно, не случилось, а для порядка проверить надо.

Они возвратились через полчаса все вместе. На Зине лица не было. Обычно живая и решительная, она была бледна, перепугана и, не раздеваясь, села на свою кровать. Варя с ужасом слушала ее рассказ.

После репетиции Зина вышла позже всех, в самый пустынный час. Рабочие ночной смены уже прошли на свои площадки, а вечерняя смена еще не возвращалась. У самого их общежития, на мостике через Волчий ручей, ей встретились двое — оба страшные, огромные, глаза у них горели, как фары. Один схватил ее за воротник, другой вцепился в рукав. Она стала отбиваться и кричать, второй вытащил нож, но она вырвалась и побежала назад. Первый отстал сразу, а другой долго бежал за ней и кричал: «Стой, падло! Стой, говорю!» Она снова ворвалась в клуб, там уже было все закрыто, только сторож сидел в вестибюле. Тут ее настоящему стал трясти страх, до этого она так бежала, что не успевала бояться, а сейчас просто умирала от страха, вскрикивала, когда ветер хлопал дверь, хватала сторожа за руки. Она так и решила до самого утра никуда не выходить. Здесь ее нашли Сеня с Васей. Но она и им сказала, что скорее умрет, чем выйдет на улицу.

— Ты знаешь, Варенька, я не пугливая, — говорила Зина, содрогаюсь от страшного воспоминания, — но когда он вытащил нож, мне вот так просто и показалось, что сейчас у меня случится самый настоящий разрыв сердца.

— Теперь тебе самодеятельность придется бросать, Зина, — сказал Костылин. — Охота каждый день ножа ожидать.

Верная себе, она огрызнулась:

— Ну, прямо, каждый день! Стану уходить со всеми, только и всего. Тогда он решительно сказал:

— Ну, если так, я буду тебя встречать. И если кто полезет, не порадуется!

Варя, улыбаясь, посмотрела на Костылина, а Зина, немного оправившаяся, уже готова была самозабвенно ругаться. Она гневно закричала: — Не хвастайся! Терпеть не могу, когда мальчишки хвастаются. А сейчас уходите. Совсем бесовские стали. Позже двенадцати в женском общежитии нельзя оставаться, а вы все торчите. И смотри, Сеня, завтра полдвенадцатого приходи — без тебя я ни шагу не сделаю.

— Не сомневайся! Буду, как штык,— пообещал он, обрадованный таким поворотом дела.

Измученная Зина заснула быстро, а Варя все не могла уснуть. Ее кровать стояла у самого окна, напротив на улице висел электрический фонарь. Ветер раскачивал его, и по комнате то пробегали сумеречные полосы света, то наступала густая темнота. Варя снова возвратилась мыслью к разговору с Седюком. Она все больше чувствовала, что разговор этот бесконечно важен для нее каким-то особым, скрытым значением. «Что же, что это?» — думала она и старалась понять этот скрытый смысл, но все снова расплывалось и путалось. И вдруг она поняла: это была тайна. Тайна связывала его, жила в нем постоянной болью, теперь он высказался, ему стало легче. А она разделила его тайну, она этим связана с ним, стала ему ближе.

«Глупая,— сказала она себе с упреком.— Он сейчас спит и видит сны, и, поверь, тебя в этих снах нет, а ты думаешь о нем, все думаешь, все думаешь!»

И от этой страшной несправедливости ей стало горько. Она вытерла выступившие от обиды слезы и приказала себе спать. Но сон не шел. То она видела лицо Седюка, то темную долинку, заваленную снегом, верхушки лиственниц, снова его лицо. И над всем поднималась широкая, неправдоподобно нарядная ночь, струилось, металось и плясало сумрачное пышное сияние, небо осыпалось красными, зелеными, желтыми иглами. Она уже не думала ни о нем, ни о его жене, ни о себе,— неистовая цветочная буря металась по комнате, наполняла и поглощала ее, дышала свежим холодом. Откуда-то издалека отчетливо пробило три часа. В замочной скважине осторожно звякнул ключ. Варя, испуганная неожиданным звуком, приподнялась на кровати. В комнату тихо вошла Ирина. Она минуту стояла у двери, приглядываясь к темноте, потом сделала несколько шагов.

— Включите свет, Ирина,— прошептала Варя.— Зина спит, она ничего не услышит.

Но Ирина не подошла к выключателю, а остановилась посреди комнаты. В полусвете сияния, проникавшего сквозь замерзшее окно, она вырисовывалась смутно и неопределенно. Она запрокинула вверх руки, откинула назад голову и прижала ладони к вискам. Платок сполз с ее головы и с шуршанием свалился на пол. Варя приподнялась на кровати.

— Ирина! — сказала она тревожно. — Ирина!

Ирина медленно подошла к кровати и, еще не сев на нее, крепко обняла Варю за голые плечи. Она была непохожа на себя, обычную, равнодушную, спокойно-ленивую. В комнате было темно, но Ирина вся словно светилась внутренним волнением. Внезапно, вспомнив о Зине, Варя сказала первое, что пришло в голову:

— Он проводил вас, Ирина? На улице сейчас очень страшно.

Она прошептала:

— Да, он проводил меня. Он такой хороший, Варя, такой хороший! — Ее голос и слова подтверждали то, что Варя уже угадала. И Ирина знала, что Варя все знает и ничего объяснять не нужно.

И, потрясенная, Варя проговорила:

— Да ведь у него жена и дети, он никогда их не оставит. Зачем вы разбиваете себе жизнь?

Ирина вскочила, оттолкнув Варю.

— Ну и что же? — сказала она совсем громко. — Какое мне до этого дело? — Испуганная своим голосом, она оглянулась — Зина спала. Она снова села на кровать, положила руку на Варино плечо и проговорила со страстным убеждением: — Какое это имеет значение, Варя? Какое значение?

— Очень большое, — сказала Варя скорбно. — Как вы не понимаете? На всю жизнь или просто так...

— Нет, не так, не так! — прервала ее Ирина. — Нельзя это говорить, Варя. — Она зашептала горячо, страстно: — Нет, Варя, нет! Ты пойми, мы мучаемся. Мне двадцать пять лет, а жизни я не видела. А жизнь проходит, лучшие годы жизни, пойми это, Варя! И сколько так еще ждать, в одиночестве, я тебя спрашиваю, сколько? Ты не знаешь, и я не знаю, и никто не знает. Ну и пусть он женатый, разве я виковата в этом? Но он любит меня, а я так хочу, чтоб меня любили! Я так хочу, чтоб меня любили! — с вызовом повторила она, поднимая голову. И снова, наклонившись к Варе, она проговорила с глубокой верой в свои слова: — И я тебе еще скажу: для кого мне хранить себя? Может, он, тот, на всю жизнь, совсем не придет или придет злой, несправедливый, будет меня обижать, мучить, изменять мне, разве мало таких? Мне говорят: «Ты красивая, найдешь свое счастье», а я не хочу быть красивой, хочу быть счастливой! Думаешь, я не знаю, что все это ненадолго? Знаю, знаю, все знаю. Если он уйдет назад, к жене, слова ему не скажу в укор, потому что я сама виновата. А сейчас я счастлива, и ничего мне больше не нужно. Я вот сколько лет ждала этого и все боялась, шаг боялась сделать, а сегодня сама бросилась ему на шею!

Варя отвернулась от нее и положила голову на подушку. Ей было плохо. Сердце ее тяжело стучало и металось, голова кружилась. Ирина шептала ей горячо и ласково:

— Варенька, дорогая, я же все вижу, ты любишь его. И он тебя любит, поверь, глупая! Чего же ты ждешь еще? Для кого, Варенька? Ну и пусть он женатый, как мой Володя, а сейчас он мой и долго еще будет мой, долго, Варя!

Но все это было так далеко от того, о чем мечталось Варе, что она застонала от отчаяния и обиды. Она прошептала сквозь слезы:

— Не говори мне этого, не надо, не надо!

11

Начавшаяся полярная ночь неторопливо разматывала свои напасти — морозы крепчали, одна пурга сменяла другую, над землей висели непробиваемые темные тучи. Радио подолгу не работало, в клубе месяц крутили одну и ту же всем надоевшую кинокартину. Ленинск превратился в остров, наглухо отрезанный от всей страны. Только теперь Седюк понял, какой глубокий смысл был в словах северных старожиллов, когда они говорили: «Там, на Большой Земле», или: «Там, на материке». И когда в мелькнувшее окошко хорошей погоды прорвались сразу три самолета с новыми людьми, медикаментами и газетами, он так же «слетел с точки», как и все в поселке. Установившийся в Ленинске порядок жизни «днем и ночью работаем, остальное время спим» (так определил Янсон) был сметен.

У клуба не иссякала толпа, все хотели попасть в кино. Привезенные новые фильмы показывали с десяти часов утра до четырех часов ночи, и мест ни на один сеанс не хватало. Во всех цехах и строительных конторах охотились за свежими людьми и комплектами газет. И на людей и на газеты записывались в очередь, пытались добыть их вне очереди, при-

меня запрещенные методы борьбы и без зазрения совести подставляя соседу ножку. Седюк, узнав о самолетах, кинулся в проектный отдел — ждать, пока газеты дойдут до опытного цеха, он был не в силах.

Он попал в самый пожар страстей. Во всех семнадцати комнатах проектного отдела уже второй день не было ни одного работающего человека. Отдел превратился в рассыпавшееся на семнадцать очагов политзанятие или митинг. На чертежных досках были расстелены газеты, над каждой газетой склонялись десять голов, еще десяток человек, не добравшись до вожделенной помятой полосы, стояли рядом, слушали и вмешивались в споры. Обсуждение и страстные дискуссии открывались посреди чтения и едва ли не после каждой статьи. Прочитанную газету передавали на следующий стол или уносили в соседнюю комнату, где обменивали на другую.

Седюк хотел знать одно — что со Сталинградом? Он пустился отыскивать ту комнату, где читали самые ранние газеты, чтобы проследить все сводки по порядку. Вот уже два месяца изо дня в день, утром и вечером, радио сообщало только о боях в районе Сталинграда и Моздока. Давно уже прошло то время, когда в каждом сообщении мелькали все новые и новые названия оставляемых городов, покидаемых речных рубежей, люди уже не находили в самой сводке картины отступающих армий, брошенной техники, окруженных, пробивающихся с боями дивизий. Но люди научились читать и слышать между строчками. Если диктор говорил, бои идут упорные, напряженные, ожесточенные и тяжелые, то все понимали, что все это совсем различные бои. Когда только упорные — еще не страшно, войска удерживают свои рубежи. Если напряженные — значит, нам трудно, у немцев перевес, мы напрягаем все силы. Если ожесточенные — немцы рвутся вперед, атаки сменяются контратаками, земля горит под ногами — таков ожесточенный бой. А уж когда тяжелые, тогда в самом деле тяжело сверх меры, мы отступаем, теряем людей и технику. Самые лучшие бои — активные: мы продвигаемся вперед, выбиваем немцев. И по радио в сообщениях о Сталинграде чаще всего слышались самые грозные слова: напряженные и тяжелые бои. Еще нигде не было сказано, что сражение, вспыхнувшее у стен Сталинграда, — величайшее, решающее сражение всей войны, но каждый чувствовал: это так. И никогда за все время войны ни одна сводка не порождала такой тресогги, такого молчаливого ожесточения, как простая, изо дня в день повторяющаяся сводка Сталинградского сражения. Первые известия о вторжении немцев в Сталинград, об уличных боях, о сражении в заводских корпусах вызывали страх и ненависть. Теперь к этому чувству прибавилось новое — гордость за великий, истерзанный, непобедимый город. Сводки еще говорили о немецких успехах: враг прорвался к Волге, разрезал наши армии надвое, захватил центр города, все исступленнее грохотала битва в цехах тракторного и металлургического заводов, один за другим падали все новые и новые городские кварталы, улицы и дома. Но слово «Сталинград» уже означало не высшую точку фашистского наступательного движения — это был образ великой стойкости, негибаемого мужества, неслыханных трудностей и блистательного умения преодолевать их.

Седюк с жадностью читал газету за газетой. В статьях военных корреспондентов вставляли живые картины великого сражения: бои за овраги, улицы и дома, битвы с танками в разрушенных заводских цехах, ночные переправы через Волгу под бомбежкой, схватки в воздухе.

— Какие заводы погибли! Лучшие заводы нашей страны! — услышал Седюк. Он повернулся и увидел Телехова. Старик страдал. Седюк вспомнил, с какой любовью Телехов описывал Сталинградский завод качественных сталей. На этом заводе неистовее всего бушевала война, именно здесь непоправимее всего были разрушения. Седюку захотелось сказать

Телехову что-нибудь ласковое, что-нибудь такое, что отвлекло бы его от мрачных мыслей. Но он не решился — такая горечь звучала в голосе старика, так угрюмо и печально было его лицо.

В комнату строителей густо повалил народ, ожидался доклад прилетевшего в Ленинск фронтовика Симоняна. Люди размещались на стульях, столах, подоконниках, даже на чертежных досках. Потом появился Телехов с Симоняном — высоким, быстрым человеком в военной шинели. Он стал говорить, и вдруг тесно заполненную комнату заволкли клубы взметенной разрывами пыли и дыма, наполнил гул канонады... Густой махорочный дым, быстро стгутившийся в комнате, еще усилил это впечатление. В дыму мелькало темное лицо Симоняна с огромным хищным носом и нестерпимо пылающим глазом — второй был навсегда прикрыт черной повязкой. Голос у Симоняна был тонкий, пронзительный, всюду слышимый.

После доклада Седюк пошел в опытный цех. Ему хотелось увидеть Варю. Она была в лаборатории и заканчивала расчеты по анализам. Седюк, не раздеваясь, принялся выкладывать новости. Во время его рассказа в лабораторию вошел Киреев и тоже стал слушать. Даже сидевшая к ним спиной Бахлова бросила свои рабочие журналы и повернулась к Седюку. Только Ирина слушала его невнимательно — посреди разговора она поднялась и вышла.

— Что с ней, Варя? — спросил Седюк, прерывая свой рассказ. — Что-нибудь нехорошее случилось? На ней лица нет.

— Не с ней, а с Владимиром Леонардовичем, — ответила Варя. — Полчаса назад к нему пришел один из новых, прилетевших с этими самолетами. Это его старый друг, фамилия его Федотов. Сейчас они сидят и разговаривают. Федотов привез Владимиру Леонардовичу вести о его семье, вести очень нехорошие, Ирина мельком слышала.

Ирина снова показалась в дверях. Она села в стороне, чтобы не мешать беседе, но не справилась с собой — из глаз ее закапали слезы, она вытирала их, отворачиваясь. Варя подошла к ней и стала молча гладить по голове. Седюк уже не мог больше рассказывать, даже Киреев с каким-то странным для его высокомерного лица виноватым сочувствием следил за Ириной. Седюк встал и дотронулся рукой до ее плеча.

— Ирина Сергеевна, — сказал он с волнением. — Вы знаете, Владимир Леонардович всем нам дорог, скажите, что там происходит у них?

— Я случайно услышала, — прошептала Ирина. — Если Владимир Леонардович узнает, он рассердится.

— Он ничего не узнает, — горячо сказал Киреев. — Расскажите нам, мы будем молчать.

Ирина, останавливаясь и прислушиваясь, не идет ли Газарин со своим гостем, рассказала, что ей удалось услышать, когда она заходила в комнату и стояла в прихожей, где помещались аккумуляторы. Федотов рассказал Газарину, что видел его жену Лизу и детей. Он встретил их на улице, жена Газарина с дочкой Сонечкой тащили детские санки, на них лежал завернутый в газету детский трупик — трехлетний сын. Коля. Федотов помог им тащить санки на кладбище. Лиза сказала, что муж в Москве, прислал ей со знакомым летчиком посылку, если бы не эта посылка, они все давно бы погибли. Федотов обещал зайти к Лизе, но не сумел — его свалил тиф, а через месяц, в феврале, перед самой своей эвакуацией, он добрался к ним и узнал от соседей, что Лиза с Соней исчезли. За несколько дней до его прихода у Сони открылся бред, она потеряла сознание. Лиза совсем обезумела, схватила девочку, закугала ее и унесла куда-то. Соседи отговаривали, удерживали, но не смогли. Лиза твердила: «Тут она умрет, я пойду искать лекарства, помощи!» С тех пор ее никто больше не видел, а на столе остались хлебные карточки.

единственный источник жизни... Федотов сказал: «Таиться не хочу — по всей видимости, погибли».

Она замолчала. В глазах Киреева стояли слезы. Он вдруг скверно выругался и быстро вышел из аналитической, хлопнув дверь. Бахлова повела в его сторону головой, она одна не подошла к Ирине и не спрашивала ее. Но и ее лицо было полно молчаливого отчаяния. Крепко закусив губу, она неподвижно смотрела в одну точку.

Из энергетической вышел Газарин со своим гостем. Сквозь стеклянную дверь лаборатории их было хорошо видно. Высокий и толстый Федотов шел, опираясь на палку. Он такими ожесточенными, ненавидящими глазами взглянул на людей, сидевших в аналитической, словно это были его злейшие враги. Через минуту Газарин возвратился. Ирина, выйдя в коридор, преградила ему дорогу.

— Владимир Леонардович,— сказала она отчаянно,— разрешите мне к вам, мне очень нужно.

Он с недоумением смотрел на нее. Ее слова не сразу доходили до него. Потом испуганно махнул рукой.

— Нет, нет, Ирина, позже, через час,— сказал он поспешно.— Вы меня извините, мне хочется поработать, кое-что написать надо одному...

Ирина возвратилась в лабораторию. Варя взяла ее за руку.

— Пойдем, Ирина,— проговорила она ласково.— Завтра поговорите.

Но та покачала головой.

— Я не могу уйти,— прошептала она горько.— Пойми, я не должна оставлять его одного. Я подожду немного и постучусь к нему.

Варя с глубоким волнением смотрела на ее полное смятения, покрытое красными пятнами, ставшее вдруг совсем не красивым лицо. Ирина была единственной в Ленинске, кто не понравился ей при первом знакомстве. А сейчас Варе казалось, что еще не встречала она человека, поступки и чувства которого были бы так близки ей самой. Она до боли, до слез понимала, как можно страдать горем другого, любимого человека, как можно хотеть все, даже жизнь отдать за то, чтобы этот человек был счастлив. С тобой или без тебя — не это главное.

12

В середине октября Седюк пустил в опытном цехе свой малый опытный медеплавильный завод — так теперь официально называлось это сооружение. Здесь уже работали обогатительная линия, сушильная и отражательная печи, электролизные ванны. Юношей нганасан Седюк отдал Романову, а девушек определил на электролизные ванны. Вначале дело у них шло плохо. Девушек пугал темно-синий раствор, кипевший от выделявшихся в нем пузырьков водорода и кислорода. Стрелка вольтметра бегавшая, как живая, по всей шкале, внушала им ужас. Но постепенно они освоились. Мальчики же не только быстро привыкли к печам, но и увлеклись новым занятием. Когда Яша Бетту впервые удачно вогнал ломиком глиняную затычку в летку и струя расплавленного металла, брызнув искрами во все стороны, оборвалась и иссякла, он бросил ломик и с визгом и хохотом затопал ногами.

— Одурел, парень! — говорил Романов, снимая очки и сам от души смеясь счастливому хохоту Якова.

— Все теперь могу! — кричал опьяненный успехом Яков.— Все теперь сделаю, как другой! Правда, Василь Графыч?

— Правда, правда,— подтверждал Романов, вытирая прослезившиеся от смеха глаза.

Сбежавшиеся со всех сторон нганасаны радостно хлопали Якова по спине и смотрели на него с уважением.

Среди других гостей, каждый день навещавших опытный цех, появилась и Караматина: она никого не предупредила о своем приходе. Романов в это время готовился разливать черновую медь в изложницы. Седюк и Киреев прохаживались по цеху. Появление Лидии Семеновны раньше всех заметили нганасаны — они с криками побросали свой металлургический инструмент и окружили ее. Киреев, никогда до того не видевший Лидию Семеновну, возмущен таким порядком. Он подошел к ней и тронул ее плечо — она, разговаривая с нганасанами, стояла к нему спиной.

— Слушайте, гражданочка, здесь не бульвар,— сказал он бесцеремонно.— Прошу отсюда уйти!

— Да это Караматина, главный начальник наших учеников,— проговорил Седюк, засмеявшись и останавливая Киреева.

— Все равно, без пропуска в цех посторонние не входят,— твердил упрямый Киреев, еще больше разозлившись от заступничества Седюка.

Но Лидия Семеновна сама знала, как постоять за себя. Она пренебрежительно отвернулась от Киреева, не пожелав услышать его слова. Сняв варежку, она пожала руку Седюка.

— Здравствуйте,— сказала она.— Ну, показывайте мне ваше предприятие — мои мальчики в общежитии говорят теперь только о печах.

— С охотой,— проговорил Седюк, беря ее под руку и уводя в сторону от печей. Он оглянулся с усмешкой на Киреева. С Киреевым произошло неожиданное превращение: он был укрощен. Он смиренно и молчаливо плелся за Седюком и Караматиной. На лице у него было такое постное и смущенное выражение, что Романов, дававший объяснения по ходу операции, поглядывал на него с недоумением и тревогой.

— Можно мне тоже поработать? — попросила Лидия Семеновна.

Она натянула длинные рукавицы, взяла у Романова металлургическую ложку с двухметровой ручкой и, подойдя вплотную к разливочному желобу, осторожно подставила сбоку к струе край ложки и отобрала пробу меди, не брызнув, не расплескав ни капли, что было бы опасно для двух рабочих, державших изложницу у самой струи. Скупой на похвалы Романов не удержался от слов одобрения.

— Молодцом, девушка! — сказал он, надевая очки, которые всегда держал в руках, и осматривая Караматину, будто только сейчас впервые ее увидел.— Вам бы в металлургии идти, ей-богу! А оделись, как на танцульку,— добавил он с осуждением.— Вот прожжет вам фетровые валежки и чулочки, кожу пораните, — что тогда делать придется?

— Ничего, перевяжусь,— отвечала Караматина весело. Она сияла от удовольствия.

Стоявший рядом Киреев схватил Седюка за руку и отвел в сторону.

— Вот ловкая девка, а? — сказал он с уважением.— Я думал, какая-нибудь фря из управления комбината, смотрите, как она разодела, даже надушилась, а она около печи управляется, как возле самовара.— И добавил почти с завистью: — А какая красивая!

— Хороша Маша, да не наша,— ответил Седюк, улыбаясь.— Хотите, познакомлю, выскажете ей свое восхищение.

Высказать свое восхищение Караматиной Киреев, однако, не сумел. Краснея оттого, что приходилось быть вежливым, он пробормотал, что на печи сегодня много газа: непривычному человеку требуется противогаз. Не желая ли товарищ Караматина посмотреть остальные помещения опытного цеха, он может провредить. Лидия Семеновна согласилась пойти по опытному цеху.

— Пойдемте с нами,— шепнула она Седюку.

Они шли втроем. Киреев, стараясь продлить удовольствие совместной прогулки, показывал каждый уголок, и тупик, и окошко, словно все это были очень важные, достойные изучения вещи. В своем увлечении он ткнул пальцем даже в Бахлову и проговорил: «А это наш начальник лаборатории, Надежда Феокистовна!» Лидия Семеновна начала кланяться, но не окончила поклона: возмущенная неожиданным вторжением посторонних, Бахлова повернулась к ним спиной. Киреев, не смущаясь, повел их в лабораторию Газарина. Седюк по дороге кинул несколько слов Варе, взвешивавшей на аналитических весах пробы руды. Газарина не было, и объяснения по электростатической сепарации углей давала Ирина Моросовская. Караматина интересовалась всем, но смотрела не столько на сепаратор, сколько на Ирину.

Когда все было осмотрено и они вышли из цеха наружу, Киреев стал горячо просить Лидию Семеновну приходить почаще: ученики ее — народ хороший, но посматривать за ними нужно, лучше, если она сама детально ознакомится с их работой. Он пытался задним числом оправдаться в своей грубости.

— Я вас сначала не узнал,— сказал он.— Мне показалось, это новая любопытная из управления, там, в техническом отделе, сидят какие-то девушки.

— А я вас сразу узнала,— возразила Караматина.— Вы именно такой, как вас описывают.— Она попросила Седюка: — Проводите меня немного, там меня ждет машина.

Седюк по дороге сказал Лидии Семеновне со смехом:

— Сегодня я впервые по-настоящему узнал силу вашего взгляда. Янсон прав — Киреев был ослеплен и повержен.

Она возразила с досадой:

— Ах, все это чепуха, не нужно мне этого ничего!

Но Седюк, привыкший к неизменной сумрачной грубости Киреева, не переставал удивляться его внезапному превращению в вежливого, почти галантного кавалера. Он проговорил, продолжая смеяться:

— Нет, теперь я твердо верю — нет такого сердца, которое не загорелось бы под действием ваших глаз. По части покорения людей вы чемпион.

Она сказала ему с ласковым упреком:

— Я не заметила, чтобы ваше сердце очень пылало, Михаил Тарасович.

Он сразу стал серьезным.

— Я — другое дело, Лидия Семеновна. Я неизлечимо поражен бактериями женоустойчивости.

— Знаете, одна неудача больше огорчает любого чемпиона, чем радуют десятки побед. Вы, впрочем, клевете на себя насчет женоустойчивости. Кто эта девушка, которой вы так нежно улыбнулись?

— Нежно? — изумился он. — Вам показалось, Лидия Семеновна.

— Нежно, нежно,— настаивала она.— А она покраснела. Это, наверно, та самая, с которой вы приехали в Ленинск и ходите в кино? Постойте, как ее зовут? Кажется, Варя? Варя Кольцова? Так? Вас удивляет моя осведомленность? Мне рассказывал Янсон. У меня память хорошая — я сразу все запоминаю. Значит, это Варя? Ну, я с Янсоном не согласна, он говорил, что она серенькая, а у нее очень миленькое, доброе лицо. Мне она даже чем-то понравилась.

Слова эти больно его укололи. Веселый и пустой разговор превращался во что-то совсем не веселое и не приятное. Он хмуρο сказал:

— А вы, оказывается, злая. Это очень нехорошо.

Она ничего не ответила и заторопилась к машине.

В один из редких свободных вечеров Седюк решил исполнить свое обещание и навестить Козюрина.

Козюрин жил в третьем общежитии, в двухэтажном доме по Пионерской улице. В этот дом вселяли только лучших рабочих разных строительных площадок и цехов. В нем уже работало центральное отопление и водопровод.

Седюк шел по коридору первого этажа и осматривался. Широкий коридор был тускло освещен двумя лампочками. Оштукатуренные стены не были побелены, кое-где штукатурка отваливалась, в углах проступала сырость.

По коридору тащился пьяный парень. Он громко икал и хватался рукой за стену, чтобы не упасть.

— Где здесь живет Ефим Корнеевич Козюрин? — дружелюбно спросил Седюк.

Парень медленно поднял голову и минуту молча смотрел на него. Значение слов, видимо, с трудом доходило до его сознания. Потом лицо его просветлело.

— Ефима Корнеича? — переспросил он. — Это можно. Тут Ефим Корнеич. Второй этаж, комната двадцать три. Хороший человек Ефим Корнеич, понятно?

— Понятно, — ответил Седюк. — А скажи, друг, как тебе удалось так угоститься, когда нигде нет спирту?

Парень хитро усмехнулся.

— Военная тайна, — сказал он более твердым голосом. — Отдал полкарточки продуктовой — выпил вволю. А рассказывать не буду, нет.

— А жить как будешь без продуктов? — спросил Седюк.

— Полмесяца протяну, — презрительно пробормотал парень и широко зевнул. — Ребята помогут.

Он поплелся дальше.

Седюк поднялся на второй этаж. В коридор выходило двадцать одинаковых дверей, и ни на одной не было надписи. Седюк постучал в первую попавшуюся. Ему открыл широкоплечий человек, немолодой, с характерным широким лицом коренного сибиряка.

— Скажите, в какой комнате живет Козюрин? — спросил Седюк, сиюсь вспомнить, где он видел это недоброжелательное хмурое лицо.

— Номера не знаю, а Козюрин и все его хулиганы живут там, — раздраженно ответил человек, показывая на вторую дверь наискосок. — Могли бы и не спрашивать — идите прямо на ругань и крик и попадете в свою компанию.

— Да ведь вы Турчин! — воскликнул Седюк. — Здравствуйте! Вижу, не вспоминаете. Мы вместе ехали в Ленинск. Помните, в Пинеже на поезд садились, еще в дороге лопатой орудовали — путь поправляли. Вы тогда всех нас удивили — подносчик за вами не успевал.

Теперь и Турчин признал Седюка. Если бы Седюк не сказал о его хорошей работе, он, наверное, с треском захлопнул бы дверь. Но обидеть человека, сохранившего о нем такое хорошее воспоминание, он не мог. Он с усилием согнал с лица недоверие и принужденно улыбнулся.

— Что-то вспоминаю, — сказал он почти приветливо. — Вы тогда всеми нами командовали, кому где становиться.

— Был грех. — Седюка вдруг охватило желание подразнить этого, как он помнил, нелюдимого и всем недовольного человека. Он сказал с ласковым укором: — Что же это вы, товарищ Турчин, так за дверь схватились, я и сам без приглашения не зайду.

— Да нет, я так, — смешался Турчин, — заходите, пожалуйста.

Он потеснился, открывая проход, и хотя Седюк видел, что Турчин приглашает его через силу, он все-таки зашел, сел в ответ на почти неприязненное «садитесь» и с любопытством осмотрелся.

Комната у Турчина была небольшая, но светлая и чистая той придиричиво лелеемой чистотой, которая характерна для староверов и сибиряков — переселенцев с Украины. На стенах — портреты вождей, на верхней полке этажерки — библия в добротном переплете, рядом с ней — разрозненные тома Ленина. На самом видном месте, на круглом столе, лежал альбом. Приближался час ужина, на столе были расставлены тарелки с нарезанным хлебом, сахарница, раскрытая банка консервов. Турчин аккуратно прикрыл еду клеенкой.

— Странное сочетание,— заметил Седюк, указывая на Ленина и библию.

— Женино хозяйство,— коротко ответил Турчин.— В эти дела не мешаюсь.

— Да вы же один ехали сюда! — удивился Седюк.

— Жена на той неделе прилетела. Вон три самолета прибыли, на одном из них. И книгу эту священную с собой привезла — она всюду ее возит.

Он замолчал, не проявляя больше никакого желания занимать гостя. Седюк, не спрашивая разрешения, взял со стола альбом и принялся перелистывать его. Он знал, что альбомы для того и кладутся на видное место, чтобы их брали и рассматривали. Он ожидал встретить семейные фотографии бабушек и дедушек, выпученные глаза, напряженные парадные лица, праздничные, венчальные и просто «выходные» одежды, карапузов и сорванцов, какими некогда были хозяева альбома и какими они себя с уважением хранят. Но альбом поразил его. Это было собрание газетных вырезок, клочки помятой желтой, серой, коричневой бумаги, корреспонденции, очерки, заметки, статьи; среди них попала даже одна с математическими выкладками и формулами. И на каждом клочке бумаги, в каждой статье и заметке поминалась фамилия Турчина. Седюк, все более увлекаясь, перелистывал страницы альбома и вчитывался в них. На него пахнуло романтикой первых лет Советской власти. Газетные фотографии рассказывали о послевоенной разрухе, трудном восстановлении, героическом порыве первых пятилеток. На одной фотографии поднимали вручную паровоз. Маленький, пухлый паренек, странно похожий на Турчина, самозабвенно нажимал плечом на стенку тендера и скашивал на фотографа глаза. Седюк видел разваленные, допотопные цехи, железнодорожные насыпи, перед ним разворачивались равнины и степи, вздымались горы, строительство шло и усложнялось, кустарные цехи сменялись огромными заводами, поднимались домны, громоздились мощные котельные агрегаты. И маленький пухлый паренек рос и раздавался в плечах, превращался в крепкого, самоуверенного, знающего себе цену человека. В тридцатом году первый орден украсил грудь этого человека, целых восемь фотографий кричали об этом торжестве, славили его. На одной из них, самой почетной, Калинин протягивал Турчину заветную грамоту и коробочку. И еще награды, еще ордена. Седюку на каждой странице попадались фразы: «Наш славный ударник», «Известный стахановец Турчин», «Магнитогорские землекопы отстают от нашего Турчина». Он заинтересовался статьей с математическими выкладками. «Удивительное мастерство знатного землекопа товарища Турчина,— писал автор статьи,— его производственные результаты должны быть изучены точным хронометражем и лечь в основу нового типа расчетов выемки грунта».

Седюк поднял голову и, захлопнув альбом, посмотрел на Турчина.

— Где вы сейчас работаете, Иван Кузьмич? — спросил он с невольным уважением.

— На ТЭЦ,— ответил Турчин коротко.

В комнату вошла низенькая полная женщина с добрым лицом. Она посмотрела на Седюка удивленно, потом протянула руку, приветливо улыбнулась.

— Жена моя, Анна Никитична,— сказал Турчин.

Анна Никитична откинула клеенку и захлопотала у стола.

— Очень рада, очень рада,— повторила она несколько раз, и Седюк видел, что она в самом деле рада его приходу.— Сейчас будем ужинать, прошу к столу. Иван Кузьмич, что же ты не просишь? Вот смотри, гость наш даже не разделся, ну, разве так можно?

— Прошу,— без особого радушия пригласил Турчин.— Раздевайтесь.

Седюк отказался. Он объяснил, что его ждут в другой компании, он уже дал слово и не хочет обманывать людей.

— Добро бы люди,— возразил Турчин с презрением.— Так, мусор человеческий.

Прощаясь, он был так же сух и неприветлив, как при встрече. Видимо, он ценил себя, этот человек. Он невольно приучился к тому, что его дружба и приветливое обращение — дар, которым не следует оделять каждого встречного, если даже с этим встречным и провел несколько часов в трудной дороге.

Уже выходя, Седюк спросил:

— Вы что же, так вдвоем и живете?

— Одни живем. Двое у нас, сын и дочка, оба на фронте — он в танковых частях, она врачом,— вздохнув, ответила Анна Никитична.— Пока бог миловал. Живы, здоровы. Только и радости, когда письма приходят. А тут, говорят, такой край, что и письма месяцами не доставляют.

— Неправда это, вот увидите,— утешал ее Седюк. Она нравилась ему, и он хотел сказать ей на прощание что-нибудь хорошее.

Снова выйдя в коридор, Седюк постучал в указанную ему Турчиным дверь, и несколько голосов откликнулось: «Да!» Комната, куда он вошел, была большая, светлая, в три окна, но небеленая и грязная. Вдоль стен тянулось восемь коек, посредине стола, заваленного тарелками, чашками, пустыми жестянками от консервов, стояло прикрытое газетой ведро с водой. Лампочка над столом тускло светила сквозь махорочный дым. Люди (среди них Седюк узнал Жукова и Редько) сидели у стола на двух скамьях и на койках, кое-как заправленных грязными одеялами. В шуме громкого разговора на Седюка вначале не обратили внимания. Потом к нему подбежал Козюрин.

— Здравствуй, Михаил Тарасович! Вот спасибо, что пришел! — кричал он, таща Седюка на середину комнаты.— Подвинься, Пашка,— просительно сказал он высокому парню, сидевшему на краю скамьи.— Гость пришел!

— Ну и что ж; что пришел? — спросил парень сильным голосом и придвинулся еще ближе к краю скамьи, закрывая последний уголок, на который можно было сесть. Он взглянул на Седюка с хмурой злобой.— Я сам тут гость и не держусь такого мнения, чтоб всякому уступать место.

Жуков медленно встал со скамьи и подошел к Седюку.

— Здорово, пачальник,— сказал он дружелюбно и протянул руку.— Мы с тобой старые знакомые. Один раз чуть на кулачки не схватились. Помнишь меня?

— Помню,— улыбнулся Седюк,— до кулачков не дошло.

— Не дошло,— согласился Жуков.— Но характер у тебя, начальник, не мамин, а папин. Паша,— обратился он неожиданно кротким голосом к парню, сидевшему на краю скамьи,— не видишь разве, со знакомым разговариваю? Встал бы, как хороший человек, да вытер полчище скамью — после тебя многим и сидеть неприятно.

— Ничего, я присяду в другом месте.

Седюк сделал шаг в сторону, но Жуков удержал его. Он жестко сказал:

— Пусть постоит: ворона — птица не важная.

— Да я и не знал, Афанасий Петрович, что это ваш знакомый, — оправдывался Паша, смахивая рукой крошки со скамьи. — Пожалуйста, разве я не понимаю.

Во время этого разговора шум в комнате прекратился. Все с любопытством рассматривали Седюка.

— Твой гость? — спросил Жуков Козюрина.

— Мой, Афанасий Петрович. На чай пригласил.

— Давай поделим гостя. Ты на чай, а я, так и быть, на рюмочку водки приглашаю. Не возражаешь против рюмочки, начальник? — спросил Жуков Седюка.

— Рюмка в военное время — вещь дефицитная, кто же станет возражать! — Седюк разделся и повесил свое пальто на гвоздь, вбитый в переплет окна. На этом гвозде уже висели два полушубка и брезентовый плащ. — Две рюмки выдашь, и то не споткнушь.

Слова Седюка вызвали одобрителный смех. Он сел за стол, с которого Паша поспешно убрал все лишнее. Кроме Козюрина, Жукова и Редько, все остальные были Седюку незнакомы. Оглядев комнату, он заметил старика, сидевшего на кровати у самой двери. Этот человек был невысок ростом, он неприязненно смотрел на компанию у стола, а когда подошел зачерпнуть кружкой воды, стало видно, что он хромает.

Одно было ясно Седюку с первой минуты: в комнате, куда он вошел, хозяином был Жуков. Он командовал, даже не отдавая приказаний. Несколько человек были у него на побегушках — он только взглядывал на них, и они, мгновенно угадывая, чего он хочет, бежали исполнять его желания. Жуков присел против Седюка — развлекать гостя разговорами, а на столе как-то неслышно стали возникать банки с мясными и рыбными консервами, аккуратно нарезанный хлеб, чисто вымытые кружки, две бутылки со спиртом, селедка, посыпанная сухим луком, графин с водой для разведения спирта. Козюрин возился в углу с кипятельником. Контакт у кипятельника был плохой, и вода в чайнике, куда он был опущен, оставалась холодной.

— Ефим Корнеич, бросай свою мокрую воду! — крикнул Жуков. — Гость попробует нашей сухой водицы — ему на твою сырость и смотреть не захочется.

— Нельзя, на чай приглашал, — оправдывался Козюрин, в десятый раз втыкая вилку кипятельника в розетку.

На этот раз контакт оказался хорошим и вода в чайнике сразу запузырилась. Козюрин присел около Седюка.

— Значит, пришел, Михаил Тарасович, — говорил он, любовно глядя ему в лицо. — Вот хорошо, что надумал! Жаль, не предупредил, что сегодня, подготовились бы покрепче. Я тебя на той неделе ждал.

— А зачем предупреждать? — возражал Седюк, смеясь. — Главное, что пришел. — И, оглядывая тесно уставленный стол, сказал: — Вы и без подготовки богато живете, ребята!

— А чего нам не жить богато? — спросил Жуков довольно. — У нас здесь, знаешь, кто живет? Одни стахановцы! У меня за прошлый месяц сто девяносто три процента нормы сделано. А вот у этого, у домового нашего, по прозвищу Сурин, — он кивнул в сторону хромого, сидевшего на кровати, — все двести пять процентов выведены. Ему, правда, полегче, чем нашему брату, он слесарь-инструментальщик, в его нормах никакой нормировщик без пол-литры не разберется, да это не наше дело. Начальнику завода Прохорову лестно, что у него такой знаменитый стахановец за верстаком стоит, ну и нам, конечно, приятно.

— Я тридцать пять лет слесарной пилой работаю,— отозвался Сурин, с ненавистью глядя на Жукова.— Мою работу все люди замечают. А сколько времени ты своими сварочными электродами машешь, еще никто не сосчитал. Твои проценты только в конце месяца видны, а пока ты варишь, их что-то никто не замечает.

— Злой! — Жуков приятельски подмигнул Седюку. — А ты, папаша, очень не расходишься, это вредно для горла,— заметил он Сурину.— У нас гость сидит, человек новый, никого из нас не знает, вдруг поверит тебе. И пойдет слух, что мы не стахановцы, а прохвосты. Вот Редько, правда, случаем подкачал, месячишко только на сто семнадцать процентов свернул. Зато Козюрин выручает, другие тоже промаха не дают. Комната у нас как на подбор — из самых крепких мужиков.

— Комната у вас хорошая, высокая, а вот грязи в ней, как в хлеву,— сказал Седюк.

— Смотря какая грязь. У нас все холостяки, нам не до уборки. Уборщица приходит по утрам, а днями и глаз не кажет. Конечно, у таких, как Турчины, все языком вылизано, у него бабе делать нечего, и гости важные набегают. А мы корреспондентов из газет не принимаем, нам эта забота совсем даже напрасная.

— Нехорошо,— возразил Седюк с укором.— Все-таки можно было бы дежурства назначить, убирать в очередь. Студентами мы только так и жили в общежитии.

— Человек не свинья, везде проживет,— равнодушно бросил Жуков, разливая спирт в кружки.— От излишней чистоты таракан разводится.

Козюрин пожаловался виновато:

— Трудно нам с чистотой. Пробовали эти дежурства вводить — все время срывается. То один отказывается, то другой. Гости из других общежитий приходят, тоже много грязи разводят.

— Зачем говоришь неправду? — вдруг озлобленно закричал со своего места Сурин.— Кто отказывается? Ты говори прямо, кто отказывается! Жуков отказывается, Редько отказывается. Мало, что сами отказываются, другим не дают чистоту наблюдать, даже отдохнуть не позволяют. И гости, которые сорят,— их гости. Как свиньи живем, других стыдно!

— Папаша, закругляйся! — кротко произнес Жуков.— У меня сегодня голова болит и нет охоты на скандалы. Помолчи, пока мы выпиваем. А то на крик комендант придет, начнется разбор, кто да почему.

— Не замолчу! — еще злее закричал Сурин.— Знаю, что все коменданты у тебя куплены или запуганы. Ты только этим и берешь, что все тебя боятся. А я не боюсь! И гостю твоему скажу, пусть и гость твой знает.

Жуков встал и подошел к кровати Сурина. Он стоял молча, похожий на медведя, и всматривался Сурину прямо в лицо. Под его кривым носом появилась злобная улыбка, от нее лицо стало еще страшнее. Сурин, замолчав, отвернулся. Но когда Жуков заговорил, голос его по-прежнему был кроток и ласков.

— Ах, какой горячий старичок! — сказал он с мягкой укоризной и покачал головой.— Не старичок, а сухая солома. Ну, что бы помолчать, когда помоложе его люди разговаривают. Не имеет папаша Сурин уважения к молодости.

— Оставь его! — громко сказал Седюк.— Прав твой старик, как свиньи живете!

Жуков повернулся, улыбка медленно сползла с его лица. Он постоял, не отвечая, словно раздумывая, потом уселся на свое место у стола.

— Хаять всякий может, а помочь никто не поможет,— проговорил он угрюмо.— Тебе легко, начальник, ругать за грязь, в твою комнату уборщица три раза на день бегают. А я свои проценты не языком, а руками

вырабатываю, мне нет интереса после работы помой выносить и метлой размахиваться. В дежурные не пойду. И другим не дам особенно раскидываться, это верно. Мне после работы отдохнуть надо, пусть это все понимают. Выпьем, начальник! — предложил он, поднимая кружку со спиртом.

— Чистый спирт будешь пить? — спросил Седюк, с интересом наблюдая за Жуковым.

— Только чистый! Не так горчит в горле и в голову меньше бросается. Так выпьем, что ли?

— Выпьем, конечно. Только что же, мы втроем пить будем? А как остальные? Или их ты не приглашаешь? Вроде бы и неудобно так пить.

Жуков нехотя поставил кружку и обвел глазами комнату. На скамье и на койках сидело человек восемь, и все они, кроме Сурина, с живейшим интересом следили, как гость и пригласившие его Козюрин и Жуков готовятся выпить. Та же кривая уродливая улыбка появилась на губах Жукова.

— Эй, приятели! — сказал он негромко. — Всех, которые хорошие, милости прошу к нашему каменному шалашу. А которые за себя знают, это черти не нашего бога, тех покорнейше прошу не мешать нашему параду.

Должно быть, своеобразная формула приглашения к столу была уже известна жильцам комнаты. Три человека, в том числе Редько и Паша, торопливо уселись за стол, Сурин и его сосед, некрасивый юноша, стали раздеваться и укладываться спать, а остальные один за другим вышли, накинув на себя полушубки.

— Видишь, начальник, не все принимают запах спирта, — заметил Жуков. — Многие бегут, а которые в дремоту впадают. Ничего с такими не выходит.

— Будто уж ничего не выходит? — Седюк улыбнулся. — Просто приглашаешь не очень любезно и обходительно. Вот я приглашу, может, меня послушают. — Он встал и подошел к Сурину. — Товарищ Сурин, вы не откажете, выпьем за успех войны.

Он говорил тихо, наклонившись к старику. Сурин отрицательно покачал головой.

— Не пьете? — удивился Седюк.

— Почему не пью? Пью, как все люди. А не со всеми пью. — Сурин говорил еще тише, чем Седюк, — видимо, чтобы Жуков, сидевший в грозном молчании у стола и явно прислушивавшийся к их разговору, ничего не услышал. — Вы человек здесь новый, в первый раз у нас, вам извинительно. А я, простите за выражение, с такими, как этот Жуков, не только пить, а в некотором месте рядом сесть не сяду. В другой раз как-нибудь, а сейчас нет.

— Не вышел домовой из своей домовины? — насмешливо спросил Жуков, когда Седюк возвратился к столу. — Напрасная затея. У папашки от честного хмеля душу воротит. Ну, все в сборе, посты на дозоре, разбойники во мгле, вино на столе. Будем здоровы!

— За победу! — провозгласил Седюк, выпивая разведенный водой спирт.

— За победу! — крикнул Козюрин и стукнул по столу опустевшей кружкой.

Седюк не пил водки давно, чуть ли не с начала войны. Выпитый спирт наполнил его теплом и затуманил голову. На минуту все как-то странно отдалилось от него, предметы и люди словно отошли в сторону, уменьшились, стали расплываться. Стараясь не показывать, что опьянел, Седюк зачерпнул большой ложкой холодное мясо с горохом. Прошла минута-другая, и вещи постепенно возвратились на свои места, обрели обычные раз-

меры и форму. Седюк понял, что опьянение, вызванное отвычкой, прошло, и теперь он может пить, как прежде, хоть бутылками.

— Ешьте, братцы, свинину с горохом! — угощал Жуков. — Конечно, лучше бы картошечки печеной, да ничего не поделаешь, время военное, трудности.

— Везде трудности, Афанасий Петрович, — хихикая, сказал захмелевший Редько. — До войны трудности от строительства, на материке трудности от войны, здесь трудности от зимы, а на том свете какие трудности повстречаются? Наверно, от нехватки уголька чертячьего?

— Молчи, головешка с мозгами! — строго прикрикнул Жуков. — Товарищ начальник может тебя вовсе не правильно понять, от этого неприятности выйдут. Вон Пашка Поливанов жует, ничего не говорит — учись хорошему примеру.

— Так это тот самый Поливанов, о котором по всему Ленинску рассказывают, что он всю свою одежду проиграл? — полюбопытствовал Седюк.

— Ну и что же? Свое проиграл, ни у кого не брал, — с вызовом сказал Поливанов, исподлобья глядя на Седюка.

— А ты, начальник, сбо всем наслышан! — весело воскликнул Жуков. — Был грех, был. Одно исподнее парню оставили, да и то, чтоб уборщица не обмерла. Ну, да будь молодцу не укор. Выпьем по этому случаю.

От второй кружки опьянели все. Редько затянул визгливым фальцетом песню, Поливанов силным басом подтягивал, Козюрин, внезапно умилившись, стал хвалить Седюка: до чего человек душевный, как крепко знает свое дело, а сейчас вот пришел к нему в гости. Потом Козюрин стал просить прощения за грязь и, наконец, разразился целой речью: если говорить правду, так у них хуже, чем во всех общежитиях. Нечего греха таить, везде плохо, строители поторопились с домом, поддерживать чистоту тут нелегко, но в семейных комнатах чисто, Турчин — он живет напротив — строгий насчет этого, комсомольцы на первом этаже тоже, а вот у них ничего не выходит. Пробовали, старались — нет, не получается...

— Выпьем, начальник! — сказал Жуков, презрительно слушавший болтовню Козюрина, и разлил остатки спирта в две кружки.

Седюк выпил и закусил. В глазах Жукова появилась пьяная муть, и они потеряли свой колючий, пронзительный блеск.

— Хорошая штука! — сказал Седюк, кивнув на пустые кружки. — Где берешь?

Жуков захохотал.

— Уморил, начальник, ох, уморил! — всхлипывая, бормотал он и, много отдышавшись, заговорил уже серьезно: — Где беру, спрашиваешь? Там уже нет, где брал, так что и спрашивать нечего. Одно тебе скажу: у кого деньги имеются, тот все что угодно достанет, не то что спирт. Были бы денюжки да была бы охота их тратить. А Жуков не кусочник, нет! — добавил он с пьяным хвастовством. — Жуков не трясется над рублишкой. Пусть трясутся те, у кого больше рубля за душой нет. У Жукова были деньги и всегда будут, так и знай, начальник!

Седюк посмотрел на часы. Был уже первый час. Сурин и его сосед спали. В комнату поодиночке возвращались ушедшие жильцы. Седюк встал и поблагодарил хозяев за угощение. Его пытались удержать, но он не остался. Вначале ему было любопытно наблюдать жильцов этой комнаты, но сейчас он испытывал отвращение — порядки тут были, как в кабаке.

— Заходи, Михаил Тарасович, заходи, — бормотал совсем пьяный Козюрин. — Предупреди только — будет чисто, как у тещи. Сам увидишь.

— Пашка, помоги раздеться Ефиму Корнейчу! — приказал Жуков.

Поливанов взял Козюрина под мышки и повел к кровати.

— Мы проводим тебя, начальник,— сказал Жуков, поднимаясь вместе с Редько.— Одевайся, Миша, и мой полушубок достань.

В коридоре никого не было. Сквозь открытую настежь наружную дверь врывался морозный воздух и стлался паром по полу.

— Беззаботно живете,— заметил Седюк.— Говорят, кругом грабят, а у вас даже засова нет на наружной двери. Вроде сами приглашаете воров. И не боятесь?

— А чего нам бояться? Пусть лучше нас боятся,— ответил Жуков, хитро подмигивая.— Еще, знаешь, папаня-покойник меня учил: зачем тебе, сынок, людей бояться? Держись так, чтоб другие тебя боялись, и все пойдет на лад. Я эту папину завещанию помню. Пусть воры забираются — не обрадуются.

Он повел плечами, показывая, что вору, забравшемуся в их общежитие, придется несладко. Седюк глянул на улицу. Ярко освещенная электрическими фонарями, она была пустынна. Вверху, в темном навесе неба, пылало неяркое полярное сияние.

— Прощайте, ребята! — сказал Седюк.

— Прощай, начальник! — ответил Жуков, а Редько молча поклонился ему вслед.

Жуков минуту смотрел в темноту, затем обернулся к Редько. Лицо его, полное звериной слепой ярости, было страшно. Редько в страхе метнулся назад, но Жуков схватил его рукой за грудь и стал трясти с такой силой, что у Редько застучали зубы.

— Контрреволюцию разводишь, сука! — хрипел он, не помня себя от ярости.— Этот гад инженер пришел все высматривать, понял? А ты ему песенки поешь про трудности, все свое нутро выворачиваешь! Хочешь, чтоб следить начали? Жукову такие товарищи не нужны! Столько труда положил с документами, в ихнюю шкуру заползли, а на болтовне попадемся — за пустяк сожрут, как кусок мяса!

Он швырнул ослабевшего Редько в снег.

— Еще когда-нибудь лишнее слово скажешь — завалю, как пса! — сказал он грозно.— Ты меня знаешь, понял? Теперь всю политику придется менять — гад приходил не зря. С завтрашнего дня организуешь мне чистоту. И карты на срок убери. Слышишь?

— Слышу, Афанасий Петрович,— покорно пробормотал Редько.

14

Когда Ивану Кузьмичу Турчину предложили ехать в Заполярье, он согласился охотно — коренной сибиряк из Обской тайги, он не страшился ни морозов, ни тяжелой работы. Но скверная дорога — его, знаменитого человека, везли хуже, чем багаж, по принципу «восемь лошадей или сорок человек», а он был чувствителен к внешнему обхождению — сильно рассердила Турчина. В Ленинске тоже всё оказалось иным, чем он ожидал. Но главный источник горечи был не в этом. Самое трудное заключалось в том, что он, человек, известный каждому крупному строителю, кавалер трех орденов, по справедливости уже не мог ждать особого к себе уважения, а без уважения жизнь казалась ему не в жизнь.

В Ленинске его поставили бригадиром, дали учеников и заверили, что ожидают от него новых рекордов. Ивану Кузьмичу только того и надо было, и он сразу повеселел.

Одетый в свой выходной костюм, с орденами по случаю первого знакомства с новым местом работы, Турчин взошел на невысокий холм площадки ТЭЦ. Под ногами лежал слоистый зеленоватый камень диабаз; этот диабаз предстояло крушить и выбрасывать наружу. Турчин осматривался. На севере блестели озера, ниже холма до гор, замыкавших с трех сторон горизонт, простиралась тайга: береза, ольха, лиственница и ель —

хорошо знакомые лесные жители, только поменьше ростом и пожилистее. Турчин стукнул сапогом по кромке скалы. Выветрившийся камень легко раскалывался на пластинки, в изломе тускло поблескивала ржавчина.

— Можно работать! — сказал Турчин одобрительно Сене Костылину, своему новому ученику.

— Чудное здесь все, Иван Кузьмич, особенное, — отозвался Костылин, с недоверием глядя на низкое небо, озера, камни. — Трудно будет...

Шел мелкий пронзительно холодный дождь. На вершине холма среди расщелин ползли полосы белого ягеля, склоны были густо покрыты богульником и брусникой — шла сумрачная полярная осень.

— Ничего, парень, — строго ответил Турчин, — сказка долго в народе говорится, а дело скоро делается. Вот пойдут постройки, паровозы, собрания, соревнования — вся твоя особость и кончится.

Костылин, невысокий, белобровый, с упрямым ртом, недоверчиво молчал.

Сначала казалось, что Турчин прав: вырастали конторы, склады, обогревалки, мастерские и депо, прокладывались рельсы, свистели паровозы, грохотали ударные бурильные станки, тонко пели электропилы, тяжело сопели самосвалы, на щитах у входной вахты крупными буквами прослаивались передовые рабочие, клеймились позором прогульщики и лентяи. Полуразрушившийся, выветренный диабаз легко ломался под клинком пневматического молотка, дробился кайлом, выбрасывался лопатами. Все было так, как должно было быть. С первым морозцем пошел мягкий, пушистый, совсем обычный снег. Но на третий день после снегопада ударил ветер — в воздухе заметалась мутная мгла, некрепко поставленные крыши барачков и складов смело. Тысячи тонн снега пронеслись над строительной площадкой, заваливая карьеры и ямы. А когда буря кончилась, земля, обнаженная и чисто выметенная, снова была черной, грязновато-бурой, красной от умирающих растений. Ни одной снежинки не осталось на ветвях деревьев — голая темная тайга сухо скрипела замерзшими ветвями. Началась полярная зима.

Зима наступала на Ленинск темнотой. Настал день, когда в южной части неба, среди гор, медленно расцвело багровое зарево и так же медленно погасло, не показав ни дольки солнечного диска. Отныне сутки делились на две неравные части — часы полной тьмы и часы неполного света. Часы света с каждым днем становились короче, рассвет, едва появившись, стирался в сумерки. В полдень — при тускло розовевшей южной кромке горизонта, куда подбиралось к вершинам гор невидимое солнце, — над самой головой висела яркая луна, и ее свет, не смешиваясь с непогашенным светом дня, был туг же, рядом с ним. Эта дневная луна смутила Ивана Кузьмича. В обеденные перерывы он долго стоял, запрокинув голову, забывая о еде, и глядел на золотой, медленно ползущий по светлому небу диск.

— Видела сегодня чудо природы, мать? — сказал он за ужином Анне Никитичне. — Это у нас часто — вроде день, а над головою полная луна, широкая, свет яркий, вроде солнца.

— Чертов край, — ответила она, с ожесточением передвигая тарелки.

Утром, выходя на работу, Турчин внимательно осматривал трубы домов. Если погода была не бурная, дым, выходящий из трех соседних труб, отклонялся в три разные стороны. Иван Кузьмич видел это изо дня в день, знал со слов своего соседа по квартире, метеоролога Диканского, что в горных странах у ветра нет определенного направления и что в воздухе в этих краях всегда причудливо мчатся и сталкиваются воздушные потоки. Но хоть Турчин и видел это каждый день и знал причину, примириться с этим он не мог. Он глядел на дым, смутно надеясь, что рано или поздно все станет «как у людей». Но дым отклонялся в одну сторону только в дни, когда задувал большой ветер.

Морозы начались в первых числах октября. Каждый следующий день был холоднее предыдущего. Еще не прошел октябрь, а холод стал железным — температура упала ниже тридцати. И снег уже был совсем иной, чем в первые дни зимы, — мелкий, колючий, не снег, а ледяной песок. Когда начинался слабый ветер, поземок, — Диканский именовал его поученому «хиус», — снег переносился с места на место, как пыль, шипел и укладывался в плотный, быстро смерзающийся слой. Нога, обутая в валенок, уже не увязала в этом снегу, ветер не уносил его. Но на деревьях снега не было — лес стоял прозрачный, темно-серый на белой земле.

Начались нелады с работой. Разрыхленные, выветрившиеся слои диабазы были сняты, и под ними открылась коренная, ненарушенная скала. Это был огромный плотный камень, монолит без трещин и слоев. Клинок отбойного молотка скользил по этому монолиту, скала не раскалывалась, а отламывалась. Еще ни разу Иван Кузьмич не встречался с таким неподатливым материалом.

Иван Кузьмич любил свою работу. Он гордился своим умением. Он был честолюбив, и рекорды, которых он добивался, поднимали его в собственных глазах. Много раз его пытались повысить, выдвинуть на административную должность. Его направляли на курсы, в стахановские школы, делали прорабом, но проходил месяц, проходило два, и он возвращался к кайлу или пневматическому молотку. Дело было не в том, что он не умел распоряжаться, не любил командовать людьми, предпочитал одиночную, независимую от других работу, — нет, в траншее или котловане, с молотком или лопатой в руках он никогда не бывал один, с ним работали подсобники и ученики. Суть была в том, что ни в одном деле он не достигал такого мастерства, как в этом: повышенный в должности, он терял свою исключительность, делался не выше, а мельче, становился одним из многих, а он привык быть первым, лучшим. Теперь же всего его умения не хватало, чтобы выполнить норму, обычную для среднего рабочего. Ивана Кузьмича охватывало сомнение, сомнение превращалось в уныние, уныние становилось молчаливым, скрытым от всех отчаянием.

— Вы не последний человек на площадке ТЭЦ, Иван Кузьмич, — сказал ему Седюк вскоре после их заново состоявшегося знакомства, — о вас в газете пишут. Скажите, почему у вас прорыв за прорывом?

— Скала, — коротко и зло ответил Турчин. — Я этот камень ломаю отбойным молотком, а он не колетя. До такой злости доходишь, что зубами готов грызть ее, эту скалу.

— Молоток крепче зубов, — спокойно возразил Седюк.

Турчин рассеянно взглянул на него и нехотя согласился:

— Молотки у нас хорошие. — И тут же сердито добавил: — А что толку в молотке, если он этот камень не берет? Я на многих стройках работал, а такого несчастья, как с этим дибазом, не видел. За целый день еле-еле полноремы наворотишь.

Это была его личная обида, его страдание. О скале он говорил с ненавистью.

Как-то утром, идя на работу, Иван Кузьмич взглянул на термометр — было тридцать семь градусов мороза. Поселок был затемнен: на площадке медного завода заканчивался ночной электропрогрев грунта. По темным улицам торопливо и молча шли люди. Легкий морозный туман стлался по улице. Иван Кузьмич неторопливо шагал, втянув голову в воротник полушубка, и думал, думал все об одном. Перед ним стояла все та же, изученная до мельчайшей черточки картина: зеленовато-рыжий, крупнозернистый камень, этот камень откалывался то целыми глыбами, то мелкими осколками, то крупинками. Загадка была именно в этом. Нужно было найти прием, с помощью которого камень колелся бы глыбами, а не крупинками. Иногда от диабазы удавалось отламывать целые плиты. Но

существо приема оставалось непонятным, и воспроизвести его по своему желанию Турчин не мог.

Через вахту ТЭЦ вливались люди — рабочие, служащие, инженеры. Ивану Кузьмичу с уважением уступали дорогу. Он молчаливым кивком отвечал на приветствия. Сея Костылин и Вася Накцев уже ждали его. Они весело смеялись, но когда вошел Иван Кузьмич, лица их стали озабоченными и серьезными. Оба гордились своим мастером и при нем всегда старались казаться взрослее.

Прораб, побаивавшийся неразговорчивого мастера, быстро и неясно растолковывал задание.

— Третий восточный? — коротко спросил Турчин, перебивая длинное объяснение прораба.

— Третий восточный, — подтвердил прораб.

Турчин придирчиво осмотрел предложенный ему инструмент и отправился со своими подсобниками на третий восточный участок. Он находился в центре площадки, на самой высокой ее отметке. Участок был пересечен разрезом — часть работы по его планировке уже была выполнена. Передвижной компрессор находился возле самого участка, и перебоев в подаче воздуха не было. Но этим исчерпывались достоинства участка. Турчин с тоской осмотрел окрестность. Это было то самое место, где два месяца назад он стоял с Костылиным. Сейчас почти ничего не было видно — из густой тьмы неясно выступали близкие предметы, тускло освещенные лампочкой, укрепленной на деревянном столбе. Костылин и Накцев с вниманием и готовностью смотрели в лицо мастеру. Из темноты донесся высокий, резкий гудок электростанции — пробило восемь часов.

— Начнем, — сказал Турчин, беря молоток и проверяя давление воздуха.

Стрекотание трех молотков сливалось в один четкий звук. И, как всегда, приступая к работе, Турчин ощутил нечто похожее на вдохновение. Не только руки, сжимавшие молоток, и тело, навалившееся на руки, но и мысли, внимание, быстрота соображения — все вдруг обострилось. Так было всегда — изо дня в день, из года в год — в течение двадцати пяти лет, и неизменно случалось так, что он вдруг начинал видеть в ломаемой молотком или разрезаемой лопатой земле то, чего прежде не видел сам и чего почти никогда не видели другие люди, стоявшие с ним рядом: мельчайшие трещины в сплошной массе, плоскости спайности, линии механического сращения — тысячи мест, по которым земля или камень легко кололись и нажимая на которые можно было сравнительно легким усилием обрушивать и снимать несоразмерно большие их массы. Его искусство состояло именно в том, что он умел видеть все это, оно было в безошибочном чутье, в чувственном понимании материала, усиленном многолетним опытом.

Сейчас ничего этого не было. Острота чувства, меткость и сила движений — все тратилось впустую. Из тьмы, тускло освещенной раскачивающейся на столбе лампочкой, неразлично выступал угрюмый зеленоватый камень. В нем не было видно ни жил, ни линий сращений, ни плоскостей кристаллизации. Клинок скользя по этому камню, упирался в случайные углубления, не имевшие связи с внутренним строением диабаз. Турчин не смотрел, как работают его подручные, — он знал, что, кто бы ни работал с ним, он сделает в два раза больше. Но сейчас он понимал, что причина этого не в его удивительном, единственном в своем роде понимании разрабатываемого материала, а просто в сноровке опытного рабочего, физической силе, отработанной четкости и целесообразности движений. Напряженно, до боли и красных прыгающих огоньков в глазах, всматривался он в разрез, но ничего не видел, кроме однообразно серой массы. Отдыхая, он поглядывал на небо. Он работал десятки зим, зимы были жестокие, бурные, снежные. Но впервые зима была темной.

Темнота — вот его главный враг, истинная причина всех неудач. И эта густая, обширная темнота с каждым днем будет становиться гуще и обширнее.

Невидимое солнце постепенно приближалось к краю горизонта — дымное зарево охватывало юг, горы четко и строго вставали темными силуэтами в окружении пламени. Казалось, где-то внизу, за горами, начался исполинский пожар. От зарева шли красные полосы, высоко над темной землей висели красные перистые облака, звезды потухли. Рассвет, начавшийся на юге, распространился на серый восток и запад — один север оставался черным. Из тьмы выступали озера, лес, дома поселка. Турчин всмотрелся в поселок — дымки на крышах домов тянулись в разные стороны.

— Совсем светло, — удовлетворенно сказал Костылин, отставляя в сторону молоток и беря лопату. — Смотри, газету можно читать.

Турчин поглядел на своих помощников. И Костылин и Накцев были совершенно белы — пар от дыхания намерз на бровях, на ресницах, на шерсти шапок, воротников и шарфов. Костылин радовался, глаза его блестя: кучка отбитого диабаз у него была больше, чем у Накцева. Он быстро перебрасывал этот диабаз на железнодорожную платформу, стоящую у самого разреза. Турчин молча отвернулся и налег всем телом на молоток. На дворе день, а он, Иван Кузьмич, прославившийся на всю страну своим умением разрабатывать землю, видит сейчас почти так же плохо, как и в полной тьме.

Перед самым обеденным перерывом на участок прибежала Зина Петрова, нормировщица и хронометражистка площадки. Закутанная до глаз в шаль, быстрая и решительная, она пришла не снизу, а сверху — прыгнула в разрез с самой вершины, широко распахнув руки, словно это должно было задержать ее в воздухе.

— Здравствуйте! — крикнула она звонко. — Вы не замерзли? Почему не ходите в обогревалки?

Ее глаза, смеясь и шурясь, перебегали с одного на другого. Турчин говорил с ней, не отрываясь от своего молотка. Костылин наставительно заметил:

— Когда человек работает, он производит жар в себе. — Подумав, он добавил для усиления: — Нам, например, закутывать лицо ни к чему.

— Да разве ты работаешь? Ты на меня смотришь, вот что ты делаешь, — презрительно возразила девушка и отвернулась от него. — Иван Кузьмич, у меня новость, — сообщила она, любуясь красивыми и скупыми движениями Турчина. Ей часто приходилось бывать в звене Турчина — она хронометрировала его работу.

Турчин, скосив глаза, взглянул на Зину.

— Выкладывай, — сказал он коротко.

Она нетерпеливо сдвинула с лица шаль, живое, красивое ее лицо разругмянилось от мороза.

— Утвердили новые нормы! — говорила она, счастливая тем, что все жадно слушают ее. Парни пораскрывали рты, а Турчин, продолжая работать, изредка взглядывал на нее с хмурым одобрением. — Все утверждено — данные строительной лаборатории, хронометражные наблюдения. Теперь будем рассматривать три сорта диабаз: выветрившийся, или разрушенный, потом массивный, то есть слабо нарушенный, и, наконец, коренной монолит. Понимаете, три совершенно различные нормы! Ваша работа сейчас будет оцениваться справедливо, никто не запишет вам невыполнения норм, когда по существу вы их перевыполняете. Даже ты сможешь выйти из отсталых в середнячки, — добавила она, небрежно взглянув на Костылина.

— Как там насчет норм, не знаем, мы народ неученый, — возразил он, глядя прямо в лицо девушке большими ясными глазами. — Может, по

карандашу мы ходим в отсталых. А вот по этой штучке,— он с гордостью ударил по молотку,— нас никто не догонит, это я тебе твердо!

Турчину тоже было приятно, что несправедливые старые нормы пересмотрены и теперь повысятся их низкий заработок и не будет этих обидных и страшных для него слов: «Норма не выполнена». Но он понимал, что не только в этом дело. И знал, что новые нормы не освободят его от глубокого и горького недовольства собой.

— Ну хорошо, вы мою треть куба назовете не полнормой, а целой нормой. Но треть куба от этого не станет кубом,— сказал он, покачав головой.

15

На площадке ударили в подвешенный к крюку рельс — пришел обещанный перерыв.

Костылин вскарабкался на бровку разреза и подал руку Зине. Вслед за ним выбрались Накцев и Турчин. Костылин смело взял девушку под руку и помогал ей идти среди кочек и ям, полузасыпанных плотным снегом.

Они ссорились при каждой встрече и тосковали, если долго не виделись. Он знал, что она станет сердиться на него за помощь, но обидится, если он не поможет. Отношения их устоялись и приобрели вполне законченную форму: Зина на каждом собрании ругала Костылина за отставание, а потом они шли в кино, если доставали билеты, или просто гуляли. Раз в месяц он просил ее выйти за него замуж, а она наотрез отказывалась и сердилась, когда он в ответ говорил угрюмо и уверенно: «Подожду, никуда не денешься».

В обогревалке было открыто отделение столовой. Тот, кто сдавал сюда часть продуктовой карточки, мог получать горячие обеды. Скуповатый Турчин рассчитал, что ему выгоднее приносить еду из дому. Подражавший ему во всем Накцев поступал так же. Они присели в углу стола и развернули свои пакеты. Костылин с Зиной пошли брать еду — столовая была на самообслуживании. Костылин, кроме половины основной карточки, сдавал еще часть дополнительной ударной, и ему полагалось больше блюд, чем Зине. Он поставил перед девушкой пирожное и компот. Она вспыхнула.

— Что это значит? — спросила она грозно.

— Ешь, ешь! — ответил он, спокойно принимаясь за суп.

— Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты не смел этого делать. Твоя карточка, ты и бери.

— И не подумаю. А не хочешь, кину кошке.

Она колебалась: в компоте плавал настоящий чернослив. Быстрым движением она разрезала свою котлету и положила половину на тарелку Костылина.

— Делимся едой, как муж с женой,— сказал он, улыбаясь.

— Без глупостей! — сухо предупредила Зина.

Потом она принялась за компот, и настроение ее смягчилось.

— Хочешь кусочек пирожного? — спросила она.

— Мясо вкуснее,— пробормотал он, усердно прожевывая пресную котлету, на три четверти состоявшую из хлеба.

У двери раздались восклицания и ругань. Все вновь входившие были с головы до ног засыпаны мелким снегом.

— Задула матушка-пурга! — громко говорил один из вошедших, отряхиваясь.— Ветерок метров на пятнадцать.

Ветер, неожиданно обрушившийся с гор, нарастал с каждой минутой. В обогревалке, несмотря на шум голосов и движение, уже был слышен свист бури в проводах. В трубе уныло и надрывно выло, шипел снег, па-

давший в огонь печки. Когда открывалась дверь, в обогревалку врывались целые облака снега и все застилалось морозным паром.

— Я побегу, узнаю, какая погода,— сказала Зина, вскакивая.— В сегодняшней метеосводке пургу не предсказывали.

Она вернулась через несколько минут.

— Семнадцать метров при тридцати четырех градусах мороза! — крикнула она еще с порога.— Погода активированная.

Начальник местного метеобюро Диканский любил повторять, что по жесткости климата Ленинск держит первое место на всем северном полушарии. Жесткость воздуха — это его труднопереносимость. Метеорологи считают, что ниже нуля скорость ветра в один метр в секунду по своему физиологическому действию равна двум градусам мороза. Если сложить градусы мороза и градусы ветра, получаются градусы жесткости. Слова Зины означали, что будет составлен акт, устанавливающий, что жесткость погоды достигает шестидесяти восьми градусов и наружные работы надо прекратить.

— Ложись, ребята! — крикнул один из рабочих.— Поспим до шабаша, раз начальство не возражает.

В обогревалке поднялся шум. Одни доказывали, что карьеры и разрезы защищены щитами и ветер не такой уж сильный, можно работать. Но большинство, особенно пожилые рабочие, располагались на отдых: пурга могла затянуться надолго. Бригадир в шум не вмешивался — они ждали официального распоряжения.

— Неужели и ты боишься выходить? — спросила Зина.

— Как скажет Иван Кузьмич,— ответил Костылин уклончиво, стараясь не глядеть ей в лицо.— Я пойду, если другие пойдут, но сама понимаешь, Зина, какая работа в такую погоду?

— Мог бы показать другим пример, а не тащиться у всех в хвосте,— отрезала она и отошла; ее торопливые шаги звучали еще обиднее, чем ее слова.

Он посмотрел на Накцева — тот дремал после сытного обеда, привалившись к столу.

— Твое мнение, Вася, пойдем? — спросил Костылин, толкая приятеля.

— Можно пойти, если Иван Кузьмич пойдет,— ответил всегда на все готовый Накцев.

Иван Кузьмич сидел в своем углу, сосредоточенный и молчаливый, и не вслушивался в разговоры. В час дня донесся заглушенный воем пурги удар о рельс — обеденный перерыв кончился. Никто не тронулся с места. В обогревалку вошел взволнованный Симонян и направился прямо в угол, где сидел Иван Кузьмич. За ним устремились бригадиры. Иван Кузьмич встал — он уважал энергичного, делового Симоняна.

— Товарищи! — сказал Симонян своим тонким, далеко слышным голосом.— Я только что говорил с нашим метеобюро. Пурга местного происхождения, это горный ветер, а не циклон, он кончится часа через два-три. Управление комбината формально разрешило нам прекратить работы. Я пришел к вам посоветоваться: может, выйдем?

— Кончится пурга — выйдем! — крикнул рабочий, предложивший спать.

Симонян переводил взгляд с одного лица на другое. Люди старались не встретиться с ним глазами. Снаружи еще отчетливее и сильнее доносились свист и грохот усилившегося ветра.

— Как по-твоему, Иван Кузьмич?—спросил Симонян внезапно охрипшим голосом.

Иван Кузьмич, не отвечая, смотрел на пол. На третьем восточном участке, где он работал, сейчас бушевала пурга. Идти туда бессмысленно: участок весь открыт, там будет темно — летящий снег поглотит свет единственной лампочки. Но южный и западный участки — места основ-

ной работы — были хорошо освещены и надежно прикрыты щитами и временными строениями, там можно работать без всякой опасности для жизни.

Симонян стоял и ждал решения Турчина. Иван Кузьмич чувствовал, что в этом молчании была и вера в него и то особое уважение, которое было ему дороже, чем хлеб и свет. Он стал одеваться.

Костылин, тревожно следивший за мастером, тоже схватил свою одежду и торопливо натягивал ее на себя. Среди рабочих прошел гул.

— Неужто выйдешь наружу, Иван Кузьмич? — спросил кто-то. — Да ты знаешь, что сейчас на третьем восточном делается? Кому-кому, а тебе придется хлебнуть...

Турчин хмуро ответил, не поворачивая головы:

— А ты думаешь, которые сейчас на фронте, им легче?

Костылин оделся первым и первым, высоко подняв голову, пошел к двери. Он поймал взгляд Зины, но сделал вид, что не заметил его. У самого выхода он задержался — Турчин и Накцев отставали.

— Будешь работать? — недоверчиво спросил стоявший у двери молодой парень.

— Нет, спать буду, в снежку теплее, — хладнокровно ответил Костылин. — Мы не как некоторые. Кому это смертный свист, а кому баян. Понял?

— Мы еще почище вас будем, — возразил парень, оскорбившись, и, подумав, добавил язвительно: — Трепачи!

— К концу смены сочтемся, кто чего стоит, — с торжеством ответил Костылин. Он отстранил рукой парня и рванул дверь.

Парень, тяжело дыша от гнева, ринулся к скамейке и с ожесточением стал натягивать на телогрейку полушубок. Один за другим рабочие одевались, плотно закрывали лица шарфами или фланелевыми масками и выходили. Среди других вышел и рабочий, недавно предлагавший спать до шабаша. Проходя мимо молодого паренька, неумело натягивавшего маску, он остановился.

— Не так, дура, надеваешь, — сказал он, вдруг рассердившись. — Смотри, вся шея голая и подбородок торчит, как раз обморозишься. — И, заботливо расправив маску и завязав ее тесемки, он спросил участливо: — Страшновато?

— А ты как думаешь? — чуть ли не с обидой ответил второй. — Прощлый раз вечером она ударила, еле дополз до общежития, ухо отморозил. Слышишь, как вое? Замерзнем!

— Ладно, не замерзнешь! — великодушно сказал рабочий, словно от него зависело, замерзнет или не замерзнет товарищ, и он самолично решил, что замерзать ему не нужно. И он весело ударил его рукавицей по плечу: — Главное, не бойся — теплей будет!

Ветер усилился до двадцати метров, а в иные минуты, порывами, становился еще сильнее. Идти было трудно. Люди хватали друг друга за руки, падали, кто-то, глухо вскрикивая сквозь маску, покатился по склону площадки, кто-то, ругаясь, требовал, чтобы его вытащили из ямы, куда его свалил ветер. Ни гор, ни неба уже не было видно. Снег превращался из белого сумрака в черную тьму, прорезанную молочно-тусклым светом электрических ламп. Полярный рассвет, не перейдя в день, снова становился ночью.

Вскоре пронеслись первые гудки паровозов, в грохот ветра вплелись шумы механизмов, временами перекрывая шум бури.

На ничем не защищенном третьем восточном было хуже всего. Весь диабазовый разрез занесло снегом. Вначале Турчин и его подсобные выбрасывали снег, потом взялись за молотки. И опять нельзя было понять, при каких движениях руки и молотка отскакивают крошки, а при каких — большие куски. Холод, раньше почти не ощутимый, стал вдруг каменным.

Ноги Ивана Кузьмича были окутаны двумя парами сухих фланелевых портянок, на нем были хорошие валенки, но уже через час ноги стали холодать. Мелкий снег проникал и сквозь валенки, портянки обледеневали, становились жесткими. Иван Кузьмич взглядывал на своих подсобников. Костылин работал с ожесточением, казалось, он набрасывается на скалу. Его шапка, шарф, воротник полушубка были затянуты инеем, и над инеем поднимался относимый ветром пар. Накцев работал, как обычно, неторопливо и флегматично, словно никакого ветра не было.

— Не замерз, Костылин? А ты, Накцев? Может, хотите погреться? — спросил Турчин с тайной надеждой, что ему придется проводить их в обогревалку.

Но ребята не угадали, чего он хочет, они не ждали такого от мастера. К четырем часам ветер стал утихать — снег уже не мчался вперед, а кружил мутным облаком в воздухе. Из темноты появилась Зина с подсобными рабочими. Они тащили большой фанерный щит с двумя ножками. На щите было написано какими-то крутящимися буквами (видимо, художник хотел изобразить вихревые потоки): «На площадке ТЭЦ работают при любой погоде».

Щит был установлен на самой бровке, и Зина, отпустив рабочих, прыгнула в разрез.

— Ну, как новые нормы? Выполняются? — осведомилась она деловито. — Знаешь, Сеня, Саша, что с тобой поругался, уже целую глыбу наворотил, не меньше полкуба выработает. Он тебя перегонит.

— А вот и не догонит! — ответил Костылин.

— Иван Кузьмич, чего он задается? Саша знает как работает?

Иван Кузьмич с одобрением взглянул на участок Костылина: из парня выходил толк.

— Цыплят по осени считают, — проговорил Турчин веско. — Обоим еще тянуться надо.

— Вот, получил! — торжествующе крикнула Зина и убежала.

— Вечером приду встречать. Зина, смотри не уходи! — закричал ей вслед ничуть не обиженный Костылин, снова хватаясь за молоток.

Ветер совсем утих, тучи разорвались, мутная снежная тьма превратилась в пустую черноту.

Перед самым окончанием работы на третий восточный пришли Зеленский и Симонян.

— Как дела, Иван Кузьмич? — спрашивал Зеленский, внимательно рассматривая разрез. — Плохо колется?

— Плохо, — признался Турчин, отставив молоток. — Не могу я найти той линии, по которой его, проклятого, колоть легче. Никакого в нем твердого порядка нет, Александр Аполлонович.

— Есть порядок, — возразил Зеленский, прыгивая в разрез. Он шел вдоль фронта работ, вглядываясь в свежие изломы. — Все дело, Иван Кузьмич, в первоначальных путях кристаллизации той магмы, из которой получился диабаз. Магма вырывалась наружу под давлением и застывала не свободная, а сдавленная окружающими породами. Линии кристаллизации, все плоскости спайности идут, по-видимому, вдоль линии разлива магмы. Вот здесь, мне кажется, камень легче колоть вдоль линии забоя.

— А здесь? — спросил Турчин, указывая на начало разреза и недоверчиво глядя на Зеленского.

— А тут, пожалуй, легче колоть поперек. Похоже?

— Похоже, — согласился Турчин. — Вот это меня и смущает, Александр Аполлонович. Камень тот же, а колоть его нужно в близких местах совсем с разных направлений.

— Ничего нет удивительного. Магма, растекаясь из одного центра, образовала шаровую шапку. Следовательно, двигаясь вдоль хорды,

то есть вдоль вашего разреза, нужно и направление молотка непрерывно менять. Вот попробуйте так, и станет легче.

— Попробовать можно, — согласился Турчин.

— Знаешь, Арам Ваганович, — обратился Зеленский к Симоняну, — для того чтобы раскрыть секреты этого проклятого камня, нужен толковый геолог, скорее даже минералог.

Симонян тотчас же перевел мысль Зеленского на привычный ему деловой язык:

— Завтра сговорюсь с геологическим отделом, они дадут нам одного из тех, что лазил тут со своими бурильными станками. Пусть осмотрит все разрезы, запишет, чего надо, а потом устроим занятия с лучшими рабочими. Каждый день — технический час, как час политический в школах.

Из тьмы вынырнул дежурный строительной конторы.

— Товарищ Зеленский тут? — спросил он тревожно.

— Что случилось? — спросил Зеленский, выступая вперед.

— На площадку приехал товарищ Дебрев и пошел на южный участок.

Зеленский не спеша влез на бровку разреза и пошел в сторону южного участка. Симонян передал с дежурным несколько распоряжений прорабам, сидевшим в конторе, и догнал Зеленского. Минуты две они шли медленно, потом, не сговариваясь, воровато огляделись и, убедившись, что поблизости никого нет, пустились бежать со всех ног.

16

Лесин не знал, от какой беды его избавило внедрение электропрогрева. Дебрев, возвратившись с промплощадки домой, набросал рапорт в главк о снятии Лесина с должности и назначении следственной комиссии. Рапорт этого хода не получил — Дебрев ожидал отъезда Сильченко в Пустынное, чтобы действовать самостоятельно, а через несколько дней надобности в крутых мерах уже не было: положение на промплощадке быстро менялось к лучшему. И сам Лесин, окрыленный переломом, которого удалось добиться на строительстве, все меньше давал поводов для придинок. Дебрев с прежним недоверием присматривался к Лесину, но уже не устраивал ему публичных скандалов. Для себя он сделал вывод, вполне соответствовавший его собственной природе: «Всыпали тебе — сразу перестроился! Вот он, язык, который ты понимаешь, — крепкая дубинка». Успокоенный этим выводом, утвердившись в мысли, что именно так и следует обращаться с подчиненными, он все реже навдывался на промплощадку. В центре его внимания теперь стояла энергоплощадка — строительство ТЭЦ.

Положение на ТЭЦ из частной неудачи одной строительной конторы давно уже превратилось в общую беду всего строительства в Ленинске. Отставание здесь множилось на отставание, прорывы перерастали в провалы — неслыханной крепости монолитная скала сопротивлялась всем ухищрениям людей. Не было дня, чтобы Дебрев не приезжал на энергоплощадку. Он бродил от котлована к котловану, от разреза к разрезу, вмешивался в распоряжения мастеров и бригадиров, а потом тут же, в оперативной конторке Зеленского, открывал совещание, на которое сзывались работники со всего комбината. Этих неожиданных совещаний — Дебрев устраивал их и ночью — все боялись, как чумы. Собственно, совещаний не было — собравшиеся выслушивали распоряжения главного инженера, а если пробовали возражать, их грубо обрывали. Хуже всего приходилось Зеленскому: Дебрев не мог забыть ему ошибку с неправильно заложенными шурфами. Чем больше он о ней думал, тем немислимее она ему казалась — грамотный человек не мог допустить подобного прочета, тут была не случайность, а чудовищное нарушение всех правил. Все

замечали, что Дебрев к Зеленскому относится хуже, чем к другим руководителям, он даже смотрел на него подозрительно.

— Съест он тебя, Сашенька, — сформулировал положение Янсон. — Поверь, рано или поздно съест, скорее даже рано, чем поздно.

— Подавится, — пробормотал Зеленский. Он был озабочен и расстроен — разговор происходил после очередного разносного совещания, где строителям ТЭЦ особенно досталось. — Пока он еще не хозяин в комбинате. И я не Лесин — кричать на себя не позволю, пусть разговаривает, как человек.

Дебрев и сам понимал, что Зеленский — не Лесин, и старался соблюдать некоторые формы приличия, особенно после того, как Зеленский дерзко сказал ему при всех в ответ на какие-то нападки:

— Руганью делу не поможете, Валентин Павлович. Не верите нам, берите в руки молоток и сами становитесь в котлован — посмотрим, удастся ли вам исполнить свои собственные требования!

Дебрев этого тоже не мог забыть. Чем дальше шло дело, тем определеннее он думал, что корень всех бед на энергоплощадке — сам Зеленский. Этот человек осмеливался огрызаться, многие приказы не выполнял, называя их нереальными, иногда прямо говорил: «Строительство я все же знаю — очень прошу, дайте нам поступать по-своему!» И тогда Дебрев отказывал ему в таком праве, Зеленский тут же жаловался Сильченко. А Сильченко обычно становился на его защиту. В такие минуты Дебрев с бешенством ощущал свое бессилие — он в самом деле не был хозяином в комбинате. И тогда он думал уже не о Зеленском и других непокорных работниках, а о самом главном, о том, что двум волчицам не жить в одной берлоге, а ему с Сильченко не поделить комбината. Он уже искал повод для рапорта в Москву с требованием выбирать или он, или Сильченко. Он знал, что без подобного рапорта не обойтись — выполнение решения ГКО срывалось, за провал придется отвечать, и в первую очередь, конечно, Сильченко. А когда Сильченко уберут, начнется настоящая работа — все те, кого он защищает, все эти ленивые, равнодушные, преступно беспечные люди узнают, что значит ходить под жесткой рукой. Пощады он никому не даст, нет, каждый должен будет до конца показать, чего он стоит.

Янсону, с которым он иногда делился своими сокровенными мыслями, Дебрев как-то сердито сказал:

— Зеленский у тебя, кажется, в дружках? Неважный дружок. Боюсь, всем нам достанется из-за него. Когда до Москвы дойдет наша обстановка, головы полетят.

Янсон сразу понял, на что намекает Дебрев. Он непринужденно ответил:

— Ну, все не слетят! А старику, конечно, не сносить головы, — он кивнул в сторону кабинета Сильченко.

Дебрев остался доволен, что мысли Янсона так близко совпадают с его собственными.

Сильченко хорошо знал о настроениях и планах Дебрева — тот не умел скрываться, до Сильченко доходили такие отзывы, как «либерал», «старый рохля», вероятно, были и более обидные. Всю вину за тяжелую обстановку, создавшуюся на строительстве, Дебрев взваливал на него, Сильченко, и вел отношения к окончательному разрыву. За себя Сильченко не страшился — слишком многое стояло за его спиной, двадцать пять лет, проведенных им в партии с марта семнадцатого, были трудовыми годами, имя его было известно каждому строителю. Он умел быть до конца честным с самим собой: он боялся потерять Дебрева. Он знал то, о чем Дебрев не догадывался, — оба они были жизненно необходимы строительству в Ленинске. Они дополняли друг друга, а не опровергали, как казалось Дебреву. Без Дебрева Сильченко не сумел бы

справиться со всей массой то и дело возникающих технических проблем. Энергия Дебрева, его острое чувство нового, его инженерные дарования, его удивительная оперативность делали его душой всего строительства, центром, вокруг которого все вращается. Его не любили, его боялись, но к нему шли — только он мог решить то, что требовало немедленного и грамотного решения. Дебрев знал: он нужен всем. И это сознание своей необходимости превращалось у него в ощущение исключительности и непогрешимости. А Сильченко видел и другое: сконцентрировав в своих руках всю полноту власти, Дебрев не улучшит, но развалит строительство. Он знал один метод воздействия — палку. Под палкой люди работают, изо всех сил работают. Это несомненно. Но творить под палкой никто не сумеет, а решение лежало в этом, в творчестве.

Хуже всего было то, что об их неладах все знали и уже старались играть на них, как это делал Зеленский, — если Дебрев чего-нибудь не разрешал, шли к Сильченко. Коллектив распался на две неравные и враждующие части — сторонников Сильченко и сторонников Дебрева. Последних было не много, но это были самые даровитые люди, лучшие инженеры комбината, такие, как Лешкович, Янсон, Телехов и Седюк. И Дебрев открыто благоволил им, без спора немедленно соглашался со всем, чего они требовали, ставил их в исключительное положение перед другими. Допустить дальнейший распад коллектива Сильченко не мог, но не понимал, как прекратить искусственно раздуваемые между ним и Дебревым нелады. Он старался быть мягким со своим главным инженером, уступал ему во всех непринципиальных вопросах. Это было хуже, а не лучше.

— Не понимаю вас, Валентин Павлович, — говорил Сильченко, просматривая принесенный ему на подпись приказ с новыми выговорами Зеленскому и его прорабам. — Чего вы от них хотите?

— Хочу, чтоб они выполняли свой график, — с вызовом отозвался Дебрев. — А вы разве не хотите этого, товарищ полковник? — И он добавил гневно: — Пусть никто из них не надеется, что ему спустят хотя бы малейшую оплошность. Лично я не успокоюсь, пока они не научатся работать или пока их не погонят ко всем чертям. И думаю, что вы сами это поймете: плохих работников надо гнать.

— Смотрите не пробросайтесь, — хмуро ответил Сильченко, нехотя подписывая неприятный приказ.

Эта мысль — гнать с энергоплощадки всех обанкротившихся руководителей — все более овладевала Дебревым. Он думал о ней в кабинете и дома. Понимая, что он натолкнется на сопротивление Сильченко, он деятельно готовил почву для задуманной крупной ссоры. В своей борьбе он собирался опереться на парторганизацию строительства. На энергоплощадке секретарем был недавно прилетевший Симонян, прораб южного участка. О Симоняне было известно, что он носится быстрее ветра, днюет и ночует на площадке и на каждом партсобрании неистово разносит всех руководителей за нерадивость, особенно достается Зеленскому. В своих планах Дебрев отводил Симоняну роль начальника строительства ТЭЦ вместо Зеленского. В одно из посещений энергоплощадки Дебрев поделился с Симоняном своими организационными проектами.

— Ни к чертовой матери не работает ваше начальство, — сказал он недовольно.

— Ни к чертовой матери, — быстро согласился Симонян. — Я тут три недели и вижу — ничего не получается. Два раза уже ставил этот вопрос на парторганизации.

— Что вы предлагаете, товарищ Симонян? — спросил Дебрев. Он надеялся, что Симонян сам скажет эту желанную для него фразу: «Гнать беспощадно...»

— Как — что? — изумился Симонян. — Не давать покоя ни вам, ни Сильченко, требовать побольше взрывчатки, мобилизовать всех жителей поселка, всех мужчин — пусть каждый дополнительно к своей работе день в неделю отработает на ТЭЦ; отдыхать будет после войны! Недавно я прямо сказал Зеленскому: чего ты трусишь, бери телефон, требуй от Дебрева и в выражениях не стесняйся, не надо!

Дебрев злобно глянул на Симоняна, но сдержался.

— Ну, а если бы вы были начальником энергоплощадки, — спросил он, помолчав, — смогли бы вы исправить положение? Зеленский явно не справляется.

— Если он не справится, так никто не справится, — решительно ответил Симонян. — Зеленский — орел, поймите. Я ему вчера прямо это сказал: «Ты последний дурак, Саша, — лучше всех знаешь, как разрабатывать скалу, и терпишь, чтоб тебе со стороны устанавливали нормы расхода материалов. Иди к главному инженеру и стукни кулаком по столу».

Дебрев повернулся и пошел прочь от Симоняна — новый работник энергоплощадки, кажется, слишком походил на него самого, Дебрева, чтобы оказаться удачной заменой Зеленскому.

Но мысль привлечь на свою сторону общественность поселка не оставляла его. Он все более вмешивался в то, что до сих пор составляло область работы одного Сильченко, — вызывал к себе редакторов многотиражек, секретарей низовых парторганизаций, стремился всюду создать атмосферу тревоги и недоверия. «Не справляются наши технические руководители! — прямо сказал он на совещании в редколлегии поселковой газеты. — Берите их за бока не взирая на чины, крепко берите, товарищи, терпеть далее нельзя». С этого совещания Зеленский стал любимым героем газетных очерков и статей — его фамилия одна поминалась чаще, чем все остальные, вместе взятые, и поминалась в сочетании с одними и теми же фразами: «Плоды зазнайства и верхоглядства», «Вельможа в роли начальника», «До каких пор это можно терпеть?» Зеленского спасало только то, что времени читать все статьи у него не было, а сотрудники конторы умалчивали о них, потому что уважали его.

Дебрев попытался привлечь к своей борьбе и Седюка, и это неожиданно оказалось решающее действие на весь ход начатой им войны. Расчет его казался безошибочным: Седюк был самым близким ему человеком в поселке, он, так же как и сам Дебрев, яростно восставал против всех неполадков, был прям и крут и, конечно, должен был поддержать главного инженера. Дебрев учитывал и то, что влияние Седюка в Ленинске непрерывно росло, — он был членом бюро заводской парторганизации, самым деятельным членом техсовета, самым энергичным и смелым из всех заводских инженеров. Вызвав как-то к себе Седюка, Дебрев стал жаловаться на обстановку.

— Помнишь, я тебе говорил в первый вечер о наших либералах, — сказал он. — Теперь ты сам разбираешься в окружении и можешь оценить, насколько я прав. Одно скажу: из-за любви к своему спокойствию, из-за толстовской сладенькой веры, что все кругом хорошие, Сильченко проваливает ответственное задание правительству.

Так открыто о своей вражде к Сильченко Дебрев еще не говорил с Седюком, хотя не стеснялся в оценках других руководителей. И всегда при этих разговорах Седюк сжимался и отмалчивался. Он мог поддерживать любую техническую беседу и спор, но не терпел личных дразг. Кроме того, он знал самое главное — его отношение к людям было иное, чем отношение Дебрева. Увлеченный своим гневом, Дебрев обычно не замечал осуждающего молчания Седюка, ему казалось, что молчание это только подтверждает его, Дебрева, характеристики и выводы. Но сейчас Седюк понимал, что на этот раз отмолчаться не удастся. Он спросил:

— Что собираешься предпринять, Валентин Павлович?

— Как — что? Бороться! Подняться всем фронтом на эту толстовскую группировку. Люди теряют не только бдительность — элементарную честь советского гражданина, поплевывают в потолок, когда война бушует у стен Сталинграда. Как можно это вынести? Я вчерне набросал доклад Забелину — требую назначения наркоматской следственной комиссии для проверки хода строительства. Думаю, человек десять отдадут под суд, в первую голову Зеленского, — сразу станет легче дышать. Для начала нужно разнести всю эту бражку на комбинатской партконференции, которая открывается через неделю. Крепко надеюсь на тебя, подготовь хорошее выступление против Лесина и Зеленского.

Седюк сурово молчал. Дебрев с изумлением смотрел на него.

— Ты что, не согласен?

— Нет, — сказал Седюк твердо. — Не согласен.

Дебрев был так поражен, что некоторое время ничего не мог сказать и только молча глядел округленными глазами на Седюка. Потом воочил. Слепой, удушающий гнев охватил его.

— Как так — не согласен? — закричал он, останавливаясь перед Седюком. — Да ты отдаешь себе отчет в своих словах? Выходит, ты на стороне всех этих перерожденцев и тайных вредителей?

— Отчет в своих словах я себе отдаю, — возразил Седюк. — Все дело в том, что я не считаю их перерожденцами и тайными вредителями. Мне кажется, ты теряешь элементарную объективность, Валентин Павлович.

Дебрев возвратился к своему креслу. Он вытянул на столе волосатые крупные руки, они дрожали, но он не замечал этого.

— Значит, элементарную объективность теряю? — сказал он мрачно. — Интересно, очень интересно. А в чем, разреши узнать, теряю?

— А возьми хотя бы того же Сильченко, — сказал Седюк убежденно. — Помнишь, ты мне говорил, что он не справится в Пустынном, что надо ехать тебе. Я верил, потому что никого не знал. А он справился, неплохо справился, разве можно это отрицать? Потом Зеленский. Сколько можно его бить? Просто удивляюсь тебе, Валентин Павлович, неужели ты сам не видишь, что тут требуется не нажим, а инженерное решение, что-нибудь вроде газаринского электропрогрева? Думать нужно, а не размахивать кулаками.

Дебрев уже овладел собой. Теперь он стремился прекратить этот неожиданно неудавшийся разговор.

— Ладно, иди! — бросил он. И, не удержавшись, добавил с горечью: — Всего мог ожидать, но не этого, чтобы ты переметнулся к Зеленскому и его бражке.

Он говорил правду — он был потрясен. Нежданное сопротивление Седюка было ему тяжелее, чем вся начатая им война, чем все нападки на него со стороны его врагов. Здесь на него встал друг, самый близкий ему человек. «Да как это возможно? Нет, как это возможно? — все снова страстно допрашивал он себя. — Седюк, Седюк в чистильщики сапог к Сильченко записался! Как это можно вытерпеть?» У него было такое ощущение, будто он уверенно поставил ногу на прочное, хорошо ему известное, надежное место, и нога внезапно провалилась в пропасть. У него кружилась голова — все кругом проваливалось, ни на что нельзя было опереться. Он понимал: самое страшное, если уж и Седюк отшатнулся от него, значит нет у него настоящей поддержки. Дебрев был смел, он мог сражаться против любого начальства, его не пугали никакие административные неприятности. Но он не мог сражаться в одиночку, он опирался в своей борьбе на широкую помощь; так было всегда до этих пор, иначе быть не могло. А сейчас было именно иначе — он дрался один против всех. Дебрев забыл о поддержке, оказываемой ему газетами, о выступлении по местному радио, о речах на собраниях, о вывешенных по его приказу плакатах — все это были мелочи в сравнении с тем, что от

него отшатывались друзья. И по мере того, как первая растерянность и смятение утихали, в нем неудержимо росло и крепло новое чувство — ненависть к Седюке. Этот человек был хуже их всех, хуже Сильченко, хуже Лесина, даже хуже Зеленского. Те просто были плохие люди, толстовцы, потерявшие бдительность руководители, этот же был изменник, переметнувшийся.

«Ладно! — бешено думал он о Седюке. — Посмотрим, как сам ты справишься. Тебе-то уж пощады не будет, не жди!»

Эти мстительные мысли несколько успокоили его. Все же он был подавлен и сбит с толку. Это сказывалось на его отношении к окружающим — он вдруг усомнился в своей непогрешимости. Он уже не только кричал, но и слушал ответы. Ему казалось, что он потерял искусство настоящего руководства, что он жалок в своей неуверенности, и от этого он еще более злился. Люди со стороны замечали, что он говорит новые, странные для него слова, но он не казался им от этого менее грозным.

— Пошли, совещание откроем, — сказал он Зеленскому после очередного обхода энергоплощадки.

Зеленский подозрительно и враждебно глядел на насупленного Дебрева — дела на площадке в этот день не ладились хуже обычного.

— Опять ругать будете?

— А вы считаете, вас хвалить надо? — криво усмехнулся Дебрев. — Не бойтесь, без нужды придирайтесь не стану. Думать будем.

17

Непомнящий тосковал.

Казалось, у него была та самая работа, о которой он всегда мечтал, — «не пыльная», как он говорил, не напряженная, не грозившая неприятностями. «Начальник материально-хозяйственной части» — это звучало веско. Нужно было раза три в неделю съездить на базу, погрузить в сани выписанные материалы и доставить их в опытный цех. После этого он мог предаваться своему любимому занятию — ничего не делать. До сих пор он завоевывал право оставаться лентяем ценой многих трудов, усилий и лишений — нужно было тратить бездну энергии и изобретательности, чтобы, не работая, создавать видимость работы. Сейчас его безделье было узаконено. Но он чувствовал себя птицей, попавшей в разреженную атмосферу: не хватало воздуха ни для полета, ни для дыхания.

Ужас был в том, что все кругом были заняты. Куда он ни шел, он оказывался лишним. Он хотел разговаривать и острить, но у окружающих не было времени слушать его.

Сначала Непомнящий пристроился в лаборатории Газарина — здесь было тепло и чисто, а на красивую степенную Ирину было приятно смотреть. Но на третий день вежливый Газарин грубо сказал Непомнящему, что его болтовня мешает работать. Молчать и сидеть неподвижно Непомнящий не умел — он перенес свой стол в склад. Но здесь было очень тоскливо, в склад редко кто приходил.

На некоторое время, сам того не зная, иганасан Яков Бетту заполнил пустоту, трагически распространившуюся вокруг Непомнящего. В свободные минуты Яша бегал по всему цеху и всем интересовался. Он приходил в склад, осматривал стеллажи и все спрашивал: а это что?

— Это приборы, — охотно объяснял Непомнящий. — Это слесарный инструмент. Здесь лежат электроматериалы. Тут химические реактивы.

Якову нравились незнакомые названия. Он быстро запоминал их и любил повторять. С Непомнящим он подружился, приходя в склад, кричал: «Здравствуй, Ига!» — и тотчас выкладывал все, что случилось с ним за день. После этого он непременно осведомлялся: «Что ты делал, Ига?»

Непомнящий пытался ему втолковать; что он раздумывал, беседовал с теми, кто приходил, но Яков сразу схватывал суть дела. Он с обидным удивлением говорил:

— Ничего не делал, Ига? Почему такое?

Еще более тяжкий удар нанесла ему красивая рыжеволосая девушка, с которой он познакомился в очереди к кассе кинотеатра. Вечер начался радужно. Непомнящему удалось достать двести граммов конфет «подушечка», в зал они проникли одними из первых и сумели сесть на места, указанные в билетах. Показывали «Свинарку и пастуха», картину старую, но веселую, и девушка с охотой слушала рассказы Непомнящего. Она только спросила, как его зовут и где он работает. Он проводил ее домой и по дороге острел без усталости, она весело смеялась, потом стала рассказывать сама. Она работала на механическом заводе токарем, дело у нее шло хорошо, но вредный мастер и контролеры ОТК страшно придирались и даже в прошлом месяце вывесили ее фамилию на черную доску. Она чуть не расплакалась, вспоминая об этом. Он, утешая, чуть обнял ее и хотел было поцеловать в щеку. Но она спросила:

— Вы мне совсем не рассказали о себе, Игорь. Как у вас идет работа, никто не придирается?

Этого он не сумел вынести. Забыв о холодном ветре, он церемонно приподнял свою меховую шапку с длинными ушами и пожелал ей спокойной ночи.

— Война весь быт поставила на дыбы,— пожаловался он Мартыну на следующий день.— Круг интересов катастрофически сузился. Ты целуешь девушку, а она тебя спрашивает: «Ну, а как вы работаете? Ничего начальник?» Ведь это же катастрофа, светопреставление крупным планом!

Только в аналитической лаборатории Непомнящий иногда отводил душу. Варя нравилась его болтовня — она производила анализы, а он сидел рядом и развлекал ее. Сумрачная Бахлова терпела его, он всегда был весел, услужлив, добр, в глубине души она ценила свойства, которыми не обладала сама. Но как-то Непомнящий увидел, что Бахлова плачет. Она взвешивала пробы руды, руки ее проворно шевелились, досыпая и отсыпая навеску, а по щекам катились слезы и падали на мрамор столика. Самое удивительное было в том, что кругом сновали лаборантки и громко переговаривались, словно не замечая этого молчаливого плача. Непомнящий был отзывчив. Он тронул Бахлову за плечо и участливо спросил: «Что с вами?» Она вскопчила, разъяренная.

— Вон отсюда, бездельник! — закричала она на весь опытный цех.— Что вам здесь надо? Чтоб ноги вашей здесь не было, слышите!

Одна из лаборанток, выйдя с Непомнящим в коридор, сказала:

— Ну да, вы, конечно, не знали, что она со вчерашней почтой получила письмо, оттого вы и вошли в аналитическую.

— Я вошел бы, если бы и знал о письме,— возразил Игорь.— Я не понимаю, почему вчерашняя почта должна мне мешать ходить по земле?

— Разве вы не слыхали ее истории? У нее муж погиб в боях под Москвой, а единственная дочь потеряла рассудок во время бомбежки. Каждый раз, как из Москвы приходит письмо, Надежда Феоктистовна совсем расстраивается. Мы это хорошо знаем и держим себя так, словно ничего не происходит.

После этого Непомнящий уже не заходил в аналитическую лабораторию.

Варя по-прежнему оставалась для него самым близким человеком в Ленинске. Но и тут его вскоре постигла неудача. Однажды Непомнящий провожал Варю домой. Ей это было приятно: в последнее время ей хотелось всем нравиться, а Непомнящий всегда смотрел на нее добрыми глазами, был очень хорош и внимателен с нею. Ее переполняло внутреннее

оживление, даже посторонние замечали в ней перемену. Хмурая Бахлова сказала ей как-то ворчливо: «Что это вы все хорошеете, Варя?» Она отшутилась: «Отхожу после эвакуации, Надежда Феокистовна!» Она и без Бахловой видела в зеркале, что хорошеет. Она и радовалась этому и грустила.

Несколько минут они шли молча — валенки их скрипели на сухом, твердом снегу. Проходя мимо общежития, Непомнящий взглянул на окна своей комнаты. Окна были темны.

— Седюк еще не пришел, — заметил Игорь. — Странный человек этот ваш приятель Седюк.

— Он мне такой же приятель, как и вы, — возразила Варя. Она сама удивилась, что могла проговорить это так спокойно. — Я ведь познакомилась с ним и с вами в Пинеже. А чем он странный?

— Всем, Варя. Он удивительный человек. Он сам ищет работы, когда ее нет. Его завод еще не построен, он мог бы хорошо отдохнуть, так делает наш начальник Назаров, тот никогда не переутомляется. А Седюк разворачивает опытное строительство, проектирует, исследует, ведет на курсах занятия и два раза в неделю провожает нашу начальницу, Лидию Семеновну, к черту на кулички. Я это знаю, потому что занимаюсь на курсах и выхожу вместе с ними. Я уже сплю, когда он возвращается после этих прогулок. Впрочем, она стоит ухаживания. Вы знаете Лидию Семеновну? Редкая красавица, правда?

Было темно, и Непомнящий не видел, какое действие производят его слова. Он слышал только, как Варя ответила ему спокойно и ровно:

— Да, она, конечно, очень красивая.

Непомнящему не хотелось расставаться с Варей. Он остановился у ее дома, острил, заглядывал в лицо. Еще несколько минут назад ей было приятно все это — и веселые слова, и ласковое пожатие, и добрый блеск его глаз. А сейчас она с чувством непреодолимого отвращения вырвала свою руку. Он, смеясь, пытался ее удержать.

Она повернулась, чтобы уйти, но он не выпустил ее варежки и нечаянно сдернул ее с руки. Смеясь, он принялся надевать ее снова и вдруг, наклонившись, стал горячо целовать Варины пальцы. Смущенная, она пыталась вырваться. Он отпустил руку, обнял Варю за талию и неловко прижался губами к ее губам. И сейчас же она с силой оттолкнула его и ударила по щеке.

Она бежала по темной лестнице, потом по темному коридору, и в глазах ее стояли слезы обиды и негодования. Она с ожесточением терла варежкой губы, и ей казалось, что этого нежеланного и отвратительного прикосновения уже не стереть никогда.

А он медленно шел по темной улице и весь сгивался под тяжестью жгучей горечи. И хотя он любил утверждать, что из всякого положения есть, по крайней мере, один позорный выход, ему все же было так тяжело, как еще никогда в жизни.

Сильченко получил ответ на свой доклад о положении, создавшемся в Ленинске после нападения немецкого крейсера на арктический караван. Как Сильченко и ожидал, все его распоряжения были утверждены. Только в одном пункте начальник главка Забелин подвергал сомнению предложенные Ленинском практические меры, и это был как раз тот самый важный и самый слабый пункт, в котором сомневался и Сильченко. Забелин сообщал, что запрошенные им эксперты отрицательно относятся к идее организовать в Ленинске производство серной кислоты из конвертерных газов. Процесс этот сложен и капризен, он еще никому не удался. Правда, немцы недавно пустили цех по изготовлению кислоты из конвер-

терных газов, но в их процессе имеются какие-то важные, тщательно засекреченные особенности, к тому же процесс не очень-то ладился и у немцев. Сейчас приняты меры к разведыванию немецкой технологии, но до получения этих данных ставить широкие эксперименты нецелесообразно. Во всяком случае, если и налаживать подобное производство, то в обжитых местах, а не в глухом краю, где нет ни аппаратуры, ни специалистов, ни времени на эксперименты. Забелин не употребил прямо этого осуждающего слова «авантюра», но оно ясно угадывалось в каждой строчке его ответа. Забелин ставил Сильченко в известность, что вопрос о строительстве в Ленинске вторично выносится на решение Государственного Комитета Оборона, — создалось особое положение, требуются крутые меры, чтобы исправить нанесенный противником ущерб.

Письмо Забелина было пространно, целых три страницы. Уже это одно показывало, как тревожится начальник главка, — обычно он был сдержан в словах. Сильченко размышлял над письмом, никого не принимая. Он был встревожен. Его страшила ответственность, которую они вваливали на себя, отказываясь от привозной кислоты и начиная новое, неиспытанное производство. Хуже всего было извещение о немецких секретах — значит, и у них не пошел простой процесс, тот, что сейчас пускается в Ленинске. А если секретов этих разведать не удастся и Седюк самостоятельно до них не додумается? Это будет уже не простой технический просчет, а прямая катастрофа — готовый к пуску завод будет несколько месяцев стоять, не выдавая продукции.

Сильченко позвонил Дебреву. Дебрева на месте не оказалось. Сильченко попросил передать Дебреву, когда он появится у себя, что его ожидает начальник комбината, и начал свой утренний прием. В списке очередных дел на первом месте значился доклад местного управления НКВД о борьбе с преступностью в поселке. В размеренном порядке дня Сильченко это было нововведением — все его внимание до сих пор поглощали хозяйственные и административные вопросы.

В кабинет к Сильченко вошел Парамонов. Сильченко кивком показал ему на кресло.

— Докладывай, Владислав Петрович, что у тебя?

— Сводка происшествий за неделю, товарищ начальник комбината, — официально сказал Парамонов, раскрывая принесенную с собой папку, и начал неторопливо читать:

— «Оперативная сводка основных происшествий за неделю в поселке Ленинск. Двадцать седьмого октября в общежитии металлургов произошли две драки, в одной применены ножи, серьезных ранений нет, задержан рабочий Сотник, после проверки документов отпущен. Того же числа на гражданина Невзорова, экономиста техснаба, произведено нападение на Рудной улице, крепко дано по уху, сняты пальто, шапка, часы. Двадцать восьмого октября произведен налет на продуктовый магазин № 4. Двое неизвестных напали на сторожа, отобрали у него ружье и, связав, забили рот кляпом. Унесено два ящика консервов. Двадцать девятого октября в общежитии строителей ТЭЦ была драка с поножовщиной, имеется серьезное ранение, задержан некий Сидорюк, ранее судившийся за убийство. У трех лиц отобраны ножи. Первого ноября кассирша магазина № 2 Петровская получила записку, что из ее выручки проиграно автором записки три тысячи рублей. Ей предлагается оставить эти деньги на пустыре по дороге на ТЭЦ, в противном случае угрожают зарезать. Кассирше Петровской выделена охрана, сопровождающая ее после работы домой».

Парамонов, закончив чтение, аккуратно сложил бумаги и сунул их в папку.

— Великолепно работаешь, — негромко сказал Сильченко. — Забота о живом человеке — кассирше выделена специальная охрана! А если бандиты каждому второму человеку напишут, что проиграли его деньги, вы что же, дорогие товарищи, целый полк солдат отведете на индивидуальную охрану этих людей? Улицы отданы во власть темным элементам, честные люди боятся в одиночку нос наружу высунуть. Каждый день кровавые происшествия, нападения, поножовщина, а никто не задержан, кроме какого-то Сидорюка, и то, наверное, потому, что он уже раз судился за убийство. Документы проверены! Преступник любые документы припасет, это вам неизвестно, что ли?

— Кое-что делаем, — угрюмо сказал Парамонов, — несколько человек арестовано.

Сильченко рассердился.

— Я давно приглядываюсь к тебе. самого главного не понимаешь. У тебя перед глазами документы, официальные справки, а людей ты не знаешь, как они живут, как работают — не представляешь. Ты бывал в общежитиях? Нет. А надо. Я бывал. Седюк мне рассказывал, он навещал одного рабочего: безобразие, грязь, картеж, пьянство. А что ты знаешь об этом? Ничего! И кто вас учил так работать — поверхностно, без души, не вникая в существо дела? В следующий раз будешь докладывать и оперативную сторону и бытовую. Все. Можешь идти.

Но Парамонов не ушел. Он стоял перед столом Сильченко, сжимая портфель дрожащими руками.

Сильченко с удивлением смотрел на него.

— Просьба у меня к вам, Борис Викторович, — сказал Парамонов. — Три раза моему начальству заявления писал — отказывают. Вся надежда теперь на вас. Отпустите меня в Действующую армию.

— Почему так? — сухо спросил Сильченко. — Чем тебя твоя работа не удовлетворяет?

— Не могу я тут, — вздохнул Парамонов. — Не по мне все это — я военный. Разве я к этому готовился? Если меня в армию не брать, так кого же туда? Товарищи мои — кто без ноги, кто генерал, а я здесь в тишине, отлеживаюсь в тылу, ловлю за руку воришек.

— А где здесь тишина? Где покой? — гневно закричал Сильченко, вставая. — Мы боремся с этим собачьим климатом, с трехмесячной черной ночью, с хулиганами и грабителями, с нехваткой материалов, боремся ожесточенно, мучительно... Где же здесь покой? Ты с этой борьбой не справишься, почему же я должен верить, что ты будешь хорошо воевать?

Парамонов опустил голову.

— Если у вас я сочувствия не найду, — сказал он горько, — так некуда мне больше податься.

— Ты нужен здесь, у нас. Оставим этот разговор, — сказал Сильченко, садясь и не глядя на Парамонова.

После ухода Парамонова Сильченко никого не принял. Янсон позволил, что Дебрев возвращается с энергоплощадки. Дебрев, войдя, не сел, а остановился у стола, будто простой проситель. В последнее время он подчеркивал, что является к начальнику комбината только по вызову и засиживаться не намерен. Сильченко молча достал из сейфа письмо Забелина и протянул его Дебреву. Тот быстро пробежал его глазами и, растерянный, сел. Сильченко наблюдал за выражением его лица, он видел, что Дебрев волнуется.

— Это что же получается? — сказал Дебрев. — Выходит, испытывали наш способ и ничего не вышло? А Седюк докладывал нам, что работающих по этому способу цехов нет, впервые будем пробовать в Ленинске.

Или человек не знает, за что берется, или пустился на прямой обман — так вытекает из письма Забелина.

Сильченко удивился. Он ничего не знал о ссоре между Дебревым и Седюком, и его поразило, что Дебрев сразу опорочивает одного из близких своих любимцев, да еще в деле, которое он сам недавно так горячо отстаивал. Сильченко покачал головой.

— Седюк признался, что ничего не слышал о работающих заводах, но что идея этого способа производства кислоты упоминается во многих местах. О немецком заводе он, конечно, мог и не знать: его пустили недавно. Дело не в этом, Валентин Павлович. Что мы ответим Забелину — вот в чем вопрос.

Дебрев думал, отвернув лицо от Сильченко, потом снова перечитал письмо. Сильченко все более удивлялся странному поведению Дебрева — не в бычае у него было тянуть с ответом, взвешивая все «за» и «против». Нетерпеливый и стремительно соображающий, он отвечал быстрее, чем иные спрашивали. Сильченко, впрочем, понимал, что отвечать нелегко: Дебреву, конечно, хотелось защитить свой план, но после разъяснений Забелина подобная защита представлялась слишком рискованной. Дебрев еще больше удивил Сильченко. Он ответил вопросом на вопрос:

— Ну, а вы как, товарищ полковник? Думаю, у вас уже составилось свое мнение? И оно, очевидно, таково — долой все новые процессы, подавайте нам готовую кислоту взамен загубленной?

— Мнение мое таково, что нам нельзя допускать провала, — сухо ответил Сильченко. — Мы находимся на краю света, быстро завезти все, что требуется, не можем. Я тогда говорил и сейчас повторяю: на риск, обоснованный риск идти нужно, тут я с вами согласен. А в азартные игры играть недопустимо. Вот это я и хочу решить с вами: нет ли в проекте Седюка элементов азарта и увлечения?

— Хорошее словечко — «увлечение»! — зло улыбнулся Дебрев. — Говорили бы уж прямо «преступная опрометчивость», к истине ближе. — Он помолчал и закончил с неожиданным спокойствием: — Впрочем, я с вами согласен. Не принимать во внимание указания Забелина мы не можем. Все эти опыты по новому производству кислоты придется свернуть. Пусть Караматин проектирует свой старенький цех, кое-что он даст, остальное нам как-нибудь забросят.

Он понимал, что начальник комбината поражен, и, казалось, наслаждался этим. Сильченко видел в его лице новое выражение — холодное и мстительное. Тут была какая-то непонятная Сильченко загадка, и он невольно сказал:

— Не понимаю, Валентин Павлович, вы еще недавно были убежденным сторонником нового способа, сами говорили: «Почему не попробовать в Ленинске никем не испробованный метод?»

— А вы были противником этого метода, — холодно возразил Дебрев. — И после того как нам представили доказательства, что метод никуда не годится, вдруг почему-то стали его сторонником.

На это Сильченко ничего не ответил. Дебрев почувствовал, что должен сгладить свою резкость.

— Вы мои привычки знаете — я никому не верю, — сказал он угрюмо. — Вас удивило, что я не защищаю Седюка. Ему тоже не верю. Верю только фактам, а факты, — он кивнул на письмо Забелина, — против Седюка. Пробовали этот процесс другие — и не вышло. Вот почему я отказываюсь от своих прежних решений.

— У немцев, однако, вышло, — возразил Сильченко. И предложил: — Давайте еще подумаем над этим, а потом вместе ответим Забелину. Лично я Седюку верю, инженер он грамотный. Если у кого и пойдут такие сложные процессы, так, пожалуй, только у него.

Дебрев не лгал Сильченко — он не верил Седюку. Человек, который мог изменить ему, Дебреву, мог восстать против него, не заслуживал доверия. И так как Дебрев не умел отделять людей от производимой ими работы, то, потеряв доверие к Седюку, он перестал верить во все, что тот предлагал и делал: подозрительный человек совершает только подозрительные поступки. Авторитетное сообщение Забелина бросало неожиданный свет на все поведение Седюка, разъясняло первый его проступок, раскрывало тайные мотивы этого проступка. Сидя в машине, Дебрев все снова и снова возвращался к письму начальника главка. Бешенство душило его. Все становилось на свое место, все делалось ослепительно понятным. В мыслях Дебрева устанавливался стройный и грозный порядок.

Они шли по одной и той же много раз проторенной дорожке, его мысли. Они сами сворачивали на эту дорожку, как лошадь, предоставленная себе, сворачивает домой. Некогда он был полон страстной веры в людей. Эти люди совершали гигантские перевороты в сельском хозяйстве, в промышленности его сверстников, казалось, что самое трудное уже свершилось. Величественная перспектива приближающегося коммунизма ослепляла глаза, казалось: сегодня, завтра, через год наступит истинный, а не выдуманный религией рай на земле, тот, о котором говорили великие учителя коммунизма. А жизнь вносила суровые поправки в эту владевшую его умом и сердцем пленительную картину. Страна бурно росла и поднималась, а трудности не уменьшались, но часто даже множились. Сельское хозяйство, до самых своих глубин потрясенное свершившейся в нем великой революцией, налаживалось с трудом. В промышленности возникали тысячи диспропорций, вопиющие несуразности. Он возмущался всем этим и не хотел понять, что это — естественный спутник великого революционного перелома в стране. И ему настойчиво представлялось, будто повсюду, тайно и непрерывно, действует чья-то мощная злая воля. И так как в стране действительно было много людей, ошеломленных грандиозными событиями, не понимавших их исторического значения и потому втайне недовольных, то злая воля принимала в глазах Дебрева облик этих людей. Судя по сообщениям газет, все поры общества были поражены бактериями таинственной и страшной болезни — вредительством. Для Дебрева это было самое простое, самое естественное, самое исчерпывающее объяснение всего плохого, с чем он встречался и что его возмущало. Грянувшая затем война безмерно обострила и усилила это чувство.

Дебреву, как почти всем его сверстникам, как почти всем сильным людям, было свойственно переоценивать свои силы и недооценивать силу врага. Он трижды смотрел кинофильм, в котором небольшой танковый отряд во время войны с фашизмом лихим ударом прорывается в тыл врага и молниеносно ликвидирует всю военную мощь противника. Немецкий командующий хриплым голосом, истерически вызывает по телефону резервы, их, конечно, нет, ему ничего не остается, как поднять руки под револьверами ворвавшихся в штаб-квартиру советских танкистов. И когда началась настоящая война, первые ошеломляющие неудачи наших войск обрушились на этот круг самодовольных мыслей, как ледяной поток на голое тело. Наша армия отступала, а в Дебреве ломался и крошился целый мир воспитанных в нем представлений. Но он не хотел, не мог признать, что и он — своим легкомыслием и наивностью — был виноват в первых поражениях наших войск. Он не нашел в себе вины. Вина лежала на других. Все дело было в том, что вокруг гнездилась измена. Изменники предавали наши войска, они орудовали в тылу, в армии, все военные неудачи — дело их черных рук. Объяснение это было стройное, логичное,

оно соответствовало всем его прежним представлениям и, главное, оправдывало его самого — о себе-то он твердо знал, что он честный, искренний советский человек.

И сейчас он с пристрастием допрашивал самого себя. В самом деле, что он знал о Седюке? Как он мог допустить, чтобы Седюк стал его любимцем, правой его рукой? Правда, ему аттестовали Седюка как хорошего работника. Но где сказано, что тайные враги — плохие работники? Напротив, именно потому, что они враги, они стараются работать лучше, чтобы никто не разгадал их истинной природы. Правда, Седюк помог с электропрогревом вечной мерзлоты, но ведь это не его идея, он видел, что дело пойдет и без него, это был способ заработать авторитет. Самое главное не в его достоинствах, выставляемых напоказ, все это мишура. Истинная его природа в другом. Эта серная кислота — как неожиданно все с ней поворачивается! Сперва Седюк не желал ею заниматься, а потом, когда отказываться стало невозможно, предложил неисполнимый план. Внешне в этом плане все достойно уважения — новаторство, свежие мысли, попытка выпутаться из трудного положения своими силами. А, судя по сообщению московских экспертов, за всей этой благопристойной внешностью скрывается коварный, адски безошибочный расчет. Они откажутся от всякой помощи извне, примутся разрабатывать заведомо порочный способ, потеряют в бессмысленных поисках драгоценное время, и в ту минуту, когда надо пускать завод, окажется, что кислоты нет. Оправдания для такого исхода готовы заранее — метод новый, никем не испробован. Все решились идти этим путем — стало быть, и все виноваты, а всех к ответственности не притянешь. А завод, между тем, стоит, а меди нет, а фронт, а военные заводы не получили той продукции, на которую надеялись. Шляпа, шляпа, неужели ты не понимаешь, каким жалким орудием был ты в руках врага? Нет, не проверять надо, не копаться в оправданиях. Немедленно, сегодня же исправить допущенную ошибку, пока она еще не превратилась в катастрофу!

Машина мчалась по промплощадке. Дебрев остановил ее на участке плавильного цеха, вылез наружу и медленно побрел по снегу. Кругом кипела работа: стрекотали отбойные молотки, били кувалды, скрипели поднимаемые железные бадьи с землей. Дебрев обошел все котлованы и вышел на открытую местность. Он повернулся в сторону невидимых сейчас гор, раскрыл лицо, жадно глотал морозный воздух. Было три часа дня, черная, забитая тучами, пронизанная морозом ночь простиралась над землей, с гор тянул резкий ветер, он жег пламенем кожу. У столба, на котором висел освещавший участок прожектор, Дебрев столкнулся с Лесинным и злобно вгляделся в его растерянное лицо. Что скрывается за прилизанной внешностью этого чопорного, нарочито старомодного человека? Какие мысли таятся за этим высоким лбом, затеваются этим запотевшим на морозе пенсне? Зачем он трусливо прячет глаза? Все они таковы, никому нельзя верить!

Не поздоровавшись, он прошел к конторе строительства. Морозный воздух и бегоулка сделали свое дело — первый, самый непереносимый приступ бешенства стих. Но мысли его были так же суровы и беспощадны, как прежде. В нем вдруг зазвучали старые любимые стихи, истинная формула его души. Дебрев не понимал и не любил поэзии, но эти строки с первой минуты поразили его и запомнились навсегда:

Оглянешься — а кругом враги,
Руки протянешь — и нет друзей!

Он прошел весь коридор конторы и, испугав своим неожиданным появлением читавшую роман Катюшу Дубинину, с силой рванул дверь Назарова. Назаров сидел в кресле и, зевая, изучал сводку за вчерашний

день. Встревоженный, он вскочил и, оправляя гимнастерку, пошел на встречу главному инженеру. Дебрев кивнул, не подавая руки, и сел в кресло Назарова — оно было единственным в кабинете. Назаров присел у окна на стуле.

— Что нового? — коротко спросил Дебрев.

Назаров, путаясь и сбиваясь, начал пересказывать содержание сводки, но Дебрев прервал его на полуслове:

— Скажи, Николай Петрович, ты давно не виделся с Седюком?

— Да уже давно, — уклончиво ответил Назаров. Он счел нужным пояснить, чтобы его неопределенный ответ не показался невежливым: — Мы после тех споров вообще редко встречаемся.

Дебрев смотрел на Назарова тяжелым, хмурым взглядом. Вот сейчас все будет ясно. Назаров — враг Седюка, они ссорятся. Никакие дружеские соображения, все эти лживые условности не помешают ему открыть истину. Назаров скажет именно то, что есть: врага назовет врагом, вредительство квалифицирует как вредительство. У него есть нюх, он первый заставил Седюка обратиться к кислоте, а потом с недоверием отнесся к его плану. Он, Дебрев, грубо оборвал Назарова и Караматина, силой заткнул им рты. Сейчас он исправит эту свою ошибку.

И нетерпеливо желая услышать от Назарова то же самое, что он сам говорил себе, Дебрев прямо спросил:

— Слушай, Николай Петрович, каково твое мнение о Седюке?

Измученный Назаров переспросил:

— О Седюке? В каком смысле — мое мнение?

Дебрев, раздражаясь, нетерпеливо повторил:

— Ну, мнение... О человеке, о работнике... Каков он? Чем он дышит?

Назаров молчал, обдумывая ответ. Теперь ему было ясно: с Седюком что-то произошло. Дебрев знает Седюка не хуже, чем Назаров, и если сейчас он интересуется мнением Назарова, то это может означать только одно: Дебрев хочет услышать о Седюке что-нибудь худое, порочащее. Эта мысль быстрее молнии пронеслась в голове Назарова. Настал его час, вот теперь он сведет счеты с Седюком. Он рассчитается с ним за все — за презрительное высокомерие, за резкость, за грубое обращение с ним, Назаровым, его начальником. Больше эта минута не повторится, нужно действовать. Вдогонку этой мысли мелькнула другая — лгать не надо, да и незачем. Дебрев недоверчив и подозрителен. Вполне достаточно пожать плечами, ответить неопределенно и многозначительно: чужая, мол, душа — потемки, многое, очень многое не ясно в том, что совершает Седюк. Он, Назаров, не берет за давать оценку действиям Седюка, но их расхождения с главным инженером медеплавильного всем известны, тут он не скрывается. А выводы из этого пусть делают те, кому положено.

И Назаров вдруг смело поднял голову. Враждебно, твердо он ответил и этим своим мыслям и Дебреву:

— Как тебе сказать, Валентин Павлович? Сам знаешь: чужая душа — потемки. Ну, а если говорить по-честному, так лучшего главного инженера для медного завода, чем Седюк, нельзя и желать.

Дебрев первый опустил глаза перед вызывающим, прямым взглядом Назарова. Это походило на молчаливый ожесточенный поединок — глаза впивались друг в друга, как копыя. Дебрев сразу почувствовал, что в этом странном поединке он потерпел поражение. Все же он спросил, цепляясь за то, что сам недавно считал несущественным:

— А о жене слыхал? Как твое мнение?

Назаров пожал плечами.

— Один он, что ли? Миллионы потеряли своих родных.

Дебрев встал и простился с Назаровым.

После его ухода Назаров подошел к графину и налил воды. У него дрожали руки, вода плескалась через край. Но на душе у него было так,

словно с ним случилось что-то очень хорошее. Скоро месяц, как они поссорились с Седюком. Все это время Назаров вспоминал о Седюке с чувством вражды, он сердился, когда при нем хвалили Седюка. Если Назарову нужно было увидеться и посоветоваться со своим главным инженером, он не мог заставить себя снять телефонную трубку: встреча с Седюком была ему неприятна. Он часто без радости размышлял о том, что придется вместе тянуть один воз на заводе, — взаимная неприязнь неизбежно превратится в жестокую вражду и ненависть. И вот, оказывается, все это вздор: не было ни вражды, ни ненависти. Было совсем другое — искреннее уважение и ревность. Может быть, начало дружбы. И оттого, что Назаров понял это и так открыто и честно ответил Дебреву, ему казалось, что и сам он стал чем-то лучше и чище.

Отпор, полученный от Назарова, был тем толчком, который повернул мысли Дебрева в другую сторону. Сейчас они напоминали гигантские качели: чем дальше Дебрев уносился в своих рассуждениях в одну сторону, тем стремительнее возвращался обратно. И все, что казалось ему стройным и неопровержимым, рушилось и рассыпалось в прах. Теперь он видел и свое пристрастие, и лживость своих обвинений, и даже вздорность своей прежней обиды на Седюка. Он ехал в опытный цех, и перед ним возникли образы — живые, неотразимо убедительные. Вот Седюк спит в домике, на площадке, повалившись головой на стол. А вот его полные восторга глаза — он говорит о глубинном электропрогреве, спорит, настаивает на своем. А вот приняли его вариант производства кислоты, и он сразу забил тревогу, кинулся помогать проектировщикам, каждый день звонит: «Когда же будет ванадиевый катализатор?» Вчера он яростно кричал: «Пойми, Валентин Павлович, дни уходят, нам не хватает времени на проработку метода, как ты можешь допускать это?» Скрытые враги так не скрываются, двурушники иначе двурушничают, нет, и на вредительство это не похоже! Да, конечно, против Сильченко он не пошел, здесь он не поддержал Дебрева. А почему он должен был его поддержать? Разве он не имеет права на собственное мнение? Седюк с Сильченко не сталкивается каждый день, как он, Дебрев, он судит его со стороны, по внешнему облику. А облик у Сильченко прекрасный, кто этого не знает? Не одного Седюка Сильченко очаровал, не одного его запутал своей вежливостью, своим партийным стажем, своей наигранной чуткостью и простотой.

В Москве он, Дебрев, прямо сказал наркому: «Вторым не пойду, не умею согласовывать каждую мелочь». И разве нарком не оборвал его: «Придется пойти, товарищ Дебрев, имеется решение ЦК. А если хочешь знать, так нет ничего зазорного в том, чтоб учиться у таких, как Сильченко». То же самое повторил Забелин, а этот в людях разбирается, тут ничего не скажешь. Все они против него, все, не один Седюк. Чего же он так разъярился на Седюка? И если говорить правду, разве все у него самого, у Дебрева, было безупречным? Он открыто грубил Сильченко, лез на скандалы, издевался над ним в личных разговорах. Сам-то он потерпел бы такое к себе отношение? Так удивительно ли, что другим поведение его не нравится, что его никто не поддержал, что даже правоту его стараются не замечать? Сам виноват, сам!

— Что ты ползешь, как мертвый? — бешено крикнул Дебрев.

Шофер дал полный газ. Из темноты вырывались столбы и придорожные лиственницы. Ветер, все сильнее дувший с горы, далеко отставал от ветра, поднятого машиной. Снег двумя столбами взметался из-под колес. У самого опытного цеха Яков так лихо затормозил, что Дебрев, выругавшись, стукнулся головой о переднее стекло.

Он нашел Седюка в плавильном отделении. Это была их первая встреча после ссоры. Седюк, сидя на корточках, рассматривал излом куска чер-

новой меди. Он взглянул на Дебрева и поразился — даже во время ссоры Дебрев не казался таким хмурым и злым. Он тут же в цехе познакомил Седюка с содержанием письма Забелина.

— Показывай все, что успели сделать, — распорядился он. — Будем вместе соображать, как ответить Москве.

Седюк повел его в пристроенное к конвертерному переделу серноокислотное отделение. Это было небольшое помещение, сплошь заставленное монтируемой аппаратурой. Дебрев внимательно все осмотрел. Потом они с Седюком изучали расчеты и перелистывали подобранную Варей литературу — статьи в журналах, короткие фразы в учебниках. Еще ни разу Дебрев с таким вниманием не слушал, не перебивая, длинных объяснений, как сейчас. Он и слушал и изучал лицо Седюка, проверяя свои новые мысли, свое новое отношение к этому человеку. И мало-помалу в нем возникло и крепло убеждение, что все его недавние мысли о Седюке в самом деле вздор и ложь и что Седюк, что бы там ни писали эксперты Забелина, находится на верном пути. Все же он сказал:

— Проклятые немецкие секреты эти, вот что меня смущает!

Седюк пожал плечами.

— Во время войны все секретится. Думаю, никто до немцев серьезно этим делом не занимался, сырья ведь и без конвертерных газов вдоволь. А у немцев, как и у нас, по-видимому, оказался дефицит в сере, они и стали мудрить.

Теперь больше, чем когда-либо прежде, Дебрев был уверен в целесообразности испытания нового метода. Но он не отправился к Сильченко. Сев в машину, он приказал Якову поехать на угольную шахту. Его недавний разговор с Сильченко поднимался непреодолимой преградой на пути к новой беседе. Невеселые, уничтожающе правдивые мысли смутно поднимались в Дебреве и терзали его. Он словно увидел себя со стороны, глазами строгого и объективного ценителя, и отшатнулся — вид был непригляден. Еще недавно он в ярости возненавидел Седюка только за то, что Седюк не согласился с ним. А он сам с собой всегда соглашается? Седюк не пошел за ним, но от своих идей не отрекся. Он же отрекся, из-за личного пристрастия отрекся от самого правильного выхода, сам себя оплевал, чтобы только унижить человека, который ни с того, ни с сего оказался ему недругом. Как он может после этого требовать особого к себе уважения? Как он будет глядеть в лицо Сильченко, сообщая о новом изменении своих взглядов? А ведь Сильченко, несмотря на все их нелады, верит в него, в его техническую проницательность, этого отрицать нельзя.

Дебрев глядел сквозь стекло в темный тундровый простор, мучась новыми для него мыслями и чувствами. Он все более стремился отдалить неизбежный разговор с Сильченко. Что-то в нем словно сломалось — он не чувствовал в себе ни энергии, ни решимости. Угрюмый и подавленный, он спустился в шахту и молча бродил по откаточной штольне. В этот день он никого не распустил и никому не вкатил «строгача». И возвратился он не в свой рабочий кабинет, а домой и, прибыв в неурочный час, лег на диван в ожидании обеда. Он лежал и думал. Мысли его были спутаны и нехороши. Нехорошо было и на душе.

После обеда Дебрев поехал на площадку ТЭЦ, а к ночи попал на цементный завод. Он уже несколько дней собирался нагрянуть туда именно в это время — глухой ночью. Неделю назад раскрылось, что ночные кочегары в некоторых сменах заваливаются спать и упускают температуру. Дебрев жестоко наказал и Ахмуразова и рабочих. С тех пор записи в цеховом журнале показывали правильный температурный режим, а качество цемента то и дело менялось. Ахмуразов сбился с ног, отыскивая причины брака, он предполагал, что дело в непостоянстве шихты, винил химиков в плохих анализах. Дебрев, ничего не говоря Ахмуразову, приказал Синему подключить к указывающим температурным приборам регистри-

рующий потенциометр, установленный в помещении, запиравшемся на замок. Потенциометр записал, что ночные падения температур продолжаются,— очевидно, журнальные записи были лживы.

Дебрев зашел в цех. Грохотала шаровая мельница, моловшая известняк и глину, в чапах булькал жидкий шлак, вращалась обжиговая печь с ярко пылавшей топкой. Около топки лежали груды угля и валялась лопата. Цех был пуст. Из конторки ОТК слышались веселые голоса и смех. Дебрев рванул дверь конторки. Два парня — кочегар и измельчитель — и две девушки — дежурная лаборантка и контролер ОТК — сидели на скамье. Парни обнимали девушек, девушки с визгом защищались. Увидев Дебрева, они вскочили. Долгую минуту он разглядывал их посеревшие от страха лица пронзительным, гневным взглядом. На столе лежал раскрытый журнал, он взял его — журнал был заполнен вперед, до конца смены.

— Свињи вы! — сказал Дебрев. — Страна обливается кровью, а вам на все начхать.

Дверь снова открылась, вбежал растерянный, трепещущий Ахмуразов. Уже много дней он ночевал не в общежитии, а в своем кабинете, прямо на диване, чтобы в случае аварии сразу оказаться на месте. Он ужаснулся, увидев фальшивые записи, и сразу стал оправдываться.

Но Дебрев ничего не хотел слушать. Раздражение и недовольство собой, мучившие его, обрушились на Ахмуразова. Дебрев устроил ему такой разнос, какого еще не слышали в Ленинске. Даже в дороге и дома, за поздним ужином, Дебрев бормотал про себя проклятия. Он подозревал себя руганью, воскрешал в своей памяти все непорядки, какие ему пришлось видеть за день, и снова ругался. Так было легче. Он не хотел больше растравлять себя трудными мыслями.

Утром он — впервые за последний месяц — вошел к Сильченко без предварительного вызова и заговорил еще с порога:

— Вчера вы предложили мне подумать, прежде чем отвечать Забелину. Я подумал и советовался с Седюком. Должен признаться, что от своего вчерашнего предложения свернуть все работы я сейчас отказываюсь,— поспешил по горячности. Метод вполне надежный, он не может не удалиться, что бы там ни писал Забелин.

Дебрев не глядел на Сильченко. Он знал, что тот изумлен еще более, чем изумился вчера,— не существом его слов изумлен, а тоном, тем, что Дебрев сам о себе говорит с таким неприкрытым осуждением. Но иначе говорить Дебрев уже не мог. Все иное было бы нетерпимой сейчас ложью и трусостью. Дебрев подвинул к себе лист бумаги и набрасывал на нем схемы и реакции, подробно рассмотренные вчера с Седюком. Сильченко, стоя рядом, почти касаясь плечом плеча Дебрева, внимательно рассматривал и слушал. Он хуже разбирался в химической технологии, чем Дебрев, но понимал убедительность его рассуждений. Потом он сказал со вздохом:

— Эксперты встанут на дыбы. Ученые мужи не терпят, когда их не слушаются.

— Пусть встают,— возразил Дебрев. — Главное — убедить Забелина, чтобы он формально не запретил нам этого дела. А их мнение слишком понятно. Не могли же они прямо сказать: сами мы тридцать лет работаем, звания и степени имеем, но до этого не додумались и потому приветствуем, что другие, не ученые, в глуши, а не в центре, нас опередили. Вроде по другой формуле экспертизы пишутся.

Сильченко попросил Дебрева, чтобы он сам написал ответ Забелину. Подпишут они, конечно, вместе. И сразу заговорил о другом:

— Так что же происходило на ТЭЦ и цементном, Валентин Павлович? Янсон докладывал, что вы провели там ночь.

Дебрев почувствовал, что в нем снова закипел вчерашний гнев. Он прямо потребовал — Ахмуразова гнать, снять с него броню и отправить на фронт, а рабочих передать в руки следственной власти. Но Сильченко не согласился.

— Ахмуразов достаточно намучился со своим цехом, он бит, а за битого двух небитых дают. Поставим нового — ему учиться месяц.

— Ну хорошо, а рабочие? Поймите, это ведь самое настоящее сознательное вредительство! — твердил Дебрев со злобой. — Люди бросают печь без присмотра, знают, что она выдаст клинкер плохого качества, фальсифицируют записи в рабочем журнале. Это враги, настоящие враги, с ними и нужно, как с врагами.

— Дело безобразное, — согласился Сильченко. — И крепко наказать их нужно. Но почему — враги? Разве нельзя найти другое объяснение их поступку?

— Я не собираюсь подыскивать сладенькие объяснения, — с вызовом сказал Дебрев. — Я называю вещи своими именами.

— А меня интересует не ловко найденное название, а правда, — сурово возразил Сильченко. — Я вам скажу так: мы с вами тоже виноваты в их безобразном поступке, и нас тоже надо наказать.

— Это я, что ли, подделывал журнал? — усмехнулся Дебрев. — А вы ради девок бросили печь?

— Зачем утрировать, Валентин Павлович? Вы посмотрите по-другому. Люди они молодые, хочется повеселиться с девушками. А где им встретиться? В общежитиях по десять человек в комнате, на каждого по полстула. На дворе сорок градусов мороза и ветер, в клуб и кино пробьешься раз в месяц. А цех пустой, в конторке никого, лучше для встреч места и не найти. Повторяю, я их не оправдываю, я только ищу настоящие причины, почему они нарушили трудовую дисциплину.

— Как же вы собираетесь их наказать? — хмуро спросил Дебрев.

— Вот у них надо снять броню и послать на фронт. Я знаю этих двоих — народ они порченый, уже и в лагере успели побывать. Думаю, в солдатском коллективе исправятся, там и не такие людьми становятся. И пользы от них там будет больше, чем здесь.

В конце концов Дебрев сдался. Он уступал с тяжелым чувством, что придется и впредь уступать, — у него уже не было прежнего сопротивления, инстинктивной вражды к любому мнению Сильченко. А доводов, равных доводам Сильченко, не оказывалось.

20

Циклон обрушился на Ленинск шестнадцатого ноября. И до этого в Ленинске уже бывали сильные пурги, но они не причиняли серьезных разрушений и даже породили обманчивое впечатление, что сила зимних ураганов преувеличена. Эти пурги вызывались местными ветрами — фенами, падавшими с гор в долину со скоростью пятнадцать—восемнадцать метров в секунду и наметавшими много снега. Строительные площадки были защищены двойными рядами ребристых щитов, над железными дорогами и подъездными путями нависали наклонные сплошные щиты, над котлованами поднимались навесы и шатры из досок и парусины, хорошо предохранявшие и от снега и от ветра. На каждой площадке имелись крытые обогревалки, хорошо снабженные углем, — здесь можно было защититься от любой бури, отогреться, перекурить, выпить горячую кипяточку. Туда, где бетона нужно было немного, его подвозили еще горячим в крытых, утепленных баках. В других местах бетономешалки работали у самых котлованов.

Против этой обширной и всесторонне продуманной системы защитных мероприятий, казалось, ничего не могли поделать ни бушующий ветер, ни полярная ночь, ни все усиливающийся мороз. И поэтому, когда метеоролог Диканский тревожно сообщил главному диспетчеру комбината, что на

Ленинск мчится циклон, Янсон отнёсся к этому сообщению непростительно легкомысленно. Он соединился с начальниками всех крупных строительных и каждого по-разному, но всех одинаково весело поздравил с наступающим ветерком.

— Приятели, убирайтесь в ваши крысиные норы и ставьте охрану у входа в шахты, идет небольшая пурга, — сообщил он руководителям горных предприятий. — Семен Федорович, на площадке через час задует майский ветерок, натяните покрепче башлыки на котлованы! — крикнул он Лесину. — Сашенька, дорогой, сегодня тебе не болтать с Лидией Семеновной на курсах: наш «метеопапаша» грозитя шкваликом баллов на одиннадцать, — сообщил он Зеленскому и от души расхохотался, когда тот, обозленный, крепко обругал его.

Только с Караматиной и с Сильченко он говорил серьезно.

— Лидия Семеновна, — сказал он, — сегодня вечером разразится сильная пурга и преподаватели не придут — нам всем дежурить на своих местах. Немедленно отмените занятия, заприте своих детишек в общежитии, а сами не позже чем через час будьте дома.

И Янсон не успокоился, пока она не обещала распустить учеников по общежитиям и тотчас уйти домой.

— Диканский докладывает, что к Ленинску приближается циклон, — сообщил он Сильченко. — Ожидается ураган силой до одиннадцати баллов, то есть со скоростью ветра до двадцати семи метров в секунду. Это ориентировочно, не исключена и большая скорость ветра. Мороз пока сорок пять градусов, но температура быстро поднимается, повышение за последние десять минут — три градуса.

Сильченко распорядился:

— Поставьте в известность Дебрева и действуйте по инструкции, предусматривающей наибольшую силу ветра.

Янсон принялся действовать. Инструкция требовала вызова аварийных бригад на электростанцию, на заводы и рудники, подъема по тревоге пожарной и стрелковой охран. Надо заправить водой и углем все годные к работе паровозы, вывести снегоочистители на линию, выдлить спасательные автомашины, вызвав на дежурство всех врачей и медсестер. В инструкции было тридцать девять пунктов, и, хотя Янсон сам писал ее, он помнил лишь самое главное, относившееся чаще всего к материально-техническим мероприятиям. Сейчас, ввиду того, что ветер шел издалека, он добавил еще десяток пунктов: среди них — предписание начальникам не отпускать людей домой, если скорость ветра достигнет двадцати пяти метров в секунду, и оповещение населения по радио. Через несколько часов, когда буря разразилась, Янсон понял свою непредусмотрительность, но, бессильный перед замолкнувшими телефонами, уже ничего не мог поделать.

Радиостанция, получив распоряжение, немедленно обратилась к населению.

«Граждане! — несколько раз повторил голос диктора в репродукторах и громкоговорителях. — К Ленинску приближается пурга. Отменяются все киносеансы и вечерние занятия в клубе, на курсах и политехколах. Магазины закрываются в пять часов вечера. Не выпускайте детей из квартир, а в случае пропажи немедленно сообщайте в отделение поселковой милиции. Граждане, запаситесь водой и углем, приготовьте свечи на случай отключения электроэнергии, будьте осторожны с огнем. Держите в сенях лопаты, ломы, топоры для раскапывания снега и срочных ремонтов помещения. Внимание, граждане, повторяю объявление».

Циклон зародился в недрах Западной Арктики и, судя по его первоначальному маршруту, должен был пройти далеко от Ленинска. Он шел по океану на восток, задевая побережье Азии лишь своими граничными вихрями. Метеостанция Ленинска получала о нем сводки, знала, что центр его

движется сравнительно медленно, но в обводе его бушует снежная буря со скоростью ветра до ста пятидесяти километров в час. Даже Диканский, старый полярный метеоролог, хорошо знавший коварства циклонов, сперва не очень беспокоился — буря неистовствовала слишком далеко в стороне: Ленинск лежал на пятьсот километров южнее края мчавшегося мимо циклона. Диканский вначале наблюдал за ним с чисто академическим интересом, как за редким явлением природы, поражающим своими исполинскими размерами, но не имеющим практического значения. Но, пройдя сотню километров за меридиан Ленинска, циклон капризно заметался, свернул на юго-запад и, отраженный горным хребтом, ринулся на юг, на открытые просторы материка. Ленинск оказался на центральной линии его наступления. Уже спустя несколько часов после его поворота массы ледяной атмосферы, рассекаемой циклоном, как мечом, и отбрасываемой в стороны, обрушились с невысоких гор в долину Ленинска.

Все вдруг засвистело и загрохотало, в движение пришли целые горы снега. Глухая черная тьма полярной ночи внезапно превратилась в ревущую белую тьму. Обжигающе-морозный ветер резал кожу, леденил валенки, ватные рукавицы, мех шапки. Холодный, колючий снег засыпал щиты, дороги, котлованы, отдельные домики. Центр циклона еще не приблизился, а поселок уже наполовину занесло снегом, взметенным и отброшенным в сторону циклоном. Прежде чем снесло установленные на улицах громковорители и сорвало провода, радиостанция еще успела сообщить, что в Ленинске бушует черная пурга. Но сообщения никто не слушал — буря говорила о себе громче, чем радио.

Оглушенные грохотом, ослепленные струями жесткого снега, люди бросились под спасительную защиту стен — в цехи ремонтно-механического завода, на электростанцию, в обогревалки и конторки. Но многие понадеялись на крепость шатров, прикрывавших котлованы, и остались там, прикорнув у костров, разводимых на дне для прогревания подлежащего выемке грунта.

В центральную аварийную комиссию к Сильченко непрерывно поступали сообщения, что наружные работы прекращаются. Потом посыпались сигналы от действующих предприятий. Первой остановилась железная дорога. Все колеи занесло таким мощным слоем снега, что перед ним оказались бесполезны снегоочистители. Ребристые щиты завалило сугробами, и они уже не были преградой ветру. Только более массивные наклонные щиты продолжали некоторое время сопротивляться, но главный удар циклона и их разбросал и разбил в щепы.

После железной дороги остановился автотранспорт — автобазы сообщили, что аварийные машины, выводимые на улицы, мерзнут и зажигание отказывает, хотя моторы этих машин прикрыты двойным слоем ватной стеганки. К семи часам вечера на улицах стояли занесенные снегом, превращенные в снеговые курганы двадцать три автомашины.

Потом стали замирать промышленные цехи. Первым прекратил работу цементный: Ахмуразов понадеялся на то, что от всех ветров в долине его прочно защищают здания кирпичного завода, и не возвел над складскими помещениями достаточно мощного прикрытия. Легкие доски крыш были разметены первым же порывом ветра, и масса снега обрушилась в бункера на уголь, известняк, глину и гипс. Вращающаяся цементная печь стала. Вслед за аварией в цементном цехе стал тушить свои печи кирпичный завод — снег заваливал все проходы и останавливал движение транспортеров. А затем сообщения об авариях начали поступать отовсюду — прекращали работу шахты, рудники, ремонтный, стал опытный цех. Дольше других сражался с бурей ремонтно-механический завод. Он работал, не останавливая ни одного станка и не туша ни одной печи, пока авария на станции не погрузила поселок в тьму.

На электростанции развернулась самая ожесточенная борьба. Сильченко направлял сюда почти все аварийные бригады. Станция была сердцем Ленинска, его предприятий, строительных площадок и домов, и, пока это сердце билось, Ленинск, атакуемый и опрокидываемый, задыхающийся и ослепленный, мог еще мужественно бороться. Котлам и генераторам ничего не грозило: хотя станция была временной, стены ее были сложены так прочно, что могли противостоять любому ветру. Форсировав мощности до предела, дымососы легко преодолевали нажим бури, стремившейся вогнать дым обратно в трубы, и ни на один миллиметр не сбросили тяги в топках. Но в помещении угольных бункеров авария следовала за аварией. Страшный натиск урагана сперва только вгонял сквозь щели тончайший, пляшущий в сиянии ламп снег, и он медленно оседал на поверхности угля. Тонкий снежный туман медленно превращался в снежные облака, в облаках заметались вихри, потом из всех щелей ринулись снежные потоки. Синий бросил в бункера всех подсобных рабочих, служащих, дежурных техников, оставил только на главном щите дежурного инженера, схватил сам лопату и, охрипший, страшный, рычащий, бросал на транспортеры очищенный от снега уголь и распоряжался, стоя выше колен в снегу. Котлы временной электростанции питались не угольной пылью, но кусковым углем, и Синий стремился создать у самых топок достаточные запасы, чтобы станции не грозила остановка. Отправляясь в бункера, он распорядился ввести строжайшее ограничение в потреблении электроэнергии, и дежурный инженер, не слушая протестов, отключал на всех предприятиях, прекративших работу и полностью укрывших своих людей в помещении, не только силовую энергию, но и освещение. Вначале Синему удался его план, особенно после того, как подоспели аварийные бригады — десятки лопат расшвыривали снег быстрее, чем он валился, и у топок котлов безостановочно росли горки угля. Но затем буря, обрушив на крышу десятки тонн снега и тонны плотного, как вода, гремящего воздуха, вырвала несколько досок и вольно ринулась на уголь. Синий, захватив людей, веревки, топоры, запасные доски, бросился через пожарные лазы на крышу. Двое заколачивали щели новыми досками, шестеро удерживали их веревками. Едва работа была закончена, всех восьмерых отправили в комнату, ставшую лазаретом, — у каждого были обморожены руки, лицо и шея. Только сам Синий, обмотанный бинтами, смазанный густым слоем вазелина, возвратился в бункера и, еще более страшный и неистовый, с ожесточением продолжал безнадежную уже борьбу. Сквозь щели заколоченных наспех досок продолжал вдавливаться мелкий сухой снег, потом открылись щели в новых местах, и сияние ламп стало тускнеть и пропадать в густом снеговом тумане. Сильченко слал на станцию бригаду за бригадой, в бункерах люди теперь стояли вплотную один возле другого, лопаты сталкивались в воздухе, но снег прибывал быстрее, чем его разбрасывали. Транспортеры уносили уже не столько уголь, сколько снег. Горки угля у топок уменьшались. Рабочие в бункерах, стоя на угле, ожесточенно и непрерывно работали лопатами, выбрасывали целыми вагонами снег, а он медленно поднимался все выше и выше.

Потом началось самое страшное, чего не ожидал даже увлеченный борьбой Синий и что сделало бесплодными все его усилия в бункерах. Буря ворвалась в распределительное устройство собственных нужд станции и в главное распределительное устройство. Отсюда шли кабели, питавшие токком все предприятия Ленинска. В узких траншеях вдоль стен на кронштейнах висели десятки кабелей самых разнообразных типов и назначений — мощные медные жилы, покрытые изоляцией и бронированные стальными лентами, освинцованные и в хлопчатобумажной оплетке, залитые горячим асфальтовым лаком для лучшей изоляции. В стене кабельной траншеи, видимо, были трещины, и в эти трещины стал проникать снег. Он быстро таял в горячем помещении, стекая по стенам и заливая кабели. Два низковольт-

ных кабеля замкнулись через струйку заливавшей их воды, вырвавшееся при замыкании пламя мгновенно иссушило влагу, защита тут же сработала на щите станции и отключила оба поврежденные кабеля от питания. Но хлопчатобумажная пропитанная лаком изоляция загорелась, и пламя перекинулось на высоковольтные асфальтированные кабели. Дежурный инженер обнаружил по показаниям приборов, что на некоторых фидерах происходят аварии, и еще гадал о природе этих аварий и о их размере, когда дежурная у щита, услышав запах гари, открыла дверь в кабельную траншею и увидела пламя, медленно продвигавшееся вдоль стен. Испуганная, она включила аварийную сигнализацию, и к кабельной траншее ринулись люди. Синий в минуты аварий действовал с беспощадной решительностью, ни с кем не советуясь и беря на себя всю полноту ответственности. Теперь ему было не до нужд Ленинска — приходилось спасать станцию. Он сам выключил всех потребителей, крикнул, чтоб остановили вертевшиеся на холостом ходу генераторы, и бросился в кабельную траншею. В грохоте выключаемых масленников на секунду потонул грохот бури. Синий с несколькими рабочими, не обращая внимания на ревущий кругом ветер, ожесточенно крушил ломом стену кабельной траншеи. Из главного корпуса, падая от ударов ветра и снова поднимаясь, ослепленные, задыхающиеся, бежали люди, тащившие резиновые шланги. В пролом в стене прорвались массы снега, и вслед за ним на пламя обрушились огнетушители и вода. Потушенные кабели быстро засыпались мелким, ледяным, плотным, как песок, снегом.

Станция встала.

В это время Сильченко, наклонившись над плечом дежурной радистки, диктовал радиограмму в Москву, Забелину. Телеграмма тут же шифровалась шифровальщиком и слово за словом передавалась радистке. «В Ленинске бушует пурга, — диктовал Сильченко, — скорость ветра достигает тридцати пяти метров в секунду при температуре минус двадцать восемь. Строительные работы прекращены, дороги занесены. Предприятия остановлены, возможна остановка станции. Сильченко».

— Готово! — сказала радистка, нажимая ладонью на ключ.

Внезапно погасло освещение — Синий на станции выключил масленники. Сильченко кинулся к двери и толкнул ее. Мощный порыв ветра ворвался в комнату. Кругом была черная, бешеная тьма. Где-то внизу, в этой черной, ревущей тьме, лежал лишенный энергии, тепла, воды и света, замерзающий, засыпаемый снегом Ленинск.

21

Когда началась пурга, Киреев велел всем, кто хочет, возвратиться домой, уходить разом — одному в такую погоду не добраться.

Сам он решил остаться в цехе, нганасаны тоже отказались выходить наружу: они с ужасом вслушивались в рев ветра и теснились подальше от двери, словно боясь, что их могут против воли вытолкнуть на улицу. Яков Бетту кинулся к Мартыну и Непомнящему, схватил их за рукава.

— Большой, большой буря, Ига! — говорил он взволнованно и со страхом прислушивался к грохоту ветра за стенами. — Слушай, какой большой, не надо ходить, не надо, оставайся, Ига, оставайся, Мартын. Тут тепло, хорошо, там плохо, сильно плохо!

Непомнящий как мог успокоил Якова и пошел за фланелевой маской, чтобы не обморозить лицо. Женщины поверх масок закутывались платками. Седюк закрыл лицо двумя оборотами длинного шерстяного шарфа. В узком прорезе между низко надвинутой шапкой и шарфом виднелись только глаза — они смотрели то хмуро, то весело. Варе подумалось, что он не только не боится выходить наружу, а с нетерпением ожидает этой минуты. И ей самой уже не такой страшной показалась буря.

Подняв глаза, она увидела Непомнящего — похудевший и грустный, он застенчиво кивнул ей издали. Варю вдруг стало жаль его. Она подошла к нему и подала руку, показывая, что все забыла и больше не сердится.

— Пойдемте с нами, — сказала она.

Он колебался, но подошедший Седюк повторил Варины слова:

— Пойдемте! Вместе сюда ехали, вместе будем воевать с ураганом. Пошли!

Выходили по трое, женщины посередине, мужчины с краев. Только Газарин взял под руки двух женщин — Ирину и Бахлову. Это никому не показалось странным, сильный и широкоплечий, он стоил четверых. Седюк и Непомнящий вели закутанную Варю, за ними шли Мартын с Романовым — всего набралось человек тридцать.

Киреев сам открыл наружную дверь. В нее ворвался грохот бури, резкий толчок ветра отбросил назад шедшую первой тройку и взметнул вверх качающуюся на шнуре лампочку — на людей посыпались осколки горячего стекла. Седюк, склонив голову, как бык, с силой тащил Варю наружу, под бешеный натиск ветра.

Ветер мчался прямо навстречу. Уже после первых шагов Седюк понял, что Киреев был прав — один человек, даже сильный, не сумел бы идти сейчас по дороге: буря валила с ног. Только несколько человек, поддерживая друг друга, хоть и с трудом, но могли продвигаться. Не пройдя и двухсот метров, Седюк почувствовал, что изнемогает: сердце бешено стучало, колени ослабели, в глазах рябило. Он подумал: «Если мне так тяжело, каково приходится другим?»

Но потом на этом первом, самом трудном участке пути он нашел удобный способ продвижения, и стало немного легче. Нужно было идти боком, наклоняясь так, чтобы концы пальцев свободной руки опускались ниже колен. Но даже и при таком способе один лишь неверный или нерешительный шаг — и не удержишься на ногах. Хуже всего было, пожалуй, то, что пар, не пробиваясь сквозь шарф, превращался в лед — не хватало воздуха. На ресничках сразу намерз лед, мешая видеть дорогу. Несмотря на мороз, было жарко — Седюк вспотел в своем коротком пальто. Только ноги зябли в валенках — их ткань пропускала тонкий снег. Вскрикнув, Седюк не услышал своего голоса. Это так поразило его, что он снова вскрикнул. По напряжению мускулов он знал, что крик его пронзителен, он как бы слышал его мыслью, но ничего не услышал ушами.

Лица Вари он не видел. Низко склонив закутанную голову, она напрягала все силы, чтобы идти вровень с ним и не быть ему в тягость. Но лицо Непомнящего его встревожило — в почти заплывших льдом прорезях маски виднелись отчаянные глаза человека, теряющего последние силы.

После поворота идти стало легче — ветер бил в спину. Теперь приходилось уже не сгибаться, а выпрямляться во весь рост, чтобы не свалил гнавший вперед ветер. Седюк с наслаждением расправил ноющую спину и глубоко вздохнул: самое трудное пройдено! Он посмотрел на Варю и тут только заметил, что Непомнящего нет. Напрягая легкие, сдвинув обледенелый шарф со рта, он крикнул Варю в ухо:

— Где Непомнящий?

Варя оглянулась. При свете фонаря он видел в ее глазах недоумение, испуг и безмерную усталость. Снова, повернувшись лицом к ветру, Седюк с усилием всматривался в непроницаемую бурную тьму, смутно освещенную призрачным сиянием несущегося снега. Мимо них медленно пробирался люди — Непомнящего среди них не было. Седюк с тревогой взглянул на Варю, и она, поняв его мысль, кивнула. Он решился. Быстро догнав Газарина, он остановил его, передал Варю и повернул обратно, навстречу урагану, снова сгибаясь и низко опустив руки.

Непомнящий оторвался от Вари незадолго до поворота. Отворачиваясь от ветра, он вдруг потерял дыхание, и ему показалось, что в рот его ворвался не воздух, а плотная, как вода, масса. Кашляя, задыхаясь, он отпустил руку, и ветер тут же бросил его в снег.

Все это произошло так быстро, что он ничего не успел понять. Он катился сперва по дороге, потом в сторону от нее, в снег, почти совсем заваливший карликовый лесок.

Несколько минут он лежал, прильнув всем телом к жгуче-холодному снегу, чтобы не катиться по ветру, и собирался с силами. Но силы не приходили, а мысли металась. Непомнящий понимал, что лежать долго нельзя, но встать было страшно. Когда он приподнялся на руках, ветер снова опрокинул его и потащил по скользкому твердому снегу. Теперь он полз, теряя последние силы. Он ничего не видел и не старался увидеть. Он знал — дорога там, откуда несет ураган. И он полз навстречу урагану, наталкиваясь на торчащие из снега макушки лиственниц и елей и цепляясь за них, чтобы отдохнуть. Сердце его неистово колотилось, руки и колени дрожали. И вдруг Непомнящий понял, что к дороге ему не доползти и что это смерть. На минуту им овладело отчаяние, он рванулся вперед и пополз, бешено разрывая руками снег, снова попытался встать и снова был опрокинут и катился по снегу, пока не зацепился за еловую ветку.

Теперь он уже не полз, а делал какие-то судорожные движения, не имевшие ни смысла, ни направления. Потом пришли усталость и равнодушные, и он лежал, вяло удивляясь тому, что приходится умирать такой странной и глупой смертью. Потом осталась только огромная мутная, как похмелье, усталость. И когда чья-то сильная рука схватила его и потащила по снегу, он не удивился, не обрадовался и ничего не сделал, чтобы помочь этой руке. Он хотел сказать, что тащить не надо, что ему лучше лежать, но от усталости не мог пошевелить губами.

Когда впереди показалась тускло освещенная фонарями дорога, человек, тащивший Непомнящего, бросил его в снег и сам свалился рядом. Непомнящий медленно, с огромным усилием повернул голову — рядом с ним лежал Мартын. Маска с него слетела, шарф прикрывал только половину лица.

Мартын некоторое время лежал, отдыхая и собираясь с силами, потом встал и вытащил Непомнящего на дорогу. Наклонившись, он всматривался полными испуга и жалости глазами в его широко открытые глаза. Непомнящий снова хотел сказать Мартыну, чтобы тот оставил его и уходил, но вместо этого слабо ему улыбнулся.

Эта улыбка резнула Мартына по сердцу. Напрягаясь, чтобы устоять против ветра, он трижды поднимал Непомнящего, и трижды тот снова падал. Тогда Мартын взвалил его на спину и, шатаясь, стал продираться сквозь плотный неподатливый воздух. Около какого-то столба они свалились, Мартын встал и попытался поднять Непомнящего, но тот отвел его руку. Мартын приблизил к нему изумленные глаза, и Непомнящий отрицательно покачал головой.

Когда Мартын понял, чего от него хотят, обмороженное лицо его стало страшно. Разъяренный, он схватил Непомнящего за шиворот и начал трясти. Потом снова приблизил к его глазам свои глаза, но Непомнящий опять покачал головой. Мартын вскочил и отбежал в сторону. Он возвратился с куском железной полосы, подобранной на дороге. Резко махнув рукой, что могло означать только одно — вставай сейчас же! — он занес железину.

Непомнящий глядел на него и понимал, что, если тотчас не встанет, Мартын разнесет ему череп. Страх тихо проник в его сердце, и это было первое живое чувство, которое он испытал. Застонав от страха, он сделал усилие и приподнял голову. Минуту он шарил руками по снегу, пытаясь найти опору, потом на помощь к нему пришел Мартын, и он встал.

Он был очень слаб, и Мартын крепко обнимал его, удерживая от падения и подталкивая вперед. Ближе к дороге на них свалился Седюк, и все трое долго барахтались, прежде чем им удалось подняться. Теперь дело пошло быстрее — Седюк и Мартын тащили Непомнящего, и сам он все энергичнее передвигал ноги. После поворота стало легче, и он смог идти сам. Но он остановился, сорвал с головы Мартына шарф и стал растирать ему лицо. Седюк поддерживал их обоих, чтобы они не упали. Когда кожа Мартына вновь покраснела, они отправились дальше.

Они вошли в первое здание, попавшееся им на пути. Это была столовая. Здесь оказались многие вышедшие из опытного цеха. Мартына тотчас смазали, забинтовали и уложили прямо на пол рядом с другими, тяжело обмороженными людьми.

— Где вы были? — спросила Варя Непомнящего. — Что с вами произошло?

Непомнящий не смотрел Варе в глаза и говорил медленно, с трудом, словно серьезные слова были для него непривычны и их приходилось с трудом отыскивать.

— Где был? Сам не знаю. Катился по снегу в какую-то пропасть. Цеплялся за верхушки деревьев и умирал от усталости. Если бы не Мартын, если бы не Михаил Тарасович, я погиб бы наверняка. Я потерял силы.

— У вас отказали нервы, а не силы, — сурово сказал Седюк. — Смотрите, вы не ушиблись, не обморозились. Десятки людей в этом зале пострадали много серьезнее вас, а никто из них не погибал. Мне Мартын сейчас рассказал, как вы дрались с ним, когда он пытался вас спасти. Не клевете на свои силы — вам просто не хватило душевной стойкости! — И, отвернувшись, Седюк сказал Варе: — Вы не пойдете домой? Я хочу вас проводить.

Варя ответила, с сочувствием глядя на опустившего голову Непомнящего:

-- Нет, я помогу здесь санитарам, они сбились с ног. — Вон Ирина уже помогает им.

— Хорошо, оставайтесь, — решил Седюк. — А я пойду в управление.

— Возьмите меня с собой, — тихо попросил Непомнящий.

Седюк посмотрел на него недоверчиво и удивленно.

— Вы чуть не погибли сегодня, Игорь, куда вам еще идти?

— Возьмите, — настаивал Непомнящий. — Вы же сами говорите, что я погибал от недостатка душевных сил. Что ж, неужели я способен только на то, чтобы падать и замерзать? Там, где помогают другие, я тоже смогу помочь.

Варя лучше, чем Седюк, разбиралась в душевном состоянии Непомнящего.

— Возьмите его, — попросила она.

Седюк взглянул на нее удивленно и махнул рукой.

— Ладно, закутывайтесь, только поскорее — через минуту выходим. Непомнящий подошел к Мартыну.

— Придется полежать денек-другой, а? — сказал он. — Ты здорово обморозился, когда тащил меня. Я сейчас уйду, а ты не снимай повязки и лежи тихо — обморожение кожи это тот же ожог, тут требуется покой.

— Куда вы идете, Игорь Маркович? — с испугом спросил Мартын.

— В управление комбината, а оттуда — куда пошлют. Да ты не беспокойся, Мартын, я иду с Седюком, вместе мы не пропадем. — Не удержавшись, он прихвастнул: — Очень важное дело, Мартын. Жалко, что ты не можешь идти с нами.

В управлении комбината все коридоры и приемные были забиты людьми. Седюк, оставив Непомнящего в коридоре, пошел к Сильченко.

Там собрались все члены аварийной комиссии. Дебрев, распахнув ворот рубашки и обнажив волосатую грудь, кричал в телефон, чтобы перебросили отряд пожарной охраны на угольные шахты, где буря завалила снегом устья подземных выработок.

— С лопатами и ломами! — кричал он сипло, весь напрягаясь, чтобы голос был громче. — Нет, на склонах гор никто для вас инструментов не припас. Придется нести с собой. Знаю, что тяжело! Отправляйтесь немедленно, в шахте сидят люди. Нет, пока благополучно, воздуху хватает, но авария возможна каждую минуту. Захватите с собой веревки, чтоб обвязываться. Еще раз — немедленно выходите!

Сильченко подозвал Седюка.

— Вы очень нужны, — сказал он озабоченно. — На площадке медного — несчастье за несчастьем. В обогревалках и конторах собрались все люди, убежавшие из котлованов. Против списочного состава не хватает сорока семи человек. Наверное, они сидят в котлованах или замерзают в снегу. Я послал туда Назарова с аварийной бригадой, аккумуляторными лампами и лестницами. Одиннадцать человек он откопал сразу и отправил в лазарет — все тяжело пострадали. Только что он звонил, что отправляется раскапывать северные котлованы — там самое тяжелое положение. Помогите ему. И еще одно: полчаса назад мы послали машину с едой — сто банок консервов, десять бутылок спирту, хлеб. При машине — экспедитор. Машина пропала. Отыщите ее. Ну, а вообще положение такое: сейчас плохо, будет еще хуже. Ожидается усиление ветра до сорока метров в секунду.

В комнату вошел Парамонов.

— Сейчас поступишь в распоряжение товарища Седюка, — обратился к нему Сильченко. — На медном положение хуже, чем на всех других площадках.

Дебрев с яростью стучал ладонью по внезапно заглохшему телефону. Лицо его покрылось крупными каплями пота. Он нажал кнопку звонка.

— Янсона сюда! — коротко бросил он секретарше. — Сейчас же наладить связь! — яростно крикнул Дебрев, когда Янсон вошел. — Голову оторву, если не будет связи! Вызывай монтеров, милицию, родильный дом, но чтоб связь была!

Обычно насмешливый Янсон стоял суровый и молчаливый.

— Все бросить к чертовой матери, все остальные работы! — бушевал Дебрев. — Сейчас нет ничего важнее связи. Если нужно, забирай все проходящие бригады, сам отправляйся на телефонку, но чтоб связь была, чтоб связь была!

Янсон молча наклонил голову и вышел.

Дебрев метался по кабинету от окна к столу, к умолкнувшим телефонам.

Деятельность, команда, решительные распоряжения в трудную минуту были необходимы Дебреву как воздух. А теперь от его крика, его приказов и распоряжений почти ничего не зависело, и этого он снести не мог.

Он остановился перед Сильченко и крикнул с вызовом:

— Ну, что сейчас будем делать, Борис Викторович?

— Будем делать то, что решили. И еще будем ждать, — ответил Сильченко ровным голосом.

Дебрев рассердился.

— Я не собираюсь ждать! — сказал он резко. — Комбинат в опасности. Нужно руководить его спасением, а не ждать, пока все развалится.

Если связь не наладится, я предлагаю: всем разъехаться по наиболее угрожаемым объектам и помогать спасательным работам.

— По-моему, разъезжаться не следует, — ответил Сильченко. — Связь можно будет держать через людей. Мы должны быть в центре и координировать действия на местах — пусть с опозданием, но координировать.

— А пока что люди на местах останутся одни? — крикнул Дебрев. — Без всякого руководства?

— Почему без руководства? — возразил Сильченко. — Разве все руководство осуществляем только мы с вами? У людей есть знания, патриотизм, любовь к своему делу. Это все неплохие руководители, на них можно положиться.

Дебрев сел в кресло и положил руки на стол.

— Я спорить не буду, — сказал он угрюмо. — И не считаю, что каждый вопрос нужно подымать на такую недостижимую политическую высоту. Одно скажу: курить и поплевывать в кабинете я не собираюсь. Если Янсон через полчаса не наладит связь, я уеду на площадку ТЭЦ, там мое присутствие нужнее.

Седюк вышел вместе с Парамоновым. Парамонов захватил три шахтерские лампочки с аккумуляторами на ремнях и две бутылки спирту. Спирт был засунут в карманы, а лампочки прикреплены веревками к шапкам. У входной двери сидели два вооруженных стрелка. Они встали и, не говоря ни слова, пошли за Парамоновым — у каждого на шапке тоже было по лампочке.

Все пятеро шли в пустой грохочущей тьме. Седюк, державший Непомнящего под руку, временами делал шаг и замирал, тратя все силы только на то, чтобы устоять.

На шоссе идти стало легче. Вначале Седюк удивился этому — шоссе со всех сторон было открыто. Но потом он сообразил, что тут ветер взбирается в гору. «Наверх взбираться тяжеловато», — подумал он, и ему стало смешно, что даже такая исполинская буря, словно человек, выбирает дорогу полегче.

В сторожке промплощадки было светло, жарко горела железная печка, сделанная из бензиновой бочки, и два вахтера грели о ее бока покрасневшие руки.

— Машина с продовольствием проезжала на площадку? — осведомился Парамонов.

— Часок назад, однако, проехала. Сразу после вахты свернула направо.

Парамонов вопросительно посмотрел на Седюка. Тот молча принялся обматывать лицо шарфом. Они вышли.

Парамонов шел медленно и часто останавливался, осматривая дорогу. Потом он свернул в сторону, прямо в нерасчищенный снег, и знаком показал, чтобы следовать за ним.

Впереди виднелось что-то темное. Еще издали Седюк сообразил, что это наполовину занесенный снегом грузовик. Парамонов подошел к кузову и открыл дверь кабины. Седюк наклонился через его плечо, освещая кабину фонариком. В кабине лежал пожилой уже человек, с седеющей щетиной давно не бритой головы, с открытыми остекленевшими глазами. Он повалился на бок, руки его крепко охватывали руль, одна нога была поднята вверх, другая упиралась в пол.

— Замерз? — крикнул Седюк в ухо Парамонову. Тот покачал головой и распахнул полушубок — на груди мертвеца виднелось черное пятно замерзшей крови.

— Зарезали ножом! — крикнул Парамонов. — Это экспедитор. Шофер должен быть где-то рядом.

Он захлопнул кабину и пошел назад, освещая лампочкой груды наметанного на земле снега. Около одного такого холмика, дымящегося тон-

ким снегом, он остановился и стал разгребать его. Из снега показалась рука. Стрелки схватили эту руку и вытащили все тело. Это был еще юноша, безбровый, круглолицый. Под глазами у него был кровоподтек, на щеке виднелась кровь. Одежда была изодрана и залита кровью.

— Парень крепко защищался! — крикнул Парамонов Седюку.

Уложив труп на старое место, Парамонов присыпал его сверху снегом и возвратился к машине. На этот раз он влез в кузов. В кузове лежало несколько мешков хлеба, ни консервов, ни спирта, о которых говорил Сильченко, не было.

— Убийства совершены с целью ограбления, — сказал Парамонов. — Напало не меньше трех человек. Разрешите мне сейчас удалиться — должен для порядка известить следователя и прокурора. Я оставляю вам своих ребят, они перетаскают мешки с хлебом в контору. Потом и сам я приду.

— Идите, — согласился Седюк. — Попросите Сильченко прислать вторую машину с консервами и спиртом, хлеба, кажется, хватит до завтра.

Снова началось мучительное путешествие сквозь плотный, обжигающе-ледяной воздух. В конторе строительства к ним кинулась Катюша Дубинина, секретарь Назарова и Седюка. Она так обрадовалась Седюку, словно он нес ей спасение. Застенчиво поглядывая на Непомнящего, она воскликнула:

— Неужели вы пришли от самого управления? Ой, я бы лучше сразу умерла, чем высунулась наружу!

В конторе, состоявшей из нескольких больших комнат, было людно, душно и жарко. Кабинет Лесина был превращен в лазарет, кабинет Назарова напоминал бивуак, устроенный разбитым в сражении войском. Везде — на полу, на столе, на диванах — лежали перевязанные, обмороженные, разбитые и просто смертельно уставшие люди.

Лесин лежал среди других пострадавших. Он не мог пошевелить ни кистями рук, ни шеей. Увидев Седюка, он пытался улыбнуться и слегка приподнялся.

— Лежите, лежите! — поспешно сказал Седюк. — Я пришел к вам на помощь. Где Назаров? Есть в конторе спасательный инвентарь?

Лесин отвечал тихо, с трудом. Назаров, по его просьбе, отыскивает людей в северных котлованах. Седюку нужно отправиться на южный участок, оттуда не вернулось человек пятнадцать. Очень тревожит положение с трубой, ни один из трубокладов не возвратился. Почти весь инвентарь забрал Назаров, но кое-что — веревки, лопаты, сани — еще осталось на складе.

— Ну, я иду, — сказал Седюк. — Скоро придет машина с едой, отправим на ней в больницу тяжелораненых.

В коридоре, окруженный целой толпой, Непомнящий с важным видом что-то рассказывал.

— О чем вы? — спросил Седюк.

— Небольшой критический очерк, — ответил Непомнящий. — Развенчание одного литературного кумира. Товарищ упомянул, что ураган такой, как в рассказах Джека Лондона. Пришлось разъяснить, что Джек Лондон имел дело с ураганом стандартного южного образца. Типичный ширпотреб природы для обслуживания широких масс земного шара — солидный ветерок при жаркой погоде. Наш ураган ему и во сне не снился. Это технически смелое достижение природы, вещь, пригодная только для людей особо высокого класса стойкости. Как по-вашему?

— Опять вы за свое? Где стрелки Парамонова?

— Вы так быстро ушли, что ничего не сказали, и я распорядился вместо вас. Я послал их за остальными мешками и дал им в помощь четырех дюжих ребят, тут таких много. Хлеб пришлось положить у печки, он совсем промерз, его не разрезать.

— Правильно сделали. Раз вы сами начали распоряжаться, продолжайте дальше. Организуйте раздачу пищи — сперва хлеб, потом консервы, когда придут. Обмороженным, которых будем доставлять сюда, давайте спирт. Проверьте, кого надо отправить в больницу. Возьмите проводников и осмотрите обогревалки, там тоже сидят люди, и среди них пострадавшие.

Седюк зашел в крайнюю комнату, где собрались все, кто не очень пострадал от мороза и ветра. Среди них был и Бугров, запомнившийся Седюку еще по первому посещению площадки. Седюк объяснил, что нужно оказать помощь пострадавшим на промплощадке.

— Члены партии и комсомольцы есть? — спросил Седюк.

Два человека выступили вперед.

— Без партбилета не берешь? — угрюмо спросил Бугров.

— Беру всех, кто болеет за жизнь товарищей, — объяснил Седюк, хорошо знавший характер Бугрова. — Тебя, товарищ Бугров, я особенно прошу помочь: ты хорошо знаешь эти места — мы идем в южные котлованы.

Бугров молча погасил самокрутку и спрятал окурочек в карман.

— Иди, начальник, доставай инвентарь, а я тут сам подберу ребят, которые могут, — сказал он, вставая, и ворчливо добавил: — И твоих партийных всех прихвачу — пускай пример показывают.

— Одевайтесь покрепче, будет тяжело, — напомнил Седюк, уходя.

— Где сейчас легко? — пробормотал Бугров, натягивая на плечи полушубок.

23

Зеленский, получив сообщение Янсона о приближающейся пурге и обругав его, тут же принял меры к защите площадки. Однако обманутый, как и Янсон, малой разрушительной силой прежних метелей, он не мог заранее представить себе весь размер бедствия, грозившего Ленинску. Он распорядился прекратить работы лишь на всех открытых участках, не защищенных ни стенами, ни шатрами, а на местах защищенных потушить костры, чтобы не было пожара, но работы не прерывать. Это означало, что основная масса рабочих, сотни людей, должна была оставаться на своих рабочих местах.

После разговора с участками Зеленский вышел наружу и направился в помещение углеподачи, где уже начали монтаж оборудования. Ветер свистел в проводах, и сила его нарастала с ужасающей быстротой. Когда Зеленский ворвался в конторку цеха, буря уже валила с ног. Не здороваясь с присутствующими, он кинулся к телефонам.

— Янсона! — крикнул он телефонистке и, услышав, что Янсон разговаривает с Сильченко, потребовал метеостанцию.

Метеостанция тоже была занята — ее вызывали со всех сторон.

— Немедленно отключите других и соедините меня, слышите? — крикнул он яростно. — Вы слышите, что вам говорят, я — Зеленский, сейчас же отключайте разговор!

Испуганная телефонистка прервала на полуслове разговор Диканского с Прохоровым и подключила Зеленского.

— Что случилось? — взволнованно спросил Зеленский. — Янсон информировал меня просто о сильной пурге, но уже сейчас ветер такой, какого я еще ни разу не видывал. Каковы перспективы?

— На нас движется циклон, — донесся неясный, взволнованный голос Диканского. — Ожидаю урагана силой до двенадцати баллов при обильном снегопаде. Жесткость погоды будет не менее ста градусов. Предупреждаю, уже через полчаса пребывание на открытом воздухе будет опасно для самого крепкого человека.

Зеленский схватился за внутренние телефоны.

— Елизавета Борисовна! — крикнул он секретарю. — Передайте всем, что прежнее распоряжение отменяется. Все люди, кроме монтажников, работающих в закрытых помещениях, должны немедленно убираться со своих рабочих мест. Соединитесь с начальниками участков и прорабами.

— Только что звонил Янсон! — жалобно воскликнула Елизавета Борисовна. — Вахты закрываются, и передвижение людей прекращается. Я вызывала прорабов, никто не отвечает, все ушли выполнять ваше первое распоряжение. Как же быть?

Зеленский обвел взглядом людей, сидевших в конторе. Здесь были два монтажных мастера, молодые, крепкие на вид парни, щуплый пожилой бухгалтер и нормировщик Зина Петрова.

— Товарищи, срочно нужна ваша помощь! — сказал Зеленский мастерам. — Идет неслыханный снежный ураган — гораздо сильнее, чем мы ожидали, нужно, чтоб все люди сейчас же ушли с рабочих мест под прикрытием стен. У телефонов никого нет. Вы пойдете на западный участок, а вы — на северный к складам. Говорите каждому, кого встретите, что наружные работы прекращаются, и пусть он передает дальше. Я ухожу на южный участок.

Мастера, застегивая на ходу полушубки, поспешно вышли за дверь. Бухгалтер с видимым облегчением обратился к обширной ведомости, развернутой у него на столе. Зина была полна жестокой обиды.

— А мне? — сказала она с негодованием. — Александр Аполлонович, я тоже хочу идти.

— Вы с ума сошли, Зина! — сердито ответил Зеленский. — Погода не для девушек.

— Я сильная, — настаивала Зина. — Я сильнее многих парней, вы же сами знаете, я взяла первое место по бегу среди девушек. Помните, в прошлую пургу я пробежала всю площадку — и ничего! Я пойду на восточный участок, там звено Турчина, они на отшибе, если им не сообщить, они останутся.

Зеленский колебался. Зина Петрова была выносливой и смелой девушкой; звено Турчина действительно работало в стороне от всех, и его нужно было как можно скорее предупредить. Но сквозь окна конторки неся уже не свист ветра в проводах, а тяжелый непрерывный грохот.

— Не надо! — решил Зеленский. — Я пошлю к Турчину какого-нибудь парня с южного участка. Не морочьте мне голову, Зина, я спешу.

Он почти выбежал наружу и последним, что он увидел на бегу, была тень Зины, пропадавшая в снежной мгле. Зеленский гневно окликнул ее, потом кинулся за ней, но тут же остановился — даже в бурю, под натиском бокового ветра она бежала много быстрее, чем он. Он повернул на южное шоссе. У самой конторки участка на него налетел Симонян.

— Александр Аполлонович! — кричал он своим пронзительным голосом, слышным даже сквозь грохот бури. — Как могут люди работать в такую погоду? Ты об этом подумал?

— Отменяется, — прохрипел Зеленский, даже не удивившись тому, что его разносит Симонян, неистово доказывавший на всех собраниях, что нельзя прекращать работу ни в какую пургу. — Немедленно уводить всех людей!

Симонян повернулся и побежал назад, в сторону котлованов котельного цеха и насосной станции. Зеленский с трудом поспевал за ним. Теперь грохот ветра сливался с грохотом бетономешалок, гудками паровозов, стрекотанием отбойных молотков. Симонян останавливал всех, кто попадался ему на пути, и передавал распоряжение прекратить работу. Люди, выслушав его, бежали оповестить других.

Когда Зеленский и Симонян добежали до последних котлованов, весь

участок был уже оповещен. Они повернулись и медленно пошли назад. По всей площадке сейчас разносился только тяжелый грохот бури. Голоса работ замолкли — бетономешалки поворачивались отверстиями вниз, паровозы тушили топки и уползали в депо, заглохла трескотня молотков. Со всех сторон бежали люди.

— В самый раз, Саша! — пронзительно крикнул Симонян. — Ветер ломает шатры над котлованами.

Мимо них проносились обломки деревянных щитов, доски шатров, бумажные мешки из-под цемента — буря ломала и мела все, что могло быть сломано.

В здание углеподачи они вошли последними. Обширное помещение было битком набито людьми. Монтажники, ругаясь с каждым, кто присаживался на их балки и конструкции, продолжали свою работу. Симонян с помощью Зеленского поправил свою повязку — она съехала в сторону, обнажив пустую глазницу. Зеленский прошел в конторку. В оживших телефонах слышались знакомые голоса: несчастных случаев пока не было.

— Меня тревожит положение с восточным, — сказал Зеленский, с тревогой вспоминая тонкую фигуру девушки, бежавшей наперерез ветру. — Туда побежала Зина.

— Сейчас же идем! — воскликнул Симонян, хватая Зеленского за рукав. — Турчин пойдет не сюда, а в центральную обогревалку, где столовая. Если их там нет, надо организовать спасательную команду! И ты хорош, девчонку послал в такую бурю!

Турчин работал со своим звеном на правом краю восточного участка. Недалеко от них два бурильщика бурили шпуры для взрыва скалы. Радиопередач о приближающейся буре они не слышали. Когда налетел первый порыв ветра, Турчин с сомнением посмотрел на свет лампочки, качавшейся на столбе. В свете было видно, с какой необычайной быстротой проносится мелкий, похожий на ледяную пыль снег. Уже минут через двадцать Турчин, пытаясь переместить клинок молотка на другое место, ощутил, что не может сделать ни одного движения назад — гремющий воздух с огромной силой прижимал тело к молотку. Встревоженный Костылин бросил свой молоток и закричал Турчину:

— Иван Кузьмич, беда, уходить надо!

Турчин колебался. Накцев, не обращая внимания на бурю, работал с прежним старанием — он поднял воротник, лицо его было сосредоточенно и спокойно, молоток четко стрекотал в руках. Внезапно стрекотание прекратилось. Турчин вертел и проворачивал кран — давления не было. На разрезе появился один из работавших рядом бурильщиков.

— Герои! — крикнул он. — Спасибо вам не скажут, если погибнете. Компрессор остановлен. Поступил приказ: всем убираться под крыши!

Но Турчин ушел не сразу. Он аккуратно сложил все молотки в одно место, чтобы их легко было найти, если занесет снегом, и только потом выбрался со своими рабочими из разреза. Когда они, измученные и потные от усталости, ввалились в обогревалку, она была уже полна. Их встретили смехом и шутками. Какой-то остряк кричал из толпы:

— Иван Кузьмич, за вами пожарную команду хотели посылать, пожарники отказываются — ветерок не огонек, вся их храбрость замерзла.

Турчин, не отвечая, раздевался. Костылин сбросил полушубок и бродил по залу, всматриваясь в лица, потом вернулся к Накцеву и уселся подле него на полу.

— Зинку искал? — равнодушно осведомился Накцев.

— Зину, — нехотя отозвался Костылин. Помолчав, он сказал: — Интересно, куда она делась? Может, в углеподаче сидит, как по-твоему?

— Куда она денется? — пробормотал Накцев и широко зевнул. — В такую погоду не то что девка, волк из норы не высунется.

— Не знаешь ты Зину, — возразил Костылин.

Но зевок Накцева вдруг успокоил его. Конечно, Зина где-нибудь в тепле. Она не такая безумная, чтобы бегать в бурю по площадке. А в обогревалку она не пришла, чтоб досадить ему, уж она такая.

Костылин закрыл глаза. Он прислушался к грохоту ветра за стеной, и стихнувшая на время тревога снова стала расти. Он вскочил и принялся одеваться. Накцев сонно спросил:

— Куда ты, Сеня?

Костылин виновато ответил:

— Пойду в углеподачу, знаешь, боюсь я за Зинку!

Накцев, сладко зевнув и закрывая глаза, пробормотал:

— Ну и дурак, она же над тобой и посмеется.

Дверь в обогревалку распахнулась, и мощный порыв ветра ворвался в помещение вместе с облаком тумана, хлопьями снега. Из тумана выросла фигура стремительно вбежавшего Симоняна. За ним влетел вталкиваемый бурей Зеленский.

— Здесь они! — закричал Симонян, косясь своим единственным глазом на Турчина.

Зеленский, не раздеваясь, кинулся к поднявшемуся со своего места Турчину.

— Значит, она вас нашла? — спрашивал он, озираясь. — А где же она? К вам побежала Зина Петрова, где она?

— Зина? Нет, Зины не видели, — ответил пораженный Турчин.

— Замерзла Зина! — хрипло крикнул Костылин.

Он ожесточенно растолкал собравшихся вокруг Зеленского людей, пробиваясь к выходу. Симонян крепко ухватил его за плечо и сердито крикнул:

— Куда, дура? Ни шагу без моего разрешения, слышишь?

— Пустите! — Костылин тщетно старался вырваться из цепких рук Симоняна. — Замерзнет же она!

— Ни шагу! — повторил Симонян грозно. — Нужно идти группой, один сам погибнешь ни за грош. Товарищи! — Он повысил голос. — Надо спасать девушку. Желаящие отходите к двери.

К двери отошло человек пятнадцать — Зина была любимицей всей площадки. Симонян быстро отобрал шестерых и обернулся к Зеленскому.

— Разыскивать пойду я, — сказал он серьезно и решительно. — Тебе нужно быть здесь, чтоб не терять связи с управлением. Ты не запомнил, как она пошла?

— Она побежала наперерез ветру.

— Ясно. Если наперерез ветру, то, значит, на шоссе. Пошли, товарищи! — приказал Симонян, прикрепив к шапке аккумуляторный фонарь и берясь за ручку двери.

— Арам Ваганович, не пойдет она по шоссе, — поспешно сказал Костылин. — Она к нам всегда по короткой линии, без дороги бежит, прямо с бровки прыгает. Она и сейчас навстречу ветру пошла.

Симонян вопросительно посмотрел на Зеленского.

— Бежала она наперерез, а не навстречу ветру. Это я хорошо помню, — повторил Зеленский.

— Обследуем раньше шоссе, — решил Симонян. — Держаться друг за друга и ни в коем случае не отставать. Пошли, пошли!

Костылин стоял первым у двери, но отошел в сторону и пропустил мимо себя всех, чтобы выйти последним. Буря усилилась. Над тускло освещенной дорогой с сумасшедшей скоростью пролетали вытянутые белые нити снега. Костылин был уверен, что Зина не пошла по дороге. Она пошла по своему обычному, самому короткому пути — через вершину, навстречу ветру. Она свернула на дорогу, только чтобы убежать от Зеленского. Сейчас она где-то там, на покрытой снегом и валунами, темной, открытой урагану вершине.

И, пройдя несколько шагов, он резко свернул с шоссе навстречу буре. Его исчезновения никто не заметил — дорога была трудная, люди назад не оглядывались. Согнувшись, стиснув зубы, он ожесточенно прорывался головой поток ледяного воздуха. Временами он падал и, подтягивая ноги, выгибая спину, как кошка, лез вперед, не отдыхая и не останавливаясь. Когда в яростном вихре легким не хватало дыхания, он опускал голову вниз, чтобы вздохнуть полной грудью. Он не думал об урагане и, борясь с ним, не замечал его. Что-то без устали снова и снова кричало в нем: «Она шла спасать меня и сама погибла!» И это было так страшно, что он ожесточенно рвался вперед, ни о чем больше не думая. Еще никогда он не напрягал так иступленно свои силы и никогда они не были так велики.

И хотя он двигался, словно охваченный приступом безумия, он с необычайной отчетливостью видел все открывавшееся ему вокруг, во мгле, освещенной сиянием далеких прожекторов. Когда Костылин впоследствии вспоминал, закрывая глаза, свои поиски, перед ним четко вставали бугорки, камни, сухая трава, кустики, летящий снег, словно много лет всматривался он в эти картины, и они отпечатались в его памяти навсегда.

Задыхаясь, Костылин взобрался на вершину. Он полз и ощупывал каждый метр пространства — где-то здесь лежит Зина, она замерзает, может быть уже замерзла!

Он блуждал по вершине скалы кругами, и эти круги расходились все шире, приближаясь к разрезу восточного участка, где они работали. У самого склона, в ямке, полузанесенной снегом, он увидел Зину. Зина лежала, скрючившись, ее голова и ноги были в снегу, одна рука отброшена в сторону, валенок с правой ноги сполз, сдвинутый пуховой платок открывал щеку. Костылин закричал, встал во весь рост и кинулся к ней. Ветер бросил его вниз, он приподнялся и, цепляясь руками за камни, быстро подобрался к Зине.

Лицо ее, покрытое темными брызгами крови от удара, было безжизненно, безжизненными и холодными были ее руки и ноги.

— Зиночка, милая! Зиночка, милая! — повторял он, сам себя не слыша, и лихорадочно тряс ее.

Она не отвечала. Он натянул съехавший валенок, попытался поднять Зину на ноги, но ветер опрокинул его вместе с ней. Тогда он взвалил ее на плечи, снова упал через несколько шагов и снова поднялся. Теперь он нес ее на руках, откидываясь всем телом назад, опираясь на ветер, толкавший его в спину, — неожиданно так оказалось легче. Отчаяние, терзавшее его, превратилось в бешенство борьбы. В голове его металась мысль, похожие на вопль: «Не дам! Не дам, говорю!» И он ни разу не оступился, пока не дошел до спуска с вершины.

Здесь он упал. Падая, успел повернуться, чтобы не ушибить Зине голову, и свалился на бок. Левую ногу резнула острая боль. Когда он, не выпуская из рук Зину, попытался подняться, все кругом странно и зловеще изменилось. Линия туманного сияния, отмечавшая расположенную впереди дорогу, вдруг исчезла. Погасли прожектора на здании углеподачи. Вся площадка строительства была охвачена непроницаемой, бешено несущейся, грохочущей тьмой.

Он не понял, что произошло. Он знал лишь, что уже не может встать и идти. Обнимая одной рукой Зину, другой рукой загребая снег и твердую землю, точно пловец воду, с силой отгалкиваясь неповрежденной ногой, он пополз туда, где была невидимая сейчас дорога. Минутами он замирал, припадал головой к снегу, судорожно глотал воздух, потом снова полз. Но он понимал, что ползет слишком медленно. Из глаз его хлынули слезы ярости.

Наконец он ощутил под рукой не бугристую неровность склона, а укатанную гладкость дороги. Он даже не обрадовался. Он только стал ползти еще иступленнее, хотя ползти по гладкой дороге было труднее, чем по склону. В какой-то миг у самой его головы прошли чьи-то ноги, и он ухватился свободной рукой за валенок. Человек, за которого он уцепился, упал на него, и тотчас на них свалилось еще двое. Подбежали еще и еще люди, засветились фонари. Костылин видел сквозь лед, намерзший на ресницах, что Зину подняли и понесли, ноги ее волочились по земле.

Он схватил руками эти ноги, чтобы помочь нести Зину, но не смог сам подняться и потянул ее тело назад. Все происходило, словно в глубоком сне: он видел с полной ясностью, что совершается с Зиной, но не видел и не понимал, что делается с ним самим. Его подняли и несли три человека, а он, не понимая этого, все держал в руках ноги Зины, и ему казалось, что он сам несет ее и помогает тем другим, что держали ее тело и шли вперед, освещая фонарями дорогу.

Очнулся он в обогревалке. Над ним наклонилось встревоженное лицо Турчина. Властный бас Зеленского отдавал приказания, кругом все суетились. Костылин лежал рядом с Зиной. Он попытался встать: поврежденная нога еще сильно болела, но уже можно было опереться на нее.

Зина лежала на чьей-то шубе, руки ее были раскинуты, лицо безжизненно, на щеке виднелась ранка. Над ней, сосредоточенно прислушиваясь к пульсу, склонился фельдшер — лицо его было мрачно.

— Ну, и крепкий же ты парень, Семен! — донесся до Костылина пронзительный голос Симоняна. — Два раза пытался разжать тебе пальцы, не смог даже рукавицу с них содрать.

Пронзительно гудя, пришла машина скорой помощи. Санитары положили Зину на носилки. Костылин, прихрамывая, подошел к стоявшему в дверях шоферу и попросил:

— Товарищ, разреши с вами поехать.

— Посторонних не берем, — не поворачивая к нему головы, ответил шофер.

— Не посторонняя она мне, — тихо сказал Костылин и прибавил неуверенно: — Жена моя!

Шофер окинул его презрительным взглядом.

— Рановато женился, — сказал он насмешливо. — Ври дальше.

— Не вру, — с горячей обидой в голосе ответил Костылин. — Понимаешь, подруга моя. Одна у меня, понимаешь?

На этот раз шофер, видимо, понял. Взгляд его смягчился.

— Садись ко мне в кабину, — проговорил он. — В кузов нельзя — санитары обижаются.

К Костылину подошел Турчин.

— Сеня, скажи доктору, чтоб он повнимательней обошелся, — наказывал он взволнованно. — Скажи, что не девушка это, а чистое золото. И сам это помни, крепко помни, парень: тебя выручать она бежала!

— Помню, Иван Кузьмич, — ответил Костылин, и губы его дрогнули.

Костылин вошел в больницу вместе с санитарями. Зина уже пришла в сознание и тихо, жалобно стонала. В приемном покое над ней наклонился главный врач Никаноров.

— Вовремя вытащили вас, девушка, — ласково сказал он. — ПридетсЯ теперь полежать в больнице, кончик уха отхвачим, а там будете еще здоровей прежнего.

Зину унесли в палату. Никаноров заметил стоявшего в углу Костылина.

— А вам что надо, молодой человек? — спросил он строго. — Как вы сюда попали?

— Я насчет этой девушки,— заторопился Костылин. Ему сейчас было страшно стоять перед этим высоким человеком со строгими пронизательными глазами.— Знакомая моя. Как ей, очень плохо будет?

— Вы, наверно, тот самый человек, о котором Зеленский пишет, что он спас Петрову, рискуя жизнью? — догадался Никаноров.— Скрывать от вас ничего не стану. Ушиб незначителен, но обморожение третьей степени, больше четверти всей кожи поражено. Надеемся на лучшее, молодой человек, но будьте готовы ко всякому. А теперь идите, посторонним нельзя находиться в больнице.

Костылин не двинулся с места. Ему многое нужно было сказать главному врачу: и то, что это не девушка, а чистое золото, и то, что она шла спасать его, Костылина, и если она погибнет, то он, Костылин, будет виноват в ее гибели и что тогда уж лучше погибнуть ему самому. Но слов не было, и Костылин стоял молча, крепко сжимая губы.

— Идите,— повторил врач.

— Не пойду я,— тихо сказал Костылин.

— Как не пойдете? — удивился врач.

Костылин молчал. Никаноров внимательно рассматривал его открытое, веснушчатое лицо с белыми бровями и большим лбом.

— Василий Иванович,— обратился Никаноров к проходившему мимо санитару.— Выдайте этому молодому человеку халат и приспособьте к делу. А если будет лениться, скажите мне, тут же выставим наружу,— добавил он сердито.

— Не буду я лениться! — горячо воскликнул Костылин.

В больнице работы было много. Костылин вместе с другими санитарями перетаскивал больных, разносил еду, помогал при перевязках. Только к полуночи приток пострадавших уменьшился, и Костылину удалось пробраться в палату тяжелобольных — там лежала Зина. Она была вся забинтована — бинты охватывали голову, половину лица, шею, кисти рук, грудь и ноги. У нее был жар, глаза блестели, на щеках проступал кирпичного цвета румянец.

— Ничего, Зина, все в порядке,— утешал ее Костылин, весело улыбаясь.— Я говорил с Никаноровым, он обещает, что скоро выздоровеешь.

— Ухо у меня отрежут, Сеня, — пожаловалась девушка, чуть не плача.— На ноге два пальца отрежут.

— Чепуха! — возражал Костылин еще веселее.— Я сам слышал — не ухо, а кончик уха. Ты лучше расскажи, Зина, как ты свалилась?

— Ой, это такой ужас был, Сеня! Я даже не думала, что так бывает. Понимаешь, на вершине я не могла сделать ни шага, потом я упала, и меня несло, я за что-то цеплялась и больше уже ничего не помню. — Она помолчала и закрыла глаза. Из глаз выкатилась слеза и поползла по щеке.— Это ты меня спас, Сеня,— сказала она тихо.— Не побоялся пойти один.

— Да подумаешь, большое дело, ураган-то ведь кончался, — возразил он небрежно, стараясь не видеть ее слез.

— Совсем не кончался, а стал еще хуже,— настаивала она.— Я знаю, мне сестра говорила, да я и сама слышу, как он сейчас бушует! — Она снова помолчала.— Теперь мне ни танцевать, ни бегать — другие первое место возьмут по бегу.

Разговор утомил ее. Она снова закрыла глаза и прерывисто дышала. Потом из-под закрытых век опять покатались слезы.

— Буду теперь уродой. Ты теперь на меня, без уха, и смотреть не захочешь.

— Вот еще глупости! — возмутился он.— Как у тебя язык поворачивается такое говорить? Честное слово, если бы ты не была больная, я бы рассердился.

— Я знаю, ты только так говоришь,— возражала она.— А как увидишь меня безобразной, совсем другим станешь. Ты со мной сразу поссорись.

Он облизнул внезапно пересохшие губы. Когда он заговорил, его дрожащий голос звучал так странно, что она открыла глаза и посмотрела на него с радостным изумлением.

— Слушай, Зина,— сказал он.— Ты ведь меня знаешь — ты для меня всегда самая хорошая. Я всегда только с тебе думаю и на других век не смотрел и не посмотрю. Верь мне, Зина!

Она снова заплакала. А он с глубокой нежностью смотрел на ее пылающее от жара лицо и твердо знал, что каждое его слово — правда и что она — единственная, дорогая — стала ему теперь еще дороже.

24

Непрерывная огромная, изнурительная работа — вот все, что помнил об этой ночи Седюк. Кроме работы, был грохот ветра, колючий, сухой снег, глухая тьма, скудно прорезанная светом аккумуляторных лампочек.

Бугров оказался умным и распорядительным начальником спасательной команды. У него была удивительная память, он помнил, кто в каком котловане работает, знал, кто не пришел в помещение, и вел спасателей прямо туда, где находились люди.

Пока Бугров осматривал последние котлованы, Седюк отправился на трубу. Строительство трубы подходило к концу. Козюрин, назначенный мастером по кладке, ночевал на трубе — шатер из досок и крепкой парусины надежно охранял от снега и ветра, печурка защищала от мороза, горело электричество: что еще человеку надо?

Когда началась буря, Козюрину помогали двое подсобников. Один из них, молодой, робкий парень, сразу испугался и заскулил, когда парусина стала выгибаться под давлением ветра.

— Молчи, сорока! — сердито прикрикнул на него Козюрин.— Клади кирпич ровнее — все твое дело.

Потом в щель шатра стал проникать снег, прекратилась подача горячего раствора — бетономешалку остановили. Снизу крикнули, чтобы все спускались,— поступил приказ прекратить работу. Но у Козюрина возник другой план. Пурга долгой не будет, это ясно, часа через два она кончится. Чем слоняться на ветру по площадке, лучше передохнуть тут — тихо, светло, тепло и мухи не кусают. План показался разумным, но осуществился он только частично — мухи и впрямь не кусали. Когда рабочие кончили закладывать круговую щель досками, погас свет и прекратила работу электрическая воздуходувка, нагнетавшая в трубу под шатер теплый воздух. Теперь в темноте по обледенелым скобам, вбитым в стену трубы, спускаться было просто опасно — Козюрин, вздохнув, предложил подсобникам укладываться на боковую до лучшего времени.

Седюк, проникнув в канал трубы, встретил горы снега, завалившего все механизмы и штабеля кирпича. Седюк полез наверх: под шатром, на трехметровой стене трубы, крепко спали, обнявшись и прижимаясь друг к другу, Козюрин и его рабочие.

Приведя трубокладов в контору и убедившись, что больше отыскивать некого, Седюк впервые за эту ночь присел отдохнуть. Непомнящий завел в конторе новые порядки — в комнатах находились только раненые и обмороженные, они лежали на диванах и просто на полу, здоровые же были изгнаны в коридоры и обогревалки.

— Хотелось всех пострадавших собрать в одном месте,— деловито пояснил Непомнящий.— В обогревалках оказалось много обмороженных, всех их перенесли сюда. Я сам, Михаил Тарасович, три раза ходил в обогревалки.

Бугров с одобрением сказал:

— Паренек расторопный — и пищу и помощь организовал аккуратно, вон даже отдельную комнату освободил для спасателей, чтоб отдохнули, чаек попили.

В конторе Седюк встретился с Назаровым — обмороженным, охрипшим от усталости. Ему этой ночью пришлось узнать, почему фюит лиха, — в районе огромных северных котлованов буря не встречала никаких препятствий. Спасателям не раз приходилось спасать самих себя — восемь из них были уложены с перевязками среди других пострадавших.

— Все нипочем, если вытаскивал живого, — говорил Назаров. — Тогда ни усталости, ни боли — ничего не чувствуешь. А вот когда мертвого... У нас четверо погибли... А двенадцать тяжело ранены и обморожены...

«А все же ты неплохой парень», — думал Седюк, глядя на обмороженное, замученное лицо Назарова с живыми, участливыми глазами.

— Я прикорну часок, — сказал Назаров, зевая. — Ты не подежурить, Михаил Тарасович?

Седюк обещал подежурить. В семь часов утра заработал телефон. Голос монтера, спрашивавшего, хорошо ли его слышат, был сразу прерван голосом Дебрева. Дебрев потребовал, чтобы на электростанцию было отправлено тридцать здоровых мужчин:

— Там у них, оказывается, вспыхнул пожар в кабельной траншее. Синий организовал замену обгоревших кабелей и половину из них уже переложил. Меня, когда я полез в кабельную траншею, он покрыл последними словами и закричал, что ему нужны не начальники, а запасной кабель с базы техснаба. Кабель ему доставили.

— Молодец! — не удержался Седюк.

— Молодец, правильно! — в голосе Дебрева слышалась улыбка, ему, видимо, нравилось, что в Ленинске нашелся человек, который осмелился его обругать, и что этим человеком неожиданно оказался дипломат Синий, умевший со всеми ладить и всем говорить только приятное. — Он два раза обмораживался, но не уходил. А вот твоему Лесину нужно выговор по партийной линии вынести — растерялся и сразу же вышел из строя.

Отобрав людей и отправив их на электростанцию, Седюк прилег на диван.

Он устало перебирал в памяти одно за другим все события минувшей ночи. Теперь его тревожило: что с Варей? Он знал, что она в безопасности, но ему хотелось видеть ее, и как можно скорее. К полудню скорость ветра упала, и вахты стали пропускать возвращавшихся домой рабочих. Едва Назаров проснулся, Седюк передал ему все полученные по телефону распоряжения и пошел в проектный отдел. Он увидел Варю сразу — она сидела на своем обычном месте и просматривала чертежи. Всю ночь она ухаживала за ранеными, мазала обмороженные лица, бинтовала ушибленные руки и ноги, ей ни на минуту не удалось уснуть. Когда вошел Седюк, она обернулась. Усталые, покрасневшие от бессонницы, ее глаза смотрели радостно.

— С вами ничего не случилось? Все в порядке? Не обморозились?

— Нет, нет, все хорошо, — говорил он, пожимая ей обе руки. — Здоров, как всегда. И даже с прибылью: когда шел сюда, встретил секретаря Сильченко, говорит, что есть ордер на отдельную комнату в новом доме, — воображаю, что наделала буря в этом пустом доме! А наш опытный цех совсем исчез, вы знаете об этом, Варя?

Это была правда: на том месте, где прежде стоял опытный цех, теперь простиралась снеговая равнина, из-под снега виднелась только дощатая площадка с установленным на ней трансформатором и торчали, словно пеньки, верхушки железных труб.

Началась борьба со снегом. Больше всего народу работало на очистке железнодорожных путей. На второй день откопали заваленный снегом

обвалом снегоочиститель — в нем спали у остывшей топки машинист и кочегар: оба были целы и невредимы. Через час снегоочиститель вступил в строй и стал быстро расчищать пути.

Когда на всех площадках возобновилось строительство, было созвано совещание партийно-хозяйственного актива. Кинозал был полон и походил на палату военного лазарета: забинтованные лица, руки на перевязи, палки вместо костылей.

Сильченко начал свой доклад с того, что прочитал телеграмму Забелина: «Ветер в тридцать пять метров в секунду представляет нормальную трудность строительства в вашем районе. Считаю причины остановки комбината неубедительными. Требую немедленного разворота всех строительных и монтажных работ с расчетом пуска объектов в правительственные сроки. Телеграфируйте мероприятия по ликвидации разрушений и меры по предотвращению их в дальнейшем. Представьте наиболее отличившихся при ликвидации аварий к награде. Забелин».

— Это оценка всей нашей работы,— сказал Сильченко,— сделанная опытным заполярником. И оценка эта заслуженно сурова. Мы потерпели поражение в первом крупном бою с суровой природой. Бои будут продолжаться — зима только разворачивается. Мы должны извлечь уроки из наших неудач, у нас нет права терпеть поражение.

В президиум вошел шифровальщик и подал Сильченко телеграмму. Сильченко встал. Он видел перед собой сотни нетерпеливых глаз. Голосом, полным торжества, он сказал:

— Наступает и на нашей улице праздник, товарищи! Наши армии под Сталинградом перешли в генеральное наступление с юга и с севера. Фашистский фронт прорван! Наступление развивается и нарастает, железное кольцо смыкается вокруг гитлеровских армий у Сталинграда!

Гром ликующих аплодисментов, крики «ура» покрыли его слова. Весь зал кричал, топал ногами, бил в ладоши. Потом кто-то запел «Интернационал», и сотни голосов мощно подхватили ликующий, грозный гимн.

(Окончание следует)



АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

★

МОИ РЕКИ

Громко пели земляки
С той лесной со Мги-реки:

Ой ты, речка, речка-Мга,
Ой вы, светлые луга!

Разноцветные луга,
Где мы рушили врага.

Где мы рушили врага,
Где мы красили снега.

Ой ты, речка, речка-Мга,
Ты нам трижды дорога!

А еще славна ты, Мста,
Золоченые уста.

Золоченые уста,
Новгородские места!

А еще мила Нева —
В позументах рукава.

В позументах рукава,
Удалая голова!



ВАДИМ ШЕФНЕР

★

СТИХИ О ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

1

Мы старые островитяне.
В печальный и радостный час
Незримыми тянет сетями
Любимый Васильевский нас.

Здесь, острые мачты вздымая,
Не прячась по теплым углам,
Душа Ленинграда прямая
Сполна открывается нам.

Пойдем же на остров счастливый,
В кварталы, где шум городской
Сливается с гулом залива,
С немолкнущей песней морской!

Я вижу, лежит он на плане,
В грядущее запросто вхож,
Как будто Петру марсиане
Подбросили этот чертеж.

Он прямоугольный, и строгий,
И пронумерованный весь,—
Никто не собьется с дороги,
Никто не заблудится здесь.

Не прячась от мира и ветра,
Легли от воды до воды,
Прямы, как мечта геометра,
Негнущихся улиц ряды.

Могуч, деловито спокоен,
Балтийской волною омыт,
Кораблестроитель и воин,
Васильевский остров стоит.

Он с нами в грядущее верит,
Он нашею правдой силен,
И трубы здесь воткнуты в берег,
Как древки победных знамен.

2

На снимках, на гладких открытках
 Он неинтересен на вид
 И, как шоколадная плитка,
 На дольки кварталов разбит.

Но есть красота в нем иная, —
 И вот он встает предо мной,
 На дольки разбит, как стальная
 Рубашка гранаты ручной.

Он высится злой, справедливый,
 Сурово терпя до поры
 Ночные бомбежки,
 разрывы
 Снарядов с Вороньей горы.

В глазницы обугленных окон
 Глядится холодный восход,
 Молчат на проспекте широком
 Автобусы, вмерзшие в лед.

Он видит, седой и бессонный,
 Не сдавшийся воле судеб,
 Застывшие автофургоны
 С голодною надписью: «Хлеб».

Он гневом и болью пронизан,
 Глядит сквозь клубящийся чад,
 И капли по ржавым карнизам,
 Как слезы скупые, стучат.

Познавший огонь и усталость,
 И голод, и злую тоску,
 Он всю свою силу и ярость
 К последнему копит броску.

Мне годы запомнятся эти.
 И вот он встает предо мной
 Сквозь смерть, сквозь блокаду —
 к Победе
 Пришедший со всею страной.

Он снова в отменном порядке.
 И чудится мне, будто он,
 Как дальнего детства тетрадки,
 На линии весь разграфлен.

3

Пойдем на Васильевский остров,
 Где вешние ночи светлы,
 Нас ждут корабельные ростры
 И линий прямые углы.

Он прямоугольный, как прежде,
Как встарь, разлинованный весь,
Ни пьяный, ни даже приезжий
Вовек не заблудится здесь.

Пусть трезвым с дороги не сбиться,
Пусть пьяных не кружит вино,
На острове том заблудиться
Одним лишь влюбленным дано.

Там спят облака над мостами
До утренней белой звезды,
Бензинным дымком и цветами
Полночные пахнут сады.

И вновь над университетом,
Над Стрелкой, где воды молчат,
Горит, неразлучный с рассветом,
Неправдоподобный закат.

Давай здесь побродим, побудем,
Под эти пойдем небеса,
Где бродят счастливые люди,
Свои растеряв адреса.



ЛЕВ ЯШИН

★

О ЛЮБВИ К РОДИНЕ

Слов никаких особенных не надо
О том, что любишь ты свою страну.
Она велит: ты — воин Сталинграда!
Она зовет — идешь на целину!



М. РЫЛЬСКИЙ

★

ЧЕРЕМУХА ПОСЛЕ ДОЖДЯ

То было... Было все и откатилось,
Как колесо, в глухую глубину;
Хоть я того мгновенья не верну,
Оно — одно — с годами не забылось.

Дорога. Утро. Тишь. Меж голых круч —
Сплошной овраг, черемухой залитый.
Гроза минула — белы, духовиты,
Цветы все в каплях. Льются из-за туч

Лучи в голубоватых теплых блестках.
Здесь напоить из родника коней
Мы стали. Капель матовых влажней
Блестят глаза у девочки-подростка.

Невидимые в чаще соловьи
Всю жажду страсти в звуках изливают,—
Казалось, рощи песни все свои,
Встречая солнце, сами запевают.

Позванивая ведрами, прошла
По кладкам статная молодка мимо.
Казалось, счастье расцветает зримо
В то утро на околице села.

Черемуха, разросшаяся густо!
Кипит безумством юности она...
О почему нам воля не дана
Продлить навеки собственные чувства!

Вот так бы в сердце смертном закрепить
Желанья, юность, жар бессмертной силы,
Чтоб в сокровенных чувствах до могилы
С метелицей цветов остались жить

Те соловьи, девчурка и молодка,
Весна, рассвет, и ржанье, и вода,
И все, что снится лишь во сне коротком
И, точно сон, уходит навсегда!

Перевел с украинского Бор. Ирнин.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

С. МАРШАК

★

ИЗ РОБЕРТА БРАУНИНГА

ФЛЕЙТИСТ ИЗ ГАММЕЛЬНА

I

Гаммельн — в герцогстве Брауншвейг,
С Ганновером славным в соседстве.
С юга его омывает река
Везер, полна, широка, глубока.
Приятней нигде не найдешь городка.
Но многие слышали в детстве,
Что пять веков тому назад
Испытал этот город не бурю, не град
А худшее из бедствий.

II

Крысы
Различных мастей, волосаты и лысы,
Врывались в амбар, в кладовую, в чулан,
Копченья, соленья съедали до крошки,
Вскрывали бочонок и сыпались в чан,
В живых ни одной не оставили кошки,
У повара соус лакали из ложки,
Кусали младенцев за ручки и ножки,
Гнездились, презрев и сословье и сан,
На доньшках праздничных шляп горожан
Мешали болтать горожанкам речистым
И даже порой заглушали орган
Неистовым писком,
И визгом,
И свистом.

III

И вот повалила толпа горожан
К ратуше, угрожая.
— Наш мэр, — говорили они, — болван,
А советники — шалопаи!
Вы только подумайте! Должен народ
Напрасно нести непомерный расход,
Безмозглых тупиц одевая
В мантии из горностая!
А ну, поломайте-ка голову, мэр,
И ежели вы не предложите мер,

Как справиться с грызунами,
 Ответите вы перед нами!
 Обрюзгших и пухлых лентяев долой
 С насиженных мест мы погоним метлой!

При этих словах задрожали
 Старшины, сидевшие в зале.

IV

Молчало собранье, как будто печать
 Навеки замкнула уста его.
 — Ах! — вымолвил мэр. — Как хочу я бежать,
 Продав этот мех горностаевый!
 Устал я свой бедный затылок скрести.
 Признаться, друзья, я не вижу пути
 От крыс, и себя и сограждан спасти...
 Достать бы капкан, западню, крысоловку!..

Но что это? Шарканье ног о циновку,
 Царапанье, шорох и вкрадчивый стук, —
 Как будто бы в дверь постучали: тук-тук.

— Эй, кто там? — встревоженный мэр прошептал,
 От страха бледнея, как холст.
 А ростом он был удивительно мал
 И столь же неммыслимо толст.
 При этом не ярче блестел его взгляд,
 Чем устрица, вскрытая месяц назад.
 А впрочем, бывал этот взор оживленным
 В часы, когда мэр наслаждался зеленым
 Из черепахи вареным бульоном.
 Но звук, что на шорох крысиный похож,
 В любую минуту вгонял его в дрожь.

V

— Ну, что же, войдите! — промолвил он строго,
 Стараясь казаться повыше немного.

Тут незнакомец в дверь вошел.
 Двухцветный был на нем камзол —
 Отчасти желтый, частью красный,
 Из ткани выцветшей атласной.
 Высоко голову он нес.
 Был светел цвет его волос,
 А щеки выдубил загар.
 Не молод, но еще не стар,
 Он был стройней рапиры гибкой.
 Играла на губах улыбка,
 А синих глаз лукавый взор
 Подчас, как бритва, был остер.

Кто он такой, какого рода,
 Худой, безусый, безбородый,
 Никто вокруг сказать не мог.
 А он, перешагнув порог,
 Свободно шел, и люди в зале

Друг другу нá ухо шептали:
 — Какая странная особа!
 Как будто прадед наш из гроба
 Восстал для страшного суда
 И тихо движется сюда —
 Высокий, тощий, темнолицый —
 Из разрисованной гробницы!

VI

Ступая легко, подошел он туда,
 Где мэр и старшины сидели,
 И с низким поклоном сказал: — Господа,
 Пришел толковать я о деле.
 Есть у меня особый дар:
 Волшебной силой тайных чар
 Увлечь могу я за собою
 Живое существо любое,
 Что ходит, плавает, летает,
 В горах иль в море обитает.
 Но чаще всего за собой я веду
 Различную тварь, что несет нам беду.
 Гадюк, пауков вызываю я свистом,
 И люди зовут меня пестрым флейтистом.

И тут только каждому стало заметно,
 Что шея у гостя обвита двуцветной
 Широкою лентой, а к ней-то
 Подвешена дудка иль флейта,
 И стало понятно собравшимся в зале,
 Зачем его пальцы все время блуждали,
 Как будто хотели пройтись поскорее
 По скважинам дудки, висевшей на шее.

А гость продолжал: — Хоть я бедный дударь,
 Избавил я Хана татарского встарь
 От злых комаров, опустившихся тучей.
 Недавно Низама я в Азии спас
 От страшной напасти — от мыши летучей.
 А если угодно, избавлю и вас:
 Из Гáммельна крыс уведу я добром
 За тысячу гульденов серебром.

— Что тысяча! Мы вам дадим пятьдесят! —
 Прервал его мэр, нетерпеньем объят.

VII

Флейтист порог переступил,
 Чуть усмехнувшись, — оттого,
 Что знал, как много тайных сил
 Дремало в дудочке его.

Ее продул он и протер.
 И вдруг его зажегся взор
 Зелено-синими огнями,
 Как будто соль попала в пламя.

Три ра́за в дудку он подул —
 Раздался свист, пронесся гул.
 И гул перешел в бормотанье и ропот.
 Почудился армий бесчисленных топот.
 А топот сменился раскатами грома.
 И тут, кувыркаясь, из каждого дома
 По лестницам вверх и по лестницам вниз, —
 Из всех погребов, с чердаков на карниз
 Градом посыпались тысячи крыс.

Толстые крысы, худые, поджарые,
 Серые, бурые, юные, старые,
 Всякие крысы любого размера:
 Крупный вор и жулик мелкий,
 Молодые кавалеры —
 Хвост трубой, усы, как стрелки,
 Крысы-внуки, крысы-деды,
 Сыроеды, крупоеды, —
 Все неслись за голосистой
 Дудкой пестрого флейтиста.

Прошел квартал он за кварталом.
 А крысы вслед валили валом,
 Одна другую обгоняя.
 И вдруг бесчисленная стая
 Танцующих, визжащих крыс
 Низверглась с набережной вниз
 В широкий, полноводный Везер...

Одна лишь смелая, как Цезарь,
 Часа четыре напролет
 Плыла, разбрызгивая воду.
 И, переплыв, такой отчет
 Дала крысиному народу:

— Едва лишь флейта зазвучала,
 Как нам почудилось, что сало
 Свиное свежее скребут
 И яблоки кладут под спуд,
 И плотный круг сдвигают с бочки,
 Где заготовлены грибочки,
 И нам отпирают таинственный склад,
 Где сыр и колбасы струят аромат,
 Вскрываются рыбок соленых коробки,
 И масла прованского чмокают пробки.
 На тех же бочонках, где масло коровье,
 Все обручи лопнули — ешь на здоровье!
 И голос, приятнее в тысячу раз
 Всех ангельских арф и лир,
 Зовет на великое празднество нас:
 — Возрадуйтесь, крысы! Готовится пир
 Всех ваших пирушек обильней.
 Отныне навеки становится мир
 Огромной коптильной-солильной.

Всем, кто хочет, можно, дескать,
 Чавкать, хрупать, лопать, трескать,

Наедаться чем попало
До отказа, до отвала!

И только слышались эти слова,
Как вдруг показалась громада —
Прекрасная гладкая голова
Сверкающего рафинада.
Как солнце, она засияла вблизи,
И шепот раздался: — Приди и грызи!
Но поздно!.. Уже надо мною
Катилась волна за волною...

VIII

Экая радость у граждан была!
Так они били в колокола,
Что расшатали свои колокольни.
Не было города в мире довольней.
Мэр приказал: — До ночной темноты
Все вы должны, приготовив шесты,
Норы прочистить, где крысы кишели.
Плотники! Плотно заделайте щели,
Чтобы не мог и крысенок пролезть,
Духу чтоб не было мерзостной твари!

Вдруг появился флейтист на базаре:
— Тысячу гульденов, ваша честь!

IX

— Тысячу гульденов? — мэр городской
Ошеломлен был цифрой такой.
Было известно ему, что казна
В городе Гаммельне разорена.
Столько рейнвейна и вин заграничных
На торжествах и обедах публичных
Выпили дружно мэр и старшины...

Тысяча гульденов? Нет, половины
Хватит на то, чтоб наполнить вином
Бочку огромную с высохшим дном!

Можно ли тысячу гульденов даром
Бросить бродяге с цыганским загаром,
Дать проходимцу, который притом
В город явился, одетый шутом?..

Мэр подмигнул музыканту: — Мы сами
Видели нынче своими глазами —
Крысы погибли в реке, как одна,
И не вернуться, конечно, со дна.
Впрочем, мой друг, городская казна
Что-то за труд заплатить вам должна,
Скажем — на добрую пинту вина.
Это совсем не плохая цена
За то, что минутку
Дули вы в дудку.

А тысячу мы посулили вам в шутку.
И всё же, хоть после бесчисленных трат
Бедный наш город стал скуповат,
Гульденов мы вам дадим пятьдесят!

X

Весь потемнел владелец дудки.
 — В своем ли, сударь, вы рассудке?
 К чему вся эта болтовня!
 Довольно дела у меня.
 К обеду я спешу отсюда
 В Багдад, где лакомое блюдо
 Готовит мне дворцовый повар.
 С ним у меня такой был сговор,
 Когда я вывел из притонов
 Под кухней стаю скорпионов.
 Я с ним не спорил о цене.
 Но вы свой долг отдайте мне!
 А если со мною сыграли вы шутку,
 Звучать по-иному заставлю я дудку!..

XI

— Да как ты смеешь, — крикнул мэр, —
 Мне ставить повара в пример!
 Как смеешь, клоун балаганный,
 Грозить нам дудкой деревянной.
 Что ж, дуй в нее, покуда сам
 Не разорвешься пополам!

XII

Снова на улицу вышел флейтист,
 К флейте устами приник,
 И только издал его гладкий тростник
 Тройной переливчатый, ласковый свист,
 Каких не бывало на свете, —

Послышалось шумное шарканье, шорох
 Чьих-то шагов, очень легких и скорых.
 Ладонки захлопали, ножки затопали,
 Звонких сандалий подошвы зашлепали,
 И, словно цыплята бегут за крупой, —
 Спеша и толкаясь, веселой толпой
 На улицу хлынули дети.

Старшие, младшие,
 Девочки, мальчики
 Под флейту плясали, вставая на пальчики.
 В пляске
 Качались кудрей их колечки,
 Глазки
 От счастья светились, как свечки.

С криком и смехом,
 Звонким и чистым,
 Мчались ребята
 За пестрым флейтистом...

XIII

Мэр и советники замерли, словно
 Их превратили в стоячие бревна.

Ни крикнуть они, ни шагнуть не могли,
 Будто внезапно к земле приросли.
 И только следили за тем, как ребята
 С пляской и смехом уходят куда-то
 Вслед за волшебником с дудкой в руке.
 Вот уже с улицы Главной к реке
 Манит ребят говорливая дудка.
 Мэр и старшины лишились рассудка.
 Вот уже Вézера волны шумят,
 Пересекая дорогу ребят...

Руки тряслись у старшин от испуга,
 Свет в их глазах на мгновенье померк...
 Вдруг повернула процессия с юга
 К западу — к склонам горы Коппельберг.

От радости ожили мэр и старшины:
 Могут ли дети дойти до вершины!
 Их остановит крутая гора,
 И по домам побежит детвора.
 Но что это? В склоне открылись ворота —
 Своды глубокого, темного грота.
 И вслед за флейтистом в открывшийся вход
 С пляской ушел шаловливый народ.

Только последние скрылись в пещере,
 Плотно сомкнулись гранитные двери.

Нет, впрочем, один из мальчишек не мог
 Угнаться за всеми — он был хромоног.
 И позже, когда у него замечали
 Близкие люди улыбку печали,
 Он отвечал, что с той самой поры,
 Как затворились ворота горы
 И чудная дудка звучать перестала, —
 Скучно в родном его городе стало...

Он говорил: — Не увидеть
 Мне никогда страны счастливой,
 Куда от нас рукой подать,
 Но где земля и камни живы,
 Где круглый год цветут цветы
 Необычайной красоты.

Где воробьи простые краше,
 Чем яркие павлины наши,
 Где жала нет у мирных пчел,
 Где конь летает, как орел,
 Где всё вокруг не так, как дома,
 А ново, странно, незнакомо...
 И только показалось мне,
 Что в этой сказочной стране
 Я вылечу больную ногу,
 Скала закрыла мне дорогу,
 И я, по-прежнему хромой,
 Один, в слезах, побрел домой.

XIV

О горе Гаммельну! Богатый
Там начал думать над цитатой,
Что, как верблюду нелегко
Пролезть в игольное ушко,
Так и богатым в рай небесный
Не проползти тропинкой тесной...

Напрасно мэр гонцов и слуг
Послал на сотни верст вокруг
С такую трудную задачей:
Где б ни был этот шут бродячий,
Найти его и обещать
Вознаграждение любое,
Коль в город он придет опять
И приведет детей с собою...

Когда же мэр в конце концов
Узнал от слуг и от гонцов,
Что и флейтист исчез без вести
И детвора с флейтистом вместе,
Созвал он в ратуше совет,
Чтобы издать такой декрет.

— Пусть ведают стряпчие и адвокаты:
Там, где в бумагах ставятся даты,
Должно добавить такие слова —
«Столько-то времени от рождества
И столько-то времени с двадцать второго
Июля — то есть со дня рокового,
Когда отцвела, не успевши расцвести,
Надежда народа всего городского —
В году от рождества христова
Тысяча триста семьдесят шесть».

А путь последний детворы —
От набережной до горы —
Старшины города и мэр
Потомкам будущим в пример
Иль в память совести нечистой
Назвали Улицей Флейтиста.

Ни двор заезжий, ни трактир
Здесь нарушать не смеют мир.

Когда ж случится забрести
На эту улицу флейтистам
И огласить окрестность свистом, —
Дай бог им ноги унести!

А на колонне против скал,
Где некогда исчезли дети,
Их повесть город начертал
Резцом для будущих столетий.
И живописец в меру сил
Уход детей изобразил
Подробно на стекле узорном
Под самым куполом соборным.

Еще сказать я должен вам:
Слышал я, будто в наше время
Живет в одной долине племя,
Чужое местным племенам
По речи, платью и обрядам,
Хоть проживает с ними рядом.

И это племя в Трансильвании
От всех отлично оттого,
Что предки дальние его,
Как нам поведало предание,
Когда-то вышли на простор
Из подземелья в сердце гор,
Куда неведомая сила
Их в раннем детстве заманила...

XV

Тебе ж, мой Вилли, на прощанье
Один совет приберегу:
Давая, помни обещанье
И никогда не будь в долгу
У тех людей, что дуют в дудку
И крыс уводят за собой, —
Чтоб ни один из них с тобой
Не мог сыграть плохую шутку!

ИЗ ГЕЙНЕ

* *
*

Кто влюбился без надежды,
Расточителен, как бог.
Кто влюбиться может снова
Без надежды — тот дурак.

Это я влюбился снова
Без надежды, без ответа.
Насмешил я солнце, звезды,
Сам смеюсь — и умираю.

* *
*

В почтовом возке мы катили,
Касаясь друг друга плечом.
Всю ночь в темноте мы шутили,
Болтали — не помню о чем.

Когда же за стеклами в раме
Открылся нам утренний мир,
Амур оказался меж нами,
Бесплатный слепой массажир.

* *
*

Как из пены вод рожденная,
Ты сияешь — потому,
Что невестой нареченною
Стала ты бог весть кому.

Пусть же сердце терпеливое
Позабудет и простит
Все, что дурочка красивая,
Не задумавшись, творит!

* *
*

С надлежащим уважением
Принят дамами поэт.
Мне с моим бессмертным гением
Сервирован был обед.

Выбор вин отменно тонок.
Суп ласкает вкус и взор.
Восхитителен цыпленок.
Заяц сочен и остер.

О стихах зашла беседа...
И поэт, по горло сыт,
Устроительниц обеда
За прием благодарит.

* *
*

Твои глаза — сапфира два,
Два дорогих сапфира.
И счастлив тот, кто обретет
Два этих синих мира.

Твое сердечко — бриллиант.
Огонь его так ярък.
И счастлив тот, кому пошлет
Его судьба в подарок.

Твой уста — рубина два.
Нежны их очертанья.
И счастлив тот, кто с них сорвет
Стыдливое признанье.

Но если этот властелин
Рубинов и алмаза
В лесу мне встретится один, —
Он их лишится сразу!

* *
*

Они мои дни омрачали
Обидой и бедой,
Одни — своей любовью,
Другие — своей враждой.

Мне в хлеб и вино подсыпали
Отраву за каждой едой —
Одни своей любовью,
Другие своей враждой.

Но та, кто всех больше терзала:
Меня до последнего дня,
Враждою ко мне не пылала,
Любить — не любила меня.

* *
*

Прекрасный старинный замок
Стоит на вершине горы.
И любят меня в этом замке
Три барышни — три сестры.

Вчера обняла меня Йетта.
Юлия — третьего дня.
А день перед тем Кунигунда
В объятьях душила меня.

В замке устроили праздник
Для барышень милых на днях.
Съезжались бароны и дамы
В возках и верхом на конях.

Но жаль, что меня не позвали:
Не видя меня на балу,
Ехидные сплетницы-тетки
Тихонько смеялись в углу...

* *
*

К плечу белоснежному милой
Припав безмятежно щекой,
Узнал я по трепету сердца,
Что в нем потревожен покой.

Трубят голубые гусары,
Въезжая под своды ворот.
И ты меня завтра покинешь,
Едва только солнце взойдет.

Ты завтра меня покинешь.
А нынче, пока ты моя,
В объятиях нежных двойное
Блаженство изvedaю я.

* *
*

Трубят голубые гусары.
Насилу их бог унес.
И я прихожу к тебе снова
С букетом алых роз.

Здесь дикое было раздолье,
Солдатский постой, привал.
Небось, не один в твоём сердце
Военный квартировал.

БОГ АПОЛЛОН

(Отрывок)

На горном утесе стоит монастырь.
Струится Рейн под обрывом.
Глядит сквозь решётку на водную ширь
Монахиня взором тоскливым.

Челнок по сверкающей глади скользит,
От блеска заката багровый.
Он яркой и пестрою тканью покрыт,
Увенчан веткой лавровой.

Поет светлокудрый пловец-великан,
В челне белопарусном стоя.
И пурпур, которым обвит его стан, —
Аттического покроя.

С ним вместе прекрасные девы плывут.
Все девять стройны, белолики.
Гармонию девственных тел выдают
Свободные складки туники.

Поет светлокудрый, касаясь рукой
Лиры золотострунной.
И вольная песня тревожит покой
Монахини — пленницы юной.

Напрасно ко лбу поднимает она
Для крестного знаменья руку.
Душа ее горьким блаженством полна?
И сладко терпеть эту муку.



С. ЗАЛЫГИН

★

В СТРАНЕ НАШИХ ДРУЗЕЙ*

ДЕРЕВЕНСКИЕ ОЧЕРКИ

Цифры и встречи.

Здание Министерства сельского хозяйства КНР возвышается в юго-восточной части Пекина среди массы приземистых домиков, сложенных из серого кирпича. К нему ведут узкие улочки, на которых далеко не везде могут разъехаться встречные машины. По генеральному плану главная магистраль города — улица Дунчананьцзе, которая сейчас продолжает расти и строиться в западном направлении, — скоро рассечет и восточный район, и тогда здание министерства окажется как раз на этой магистрали.

Я еще не имел опыта официальных встреч. Министерство сельского хозяйства было первым учреждением, которое я посетил в Китае, и попросил познакомить меня с кем-либо из работников, чтобы поговорить с ним час-полтора.

— Поговорить? О чем? — спросили меня.

— О планах развития сельского хозяйства Китая.

— Может быть, у вас есть конкретные вопросы? Пожалуйста, не стесняйтесь!

— Нет. Я хотел бы просто встретиться с кем-либо из работников министерства, а там мы уже найдем общий язык.

— Хорошо! Через три дня такая встреча состоится!

— Через три?

— Да, конечно, не раньше. Ведь нужно дать время товарищам подготовиться к беседе!

Спустя три дня я сидел в небольшой приемной министерства и разговаривал с начальником планового управления товарищем Лю Чином.

Товарищ Лю Чин, сухощавый, невысокого роста человек, перелистывал специально подготовленные им заметки и подробно, один за другим, излагал мне семнадцать пунктов плана развития сельского хозяйства Китайской Народной Республики.

Я слушал, кивал головой и заносил эти пункты в ту самую записную книжку, в которой они уже были однажды записаны по материалам VIII съезда компартии Китая и журнала «Народный Китай» еще в Советском Союзе.

Да прости меня товарищ Лю, так тщательно подготовивший свой конспект, мне и сейчас еще неудобно перед ним — я виноват в том, что не поставил какого-то конкретного, определенного вопроса.

Более месяца спустя я снова отправился в министерство, но на этот раз уже повел с товарищем Лю разговор на вполне определенную тему.

Меня интересовал вопрос о том, как происходило кооперирование в китайской деревне.

В свое время у нас коллективизация осуществлялась на основе индустриализации страны. Если в то время, когда мы организовывали колхозы в нашей стране, сельское хозяйство еще не было механизировано, то государство, во всяком случае, могло обе-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

щать крестьянину машины в ближайшее же время и полностью выполнило свое обещание.

Высокопроизводительные машины не могли быть использованы в мелких крестьянских хозяйствах. Крестьянин это понимал и сам перед собой ставил вопрос: а как же можно ему воспользоваться техникой, механизацией?

Ответ был один: работая коллективно на больших земельных массивах, неразделенных межами.

Таким образом, механизация сельского хозяйства была важнейшим фактором агитации в пользу колхозов. По крайней мере, по моему собственному опыту, это было так.

Помнится, в деревне Ложниково Тарского округа Западно-Сибирского края на берегу тихой речушки Оши каждый вечер собирались мужички «посумлеваться» насчет жизни.

Рассаживаясь на бревнах, которые давно уже лежали на берегу, закуривали, обменивались новостями за день, а потом начиналась беседа о том, как жить на белом свете. И неизменно этот вопрос сводился к машинам. Уж очень тяжелым был труд крестьянина. В сибирской глухомани ворочал человек землю, корчевал лес, косил и метал в стога сено, и все это руками, горбом. Слабые здесь не выдерживали, физически слабые люди попросту гибли. Чтобы человек мог приобрести хоть некоторую общую культуру, чтобы мог читать книги, учить в школах детей, разумно использовать землю, его нужно было освободить от такого вот непосильного труда.

И поэтому каждый вечер я рассказывал о машине, которая сама жнет, сама молотит и сама веет, и каждый вечер люди на бревнах затихали, слушая этот рассказ. Я рассказывал о строительстве завода «Сибкомбайн», а когда находился недоверчивый слушатель и говорил, что, дескать, мало ли кто и что «баит», другие опровергали пессимиста одним и тем же фактом: недавно через Ложниково прошла грузовая автомашина. Все ее видели? Все. Не было такого зрячего человека в Ложникове, который не посмотрел бы и даже не пощупал машину, когда она остановилась на площади, рядом с сельсоветом.

Так вот, если Советская власть сделала такую самоходную машину, почему бы ей не сделать и «комбайну», о которой говорит парень?

Но однажды меня спросили: а видел ли я эту самую машину, о которой так «баско» рассказываю, своими глазами?

Пришлось сознаться, что нет, своими глазами не видел. И с тех пор наши вечерние собрания на бревнах около тихой Оши кончились.

Так вот, я рассказал об этом товарищу Лю и спросил его:

— В Китае в ближайшее время, по-видимому, нельзя рассчитывать на самое широкое внедрение в сельское хозяйство машин: тракторов, комбайнов? А кооперирование уже завершено — более 96 процентов всех крестьянских хозяйств вступило в кооперативы. Что же дает кооперирование без механизации, на основе прежней техники? Какой эффект? Как этот эффект достигается?

Товарищ Лю привел мне такие цифры: после кооперирования урожайность в сельском хозяйстве республики повысилась на 20—30 процентов.

В результате чего получен этот эффект?

Я понял товарища Лю, таким образом.

В китайской деревне еще много свободной рабочей силы, особенно в связи с тем, что в производстве стали принимать участие многие десятки миллионов, а может быть даже и более ста миллионов женщин.

В индивидуальном хозяйстве эта рабочая сила на небольших клочках земли не находила себе применения. При объединении в кооперативы стало возможным больше строить колодцев и оросительных каналов. А это одно значит много, так как орошение в Китае повышает урожайность, по крайней мере, вдвое.

Когда мы разговаривали с товарищем Лю, я имел в своей записной книжке такие цифры Министерства водного хозяйства: за шесть лет после Освобождения орошаемые площади возросли в Китае на 236 миллионов му, за один только 1956 год — на 148 миллионов му, или на 38 процентов, и достигли 540 миллионов му. Теперь в Китае оро-

шается 32 процента всех пахотных земель. Пятилетний план ирригационных работ в Китае был выполнен на 147 процентов и на год раньше срока.

Эти цифры меня как мелиоратора прямо-таки потрясли в свое время, и все-таки только сейчас, в разговоре с товарищем Лю, я стал, кажется, понимать все их значение.

Ирригация стоит первым пунктом в числе тех семнадцати пунктов по подъему сельского хозяйства, о которых говорил мне товарищ Лю.

Кооперирование позволило более организованно бороться со стихийными бедствиями, в частности с наводнениями, которые являются бичом сельского хозяйства Китая:

Вот пример.

В 1934 году, при гоминдановском режиме, река Хуанхэ имела паводок с расходом в 8 500 кубических метров воды в секунду (по створу вблизи города Чжэнчжоу). В провинции Хэнань было затоплено тогда шесть уездов, дамбы прорваны во многих местах.

В 1954 году расход реки достиг 15 тысяч кубических метров в секунду, но дамбы не были прорваны, и затопления не последовало.

В провинции Аньхой благодаря успешной борьбе с разливами реки Хуайхэ сбор зерновых с 9,1 миллиарда цзиней достиг в 1955 году 23 миллиардов цзиней.

Кооперирование позволило повысить агротехнику, качество обработки земли, а в результате урожайность по сравнению с единоличным хозяйством оказалась выше: риса — на 10 процентов, пшеницы — на 7 процентов, соевых бобов — на 19 процентов, хлопчатника — на 26 процентов.

Урожай поливного риса в 1949 году составил в среднем по стране 250 цзиней с му, в 1955 году — 356 цзиней.

В 1955 году в провинции Гуандун три уезда получили урожай свыше тысячи цзиней с каждого му.

Таким же образом отразилось кооперирование и на всех тех мероприятиях, которые осуществляются в целях дальнейшего подъема сельского хозяйства. Распространение лучших сортов сельскохозяйственных культур, мелиорация почв, внедрение вторичных посевов, освоение целины, развитие сельскохозяйственного производства в горных районах — все эти и другие начинания гораздо успешнее выполняются в условиях кооперированной деревни.

Вторым пунктом программы подъема сельского хозяйства после ирригации стоит механизация. На первых порах намечено производство современных конных плугов — их требуется для китайской деревни много миллионов, потом следует задача изготовить в опытном порядке сельскохозяйственного инструментария применительно к местным природным и хозяйственным условиям и, наконец, выпустить первые сто тысяч условных тракторов.

Успешное выполнение и этого пункта также возможно только при условии, что сельскохозяйственное производство достаточно крупное, то есть кооперированное.

Все это убедительно и бесспорно. Я говорю товарищу Лю, что у нас в свое время правые выбросили такой лозунг: «Из тысячи маленьких лодок не построишь одного большого корабля». Наш опыт полностью опроверг это утверждение, но, как я уже говорил, большую роль сыграла механизация, которую наше государство обещало дать крестьянину и которое оно ему действительно дало.

А как проходило кооперирование в Китае? Каким образом велась агитация за вступление в кооперативы? Какими доводами крестьян убеждали? В этом безусловно сыграл огромную роль опыт Советского Союза. А еще?

Задавая вопросы товарищу Лю, я уже знаю кое-что по этому поводу и хочу себя проверить.

Накануне мы встречались с министром государственных хозяйств и освоения новых земель товарищем Ван Чжэнем.

Это очень интересный человек, в прошлом рикша и железнодорожный рабочий, он во время Народно-освободительной войны стал одним из выдающихся военачальников, генералом, и вот теперь — министр и занимается сельским хозяйством. Казалось бы, очень странное сочетание! Но это только на первый взгляд.

Еще в 1937 году Народно-освободительная армия, базирующаяся на Яньань, за-

нимала районы с сельским населением в 20 миллионов человек. И уже тогда значительная часть этого населения была организована в простейшие производственные кооперативы, в группы взаимопомощи. Значит, в преимуществах коллективного труда крестьяне могли убедиться еще в то время. Коллективный труд был частью победы над врагом. Больше того, в провинциях, где господствовал Чан Кай-ши, задолго до Освобождения крестьяне по призыву Коммунистической партии объединялись в группы взаимопомощи, а в некоторых случаях и в кооперативы.

Воины Народно-освободительной армии тоже занимались сельским хозяйством, разводили и пасли овец и даже поднимали целину. Во многих подразделениях каждый солдат и командир имел дневную норму по подъему целины: триста пятьдесят квадратных метров (целину поднимали вручную).

Министр госхозов товарищ Ван Чжэнь говорил нам, что фактически дневная выработка составляла шестьсот квадратных метров. Он тоже выполнял эту норму. Так вот, оказывается, что в таком сочетании, как министр госхозов и крупный военачальник, нет ничего странного. Наоборот, в этом большая логика. И когда я спрашивал товарища Лю, что он считает важнейшим доводом пропаганды за кооперирование, я ждал, что он так и ответит: многолетний практический опыт, вынесенный еще с времен Народно-освободительной войны.

Товарищ Лю примерно так мне и ответил, но только гораздо шире, чем я ожидал. Он сказал:

— В вопросе кооперирования партия придерживалась «линии масс». Партия изучала мнение масс, определяла готовность масс осуществить тот или иной тип производственной кооперации и, убедившись в их готовности, руководила массами в этом деле вела их за собой. Так мы шли от индивидуального хозяйства к группам взаимопомощи, от групп взаимопомощи — к кооперативам низшего типа, от кооперативов низшего типа — к кооперативам высшего типа. Было ясно, к чему мы должны прийти: к тому, к чему и пришли, — к кооперативам высшего типа. А все-таки мы не сделали этого сразу, мы дали массам возможность на собственном опыте убедиться в необходимости именно этой формы кооперирования, самим для себя сделать это открытие...

Массы крестьян сначала убедились, что в группах взаимопомощи жить и трудиться было легче, чем в одиночку. Но уже вскоре они поняли и другое: частнособственнические интересы в этих группах вступали в острое противоречие с коллективными способами труда — каждый заботился о том, как бы побольше взять от коллектива в пользу своего собственного хозяйства, как бы поменьше дать коллективу, как бы поскорее обработать и засеять свой клочок земли.

И вот люди пришли к выводу, что нужно стереть межи своих наделов и объединить землю в один массив, тогда не будет споров, чей участок засеять и обрабатывать раньше, а чей позже.

Но, с другой стороны, было еще очень сильным желание остаться собственником земли, оставить за собой право выйти из коллектива со своей землей. Наконец, тот, кто имел земли больше, хотел и больше иметь от коллектива.

«Я согласен стереть наши межи, — рассуждал средний крестьянин, — но при условии, что за свою землю получу больше, чем мой сосед. И вот формой, приемлемой с точки зрения этих интересов, оказался кооператив низшего типа: доходы в нем распределялись по труду и по величине земельного пая.

Что касается правых лозунгов, у нас тоже не было в них недостатков. У нас это звучало так: «А могут ли куриные перья подняться в воздух?»

То, что я слышал и в беседе с товарищем Лю и позже, показывает, что кооперативы низшего типа оказались самым сложным, самым неожиданным переплетением личных и коллективных интересов — между людьми возникали исключительно запутанные взаимоотношения.

Распутать эти отношения, указать пути дальнейшего развития коллективного труда — это было дело необычайно сложное и, можно сказать, необычайно тонкое. Здесь требовалась разъяснительная работа, поистине массовая, среди десятков миллионов людей, и в то же время в каждом отдельном случае работа очень индивидуальная, с каждым отдельным человеком.

Председатели кооперативов и кадровые работники искали такие формы оплаты труда и оплаты земельного пая, которые наилучшим образом удовлетворяли бы и личные и коллективные интересы.

Позже, в округе Шицзячжуан я разговаривал с Героем труда, председателем кооператива Чжоуцзячжуан, товарищем Чжан Цин-тянем.

Доверие к этому человеку со стороны его односельчан возникло еще задолго до кооперирования. Наперекор мнению всей деревни он применил тогда для борьбы с вредителями хлопчатника новые химикаты, покупку которых крестьяне считали напрасной тратой средств.

Когда же выяснилось, что прав был Чжан Цин-тянь, а вся остальная деревня не права, Чжан Цин-тянь завоевал авторитет и был избран председателем первой группы взаимопомощи.

Однажды Чжан Цин-тянь был на совещании в городе и слышал выступление Гэн Чан-со — председателя кооператива, возникшего еще во время Чан Кай-ши, в 1943 году.

Вернувшись домой, Чжан Цин-тянь призвал многочисленные группы взаимопомощи, существовавшие уже тогда в деревне, объединиться в один кооператив. За три дня объединилось восемьдесят три хозяйства.

В новом кооперативе было решено, что сорок процентов всех доходов будет распределяться по земельному паю и шестьдесят процентов — по труду. Это было просто решить в принципе, а практически? Земля — разная по качеству, и каждый владелец хочет получить за свою землю тем больше, чем она лучше. Разделили землю на девять категорий: расположенную далеко, расположенную близко от деревни, орошаемую, сухую, с деревьями и без деревьев, с тростниковыми озерами, которые так ценятся в сельском хозяйстве Китая, без них и др.

Чтобы не было ошибок, выделили и девять типовых земельных участков, оценили стоимость одного му в каждом из них, а потом уже приравнивали землю членов кооператива к тому или иному типу. Прodelывали эту работу всем кооперативом, и, кроме того, по полю ходили еще толпы единоличников, каждый из них примеривался: к какой категории будет отнесен его земельный участок, если и он тоже вступит в кооператив?

Пользуясь этой же земельной бонитировкой, впоследствии нарезали землю и бригадам так, чтобы у всех бригад были примерно одинаковые по качеству массивы, установили для каждой бригады плановый урожай. Если бригада перевыполняла этот план, половина дохода, полученного от сверхплановой урожайности, поступала в фонд кооператива, а другая половина выдавалась в виде премии членам бригады. За невыполнение урожайности соответственно снижался и доход членов бригады.

Казалось бы, вопрос был решен со всей возможной справедливостью. Но тут новые непредвиденные обстоятельства. То и дело наступали стихийные бедствия: засухи, наводнения. Случалось, что земельный участок самой высшей категории постигало такое бедствие, что он не приносил кооперативу никакого дохода. Спрашивается, сколько же должен в этом случае получить владелец этого участка за свой земельный пай?

Если ему ничего не начислять, это будет нарушением принципов коллективного труда, взаимной выручки и поддержки. Если начислить полностью, значит в большом убытке останется кооператив.

Было решено, что владельцу пострадавшего участка начисляется доход по «стандартному человеку-хозяину», то есть он получит столько же, сколько получал в среднем член кооператива за один му своей земли.

Но это только половина дела. А начисление за труд?

В некоторых кооперативах все трудоспособные были разделены на шестнадцать категорий по их физической силе и умению выполнять ту или иную работу. Начисление за труд велось в единицах, равных одной десятой трудового дня, и за каждый рабочий день это начисление проводилось при участии всех трудоспособных членов кооператива.

Представить себе трудно, сколько же людям приходилось обсуждать, спорить, доказывать, заседать?!

Мне об этом трудно написать, но я сошлюсь на одну замечательную книгу, в которой собраны многочисленные материалы по кооперированию в Китае. Это сборник «Социалистический подъем в китайской деревне», подготовленный канцелярией ЦК КПК. В переводе на русский язык сборник вышел в 1956 году в издательстве «Иностранная литература», в нем сорок пять статей, написанных партийными работниками, журналистами, сельскими активистами. Сборник в целом и каждая статья его снабжены предисловиями от редакции, большинство из этих предисловий написано товарищем Мао Цзэ-дуном.

Вот перед нами запись беседы с товарищем Ван Чжи-ци, председателем кооператива Дунчуанькоу, уезда Синтай, провинции Хэбэй, 15 августа 1955 года.

На странице 37 сборника читаем:

«После работы все собирались вместе и начинали подсчитывать, кто сколько выработал за день. Подсчитывали до глубокой ночи, поэтому крестьяне прозвали эти собрания метко — «пинминхуэй» («бороться не на жизнь, а на смерть»), по созвучию со словами «пингунхуэй» («собрание для учета труда»). Некоторые члены кооператива заявляли: «От ваших отметок жизнь зависит; сколько насчитают, столько и есть весь год будешь. Как же здесь не драться!» Из-за одной какой-нибудь тысячной доли часто спорили до одури. Некоторые, чтобы не быть обвиненными в злом умысле, отказывались говорить, сколько в действительности выработал тот или другой член кооператива. «Если ему и запишут лишку,— думали они про себя,— так это всего кооператива дело, а если скажешь — виновным окажешься ты сам». Другие пробовали взывать к благоразумию: ночь на дворе, говорили они, «сколько записали, пусть столько и будет записано, ладно! Весь день работали и не померли, а тут за одну ночь подохнешь, подсчитывая!» Общее мнение было таким: «Работается в кооперативе хорошо, а учитывать работу — дело трудное; до полночи считаем, ссоримся, обиды друг другу наносим. Спать давно пора, а мы все считаем. Устали до смерти!..»

А выше в предисловии к этой статье говорится:

«...Если политика нашей партии в деле кооперирования будет во всех отношениях правильной, если наша партия, поднимая массы на вступление в кооперативы, будет действовать не административными мерами и рубить сплеча, а убеждать, всесторонне анализировать явления и опираться целиком и полностью на самосознание масс и принцип добровольности, то завершение кооперирования и увеличение производства окажется не таким уж трудным делом».

Кооперативы низшего типа как массовая организация в китайской деревне просуществовали недолго. Вся эта система организации труда, учета труда, оплаты земельного пая членам кооператива — вся эта огромная, кропотливая организационная работа нужна была, по сути дела, только для того, чтобы крестьяне на собственном опыте убедились: как ни старайся, что ни придумывай, а только кооперативы низшего типа надо чем-то заменять, какой-то другой, более совершенной формой. А такой новой формой может быть кооператив высшего типа, в котором земля обобществлена, а оплата труда сдельная.

И вот в настоящее время такими кооперативами охвачено свыше 96 процентов крестьянских хозяйств Китая. Когда я встречался и разговаривал с работниками деревни в Китае, они все без исключения подчеркивали, что идут в этом вопросе по пути Советского Союза.

Да, это так. Самые глубокие и тщательные поиски организационных форм сельскохозяйственного кооперирования привели их к обобществлению земли, к сдельной оплате труда, к уставу кооператива, который очень близок к уставу нашей сельхозартели.

Когда я слушал рассказы работников деревни, читал литературу, и позже, когда жил в кооперативе Чжоуцзячжуан, очень часто вспоминались мне другие встречи, другая деревня, в которой я провел весну 1931 года.

Эта другая деревня называется Бельмесёво, и расположена она на берегу реки Обь, в восемнадцати километрах выше города Барнаула. И пусть простит мне читатель, но только я не могу не вернуться к тем далеким годам.

Студентом второго курса сельхозтехникума был я послан «уполномоченным» в эту деревню. Ехали мы вдвоем — я и моя однокурсница Тоня Чернявская. Тоня была девушкой медлительной, полной, хорошо воспитанной, из интеллигентной семьи. А вез нас черноробый, уже пожилой крестьянин, которого мы встретили на базаре: он был в красных расписных пимах и сильно подвыпивши. По этому случаю он без передышки рассказывал нам с Тоней такие «солдатские побасенки», от которых мы не знали куда деваться. Ехали мы берегом реки, рядом с яром, и сверху на дорогу, на гриву гнедой лошади, на кошевку с этого яра струйками падал снег. Там, наверху, мел сильный буран.

Подъехали к деревне, стали уже видны рубленые на пять стен и крестовые избы, и мы с Тоней облегченно вздохнули: кажется, приближался конец рассказам нашего возницы, но тут, когда стали подниматься по дороге вверх, вдоль глубокого узкого оврага, навстречу нам из-за поворота вырвалась пара, запряженная в розвальни. В розвальнях стоял во весь рост огромный человек в черном распахнутом тулупе, он зычно кричал на лошадей, одной рукой держал на голове шапку, чтобы не смело ветром, другой размахивал вожжами. Розвальни с хода ударили в нашу кошевку, кошевка, сгребая снег с обочины, стала сползать в овраг.

Тоня Чернявская закрыла лицо руками и закричала:

— Мама!

Наш возница в одно мгновение выскочил из кошевки, схватил лошадь под уздцы и с силой дернул ее на себя. Лошадь упала на передние ноги, как будто встала перед хозяином на колени, и подняла голову с обнаженными зубами. Кошевка остановилась на самом краю оврага...

Но в это время сверху из-за поворота выскочила еще одна шалая подвода. Черная мохнатая лошадедка с хомутом на ушах неслась галопом, звонко стегая задними копытами розвальни, наседавшие на нее. За этой черной неслась саврасая, за саврасой — гнедая, и так дальше, без счета, лошади летели сверху прямо на нас. В некоторых розвальнях были люди, но они лежали, как мешки, завернувшись в тулупы с головой, тела их подбрасывало на ухабах...

Иногда с ходу то одна, то другая лошадь настигала передние розвальни, путалась в них ногами и, чтобы не грохнуться наземь, подымалась на дыбы. Тогда потревоженный резкой остановкой человек на дне саней лениво приподнимал полуметровый воротник своего тулупа и позевывал...

Наш возница заорал благим матом, бросился навстречу черной лошадедке и стегнул ее кнутом по морде. Лошадка всхрапнула, метнулась в сторону и проскочила мимо, не задев кошевки. Так возница встречал одну за другой подводы, стегая лошадей по чем попало и отталкивая в сторону розвальни ногами в красных пимах, а тем временем наша кошевка балансировала на краю оврага.

Когда же весь обоз промчался мимо, возница снова водрузился на облучок кошевки, потряс обеими руками бороду, в которую накидало ошметков снега и навоза с дороги, стегнул свою лошадедку и сказал:

— Слава те богу, пронесло, язви тя... Так вот, значит, ишло на германской и хлебали мы с одного котелка с повозочным Куприяном... Так скажи, тот Куприян какой был мастер на побасенки... Я так думаю, что ежели бы он бесперечь день и ночь начал те побасенки сказывать, то ему как раз на весь великий пост хватило бы. От святой масленки и опять же до святой пасхи. На преклонную, на сретенскую и на самую вербную неделю. Ей-бо! И все про царису... Про царису и про ейного Гришку Распутина. Он, вишь ли, Куприян-то, с тем Гришкой в городе Тобольском на базаре вроде вместиа луком торговал...

Я спросил, что случилось, что это за сумасшедшие лошади промчались мимо нас и что за люди болтались на дне розвален.

— А ничего,— сказал он,— иркутские на порожних подались... На луга... За сеном подались...

Так въехали мы в деревню Бельмесово.

Моя спутница, Тоня Чернявская, вскоре заболела и уехала домой, а я остался «уполномоченным» по Бельмесовскому сельсовету.

Колхозы уже были созданы в деревне, каждый колхоз имел свое название, но только никто не называл колхозы официально. Деревня Бельмесево расчленена оврагами на части, и по названиям этих частей звали и колхозы: на Мысках — «Мысовский колхоз», на Иркуте — «Иркутский», в выселке Конохи — «Коноховский», был еще «Рыбачий колхоз» и была Стрелка — поселок дворов в пятьдесят, расположенный на яру за двумя оврагами. Там жили мужики, про которых говорили, что они еще в недавнее время промышляли на бойком Зменногорском тракте, и до сих пор «иркутские» и «мысовские» вели со «стрелочниками» бои, чаще кулачные, но иногда с кистенями и ножами. «Стрелочники» в колхозы не вступали, резали скот и разбегались по Сибири. Каждую ночь на Стрелке появлялась еще одна, а то и две избы с заколоченными ставнями...

Теперь, когда вспоминаешь те времена, нередко думаешь: насколько же сильной была идея коллективизации, если даже в таком вот Бельмесево, о котором далеко шла слава «шумливого» и «разудалого» села, все колхозы встали в конце концов на ноги, укрепились и материально и морально!

В ту весну 1931 года «уполномоченные» вроде меня сами ничего не знали толком, а действительно знающих партийных организаторов было очень мало, их не хватало, чтобы хоть разок заглянуть в каждый колхоз. В одном Бельмесево было тогда девять колхозов и один ТОЗ¹, а сколько в районе — и сосчитать трудно. Работник из района, настоящий уполномоченный партии, с опухшими от бессонницы глазами нередко будил меня, «сельсоветского», среди ночи и тут же в заезжей избе инструктировал, а с рассветом его уже не было в деревне, должно быть он торопился туда, где дела обстояли еще хуже.

А что за люди были первые председатели колхозов?

На Мысках председательствовал Егор Черданцев, еще сравнительно молодой, весь белый, какого-то льняного цвета, и очень красивый человек с огромными голубыми глазами. Контора колхоза помещалась в его доме, который он начал было штукатурить, да так и не кончил. И вот однажды утром, когда я пришел в эту «контору», жена Черданцева отдала мне печать колхоза и объяснила, что «сам» ушел.

— То есть как это — ушел? — не понял я.

Женщина пожала плечами.

— Ну, как бегают? Юдался на разъезд Зимари, теперь гадай, где его носит...

В Конохах, наоборот, председателем был очень толковый человек, недавно демобилизованный из армии Петр Трухин, но кто-то ухитрился скомпрометировать Петра, объявить его подкулачником, а вместо него посадить совсем безвольного, бесталанного человека.

На Иркуте же в председателях ходил действительно подкулачник, которого раскусили далеко не сразу. Такое было руководство, и все-таки колхозы окрепли, дружно вступили в посевную, а через несколько лет стали сильными хозяйствами. Развалился же один только ТОЗ.

Помню ночь в избе, заполненную чадным дымом табака, в котором люди буквально задыхались, то и дело выбегая на улицу «дохнуть». После долгих, истощающих криков женщин, ругани и брани мужчин, споров о семенах, о том, чью землю обрабатывать в первую очередь, эта сходка постановила ликвидировать ТОЗ, разойтись по домам и жить так, как жили до коллективизации. Впоследствии все хозяйства этого бывшего ТОЗа вступили в другие бельмесевские сельхозартели, а тогда, я помню, вышли мы из дымной избы вместе с председателем ТОЗа Черепановым — спокойным, толковым человеком — и пошли молча. Он всегда по ночам провожал меня через овраг со свей огромной черной собакой, и в этот раз мы тоже пошли все втроем, но только Черепанов вдруг повернулся и, не говоря ни слова, ушел... Я возвращался один, глядел на лунное небо, на искристый снег, слушал собачий лай, доносившийся с Иркуты и с Мысков, и никак не мог понять, почему это случилось, что именно в ТОЗе, где от людей требовалось гораздо меньше, чем в сельхозартелях, где руководил разумный и спокойный Черепанов, люди не смогли составить трудового коллектива и разошлись с кровными обидами друг на друга.

¹ ТОЗ — товарищество по совместной обработке земли.

Нельзя сказать, чтобы я всегда помнил и переживал ту ночь, горькую каким-то недоумением, непониманием людей, но я и не забыл ее.

И вот спустя ровно двадцать пять лет, в китайской деревне, когда я слушал рассказы о кооперативах низшего и высшего типа, я очень отчетливо понял, почему развалился Бельмесевский ТОЗ: потому, что он был половинчатым решением — люди хотели трудиться коллективно, но в то же время каждый стремился сохранить свой собственный кусок земли.

В Китае и сейчас по примерному уставу люди имеют право выйти из кооператива и при выходе получить свой или равнозначный своему участок земли в личное пользование, но оплаты за земельный пай в кооперативах высшего типа уже нет, оплата — только по труду. В кооперативах же низшего типа распределение доходов производится и по труду и по земельному паю. Вот они, эти кооперативы низшего типа, и пережили примерно то же самое, что Бельмесевский ТОЗ.

Это всегда и везде было: не так трудно решиться жить по-новому, труднее найти в себе силы, чтобы отказаться от старых привычек и привязанностей.

Данные по провинции Хэбэй.

В Пекине писатель Син Е, как только узнал, что я собираюсь поехать в деревню — а мы разговорились с ним в первый же день нашего пребывания в Китае, — сказал, что он составит мне компанию.

Чтобы увидеть типичные для Китая условия сельского хозяйства, не надо ехать далеко. Товарищ Син Е написал сценарий фильма «Партизаны на равнине», написал несколько популярных песен, и весь этот материал он собрал в провинции Хэбэй, в трехстах километрах от Пекина.

Он воевал когда-то в тех местах и очень полюбил их.

И вот спустя более месяца после этого разговора мы отправляемся с товарищем Син Е в Баодин — центр провинции.

Там, в Баодине, мне назвали множество цифр, которые дают представление о сельском хозяйстве и страны и провинции. Быть может, не для всех интересны эти цифры, но я все-таки привожу их по состоянию на 1 октября 1956 года.

Провинция Хэбэй включает двенадцать городов, десять округов, сто пятьдесят два уезда и семьдесят тысяч деревень.

Деревни — различные по числу дворов, но среднее количество хозяйств в одном населенном пункте составляет 112.

Население провинции — 39,8 миллиона человек, из них в сельском хозяйстве — 91 процент.

Пахотная площадь — 130 миллионов му, или несколько более 8 миллионов гектаров. Таким образом, на душу населения приходится 3,6 му, или 0,22 гектара пашни. Это величина, характерная для Центрального Китая. Орошается здесь 20 процентов всех возделываемых земель — значительно меньше, чем в среднем по Китаю. Животноводство развито слабо — разных видов домашнего скота имеется всего 4 350 тысяч голов. Объясняется это отсутствием выпасов и сенокосов, поголовье представлено главным образом рабочим скотом (ослы и мулы) и свиньями.

В провинции возделываются продовольственные культуры: пшеница, кукуруза, бобы (бобы, чумиза). Из технических культур — хлопок, арахис, табак. Существует несколько МТС, но они обслуживают только около одного процента всей площади. Значительный ущерб приносит сельскому хозяйству стихийные бедствия: засухи, наводнения. Разливы рек приводят к затоплению одной шестой, а в некоторые годы — одной трети всех возделываемых земель.

В провинции около восьми миллионов крестьянских хозяйств, и почти все они кооперированы. Всего насчитывается 23 813 кооперативов, из них только двадцать кооперативов низшего типа, все остальные — высшего.

Каким образом повлияло кооперирование на производительность сельскохозяйственного труда? Этот вопрос по-прежнему интересовал меня, и я получил следующие цифры.

За пятьдесят или шестьдесят лет, предшествующих антияпонской войне, самый высокий урожай зерновых был в 1936 году и составлял 154 цзиня с одного му (или 12,3 центнера с гектара). В период антияпонской войны урожай снизился до 89 цзиней с одного му. Но уже в 1950 году, сразу после Освобождения, урожай составлял 120 цзиней, в 1953 году — 149 цзиней, в 1955 — 179 цзиней, в 1956 году было запланировано получить 200 цзиней, но сильное стихийное бедствие (наводнение) снизило эту цифру примерно на одну треть. Такую же картину колебания урожайности дают и другие культуры: хлопок, арахис, чумиза. Значит, кооперирование даже при наличии прежней техники дало несомненное повышение производительности труда в сельском хозяйстве провинции.

Уже в 1943 году товарищ Мао Цзэ-дун призвал крестьянскую бедноту к объединению в группы взаимопомощи. Помогая друг другу, крестьянам легче было бороться с засухой, с наводнениями, с тухао и лэшень¹, с чиновниками Чан Кай-ши.

Массы крестьян горячо приветствовали этот призыв, дошедший к ним из освобожденных районов, они объединялись в группы по пять—восемь хозяйств. Сельскохозяйственные орудия, рабочий скот, земля — все это оставалось в частной собственности, а труд был коллективным, чаще всего только на время страды, но иногда и в течение всего года. Обращения к крестьянам с призывом объединяться в группы расклеивали по ночам члены партийных ячеек. И не случайно в провинции Хэбэй крестьяне многих уездов задолго до Освобождения фактически уже не подчинялись чиновникам Чан Кай-ши, изгоняли помещиков, ограничивали влияние кулаков; группы взаимопомощи играли во всем этом немалую роль.

После Освобождения и земельной реформы активность крестьян возросла еще больше, но эта активность развивалась в двух направлениях — в направлении развития коллективной собственности и личной.

В 1951 году 40 процентов всех крестьянских хозяйств состояло в группах взаимопомощи, причем это были преимущественно беднейшие крестьяне. Зажиточные стремились к единоличному обогащению. По данным специального обследования шести деревень провинции, там 97 хозяйств покупали землю, 52 хозяйства продавали ее, 46 хозяйств, получив во время земельной реформы больше земли, чем имели ее раньше, стали нанимать батраков.

В самих группах взаимопомощи возникали острые противоречия. Возникала ли необходимость строить колодец для полива или оросительный канал, или ставился вопрос о приобретении машины — один был «за», а другой «против», и дело не двигалось с места.

Зажиточные крестьяне стали извлекать выгоды за счет бедняков, пользуясь «четырьмя свободами» (свобода торговли, право продажи и покупки земли, право сдачи земли в аренду, право найма батраков).

Нередко они создавали свои группы взаимопомощи. Этому стремились противодействовать бедняки, у которых не было другого пути, кроме объединения, но объединялись они теперь уже не в группы взаимопомощи, а в кооперативы низшего типа. Таким был, например, упоминавшийся уже кооператив, где председателем Гэн Чан-со, который возник еще в 1943 году, когда в нем было всего четыре хозяйства.

В деревне Наньван уезда Аньпин героически боролся за свое существование кооператив из трех бедняцких хозяйств, получивший затем известность по всей стране. Именно об этом кооперативе говорил товарищ Мао Цзэ-дун в докладе «Вопросы кооперирования сельского хозяйства». «В провинции Хэбэй, — сказал товарищ Мао Цзэ-дун, — в одном небольшом кооперативе имелось всего лишь шесть дворов. Хозяева трех из них — старые середняки — решительно не желали продолжать работать в кооперативе, поэтому им разрешили выйти из него. Три оставшиеся семьи бедняков заявили о своем намерении несмотря ни на что продолжать работать в кооперативе, им разрешили остаться в нем, и кооператив как организация был сохранен. В самом деле, курс, принятый этими тремя бедняцкими хозяйствами, представляет собой курс 500 миллионов крестьян всей страны».

¹ Тухао и лэшень — кулаки и помещики.

В 1952 году кооперативов было еще очень мало, но в каждом уезде был все-таки свой «флаг» или несколько «флагов» — один или несколько кооперативов, на которые могли ориентироваться широкие массы крестьянства. Так, в уезде Ниньхэ было уже в то время два кооператива высшего типа. Их не организовывали сверху, члены этого кооператива сами приняли устав, соответствующий кооперативу этого типа.

В 1953 году широко проводилась генеральная линия на создание кооперативов низшего типа, которые опирались на бедняков, сплачивали середняков, ограничивали кулаков. Тогда в провинции было создано 3 445 кооперативов (из них высшего типа только 19). Осенью 1954 года число кооперативов достигло 31 500 (в том числе высшего типа 71).

Весной 1955 года кооперативов было уже 97 359, они объединяли 35,1 процента всех крестьянских хозяйств.

Дальше число кооперативов не возрастало; наоборот, в результате укрупнения оно уменьшилось, но процент кооперирования крестьянских хозяйств в 1956 году превысил 90. Кооперативов в провинции, как уже указывалось, — 23 813, и почти все они высшего типа.

Все эти цифры называет мне товарищ Го Фан — руководитель отдела по работе в деревне Хэбэйского провинциального комитета партии. Он рассказывает, что с организацией кооперативов низшего типа в них сразу же дали себя знать противоречия, связанные с собственностью на землю: зажиточные крестьяне, которые надеялись получить больше дохода от своего земельного пая, чем от своего труда, вырабатывали примерно на 30 процентов меньше трудодней, чем в среднем по кооперативу.

Было даже «четыре не хочу», которыми руководствовались эти крестьяне: жаркая погода — «не хочу работать», холодная погода — «не хочу работать», грязная работа — «не хочу выполнять», тяжелая работа — «не хочу выполнять».

Но «линия масс» взяла верх, и кооперирование в провинции Хэбэй было завершено.

Были, конечно, и ошибки. Сначала многие партийные работники решили, что кооперирование зашло слишком далеко, что нужно прекратить дальнейший рост кооперативов и посмотреть, какие результаты они дадут.

И вот, когда число кооперативов в провинции достигло 55 тысяч, это показалось слишком большой цифрой, и многие кооперативы были распущены, число их снизилось до 36 тысяч. В 1955 году повторилась такая же история.

Этим фактом была заметно снижена активность крестьян. Наиболее стойкие продолжали работать в кооперативах, несмотря на то, что официально их кооперативы нигде не числились.

Были допущены и перегибы в некоторых деревнях. Крестьян, особенно середняков, принуждали вступать в кооперативы, и тогда они начинали уничтожать свой домашний скот и птицу, продавали лошадей, рубили деревья в своих садах. Между тем вовсе не они решали успех дела.

В предисловии от редакции к одной из статей уже упомянутого сборника «Социалистический подъем в китайской деревне» на этот счет говорится совершенно недвусмысленно: «Для того чтобы обеспечить за крестьянской беднотой и новыми маломощными середняками ведущую роль, известная отсрочка вступления некоторой части зажиточных середняков даже выгодна».

И вот что еще показало мне особенно интересным в рассказе товарища Го Фана: в прошлом году для участия в работе по кооперированию подготавливались активисты; в уездах с этой целью были проведены одно- и двухнедельные семинары, которые прошли... 440 тысяч человек.

Я переспрашиваю товарища Го Фана несколько раз: четыреста сорок тысяч? Это же почти полмиллиона! Он не ошибся? Нет, совершенно верно, я правильно понял — около полумиллиона активистов прослушали семинары...

Сельское население составляет в провинции Хэбэй 36 миллионов человек. Допустим, что половина из них — дети и молодежь; значит, взрослое население составляет восемнадцать миллионов человек и, значит, на каждые сорок человек один был участником семинара.

В провинции — восемь миллионов крестьянских хозяйств, следовательно, каждая восемнадцатая семья имела собственного агитатора, прослушавшего семинар...

Это тоже «линия масс».

* *
*

Я не намеревался говорить о провинции Хэбэй ничего, кроме цифр по сельскому хозяйству.

И товарищ Го Фан и другие работники провинции предоставили мне все те цифры, которые я просил. Но я уже знал, что в Китае партия доверяет работу в деревне своим закаленным, самым испытанным бойцам. И я спросил товарища Го Фана, не может ли он хоть несколько слов сказать о себе.

Он улыбнулся в ответ на мою просьбу, и вот что я узнал об этом уже не молодом человеке.

В 1926 году товарищ Го Фан вступил в революционную армию. С 1932-го по 1937 год он был в тюрьме. После тюрьмы вел агитационную работу среди учащейся молодежи в Пекине и Тяньцзине. Во время Народно-освободительной войны командовал партизанским отрядом здесь же, в провинции Хэбэй.

Быть может, читатель вспомнит: я говорил о том, что подпольщики еще в 1943 году расклеивали обращение Коммунистической партии к крестьянам с призывом объединяться в группы взаимопомощи. Так вот эти обращения распространял тогда и товарищ Го Фан. Я смотрю на этого человека. Он — живая история того сложного, мучительного пути, который китайский крестьянин прошел за последнюю четверть века и которым он все-таки вышел к социализму.

Когда я спрашиваю у товарища Го Фана, где у него семья, велика ли она (я теперь знаю, как любят китайцы свои семьи и как искренне они радуются, когда вы передаете привет жене, старшему сыну, старшей дочери, желаете здоровья самым маленьким, долгих лет жизни родителям...), товарищ Го Фан, прежде чем ответить на мой вопрос, долго смотрит в окно, потом говорит тихо:

— Мои родители умерли рано. Они очень много и долго тревожились обо мне... Моя жена погибла в армии. У нас было шестеро детей. Все они тоже погибли...

Я желаю товарищу Го Фану успехов в работе. Он желает мне успехов, счастья всей моей семье.

Из истории деревни Чжоуцзячжуан.

Чжоуцзячжуан переводится так: деревня семейства Чжоу. Должно быть, когда-то такое семейство основало деревню, но сейчас людей с фамилией Чжоу здесь мало. Гораздо больше с фамилией Лэй.

Первый рассказ о деревне Чжоуцзячжуан, ее жизни до Освобождения я услышал от товарища Сунь Шунь-хо — заместителя председателя местного кооператива. Он самый старый член партии в этой деревне.

— ...Я жил рядом со школой, — рассказывал мне Сунь Шунь-хо, пожилой человек с добрым морщинистым лицом.

Школа была в то время (в 1930 году) совсем маленькая, и в ней был всего один учитель — товарищ Фын Хуа-нань. Этот учитель был коммунистом — первым коммунистом в Чжоуцзячжуане.

А деревня делилась на две части: южную, в которой жили кулаки и помещики, и северную. Шесть помещиков из южной части были самыми богатыми и особенно злыми. Про них так и говорили: «Шесть злых богов». Они что хотели, то и делали.

Я не знал тогда, что учитель Фын коммунист, но я знал, что он осуждает помещиков за их жадность и жестокость, и всякий раз, как мне становилось тяжело на душе от их зверств, я шел в школу и разговаривал об этом с учителем.

И он вовлек меня в партию. У нас в деревне возникла партийная ячейка: учитель Фын Хуа-нань, я и еще крестьяне-бедняки Лэй Сяо-сы и Лэй Сань-ва.

Сяо-сы уже нет в живых: он погиб в подвале, куда его бросили чанкайшисты, Лэй Сань-ва, как только началась антияпонская война, ушел в Восьмую армию, и с тех пор никто и ничего о нем не слышал. Наверно, он погиб тоже.

А я оставался в деревне и как мог боролся с помещиками.

В деревне была такая организация — «Союз бедняков», у союза был лозунг: «Ездники друг другу помогают! Никто не работает на помещика!»

По ночам мы на кусты хлопчатника надевали бумажки, там было написано: «Захватить у помещиков землю и его собственность!», «Сжечь документы на владение землей!» Все знали, что эти документы хранились у помещика, их нельзя было сжечь без того, чтобы заодно не сгорел помещичий дом.

В базарные дни в уездном городе мы устраивали демонстрации; крестьяне шли по улицам и кричали: «Свергнуть нанкинское правительство Чан Кай-ши!», «Захватить живого Чан Кай-ши!». После всех этих выступлений уездное правительство послало к нам в деревню полицию — искать нас, коммунистов.

Меня полиция не нашла, я успел скрыться. Но двух моих товарищей арестовали. Был арестован и еще один товарищ — связной, который пришел в нашу ячейку из города. Никто из нас не знал его настоящей фамилии, мы называли его Чжан, и всё. Всех троих чанкайшисты увезли в Пекин и судили там. Товарищ Чжан сказал, что он коммунист, а что Лэй Сяо-сы и Лэй Сань-ва коммунисты, он отрицал. Его пытали: сжигали у него на спине свечи, заталкивали под кожу пули, он сказал только, что он — Чжан. Больше ничего. Но Чжанов в Китае миллионы! Чжан был расстрелян, а двух других наших товарищей деревня выкупила. Как ни бедно жили крестьяне нашей деревни, они все-таки собрали большие деньги, отдали их пекинским чиновникам Чан Кай-ши, и те освободили наших товарищей.

Учитель, товарищ Фын, тоже скрылся.

Помещики поняли, что наша деревня — это сплоченная, дружная деревня, и они решили тоже организовать. А так как мы живем недалеко от уездного города, то им нетрудно было это сделать при помощи уездных властей.

Они организовали отряд, который назвали отрядом самообороны и заставили его строить дорогу по высокой насыпи — вы ехали сюда по этой дороге, — а рядом с деревней они стали строить крепость. Эта крепость теперь переделана, и там помещается школа.

Когда сюда пришли японцы, они увидели дорогу и крепость, увидели большой отряд, который помещики безоговорочно подчинили им. Японцы назвали нашу деревню «отличной» и были очень довольны.

Партия поручила нашей ячейке вести работу в отряде самообороны, но я не участвовал в этой работе. Я был под постоянным подозрением и должен был убраться на время от всякой работы.

В отряде самообороны вел пропаганду товарищ Лэй Цзинь-хо. Он расскажет вам, как дальше было дело...

Товарищ Лэй Цзинь-хо ходит в черном ватнике, руки его засунуты в рукава, голова обмотана полотенцем; он сутулится и, на первый взгляд, кажется даже робким, неуверенным человеком, но только до тех пор, пока он вдруг не распрямится: тогда вы сразу же замечаете, как крепко и ладно сложен Лэй Цзинь-хо, как он силен! Так вот он-то и повел работу в отряде самообороны по заданию партии.

Он рассказывает об этом так.

Командир отряда Лю Ли-цай только делал вид, что он независим, а на самом деле он целиком подчинялся тем помещикам нашей деревни, которых народ называл «шестью злыми богами», тем более, что один из этих «злых» был руководителем местных гоминдановцев.

В отряд брали крестьян деревни, и, конечно, прежде всего бедняков, но бедняки-то как раз и были самыми непримиримыми врагами помещиков.

¹ Между прочим, товарищ Лэй Цзинь-хо — герой большой книги местного писателя Чжан Цин-тяня «Село у доро.и», посвященной освободительному движению крестьян провинции Хэбэй.

В сорок третьем году я работал вместе с другими членами отряда на строительстве дороги, рассказывал Лэй Цзинь-хо, и вместе со своим приятелем и дальним родственником Ли Бэй-цзяном, которого я привлек в партию, мы стали разъяснять, что эта дорога нужна не нам — она нужна тем, кто хочет все время держать нашу деревню в повиновении.

Уже вскоре отряд как бы разделился на две части: одни еще поддерживали командира и подчинялись ему, другие только ждали удобного случая, чтобы прогнать его и «злых богов», которых он защищал.

Командир отряда, когда у него не было денег, бил подчиненных, и те приносили ему деньги, чтобы избежать дальнейших побоев; он продавал свиней, которые предназначались для питания отряда. Обо всем этом мы рассказывали крестьянам.

Крестьяне перестали работать на строительстве дороги. Командир отряда ходил по домам и выгонял людей. Тех, кто разговаривал с ним робко и трусливо, он выгонял на работу, а тех, кто его выгонял за порог своего дома, он боялся сам.

Тут появились и партизаны; правда, они не могли постоянно находиться на нашей равнине, им негде было скрываться, но заходили они сюда часто. Наша партийная ячейка получила от партизан задание — копать под землей ходы сообщения, которые соединяли бы улицу с улицей, деревню с деревней. И мы приступили к этой работе. «Это нужно для того, — объясняли мы, — чтобы женщинам и детям было где скрыться от японских бомбардировок, если они вздумают бомбить нашу деревню».

А в то время действительно шла борьба партизан с японцами, иногда на помощь партизанам приходили и отдельные отряды Восьмой армии.

Мы стали рыть подземные ходы и глубокий ров вдоль дороги, чтобы японцы не смогли свернуть с этой дороги в нашу деревню. Командир отряда самообороны доложил обо всем японцам.

Тогда японцы стали хватать крестьян и отправлять их на свои острова для работы в шахтах.

В это время в каждом доме уже было оружие — сами гоминдановцы вооружили нас, призывая в свой отряд самообороны. Кроме того, мы организовали в деревне мастерскую по ремонту и изготовлению оружия, и японцы теперь боялись приходиться в нашу деревню маленькими группами. Партизаны передали, чтобы были уничтожены все собаки — своим лаем собаки выдавали партизан, когда они входили в деревню по ночам. Собаки были уничтожены, а командиру отряда самообороны мы написали, что с ним поступят так же, как с этими собаками, и спросили его: что он будет делать, когда придет Восьмая армия?

Командир отряда и помещики перебрались в уездный город, и только через каждые три-четыре дня они приходили в деревню под большой охраной.

Они хватали людей и увозили их в город. Тогда мы арестовали членов семей помещиков как заложников. «Если вы убьете арестованных крестьян и солдат, — говорили мы, — будут расстреляны заложники!»

Власти в деревне больше не было. Мы поддерживали связь с партизанами и выполняли их указания.

Мы строили множество подземных ходов, по которым в любую минуту к нам в деревню могли проникнуть партизаны.

Японцы и помещики стали искать в Чжоуцзячжуане коммунистов. Японцы и помещики решили любыми средствами поймать меня. Они думали, что если им удастся уничтожить меня, то в деревне все пойдет по-старому, люди, как и раньше, станут подчиняться им! Но они не только не вернули своего утерянного положения, они не могли ни поймать, ни убить меня. Они послали вооруженных шпионов, которые должны были убить меня, но крестьяне распознали их, и шпионы сами были убиты. В день моей свадьбы они хотели застать меня дома, но я был осторожен, я знал их повадки, и даже в этот день они, сделав облаву, не нашли меня дома.

Потом гоминдановцы послали в Чжоуцзячжуан вооруженный отряд — больше четырехсот человек, и с этим отрядом крестьяне уже вступали в открытые бои. Помещики, которые еще оставались в деревне, обнесли свои усадьбы высокими проч-

ными стенами и превратили их в крепости. Они жили там под охраной наемников и японцев.

Их люди, которые хорошо знали расположение деревни, составили план подземных ходов, выкопанных нами, и передали этот план японцам. Японцы поставили дымовые завесы и стали наполнять дымом подземелья — в тот раз в дыму погибло семнадцать человек. Затем японцы окружили деревню дотами.

Так жила наша деревня в годы антияпонской войны.

Но вот Советская Армия на севере окончательно разбила японцев, они убралась и из нашей деревни. Они спешно отправились из нашего уезда и нашей провинции прямо к себе на острова. Но оставались еще помещики и гоминдановцы.

Во многих районах провинции Хэбэй сразу же после антияпонской войны, то есть в сорок пятом году, уже была народная власть. Была она и в нашем районе. Но народная власть была еще слабой, в городах еще хозяйничали гоминдановцы, и хотя не стало японцев, обстановка по-прежнему была очень сложной.

Партийная организация в Чжоуцзячжуане повела кампанию за то, чтобы наказать предателей из богачей и помещиков, сотрудничавших с японцами, обложить их налогами, разделить их землю.

В это время многие члены партии и сознательные крестьяне были в освобожденных районах, в Восьмой армии. Наша партийная организация ослабела, а помещики и кулаки повели очень хитрую линию. Они снова организовали «Союз бедняков», который состоял теперь из всяких хулиганов и преступников, и эти люди расправлялись с настоящими бедняками. Этому «союзу» снова было дано задание от помещиков — схватить меня.

Помещики заранее хвастались: «Мы поймем Ляя,— говорили они,— привяжем его к лошади за ноги и погоним лошадь вскачь по полю. Приходите посмотреть, как это будет интересно!»

Двадцать раз стреляли в меня наемные убийцы, несколько раз ранили, но так и не сумели убить меня.

Помещики и кулаки резали скот бедняков, как только он оставался без присмотра; они отбирали у бедняков землю, которую давало им новое правительство; они неоднократно делали налеты на районные учреждения нового правительства.

Новое правительство не могло оказать большой вооруженной поддержки беднякам, бедняки должны были рассчитывать прежде всего на свои собственные силы. Начались столкновения между бедняками и помещиками. Один из шести «злых богов» был убит.

Помещики снова бежали в город и организовали там «Союз возвращения на родину». Но в конце сорок восьмого года народная власть была уже и в уездных городах, во всей провинции Хэбэй оставалось только три больших города в руках гоминдановцев: Пекин, Баодин, Тяньцзинь. Этот союз помещиков был вскоре разгромлен народным правительством.

Наступило полное освобождение страны. Началась земельная реформа.

Двести тридцать четыре хозяйства нашей деревни получили землю, которой они не имели раньше.

Народное правительство призвало крестьян сеять хлопок, потому что страна испытывала в нем острый недостаток.

Во время своего господства японцы отбирали у крестьян весь хлопок, даже протошили одеяла и теплую одежду крестьян, чтобы отобрать вату, и поэтому в провинции вот уже много лет крестьяне не сеяли хлопка.

На призыв Коммунистической партии большинство крестьян не откликнулось. «Хлопка в стране нет,— говорили они.— Если сейчас посеять хлопок, новое правительство все равно отберет у нас весь урожай!» Но все коммунисты деревни решили: сеять хлопок! Как раз в сорок девятом году выдался очень хороший урожай хлопка, а новое правительство вовсе не отбирало у крестьян хлопок, который они вырастили; недоверчивые люди сильно прогадали и гогорили, что на будущий год они засеют свои поля только одним хлопком.

В пятидесятом году опять был хороший урожай хлопка, и это очень улучшило жизнь в нашей деревне, столько претерпевшей за минувшие годы.

А в 1951 году, когда в Корее началась война, наши добровольцы пошли на помощь корейскому народу, а крестьяне деревни отдали государству бесплатно десять тысяч цзиней хлопка. Это был вклад нашей деревни в общее дело.

Один крестьянин, по имени Чжан Цин-тянь — вы уже слышали о нем, — сразу поверил партии и стал сеять хлопчатник. Он не только стал сеять хлопчатник, но и хорошо ухаживал за ним, стал применять новые средства борьбы с вредителями хлопчатника. Он получил хороший урожай, а самое главное — он завоевал доверие людей. И вот, когда из групп взаимопомощи организовался кооператив, он стал председателем этого кооператива. Чжан Цин-тянь был не только председателем — он был его организатором. Это по его предложению мелкие группы взаимопомощи объединились в один кооператив.

— Посмотрим, — сказали люди, не вступившие в кооператив, — у кого будет больше урожай, у нас или у этих самых кооператоров!

Дождались уборки и стали смотреть. В 1952 году кооператив получил 200 цзиней хлопка с му, а группы взаимопомощи получили 150 цзиней и меньше.

Тогда крестьяне из групп взаимопомощи сказали:

— Посмотрим, сколько соберут на будущий год. Разве можно судить по одному урожаю, у какого хозяина лучше поставлено дело!

В 1953 году кооператив получил урожай 280 цзиней, а единоличники и группы взаимопомощи — 240 цзиней.

И тогда в деревне организовалось девять кооперативов. В них вступило 252 хозяйства, но и это было еще немного — ведь Чжоуцзячжуан очень большая деревня. Очень многие крестьяне еще колебались, то вступали, то уходили из кооператива.

— Как тогда колебались люди, я могу рассказать даже на примере своей собственной семьи, — говорит Лэй Цзин-хо. — Конечно, могу!

Отец моей жены не знал, как ему поступить, — стоит или не стоит вступать в кооператив? Отец моей жены не знал, как поступить, он колебался, а мать моей жены несколько не колебалась, и она сказала: «В кооператив? Ни за что! У нас дома не будет ни осла, ни мула, так что нельзя поехать на базар, когда захочешь поторговать, нельзя поехать в гости к родственникам в другую деревню, когда у них будет свадьба, нельзя будет помочь своим родственникам! Ни за что я не пойду в кооператив!»

Но что это значит, если мать моей жены не хочет вступать в кооператив, да еще и рассказывает об этом очень громко на каждой деревенской улице?

Это значит, что я, Лэй Цзин-хо, секретарь партийной ячейки, который боролся с японцами и гоминдановцами столько лет, который объясняет всем крестьянам пользу кооперативов, я не могу объяснить этого матери своей собственной жены! Вот что это значит! Поэтому я конкретно разговаривал с матерью своей жены...

Здесь происходят очень продолжительные переговоры между рассказчиком, слушателями и моим переводчиком Хуаном.

Должно быть, Хуан никак не может взять в толк смысл этого «конкретного разговора» Лэй Цзин-хо с матерью его жены и передать содержание этого разговора мне.

Наконец Хуан объясняет мне, что произошло.

Жена Лэй Цзин-хо договорилась с матерью, что мать отдаст ей свою землю и с этой землей жена Лэй Цзин-хо вступит в кооператив. «Все будут знать, что твоя земля — в кооперативе, — говорила жена Лэй своей матери. — Но ты хочешь ездить на базар и в гости? Хорошо, ты будешь ездить куда хочешь: за то, что ты отдаешь свою землю, мы с мужем купим тебе осла!»

Мать жены Лэй Цзин-хо согласилась, и она действительно получила осла и ездила в город, и на базар, и к своим родственникам в соседние деревни, ездила столько, сколько хотела. Но, оказывается, она гораздо больше говорила о том, что ей всюду надо ездить, чем в действительности ездила. К тому же за ослом нужно было ухаживать, кормить его, а осел оказался очень упрямым, с дурным характером, и мать жены Лэй Цзин-хо поехала-поездила на своем упрямом осле, а потом отказалась от него и сказала, что хочет вступить в кооператив. Отец жены Лэй

Цзин-хо тоже сразу перестал колебаться и стал очень хорошим овощеводом в кооперативе! Так что вся моя семья стала активно работать в кооперативе.

Ну, а потом стало уже всем заметно, что лучше других живет тот кооператив, который крупнее. И вот вскоре десять кооперативов деревни объединились в один большой, в нем состояло теперь 425 хозяйств.

В день создания большого кооператива в деревню пришел трактор. Такую машину никто раньше не видел в деревне Чжоуцзячжуан. Настроение очень сильно поднялось.

В 1954 году в МТС Чжоуцзячжуан приезжал советский специалист. Он прожил здесь три дня и рассказывал о том, как организованы колхозы в Советском Союзе. Крестьяне интересовались: будет ли польза, если их кооператив низшего типа перейдет в высший тип? Советский специалист говорил, что польза будет большая...

Лэй Цзин-хо достает из кармана ватника фотокарточку, на которой он снят вместе с советским агрономом, фамилию которого, не знаю правильно или не совсем правильно, он называет «Пняк».

— Товарищ Пняк не ошибся,— говорит Лэй Цзин-хо.— Когда наш кооператив перешел в высший тип, мы стали жить гораздо лучше. Мы стали распределять доходы только по труду, а не по труду и по земле, как было раньше. Особенно женщины приветствовали этот переход — они стали теперь равноправными членами семей, стали много работать и много получать по трудодням. Они стали обедать вместе со всей семьей, и даже старики не попрекают их больше.

В некоторых семьях женщины садятся теперь первыми за стол. А раньше они ждали, пока поедят мужчины. Они ездят теперь в город, покупают себе на платье матерью, поют и танцуют.

Теперь никто не может выдать девушку замуж, если она не хочет этого. У нас организовалась МТС. В этой МТС есть девушки-трактористки. В полевых бригадах у каждого бригадира есть заместитель, который работает с женщинами. Почти все эти заместители — девушки, которые учились или сейчас еще учатся в вечерней школе.

Конечно, и сейчас еще есть колеблющиеся. Это чаще всего старики из зажиточных середняков. Но и они стали говорить теперь: «Конечно, чем больше имеешь своей собственной земли, тем лучше. Но помещики раньше имели очень много собственной земли, однако они никогда не получали такого урожая, который получают члены кооператива».

Вы не знаете старика Лэй Ло-ганя? Познакомьтесь с ним. Может быть, он вам и расскажет, почему он так долго колебался, вступал и выходил из кооператива, потом снова возвращался в него. Может быть, он расскажет вам об этом, если вы сумеете с ним разговаривать...

Старик Лэй.

Я встречался в китайской деревне со многими людьми, которые принимали кооператив безоговорочно. Для них и не было иного пути, чем труд в коллективе. Но есть ведь и другие судьбы, другие люди, которые долго колебались, прежде чем вступить в кооператив, и, вступив, снова испытывали немало сомнений. Если человек до кооперирования жил хотя бы немногим лучше, чем вся деревня, ему трудно понять смысл объединения. Когда-нибудь, когда другие люди поднимут кооператив, он к ним неизбежно придет, быть может, даже искренне пожалеет, что пришел не сразу, с запозданием, но это — «когда-нибудь». А сегодня у него на столе чашкой риса больше, чем у соседей, и эти соседи ему уже (или еще) не товарищи.

Вот я и познакомился с таким крестьянином по фамилии Лэй, для которого кооператив не сразу сулил выгоды.

Почему-то все называют Лэя стариком, а он не так уж и стар — ему пятьдесят пять лет. Лэй очень сухощав, медлителен, малоразговорчив, и эта медлительность и настойчивый, очень пристальный взгляд, должно быть, и заставляют людей говорить, что он старик.

Лэй Ло-гань ходит в рыжем меховом халате, в темной вязаной, похожей на монашескую шапочке, которая почти до бровей прикрывает его лысую голову, у него узкие продолговатые глаза, острый, ястребинный нос и, что особенно примечательно, длинные, опущенные вниз рыжие усы. Совсем как у запорожца.

Вокруг шеи у него всегда обмотано мохнатое белое полотенце, полотенце это свешивается на грудь с правой стороны, и руки старого Лэя — сухие, с длинными пальцами — всегда заняты либо длинной трубкой, которую он поддерживает во рту, либо теребят это полотенце.

Семья у Лэя большая — жена, три взрослых сына, старшему, верно, уже лет тридцать пять, еще маленький сын и две дочери; младшая только года через три пойдет в школу, старшая — Сян-мэй — учится в шестом классе.

На своей усадьбе Лэй хозяин. Никто из членов семьи ему не перечит — как он скажет, так и будет. Но, должно быть, он не говорит ничего лишнего, во всем поступает разумно, и его строгость, как мне кажется, никого не тяготит, но всех подтягивает...

Мне рассказывали, что в прошлом Лэй был членом группы взаимопомощи. Потом он вступил в кооператив, и сам он и его взрослые сыновья хорошо трудились в коллективе. Но как только кооператив стал переходить из низшего в высший тип, как только земля стала обобществляться, старый Лэй решительно воспротивился, вышел из кооператива и долгое время жил одиночно. Вернулся он совсем недавно.

Хитрость старого Лэя была довольно прозрачной: он вышел из кооператива со своей землей, а его старшие сыновья оставались в кооперативе, работали там и еще на одиночном участке отца. Вот и хотел старик Лэй попользоваться выгодами кооператива, оставаясь одиночником. Ну, а потом что же все-таки заставило старика вернуться?

Я, как только мог, дипломатично заводил с Лэем разговор на эту тему: почему он вступил в кооператив, почему вышел, почему вновь вернулся?

Хуан самоотверженно помогал мне. Но, несмотря на все наши старания, откровенный разговор со стариком нам не удавался, и беседа протекала всякий раз примерно в таком духе.

— Очень ответственное это дело — вступить в кооператив, — говорю я. — Тут обо всем надо подумать...

Лэй прижимает желтым пальцем пепел своей трубки и кивает:

— Да... Подумать надо...

— Для людей, умеющих хорошо обрабатывать свою землю, может быть, не всегда выгодно эту землю обобществлять. Особенно, если в хозяйстве земли порядочно...

— Да... Может быть, и не всегда выгодно...

— Но, должно быть, вы лично, товарищ Лэй, нашли, что это выгодно, если вы все-таки вступили в кооператив?

— Да... Пожалуй, выгодно...

— А чем именно это выгодно? Для вас?

— Для меня? Всем выгодно, значит и мне тоже...

Хуан утешает меня.

— Ничего, — говорит он. — Старик просто не привык много говорить. Не умеет он говорить... Мы тут ни при чем!

Но вскоре мы с Хуаном убедились в том, что старик говорить умеет. Умеет говорить о том, о чем хочет говорить.

На стене той половины дома, в которой живет сам Лэй и его жена Лун-э, висит картина: ястреб держит в когтях какую-то пичугу, но смотрит не на нее, а куда-то в сторону, будто ему мало этой добычи, он ищет еще.

Это необыкновенно тонкая работа. Каждое перышко ястреба нарисовано так, что оно кажется немножко выпуклым. Когда я в первый раз увидел картину, я невольно провел по ней пальцем — хотел убедиться, что это акварель, а не вышивка. И вот я спросил старика Лэя, откуда у него такая картина. Старик Лэй рассказал мне, что это работа местного художника, который жил здесь, недалеко, в соседней деревне, и каждое воскресенье ездил в уездный город продавать свои картины.

А он, Лэй, оказывается, тоже ездил на базар каждое воскресенье, располагался со своим нехитрым товаром рядом с художником и мог бесплатно целый день любоваться картинами.

— Я видел картины известных пекинских художников,— сказал Лэй.— По моему, эти были ничуть не хуже.

Да, судя по ястребу, они были не хуже.

— В конце концов мы подружились с художником,— рассказал мне дальше старик Лэй.— Художник стал привозить на базар даже свои незаконченные картины, и мы вместе с ним рассуждали, как и что нужно дорисовать. Так мы встречались с этим художником аккуратно, каждый базарный день много-много лет подряд... Художник был старше меня, он, кажется, умер лет десять тому назад. А до этого он подарил мне однажды вот эту картину с ястребом.

Я спрашиваю у старика Лэя: а не пробовал ли он когда-нибудь рисовать сам?

— Нет,— сказал Лэй.— Я всегда любил картины, и всегда мне хотелось рисовать. Но я всегда понимал, что мои руки умеют крепко держать тяжелую мотыгу, а кисточку художника они не удержат как следует... Вот, может быть, дети...

И он кивнул еще на один рисунок, который я не сразу заметил рядом с ястребом.

На маленьком обычном листочке бумаги, несомненно детской рукой, изображены были две горы, облака и самолет. Горы были какие-то нескладные, а вокруг гор лежали облака. Они окружали их тремя-четырьмя ломаными кольцами разных оттенков, очень похожими на те круги, которые появляются на неподвижной воде, если бросить в воду камень. Это сходство было неожиданным, но далеко не случайным — ребенок, нарисовавший облака, вольно ли или невольно, но тонко подметил его.

Наконец, самолет. Это был истребитель, изображенный почти как крестик, с крыльями, слегка отогнутыми назад. Он хорошо передавал стремительность движения, и что особенно бросалось в глаза — это тень самолета. Она лежала на облаке, а потом еще падала где-то далеко позади на землю, и можно было подумать, что летят два самолета, настолько отражение в облаках казалось реальным. Но опять-таки и здесь присутствовало то «чуть-чуть», которое позволяло отличить самолет от его отображения в облаках.

— Это кто нарисовал? — спросил я.

Оказалось, это рисунок тринадцатилетнего Цзао-цяня, самого младшего из четверых сыновей старика Лэя.

Цзао-цянь — маленький мальчик, весь какой-то тоненький, и голова у него всегда немного склонена набок, а на вас смотрят огромные ласковые глаза. Он и в самом деле очень ласков, и, если у вас есть время заняться с ним, он оживает, даже трепещет весь — так ему хочется поговорить с вами.

Мне кажется, родители очень любят его, но в китайских семьях, да еще в крестьянских, вы редко заметите внешние проявления нежности.

Я расспрашивал Цзао-цяня и его родителей, как он учится. Оказалось, что раньше он учился прекрасно, а сейчас стал похуже учиться — все время сидит и читает книги, а уроки делает торопливо. Если бы не сестрица Сян-мэй, он, наверно, и совсем забросил бы уроки.

— Кем Цзао-цянь хочет быть?

— Летчиком!

Должно быть, это очень увлекающийся мальчик, очень способный, с нежной, восприимчивой душой.

Я попросил его показать мне и другие свои рисунки, но они оказались в школе. Однако он быстро сбежал в школу и принес их. Я ждал Цзао-цяня с нетерпением, а когда просмотрел всю стопку, признаюсь, был немного разочарован: все другие рисунки оказались значительно слабее, чем его картинка с самолетом.

Пока мы сидели и рассматривали эти рисунки, старый Лэй поглядывал на нас с тревогой, и я чувствовал: он ждет от меня какой-то помощи, какого-то совета в воспитании, безусловно, способного мальчика. Цзао-цянь по своему развитию во многом уже перерос отца. Старый Лэй, должно быть, хорошо понимал это, но разве это понимание освобождало старика от забот о сыне?

Мне было неловко, потому что я не мог ничего сказать Цзао-цяню, кроме обычных фраз, вроде того, что: «Учись, мальчик! Старайся! Слушайся родителей! Слушайся учителя! Хорошо делай уроки!» Но даже эти слова очень ободрили старого Лэя, и он сказал торжественно:

— Вот видишь, Цзао-цянь, советский товарищ говорит тебе совершенно то же самое, что и я!

А я сделал еще одно открытие: старик Лэй из всех рисунков сына, безусловно, выбрал самый лучший.

После этого я, а за мной и старик Лэй отправились в другую половину дома, чтобы взять интервью у его старшей дочери, шестнадцатилетней Сян-мэй.

Девушка сидела с книгой в руках на кане, подогнув под себя ноги, и охотно нам отвечала.

Она сказала, что кончит начальную школу, потом среднюю, потом институт и будет врачом или инженером — еще не решила. Но только когда она кончит институт, она обязательно возьмет к себе «ма» и «па».

— Вот видите,— сказал старик Лэй, вынув изо рта трубку,— а еще совсем недавно в нашей деревне не было ни одной грамотной девушки! А ведь, правда, может случиться, кто-нибудь из моих детей поедет на учебу в Советский Союз?

Я сказал, что, конечно, это может случиться, а старый Лэй сослался на своего однофамильца Лэй Гуй-ина.

Я был наслышан о Лэй Гуй-ине ото всех своих деревенских собеседников.

Каждый из них считал своим долгом хотя бы словом упомянуть о нем. Еще бы! Лэй Гуй-ин, юноша из деревни Чжоуцзячжуан, десять месяцев учился в Советском Союзе!

Однако, беседуя со стариком Лэй Ло-ганем о картинах и о детях, я все-таки не продвинулся ни на шаг в своем намерении и так и не услышал от него ни слова о том, почему он выходил из кооператива и почему вернулся в кооператив вновь.

Я не подозревал, что, по сути дела, старик Лэй рассказал мне почти обо всем, только я не понял его. Лишь в следующей беседе для меня прояснилось кое-что.

Эта следующая беседа была уже о другом предмете: о письменности.

Мы с Хуаном растолковывали старику, что в русском алфавите всего 32 буквы и все слова, сколько их есть, состоят только из этих букв. Слова же пишутся так, как они слышатся, когда человек говорит.

— Фанза! — поясняет Хуан. — Буквы: ф, а, н, з, а! Пять букв. Переставить те же буквы в другом порядке, и может получиться другое слово, например фазан.

Лэй долго курит трубку, долго думает и говорит:

— Тридцать два значка можно выучить за тридцать два дня. Не знаю, чья грамота лучше, русская или китайская. Китайская тоже ведь существует много тысяч лет. Наверно, она существует не зря. Не мне судить об этом. Но если хороший результат лежит не за горами, если все тридцать два значка можно выучить за тридцать два дня, грех не потрудиться!

После этого Хуан произносит множество китайских слов и объясняет, как бы они могли быть изображены на бумаге с помощью букв. Старик Лэй показывает на окно, на дверь, на себя — должно быть, ищет такой предмет, который Хуану будет не под силу произнести по буквам. Потом старик Лэй вздыхает и говорит:

— Я две зимы ходил в школу. Я очень хотел учиться. А что я умею? Написать свою фамилию? Прочсть несколько слов, которые раньше мне кто-нибудь прочел? Чтобы написать письмо, нужно знать, по крайней мере, тысячу иероглифов. Чтобы читать газету, надо учиться в школе четыре-пять лет...

Он долго думает, старый Лэй, должно быть, ему нелегко сообразить, как это так: букв, которыми изображаются слова, несравненно меньше, чем самих слов.

Потом он вдруг спрашивает меня:

— А как вы думаете, если бы не было кооперативов, были бы у нас в деревне дневные и вечерние школы? Учили бы или нет грамоте девушек?

Я ответил, что он, Лэй, лучше меня знает, что было у них в деревне до Освобождения и до кооперирования.

— Так! — говорит Лэй. — Пока люди не работают все вместе, у каждого забота только о своем собственном осле и о своей фанзе. Еще — о своей земле. Все думаешь, как бы не прогадать, как бы побольше земли оставить детям вокруг своей могилы. А как сделать детей умными людьми, чтобы они были умнее стариков, — об этом совсем не думаешь...

Дед Щукарь из Чжоуцзячжуана.

• В рассказе товарища Лэй Цзин-хо — секретаря партийной организации кооператива — и в разговорах с другими жителями деревни Чжоуцзячжуан я не раз слышал имя старика Вана.

Когда впервые был упомянут старик Ван, мои собеседники наперебой стали объяснять, какой это человек. «Шу-ка, — говорили они, — Чу-ка, Цу-ха». При этом каждый тербил себя за верхнюю губу и смеялся.

Но так как мои собеседники почти не произносили звуков «щ» и «р», я долго не мог понять, что речь идет о деде Щукаре.

Наконец Хуан добился своего.

— Михаил Шолохов, — сказал он. — «Поднятая целина!» Неужели вы забыли того старика, который поймался на крючок?

— Щукарь?

— Вот-вот! Этот самый!

И тут все стали объяснять мне, что в Чжоуцзячжуане есть свой дед Щукарь — старик Ван, что раньше этот человек умирал с голоду, а теперь живет хорошо, что его все любят. В прошлом году он собрал стариков всей деревни. Эти старики подняли двадцать му целины и заложили для кооператива фруктовый сад. Вот какой это Щукарь!

— Что же, — спросил я, — у старика Вана так же, как и у Щукаря, губа со шрамом?

— Нет, нет! Губы у старика Вана вполне обыкновенные!

— Что же, он так же неудачно покупал у кого-нибудь лошадь, как покупал ее у цыгана дед Щукарь?

— Нет, нет! У нашего Вана не было ни лошади, ни осла, ни даже четверти осла!

— Ну, может быть, Ван любит похвастаться?

— Нет, наш Ван молчаливый старик, да и чем ему было хвастаться? Правда, сейчас он может говорить о фруктовом саде на целине, но ведь сад появился совсем недавно!

— Ну хорошо... Тогда чем же все-таки старик Ван похож на деда Щукаря?

— А вот вы сами поговорите с ним!

Тут посыпались советы:

— Нужно, чтобы советский товарищ повидал старика Вана не одного, а вместе с сыном!

— Нужно, чтобы вместе с Ваном пришла его соседка, тетушка Лю. Она все расскажет о старике, да и о себе заодно, гораздо лучше, чем это сделает сам Ван!

На другой день я встретился со стариком Ван Лао-хуном, с его маленьким сынишкой Ван Цин-фа и с тетушкой Лю.

Они пришли все трое ко мне в фанзу, и старуха спросила:

— Вы приехали в Чжоуцзячжуан прямо из Советского Союза?

— Да, — сказал я. — Прямо из Союза.

— Хао! — сказала старуха. — Хао! Вы приехали, чтобы посмотреть, как живут люди в Чжоуцзячжуане?

— Да, я приехал посмотреть это...

— Конечно, — сказала тетушка Лю, — вы увидите, что люди живут, как люди. Но вы обязательно должны узнать, как мы жили, когда не были людьми. Вы хотите узнать об этом?

Я сказал, что, конечно, мне интересно услышать и об этом. И тогда старуха снова спросила меня:

— Вы слышали, что девушек раньше приносили в дом жениха в закрытом паланкине?

— Да, я слышал об этом.

Старуха усмехнулась и сказала:

— Ну, это почетно — когда тебя несут в паланкине. Нет, меня никто не усаживал в паланкин. Когда мне было пятнадцать лет, мне связали руки веревкой, перекинули веревку через шею и так через всю деревню отвели в фанзу жениха. Вот такой была у меня свадьба.

— Ну, а потом? — спросил я.

— Потом у меня родился сын. Потом мой муж, такой же бедняк, как и мой отец, чинил крышу на доме богатого крестьянина, упал и на всю жизнь стал инвалидом. Умер он не так давно, а я растила сына и двадцать лет ухаживала за больным мужем. Раньше считалось очень стыдным делом для женщины торговать, но я все-таки стала торговать. Лапшой и пельменями. На дороге, которая проходит мимо нашей деревни по высокой насыпи, я торговала много лет. Но, поверите, я ни разу не ела пельменей. Я ни разу не накормила ими своего сына. Если бы я один раз пожалела сына и хотя бы только в Праздник весны накормила его пельменями, я разорилась бы навсегда. Такой был доход от моей торговли, что я могла только смотреть на пельмени, которые делала и продавала. Всю жизнь я, и мой сын, и мой больной муж ели мякину, отруби и выкопанные из земли корни диких овощей. После Освобождения я получила двадцать му земли, одного осла и одну четверть тележки. «Ну вот, — говорили мои соседи. — Вот! После такой бедности — и такое богатство! Да старуха Лю теперь ни за что на свете не вступит в кооператив! Она истосковалась по собственной земле и теперь будет глотать эту землю день и ночь! Кто это из женщин тянется в кооператив? Лучше пусть посмотрят, как тетушка Лю будет по всей деревне собирать удобрения для своего собственного поля!» Но я первой вступила в кооператив. И что же? Я уже построила фанзы себе и сыну — они стоят, по крайней мере, пятьсот юаней, эти фанзы! Я купила сетку на окна, термос и семнадцать метров ткани! А вот старик Ван — он не сразу вступил в кооператив, пусть он и расскажет, что из этого получилось!

Кто-то из присутствующих сказал, что старуха Лю еще и депутат сельского собрания народных представителей деревни Чжоуцзячжуан.

Тетушка Лю кивнула головой: «Да, это так. Она депутат».

Я спросил ее, что же она считает самым главным в своей работе депутата.

Не задумываясь, она ответила:

— Проводить «линию масс»!

— Конечно, это очень важно. Но как вы это делаете?

— Как делаю? — Она подняла на меня глаза. — Так же, как и все. Я знаю, о чем говорят люди на работе и дома. О чем они думают. Но не могут же люди прийти в комитет и говорить в комитете все сразу? Вот они и выбрали меня, чтобы говорила я. И сейчас меня тоже попросили, чтобы я говорила о Ван Лао-хуне. Но только сначала пусть говорит сам Ван, а я дополню... Рассказывай, Ван, — сказала тетушка Лю, обращаясь к своему соседу. — Рассказывай советскому товарищу, как ты продал своего сына...

— То есть как это? — спросил я у пожилого с редкой бородкой человека. — Вы, товарищ Ван, продали своего сына?

Ван посмотрел на меня добрыми глазами и кивнул:

— Да, да... Я продал своего сына. Вот этого... — И он погладил по бритой голове мальчонку лет четырех-пяти, который сидел у него на коленях вот уже добрых полчаса и, глядя на всех круглыми глазками, не проявлял никаких признаков нетерпения.

— Почему же вы его продали?

— Потому что у меня не было денег.

— Ну, что же, вы очень много получили денег, разбогатели, ваша жизнь изменилась от этого?

— Нет... Я продал его за семьдесят юаней, а мне заплатили только десять и еще сто шестьдесят цзиней зерна.

— Ну, а что же было потом? Сын все-таки снова у вас? Его вернули?

— Да... Его вернули... Кооператив собрал эти деньги и выкупил мне сына обратно...

На некоторое время воцаряется молчание, потом старуха Лю говорит:

— Рассказывай дальше, Ван.

— Я все рассказал...

— Ну, расскажи теперь, как ты поднял целину и посадил сад.

— Да-да... Это тоже было. Когда мне вернули моего сына, мне захотелось сделать что-нибудь для кооператива... Я собрал стариков и сказал: «На западной окраине Чжоуцзячжуана когда-то был небольшой лес... Лес редееет, а земля пустует. Разве можно, чтобы земля пустовала? Давайте разведем на этой земле сад!» И все старики согласились, и мы вскопали двадцать му и посадили больше тысячи деревьев... Ну, вот я опять все рассказал... Теперь говори ты! — обращается Ван к тетушке Лю.

Собираясь говорить, тетушка Лю закуривает. У нее большой лоб, просто поразительно, какой он большой, мужской и весь в бесчисленных глубоких морщинах. И ее плоское лицо тоже изборождено множеством морщин, и небольшие суровые глаза смотрят на вас из глубоких впадин очень внимательно и деловито.

— Я так и знала,— говорит она почти мужским басом.— Старик Ван ничего не расскажет сам. А дело было так. Всю жизнь Ван хотел жениться. Мы с ним соседи, я-то знаю о нем все очень хорошо. Ну вот. Он хотел жениться, иметь детей. Он очень боялся, что умрет, так и не женившись и не имея детей. Но у Вана никогда ничего не было. Совершенно ничего. Кто же отдаст свою дочь за человека, у которого совершенно ничего нет? Которому негде жить с женой? Ведь его фанза... она была еще хуже моей. Кто отдаст дочь такому человеку, которому нечем кормиться самому, не то что кормить детей? И Ван Лао-хун, хотя и мечтал всю жизнь о семье, когда ему перевалило за пятьдесят, уже сам не верил тому, о чем все время думал. Ведь ты уже не верил, Ван, что ты женишься?

— Нет, я уже не верил...— подтвердил Ван, кивая головой.— Разве только, думал я, меня женят на том свете, на мертвой девушке...

— Вот видите,— он уже не верил больше. Это капля может долбить и долбить камень. Капля — слепая, а человек должен хоть немного видеть и чувствовать то, во что он верит. Ну, вот. Ван уже не верил больше, что у него будет когда-нибудь семья. Он стал ждать смерти. А в это время пришло Освобождение. И Ван получил землю. Шесть му земли. И затем фанзу, в которой плохо ли, хорошо ли, но он мог жить. Не одному жить — вместе с женой. Да, Ван женился. Вся деревня говорила об этом. Все знали, как хотел жениться Ван. Не было в деревне человека, который не знал бы об этом. Одних он сам не раз останавливал на улице и рассказывал, что скоро накопит денег и женится, другие хотели подразнить его и будто бы всерьез предлагали ему невест, третьи пугали своих дочерей, грозя отдать их за бездомного старого Вана. Тридцать лет, пока Ван собирался жениться,— срок порядочный, чтобы каждый житель Чжоуцзячжуана успел почувствовать или посмеяться над Ваном. А он взял да и женился. Теперь все стали гадать: а будут ли у Вана дети? И что вы думаете? Первым родился вот этот карапуз — Ван Цин-фа. Ну да. Вот этот самый, который тарачит на вас глаза. Хао! У Вана был сын! Мало этого, прошло два или три года, и жена Вана Шин-ин родила еще двух детей. Они жили очень дружно — старый Ван и молодая Шин-ин. Мы все радовались этому. Ведь какое счастье подвалило человеку: за три года — трое сыновей! И все такие здоровые, крепкие. А сейчас уже прошло четыре года, и у Вана — четыре сына. Шин-ин — двадцать шесть лет, если отец этих детишек и умрет, так она вполне успеет вырастить всех. Но тут наступила засуха, старый Ван ничего не собрал со своего участка. Его земля не поливалась от канала, и у него не было водоподъемника, чтобы качать воду из земли. Когда он жил один, голод был ему ни почем, но ведь теперь у Вана были жена, дети. Я посоветовала старику отдать на время сынишку Цин-фа. Ну да, отдать на время в такую семью, где нет детей или мало детей — пусть мальчонка поживет в такой семье... Ведь на него смотреть, на этого толстяка, одно удовольствие! И действительно, старик Ван и его жена Шин-ин так и сделали: отдали малого в одну малодетную семью. Но год был,

я уже говорила, неурожайный, недостаток у всех крестьян был невелик, а мальчуган ел очень много, просто ужас сколько он ел! Поэтому удовольствие любоваться им стоило слишком дорого. Малого отдавали в несколько семей, но только его очень быстро возвращали родителям обратно. И тогда-то старик Ван решил совсем продать своего сына. Теперь рассказывай, Ван, что ты думал, когда решил продать малого. Рассказывай сам!

Старик Ван плотнее прижимает мальчугана к себе, сосредоточенно думает, должно быть вспоминает, как было дело.

— Тетушка Лю говорит все, как было, — подтверждает он и потом снова задумывается. — Да, можно голодать одному, но голодать с семьей — это очень трудно. Я не знал этого, пока у меня не было семьи. Еще я не знал, что землю, когда она не приносит никакого урожая, лучше совсем не иметь, чем иметь. Земля тебя не кормит, а сама требует ухода и удобрений. И я сказал своей жене Шин-ин: «Делать нечего, давай продадим старшего. Иначе мы не сумеем прокормить младших двух. Лучше продать одного, чем похоронить троих, а потом еще и продать свою землю!» У нас были покупатели в соседней деревне — муж и жена. У них не было детей. Они просто истосковались о детях. Но Цин-фа очень плакал в чужом доме, и его новая мать тоже плакала, и моя жена и я сам — хоть и мужчина — тоже... Опять не было никакого житья... Мы уже стали думать: может быть, взять ребенка обратно? Но как его возьмешь обратно, если мы получили за него деньги — десять юаней — и этих денег у нас уже не было... И люди уже согласны отдать нам обратно нашего Цин-фа, но только они просят вернуть им деньги и зерно. Мы долго думали об этом. Теперь ты рассказывай, как было дело...

Старик Ван кивает в сторону тетушки Лю. Тетушка Лю принимает это поручение, как должное, и продолжает:

— Ну, вот. Я смотрю, что-то долго не видно на дворе маленького Цин-фа. «Кто же нашелся такой добряк, — спрашиваю я у старика Вана, — который так долго кормит твоего Цин-фа?» А старик Ван молчит. Молчит и молчит. Тут я подумала: «Никогда Ван ничего не скрывал от меня. Что бы это могло значить?» И еще я услышала, что Ван обращался к властям, спрашивал, можно ли оформить документ на продажу и покупку ребенка. Ему сказали: «Нет, ни в коем случае нельзя». Тут уж я догадалась обо всем. И я пошла к секретарю партийной ячейки Лэй Цзин-хо и сказала ему обо всем. И товарищ Лэй Цзин-хо и я первые внесли деньги, а потом и другие члены кооператива. Еще нужно было вернуть покупателю сто шестьдесят цзиней зерна. Это зерно собрали между собой коммунисты. Так мы собрали десять юаней и сто шестьдесят цзиней зерна и выкупили этого мальчика. Вот такая произошла история с нашим Шукарем. После этого он и вступил в кооператив.

Я спрашиваю:

— Значит, здесь знают деда Шукаря? Но ведь в деревне далеко не все грамотные?

— Ничего, — отвечают мне сразу несколько человек. — Кто неграмотный, тот слушал, как читали в клубе «Поднятую целинну». Школьники тоже читают эту книгу своим родителям...

Но у меня есть еще один вопрос.

Пока шла эта беседа, мне все хотелось узнать, чем же все-таки Ван похож на деда Шукаря. Образы, мне кажется, совершенно разные. И я спрашиваю:

— Но ведь дед Шукарь совсем не похож на товарища Вана! Дед Шукарь был человеком болтливом, а Ван молчалив. У деда Шукаря были совсем другие привычки! Отвечает тетушка Лю. Она улыбается, обнажая крупные, чистые, удивительно сохранившиеся зубы — только одного зуба не хватает у нее слева. Она говорит:

— Какое это имеет значение? Зато у них одинаковая судьба. Оба бедные, оба как будто смешные и все-таки хорошие люди...

Да, уж это правильно: судьба людей больше значит, чем их внешние приметы.

Прощаясь, Ван Лао-хун спрашивает меня, видел ли советский товарищ сад за деревней, около большого бугра.

— На будущий год, — говорит он, — мы ждем первые яблоки и первые груши. Это мы, старики, посадили сад для кооператива!

В свадебной фанзе.

Трудно сказать, сколько фанз на усадьбе старого Лэй Ло-ганя. Сам старик Лэй, его жена Лун-э и трое их младших детей — две дочери и сын — живут в большой фанзе, состоящей из двух половин.

Старший сын Лэй Цзао-чжун с женой Цзы-юнь, с внуком и внучкой отделили часть усадьбы, и там у них своя фанза.

Когда женился второй сын Лэя — Цзин-мин, он тоже завел фанзу рядом со старшим братом.

Кроме того, есть еще совсем маленькая фанза, заставленная мешками с кукурузой, вагой и прочим добром, которое получила семья на трудодни в кооперативе.

Что и говорить, фанза маленькая, но и ее можно привести в порядок и жить в ней не хуже других. Я как-то пошутил, что если дочь старого Лэя, шестнадцатилетняя Сян-мэй, выйдет замуж или женится тринадцатилетний Цзао-цян, эта маленькая фанзочка может и пригодиться. Я-то пошутил, а старик Лэй вполне серьезно согласился со мной.

Но и это еще не все.

Рядом с большой фанзой старика стоит еще одна, поменьше.

Когда я в первый раз вошел в эту фанзу, я очень удивился. Вещей в фанзе не было почти совершенно, стояли только маленький столик, два старинных стула с узкими сиденьями и покатыми спинками, а у входа — чугунная печь с топкой, напоминающей ворота и поэтому называющаяся «воротной печью».

Зато кап был очень красив — на нем лежало хлопчатобумажное, недорогое, но совершенно новое покрывало с фиолетовыми узорами.

Больше ничего в фанзе не было, а она сама — ее стены и потолок — была покрыта светлыми обоями с серебристыми цветами. Обои были так аккуратно расклеены, что на них нигде нельзя было заметить самой мало-мальской морщинки, и если бы не швы вдоль смежных полос этих обоев, можно было бы подумать, что их вовсе нет, а серебряные цветы нарисованы прямо на стенах.

И вот я узнал, что это свадебная фанза.

Женится третий сын старика Лэя и старухи Лун-э — двадцатилетний Лэй Цзао-инь.

По обычаю, свадебная фанза приготавливается, по крайней мере, за две недели до свадьбы, но невеста не должна принимать никакого участия в этих приготовлениях, а последние десять дней не может и ногой ступить на усадьбу своего будущего мужа.

Вот и сейчас красивая фанза пустовала целыми днями, но по вечерам сюда собирались соседи потолковать о делах кооператива, обменяться новостями.

В тот вечер, о котором пойдет речь, в фанзе было много народу. Не помню, с чего начался разговор, должно быть, самый вид фанзы натолкнул меня на это, но только я рассказал о свадебных обрядах, которые раньше существовали, да и сейчас еще существуют у нас в Сибири.

Признаться, я имел тайную мысль, что разговорится старик Лэй, расскажет, как и почему он выходил и снова вернулся в кооператив. Но, заговорив о свадебных обрядах, я сам и разрушил свой собственный план. Лишь только я кончил свой рассказ, как нашлось сразу несколько охотников продолжить разговор на эту тему.

Я узнал, что, по обычаю китайцев, невесту раньше приносили в дом жениха в паланкине, и у входа она должна была съесть сырые, нарочно плохо сваренные пельмени и ответить на вопрос: хорошо ли эти пельмени сварены?

Невеста говорила, что пельмени, начиненные к тому же не мясом, а финиками, сварены плохо, что они сырые, а в этом и заключается смысл обряда: слово «сырой» произносится, как «шэн», и это созвучно со словом «родить», финик же называется «цзао», а это произносится почти как «рано», «скоро». Иначе говоря, невеста обещала «родить скоро».

Еще лучше, если имеется такой деликатес, как семена лотоса. Они называются «ляньцзы», а это звучит как «родить сына за сыном». Невозможно было запомнить все подробности обрядов, которые исполнялись в разных местах по-разному.

Однако дело и не в этом.

Вдруг я узнаю, что, оказывается, раньше в китайской деревне молодые люди никогда не выбирали друг друга. Они даже могли и не знать друг друга в лицо. При этом жениху было обычно лет тринадцать-четырнадцать, невесте — года на три-четыре больше. Родители договаривались о браке своих детей, когда эти дети были еще грудными младенцами, и потом уже ничто не могло отменить сговора. Наступало время, богаче или беднее обставлялась свадьба, и на другой день молодая чета шла на могилу предков мужа поклониться их праху. Тем временем жена старшего брата молодого мужа перебирала приданое невесты, и брак приобретал силу нерушимого закона.

Дальше все родственники ждали детей, точнее — сына. Рождение девочки считалось чуть ли не грехом матери, девочку очень часто совсем не брали на руки родители мужа и даже отец. Все ждали, когда она подрастет, чтобы скорее выдать ее замуж. Смерть незамужней дочери считалась несчастьем семьи. Если это случилось, девушку нельзя было похоронить рядом с другими семейными могилами. Иногда удавалось найти умершей девушке «мертвого мужа» — мужчину, умершего неженатым, и тогда ее хоронили рядом с ним...

В фанзе собралось человек двенадцать — это крестьяне, работники из уезда и округа, которые тоже забрели на огонек свадебной фанзы, писатель товарищ Чжан Цин-тянь, который работал раньше, как говорят здесь, «в районном правительстве», а с ликвидацией района стал работать в кооперативе. Он живет здесь уже пять лет и написал книжку о селе, но сейчас не об этом речь. Я узнал, что все эти люди в свое время женились точно таким же образом — не зная своих будущих жен.

Значит, все, что я услышал, это вовсе не выдумка, не воспоминания о старине, это совсем недавняя действительность.

Правда, и здесь в вопросе о браке и о любви теперь тоже различают две эпохи — до Освобождения и после. Эта грань пролегла через все существование древнейшего народа всего семь лет тому назад, и ее никогда не забудут не только китайцы, а и все человечество, но все-таки я не думал, что в личной судьбе каждого китайца, в самых интимных проявлениях его жизни эта грань выступает так явственно...

Рассказы в фанзе смолкли... Я был удивлен всем услышанным, а мои собеседники, наверное, были удивлены моим удивлением: в нем они, кажется, еще сильнее почувствовали всю нелепость своей недавней судьбы.

Мы молчали долго, и, должно быть, нужно было начинать разговор на другую тему, но эта тема как-то не находилась.

Я уже подумал, что на этом и кончится наша сегодняшняя встреча, больше никто и ничего не скажет.

Но в это время вдруг заговорил Лэй Цзао-инь — тот самый третий сын старика Лэя, для которого была приготовлена свадебная фанза.

— Я расскажу вам историю своей любви, — сказал Цзао-инь, усаживаясь верхом на деревянную скамеечку рядом с каном.

...Когда мне было тринадцать лет, родители девушки, которую предназначили мне в жены, еще лет десять назад напомнили о свадьбе моим родителям. И мой отец сказал мне, что скоро у меня будет жена. Я был мальчишкой, но все-таки я понял: со мной хотят сделать что-то такое, чего не должно быть. И я попросил отца и мать, чтобы они обождали до тех пор, пока я подрасту немного... Я просил их об этом и плакал, и они согласились, потому что они всегда были добрыми людьми и любили своих детей.

Они согласились, а за те три года, в которые я подрастал, чтобы стать женатым человеком, наш район был освобожден и появились новые законы. Не каждый соблюдал тогда эти законы, но каждый мог искать в них помощи и защиты.

Помогли эти новые законы и мне. Я сказал родителям, что по новому закону вступать в брак могут только совершеннолетние, а я несовершеннолетний. И отец уже не мог заставить меня пойти против этого закона. Я понимаю, моему отцу было очень неудобно перед отцом той девушки, которая была моей невестой, но все-

таки ни ее, ни мои родители ничего не могли сделать. И я тоже ничем не мог помочь моим родителям, не мог уступить им. Я уже вырос к тому времени и сказал, что, если даже меня выгонят из дому за непослушание, я все равно не могу послушаться в этом ни отца, ни матери...

Старик Лэй сидел в углу фанзы около печки, курил длинную трубку и слегка играл полотенцем, которое он всегда носит перекинутым через правое плечо. Сухое лицо Лэя с ястребиным носом, опущенные вниз усы и вся его тонкая, довольно высокая фигура выражали полное спокойствие. Он слушал рассказ собственного сына, как историю, которая будто бы совсем не касалась его. И так же спокойно, чуть пожевывая, он, старый Лэй, в том месте рассказа, где Цзао-инь говорил об отце, встал, притушил желтым пальцем огонек в трубке и вышел из фанзы. Вышел просто так, как будто именно в эту самую минуту ему понадобилось выйти.

Цзао-инь поглядел отцу вслед и на минуту прервал свой рассказ. Но потом он тряхнул головой, с черными, очень густыми волосами, в которых почему-то явственно выделялось несколько седых волосков, и продолжал.

— Вы знаете,— сказал он,— я еще мальчишкой пошел против своих родителей, я еще тогда обижал их, но тогда я не знал, для чего я это делаю. Теперь я это знаю... Я поступил так, чтобы через несколько лет полюбить Шу-гэ и чтобы Шу-гэ полюбила меня.

Мы встретились с ней в вечерней школе. Нет, это не совсем так — мы давно знали друг друга, потому что вместе учились в средней дневной школе. Мы не только вместе учились, но вместе ушли из этой школы. Когда партия и правительство обратились к молодежи с призывом, чтобы она принимала участие в работе кооперативов, помогала кооператорам, я решил уйти из дневной школы в вечернюю, а днем работать счетоводом. Очень мало было грамотных людей в кооперативе, и поэтому счетоводов не хватало.

И Шу-гэ тоже поступила так, только она стала не счетоводом, а учетчиком второй бригады.

И вот, хотя мы вместе учились и вместе ушли из дневной школы и даже вместе поступили в вечернюю школу, мы почти не знали друг друга и никогда не разговаривали между собой. Я знал, что ее зовут Шу-гэ, она знала, что я Лэй Цзао-инь, и больше ничего.

Но вот, после того как мы проучились в средней школе год, мы стали помогать друг другу в решении трудных задач по алгебре и тригонометрии. Нас было несколько друзей, и мы оставались после уроков помогать друг другу: я, Шу-гэ, Тан Бао-ши и маленький Чжоу.

Школа вечерняя, а мы еще надолго задерживались после уроков, и, когда мы возвращались домой, была уже ночь, темно, и в деревне не спал только один сторож, который ходит по улицам и бьет в свою деревянную колотушку.

Шу-гэ живет в восточной части деревни, на самой окраине; у нее нет отца и нет старшего брата, и некому ее встретить и проводить на восточную окраину. Но у нее было трое товарищей, и все трое мы провожали ее каждый день.

Мы шли по темным улицам и смеялись, хотя нам всем было немного страшно.

Нам было страшно вовсе не потому, что темно кругом и тихо и ни в одной фанзе нет света, а потому, что ночью мы шли с девушкой и шутили и смеялись с ней так, как будто в этом нет ничего особенного. Но ведь каждый из нас знал, что мы нарушаем порядки, которые всегда соблюдались всеми людьми, что, может быть, мы первые парни, которые позволяют себе вот так идти с девушкой ночью и смеяться как ни в чем не бывало, первые за все то время, которое наша деревня существует на земле, первые за целую тысячу лет... И если нам трем было немного страшно от таких мыслей, так что же переживала Шу-гэ, девушка, с которой мы шли?

Я часто поглядывал на нее, но в темноте трудно было хоть что-нибудь увидеть на ее лице, а в ее голосе я ни разу не услышал испуга. Она разговаривала со всеми нами так же просто и весело, как на переменах между уроками.

Так, вчетвером мы ходили каждую ночь на восточную окраину деревни. Но однажды Шу-гэ сказала нам:

— Слушайте, ребята, зачем вы провожаете меня втроем? Конечно, одному провожать меня неудобно, я это понимаю, но зачем втроем? У каждого есть свои дела и много работы, мне просто неудобно, что из-за меня теряется так много времени.

И мы подумали: «Зачем в самом деле провожать Шу-гэ втроем? Конечно, одному неудобно провожать девушку по темной деревне каждую ночь, но зачем это делать втроем? Шу-гэ всегда рассуждала умно».

И мы решили, что маленький Чжоу не будет ходить больше с нами на восточную окраину деревни. Хотя он и одного возраста с нами, и решает задачи ничуть не хуже нас, и работает в кооперативе тоже не хуже, все-таки он маленький и пусть пораньше возвращается домой после школы.

Чжоу протестовал, он уговаривал нас всех вместе и каждого в отдельности, чтобы мы разрешили ему, как и прежде, провожать Шу-гэ, но мы не разрешали. Нас было большинство, и он должен был подчиниться. Некоторое время Чжоу даже перестал решать вместе с нами трудные задачи, а сразу после звонка всгавал и уходил домой. Но это продолжалось недолго; потом он снова стал решать с нами задачи сперва по алгебре, которую он очень хорошо понимал, а потом и по тригонометрии. Он кончал заниматься вместе с нами, вместе с нами, как и прежде, шел из школы домой, но только недалеко, до ворот школы. От ворот он сворачивал в одну сторону, мы — в другую.

Когда мы стали провожать Шу-гэ вдвоем — я и Тан Бао-ши, я сразу заметил, что Бао-ши на целую голову выше меня. Раньше я как-то не замечал этого, а тут заметил.

Один раз Тан Бао-ши не пришел на занятия.

Когда я заметил, что Бао-ши нет на уроках, я почти не слышал учителя: я думал о том, как же теперь мы с Шу-гэ будем возвращаться домой? Неужели я один буду провожать ее?..

Наконец кончились занятия. Мы вышли из школы втроем: Шу-гэ, я и маленький Чжоу.

Мы шли и молчали. Почему мы молчали все трое в тот раз, я даже не знаю. И вот мы подошли к тому дому, в котором сейчас помещается магазин. Если идти от этого дома прямо по улице, неподалеку живет маленький Чжоу, а на восточную окраину ведет переулок, пересекающий эту улицу... Я шел и думал, что в конце концов это вовсе не мое дело, пусть сама Шу-гэ попросит маленького Чжоу идти сегодня вместе с нами... Мы дошли до магазина молча, и Чжоу остановился. Он остановился, постоял и повернул налево — к своей фанзе. Я сказал: «Чжоу...», но сказал очень тихо, он, наверное, не слышал. А Шу-гэ не сказала ничего... И мы пошли с ней на восточную окраину.

Я никогда ни с одной девушкой не оставался вот так, вдвоем, и, конечно, Шу-гэ тоже не оставалась вдвоем с парнем, а тут ночь, темная была такая ночь — не видно ни луны, ни звезд, а мы идем только вдвоем и так близко друг от друга, что я даже слышу, как дышит Шу-гэ...

Молча мы шли до фанзы Шу-гэ, и, только когда она вошла во двор своей фанзы, она совсем тихо сказала мне:

— Се-се, Лэй Цзао-инь, се-се...¹

Она сказала это очень тихо, но я хорошо расслышал ее слова, и, когда я шел домой и когда пришел и лег спать, я все еще слышал эти слова...

«Нет, — сказал я себе, — это очень трудно провожать девушку одному, провожать ее ночью... Это просто невозможно... Никогда я больше не сделаю этого! Если Тан Бао-ши и завтра не придет в школу, я обязательно попрошу пойти с нами маленького Чжоу».

И на другой день Тан Бао-ши не пришел в школу, а я не пригласил маленького Чжоу идти с нами, и мы снова возвращались вдвоем, совсем вдвоем с Шу-гэ, и я снова слышал, как она дышала и как она сказала мне около своей фанзы: «Се-се, Лэй Цзао-инь...»

Через несколько дней Тан Бао-ши пришел на занятия; он уезжал с обозом в

¹ Се-се — благодарю, спасибо.

город и вот вернулся, а я снова плохо слушал учителя на уроках и думал о том, что теперь мы будем ходить на восточную окраину деревни снова втроем...

Но я видел, как на последней перемене маленький Чжоу о чем-то долго говорил Тан Бао-ши, и, когда мы вышли из школы после занятий, Тан Бао-ши сказал, что сегодня он никак не может проводить Шу-гэ, потому что у него какие-то срочные дела...

Теперь мы стали ходить после школы то вдвоем, то втроем вместе с Тан Бао-ши, и я каждый раз гадал: будет ли сегодня время у Бао-ши для того, чтобы провожать Шу-гэ?

Когда мы шли втроем, говорил Тан Бао-ши, а мы с Шу-гэ молчали; когда мы шли с ней вдвоем, мы говорили оба, никто из нас не молчал и никто не успевал рассказать всего того, что хотелось рассказать... О чем мы говорили? Мы говорили обо всех, кого мы знаем, но только не о себе. Мы говорили о том, как люди устраивают свою жизнь, но о своей жизни мы не говорили ничего. Мы как будто условились ничего не говорить о себе, а обо всем остальном, что только есть на свете, мы говорили без конца.

Потом в школе наступили каникулы, и мы перестали встречаться. Мы перестали встречаться каждый день, но изредка мы встречались: Шу-гэ была учетчицей во второй бригаде, а я работал счетоводом по учету трудовых, и через каждые три-четыре дня я садился на велосипед и ехал то в одну, то в другую бригаду.

Как-то я не был во второй бригаде несколько дней, и когда ехал туда, то думал, что и теперь не придется поговорить с Шу-гэ и остаться с ней вдвоем и что она, наверное, уже забыла о наших поздних прогулках на восточную окраину деревни...

А может быть, когда каникулы кончатся и мы снова будем встречаться в школе каждый вечер, она теперь станет приглашать с собой либо маленького Чжоу, либо высокого Тан Бао-ши, потому что мы уже переговорили с ней обо всем на свете и нам больше не о чем разговаривать вдвоем. Кроме того, над ней может кто-нибудь посмеяться за то, что она каждый вечер возвращается домой с одним и тем же парнем, ей может сделать замечание ее мать.

Но когда я приехал во вторую бригаду, я сразу понял, что ничего этого не случится, потому что Шу-гэ сказала мне: «Как ты долго не был, Лэй Цзао-инь... Я так ждала тебя». И мы очень долго учитывали трудовни второй бригады и кончили работу, когда было уже темно, и я должен был проводить Шу-гэ из второй бригады на восточную окраину деревни.

Мы шли по тропинке, теперь даже фанз не было вокруг нас, шли полем и через лес, и было так темно и так тихо, как никогда прежде, когда я провожал Шу-гэ из школы.

Я спросил ее: «Шу-гэ, как ты думаешь, какой человек мог бы тебе понравиться? Расскажи мне, каким должен быть такой человек?»

Она стала говорить об этом человеке так подробно, как будто давным-давно знает его. Я слушал ее и думал о том, каким счастливым будет тот человек, который полюбит Шу-гэ. Я слушал ее и думал о том, что мне нужно быть гораздо-гораздо лучше, чтобы стать похожим на того человека, которого может полюбить Шу-гэ...

Мне было очень грустно после этого вечера, когда я провожал Шу-гэ домой из второй бригады, но все-таки я приезжал во вторую бригаду обязательно в конце дня, так что вечером мне всякий раз приходилось провожать Шу-гэ. Она еще несколько раз говорила мне о человеке, который для нее лучше, чем все другие люди, и я уже ругал себя за то, что задал ей этот вопрос. Этот человек, о котором она говорила, только немного был похож на меня, и то по каким-то незначительным признакам: он был такого же роста, как и я, такого же возраста, имел такое же образование.

Но он был гораздо умнее, чем я, он был сильнее, он лучше работал и был полезнее для нашей родины.

Так я слушал рассказы Шу-гэ об этом человеке, которому я стал завидовать и стал даже не любить его, слушая о нем всякий раз, как только я провожал Шу-гэ из второй бригады.

Но как-то раз Шу-гэ сама спросила меня:

— Скажи, Лэй Цзао-инь, а какая девушка могла бы быть самой хорошей для тебя? Какая девушка могла бы понравиться тебе больше всех на свете?

И я стал говорить ей об этой девушке... Я говорил так понятно, я просто все рассказывал Шу-гэ о Шу-гэ, о том, какая она хорошая и красивая, умная и честная...

Когда я кончил говорить, я спросил ее: поняла ли она меня? «Да, — сказала она, — я поняла... Быть может, ты когда-нибудь и встретишь такую хорошую девушку, но в нашей деревне, наверное, нет таких...» «Есть, — сказал я, — есть, это я точно знаю...» «Не думаю... — сказала Шу-гэ. — Я сужу по себе... Как мне много нужно, чтобы стать хотя бы чуть-чуть похожей на такую девушку...» «Ты очень похожа на эту девушку, Шу-гэ, — сказал я. — Ты очень похожа на нее, потому что она — это ты...»

Шу-гэ вскрикнула и, кажется, хотела убежать. Но я взял ее за руку и оставил. Да. Всеми своими пальцами я держал все ее пальцы, и она не убирала своей руки, даже не шевелила ею, а я все держал и держал ее руку в своей руке...

Так мы стояли долго-долго рядом с большой туей и ничего не говорили, а на другой день я сделал в подсчетах ошибку.

Старший бухгалтер нашего кооператива, который, проверяя меня, сказал: «Что с тобой случилось, Лэй Цзао-инь? Ты сделал ошибку, словно начинающий работник! Ты никогда не делал таких грубых ошибок! Здоров ли ты, Лэй Цзао-инь?»

Я подумал, что старший бухгалтер, наверное, догадывается обо всем, что со мной случилось, но я боялся только одного, чтобы Шу-гэ не узнала, что на работе мне сделали такое замечание. Я думал о том, как снова встречу с Шу-гэ. Я ждал, когда же мы встретимся снова, и не мог дожидаться.

Я думал, может быть, она забудет все то, о чем мы с ней говорили в последний раз. «Нет, — убеждал я себя. — Можно забыть все, но разве можно забыть, что ее рука была в моей руке?!»

И когда я в следующий раз отправился во вторую бригаду, Шу-гэ ждала меня на тропинке около высокой туи...

«Ты ничего не забыла, Шу-гэ, о чем мы говорили с тобой в тот раз?» — спросил я ее. «Нет, Лэй Цзао-инь, я не забыла ничего... Ни одного слова, — сказала Шу-гэ, глядя мне прямо в глаза. — И ты не забыла, Шу-гэ, что я держал твою руку в своей руке?» Она покраснела, опустила глаза, но сказала: «Нет, не забыла...» Ну, вот и все...

Лэй Цзао-инь сначала пригнулся к скамеечке, на которой он сидел верхом, ноги крест-накрест, пригнулся так, что почти коснулся подбородком сиденья, а потом вдруг распрямился весь, и волосы взлетели у него над головой и снова упали на лоб, на лицо... Он откинул волосы еще одним резким движением головы и стал глядеть на слушателей своими иссиня-черными глазами...

Все молчали. Для этих пожилых людей рассказ Цзао-иня был путешествием в тот мир человеческих чувств, в котором им самим не довелось побывать. Может быть, некоторые из них сейчас пожалели, что родились слишком рано... Но на всех этих лицах нельзя было не увидеть выражения какой-то сдержанной, тихой, но глубоко пережитой радости...

Потом Цзао-иня попросили принести свидетельство и долго рассматривали большую темно-красную бумагу, подтверждающую, что десять дней тому назад по собственному желанию вступили в брак гражданин КНР Лэй Цзао-инь, двадцати лет, и гражданка Лян Шу-гэ, двадцати двух лет... Долго водили пальцами по крупным иероглифам, на фоне которых были сделаны все записи свидетельства. Эти иероглифы обозначали: «Брак свободный».

Потом старики стали смеяться и приставать к Цзао-иню с какими-то вопросами. Цзао-инь мотал головой, закрывал лицо руками, но ничего не отвечал им.

Я спросил Хуана, что хотят узнать люди у Цзао-иня.

Хуан долго не соглашался перевести мне их вопросы, фыркал, отмахивался, а потом наклонился к моему уху и тихо-тихо сказал:

— Они спрашивают... Вы знаете, о чем они его спрашивают? Они спрашивают Цзао-иня — поцеловал ли он хоть раз свою Шу-гэ?

Без языка...

Хуан сегодня отсутствует с полудня, и я остался «без языка». Я сижу на краешке кана и записываю все, что вижу вокруг себя в доме старого Лэя. На память. Завтра я уезжаю из деревни.

В жилище китайского крестьянина вещей мало. То, что мы называем мебелью или обстановкой, по сути дела отсутствует совсем.

Лэй — человек зажиточный, это видно хотя бы потому, что сразу против входных дверей в фанзе стоит шкаф — не очень большой, старый, деревянный шкаф, быть может, когда-то красный, а теперь темного цвета, без рисунков, с очень простенькой резьбой наверху. Я бывал во многих крестьянских фанзах, но шкаф вижу в первый раз и хочу запомнить, какой он, этот шкаф. Но в нем нет ничего примечательного, нет даже ничего китайского — точно такой же можно увидеть в доме колхозника среднего достатка где-нибудь под Тулой или под Куйбышевом.

Я перевожу взгляд на кухонную утварь... Несколько деревянных и глиняных плоских довольно большого размера, несколько чашек-пиал, железный чайник с длинным носиком...

Нет, уж если искать в фанзе что то чисто китайское, так это она сама и ее кан, на котором я сижу.

Фанза довольно высокая — метра четыре, потолка у нее нет, а есть только камышовая кровля на обрешетке из поперечных и продольных брусьев. Дверь одна, деревянная, двухстворчатая, и, хотя на улице ниже нуля, декабрь, она распахнута настежь и только занавешена синим матерчатым пологом.

Окна большие — по одному справа и слева от двери, с замысловатыми деревянными решетками, которые заклеены промасленной бумагой.

Сколько я ни заходил в фанзы, везде замечал в такой бумаге два-три отверстия вверху, под карнизом, они сделаны, должно быть, для вентиляции вместо форточек.

Свет сквозь такие окна падает тусклый, глиняные стены фанзы темные, кирпичный пол еще темнее, и в общем сумрачно, но писать можно.

Рядом с входом, налево, — приземистая печь площадью поменьше квадратного метра, в нее зделан железный котел, и дымоход ведет под кан, для обогрева.

Здесь, на кане, который занимает по меньшей мере треть всей фанзы, в зимнее время и сосредоточена жизнь семьи. На кане спят, сюда ставят во время обеда стол и едят за ним; здесь, подогнув под себя ноги, дети делают уроки, женщины шьют. В уголке около стены на кане стоит один-единственный в доме сундук, над каном на полке, подвешенной к стене, лежат кое-какие принадлежности домашнего обихода и тетради детей, а рядом с полкой — семейные фотографии. В другом углу сложены одеяла. По одеялам безошибочно можно судить о достатке семьи. Недавно я читал где-то, что молодая девушка-крестьянка, в прошлом очень бедная, работая в кооперативе, собственным трудом накопила себе такое приданое, которого раньше не имели и богатые невесты. В доказательство этого говорилось, что одеяло у нее было весом в десять цзиней.

Одеяла в фанзе старого Лэя весят если не десяти, так уж по шести-семи цзиней обязательно. Подушки же в фанзе самые обычные: продолговатые, четырехугольные, туго набитые мякиной и обшитые темно-красным ситцем.

Кан покрыт циновкой, на циновке — тонкий тюфячок.

Теперь немного об украшениях.

Лубки с сюжетами из древних поэтов и легенд или современные плакаты, пропагандирующие, например, строительство оросительных каналов или борьбу с вредителями, встречаешь почти во всех фанзах. Хозяин особенно доволен, если на стене его фанзы висит плакат с изображением советских людей: советского врача, который проводит осмотр круглолицых ребятишек грудного возраста, колхозника или рабочего.

Еще на дверях фанзы и на ее стенах вы нередко увидите красные полоски тонкой бумаги со столбиками иероглифов, нарисованных тушью. Обычно эти надписи призывают к ликвидации неграмотности или говорят о том, что хозяин фанзы уже

изучил более тысячи иероглифов, либо они высказывают пожелания счастья: многолетия и многодетности.

В фанзе старика Лэя есть плакаты, есть лубки, есть очень хорошая картина с изображением ястреба, о которой я уже говорил, но изречений в его фанзе почему-то нет.

Вот, кажется, и все мои наблюдения. Я откладываю в сторону записную книжку и вздыхаю. В фанзе я не один, но перекинуться словом, спросить о том, что осталось для меня непонятным, не могу. Хуана все еще нет.

Ладно, посмотрим тогда на моих гостеприимных хозяев.

Дома сейчас двое: старуха — мать семейства Лун-э и ее дочь Сян-мэй. Шестнадцатилетняя Сян-мэй шьет младшему брату матерчатые туфли и делает это так умело, что ее работа ничуть не отличается от профессиональной: точно такие же туфли я видел и в витринах магазинов.

Если искать в этой девушке что-то красивое, пожалуй не найдешь — лицо широкое, плоское, крупный рот.

Но если просто поглядеть на эту непринужденно сидящую на кане фигурку — одна нога подогнута, другая вытянута в сторону, в очень маленьких руках резко, как будто сама собой поворачивается туфля, — вся эта простая девушка предстанет перед вами в какой-то юной непосредственности, свежести и светлости. Хотя ватная куртка и такие же брюки делают ее полнее, она все-таки кажется очень легкой.

Девушка спокойна. Она будто прислушивается, как приходит к ней женственность, чувствует это всем своим существом и ничуть не удивляется, принимает этот приход как должное.

Старуха Лун-э, седая, сморщенная, тоже шьет, сидя все на том же кане. Она разложила выкройку женской телогрейки — четыре замысловатых лепестка, вырезанных из сплошного куска материи, а посередине отверстие для головы — и ровным-ровным слоем раскладывает по этим большим лепесткам снежную вату. Движения ее очень быстры и точны. Должно быть, она шьет эту курточку для своей новой невестки. Ведь через десять дней свадьба ее третьего сына — Цзао-иня.

Старуха чему-то все время улыбается.

Мы поглядываем друг на друга уже давно, должно быть Лун-э о чем-то хочет меня спросить, поговорить, но о чем поговоришь, если я знаю несколько десятков случайных слов по-китайски, а она — ни одного по-русски! Вот мы и молчим.

Наконец Лун-э не выдерживает, тычет сухим пальцем в плечо своей дочери и вопросительно смотрит на меня. Нет, я не понимаю, что ей нужно, вопросительно поглядываю на нее. Может быть, она хочет сказать: «Вот какая у меня большая дочь, какая работница! Какая помощница!»

Я киваю, говорю: «Хао, хао!» («Хорошо, хорошо!»), старуха смеется. Сян-мэй поднимает на меня спокойно улыбающиеся глаза, они у нее очень большие. Нет, я не понял, чего хочет старуха.

Лун-э вздыхает, снова быстрыми, точными движениями раскладывает вату по выкройке, но я вижу, что она вовсе не отступилась от мысли поговорить со мной. И верно. Спустя еще минуту, она показывает на себя, потом на Сян-мэй, потом на меня, и все ее сморщенное лицо выражает вопрос.

Очень просто: она спрашивает, есть ли у меня дочь. Вот у нее есть, а у меня?

Я снова киваю головой: есть! Есть и у меня дочь — ю гуянь¹. Все трое мы смеемся.

Лун-э, воодушевленная первым успехом, изображает рукой лестницу: повыше, потом опускает ладонь ниже, потом еще ниже...

Опять понятно: она спрашивает, какого роста у меня дочери, сколько их?

Я показываю один палец и говорю: «Игэ» — одна.

Лун-э с укором качает головой. «Мало, — как бы говорит она. — Это очень мало, это не годится!» Ну, что ж, ей нельзя не верить, она старая и знает, что хорошо, что плохо...

¹ Ю гуянь — есть девочка.

Дальше беседа идет о наших семьях, почти так, как если бы мы разговаривали друг с другом совершенно свободно.

Когда приезжаешь в свою русскую деревню,— о чем будет спрашивать вас хозяйка дома? Она спросит: сколько у вас детей, как они учатся, какое у них здоровье?.. Все ваши ответы хозяйка примет близко к сердцу, потом вздохнет и скажет: «Вот и у нас...» — и поведает всю свою семейную жизнь. Может быть, вам никогда больше и не случится бывать в этой деревне, в этом доме, но вы знаете, что где-то есть у вас знакомые, и не просто случайные знакомые, а такие, о которых вы знаете совсем не мало и они о вас — тоже.

Вот и здесь, в фанзе китайского крестьянина, разговор идет хоть и без слов, но совершенно так же.

Я уже много раз удивлялся сходству китайцев и русских. Старый китайский сельский учитель, даже если вы увидите его в халате и в черной шапочке, очень похож на нашего деревенского учителя, не внешне, а по каким-то неуловимым чертам облика в целом — по улыбке, по глазам, по спокойной манере разговора... Бригадира в китайском кооперативе различить ничего не стоит среди массы людей, так же, как и нашего колхозного бригадира...

Особенное сходство между женщинами, не молодыми, а пожилыми, попросту — старухами. Не знаю, в чем тут дело, но только мне кажется, что материнство создает что-то общее между всеми женщинами мира и особенно между женщинами-труженицами. У них и жесты одинаковы.

В горной Юньнани седая, сгорбленная, казалось бы всем своим внешним видом очень далекая для русского человека женщина, когда я вошел в фанзу, вдруг смахнула передником пыль со скамейки и предложила сесть. Я протянул ей руку, а она сначала вытерла свою тем же передником. И эти жесты вдруг разом заставили меня почувствовать себя на родине, и полутьма фанзы, и очаг, который дымно горел в углу, и закопченный будда с паутиной на шее — все это не то чтобы стало незаметным, но не бросалось больше в глаза, отодвинулось куда-то на второй план.

И вот здесь Лун-э с помощью жестов и семейных фотографий тоже рассказывает, что у нее четыре сына, две дочери и двое внучат, все здоровы, трое учатся, и учатся хорошо, а ее муж Лэй Ло-гань любит картины, у него болит спина, он строгий муж, но так и должно быть, в общем он хороший человек, а ее, Лун-э, выдали за Лэя замуж давно-давно, когда она была вот такой же девочкой, как сейчас Сян-мэй. Конечно, мне легко все это понять, потому что я почти все это уже знаю, но разве о семейных делах можно разговаривать только один раз, не повторяясь?

Старуха откладывает шитье, чтобы пойти к колодцу за водой, и дает мне понять, что ей очень интересно еще поговорить, но ведь дело-то не ждет...

Я тоже выхожу из фанзы. Первый день декабря, небо хмурится вот уже с неделю, и глиняные стены дворика как будто постарели еще больше.

Во дворе с самого утра ходит по кругу мул с завязанными глазами и вращает жернов, а на жернове старший сын старухи Лун-э, скуластый, с черной редкой бородкой, Цзао-чжун мелет желтые зерна кукурузы.

Мы любезно раскланиваемся с Цзао-чжуном, за сегодняшний день, видно, уже пятый или шестой раз, и я выхожу на улицу. Там я вижу писателя Син Е, с которым мы вместе приехали из Пекина в деревню, только он живет в другой фанзе. Ходит он всегда в зеленой солдатской гимнастерке, в синей кепке и в черных рабочих брюках. Человек это крупный, с полным лицом, на которое приятно смотреть в профиль: когда глядишь на него так — какие-то новые выражения улавливаешь в этом лице. Товарищ Син Е всегда тороплив и сосредоточен, и хотя мы встречались с ним много раз и вместе совершаем поездку, нам все не удается поговорить — то ему некогда, то мне.

Теперь мы идем по улице рядом, время у нас есть, а вот слов нет. Син Е не знает русского, и мы только посматриваем друг на друга и улыбаемся...

Из отрывочных разговоров, которые мы раньше вели с ним, когда у нас был переводчик, я вспоминаю несколько его фраз.

Однажды мы говорили о какой-то книге, сейчас уж не помню, о какой именно, и я сказал, что в ней точно и правильно описана жизнь. Син Е согласно кивнул, потом спросил: «А может эта книга повлиять на людей?»

В другой раз я сказал, что иногда опасаясь, как бы в деревне не попасть в неловкое положение перед людьми: ведь я не знаю языка, не знаю обычаев... Син Е сказал мне: «Не надо об этом и думать. Если люди поймут дело, ради которого вы к ним приехали, все остальное приложится само собой...»

Вот и все, что приходит мне сейчас на память из наших разговоров, когда с нами был переводчик.

Мы идем, молчим, я думаю выйти к невысокому бугру за деревней, на который мы поднимались вчера. Бугор этот всего метрах в двухстах от глинобитной деревенской стены. Он рассеен дорогой на две части и покрыт редкими деревьями. У подножия холма несколько могил, один высокий, похожий на часовню, надгробный памятник и поросшие травой окопы. Окопы уже обвалились, но еще можно различить и ходы сообщения и пулеметные гнезда.

Однако память обманывает меня, и лабиринтом узких деревенских улочек, на которые выходят одни только глиняные стены, я попадаю в поле, но — увы! — бугра нигде не вижу...

Я поглядываю по сторонам, но не показываю Син Е вида, что ошибся, пришел не туда, куда хотел прийти, и спокойно шагаю по первой попавшейся узкой тропинке, а Син Е идет позади, идет негоропливым, тяжелым шагом, как будто делает работу. Потом он останавливает меня за рукав, кивает и снова поворачивает к деревне. Теперь я смотрю в его широкую спину, ни о чем не думаю и только вдыхаю горьковатый воздух — от деревни тянет в нашу сторону дымком.

Мы снова углубляемся в деревенскую улочку, сворачиваем раз, другой, снова выходим в поле, и совсем близко от нас бугор.

Мой спутник оглядывается на меня, жестом приглашает идти вперед.

Я вспоминаю, что Син Е воевал в провинции Хэбэй, может быть вот в этих самых поросших травой окопах у подножия бугра, но спросить его об этом я не могу и думаю, что это тоже хорошо — идти вот так молча...

Еще через несколько минут на перекрестке тропинок нам встречается молодой крестьянин, почти юноша. Голова его повязана полотенцем, он что-то несет на плече, что-то тяжелое, железное, наполовину обмотанное тряпичей, чтобы не жало плечи.

Я хочу рассмотреть, что же такое несет этот человек, но он бросает свою ношу на землю, быстро подходит ко мне, трясет мою руку и говорит:

— Сулянин! Сулянин!

— Тунчжин! Тунчжин!¹ — вот и все, что я могу ответить молодому крестьянину, и мы стоим молча все трое. Лицо у крестьянина возбужденное, он кивает головой, улыбается, жмет руку...

Потом мы расходимся, мацем друг другу, крестьянин поднимает свою ношу с земли, кивает еще и еще раз.

Бугор невысок, но он один на совершенно плоской желтой равнине, и, когда мы поднимаемся на него, перед нами возникает далекий-далекий вид. Только насыпь дороги заслоняет горизонт с одной стороны — с запада.

Местами на горизонте видны деревья, кажется, будто там, вдали, густой и даже сумрачный лес, а на самом деле — это редкие деревья и мелкие рощицы, разбросанные там и сям по равнине, сливаются в одно целое.

По насыпи дороги двигаются темные, будто игрушечные фигурки людей и тележки, которые катят люди. Иногда вдруг замечаешь, как две фигурки горопливо приближаются друг к другу: это — встречные велосипедисты, но велосипедов не видно, а темные маленькие силуэтики как будто сами по себе обгоняют повозки и бегут в разные стороны... Видны и высоко нагруженные упряжки, которые гашат ослики и мулы, но упряжек совсем не много, а больше всего пеших людей.

Виднеются деревни с серыми кирпичными домиками, с желтыми глиняными стенами, над деревнями колеблются синие дымки...

¹ Тунчжин — товарищ.

Кое-где на равнине возвышаются темные, как будто вырезанные из картона туи и еще какие-то похожие на осины деревья с засохшей желтовато-зеленой листвой на самых верхних и с голыми нижними ветвями, а совсем близко — коричневый квадрат хлопчатника с белыми каплями раскрывшихся коробочек. Нынешний год — год запоздалой уборки, и в хлопчатнике перекликаются женщины. Возгласы короткие, отрывистые, но они почти непрерывно следуют один за другим, и создается почти песня из самых разных голосов; когда вдруг песня эта почему-то замолкает на минуту, ждешь ее продолжения, а потом снова слушаешь бесконечный пестрый мотив.

Время от времени раздается смех: возникнет, протянет сильную звучную ноту и в тот самый момент, когда ждешь, что смех рассыплется, как говорят у нас в России, «залетится», в тот самый миг он вдруг обрывается.

Должно быть, это все время одна и та же хохотушка так смеется...

Мой спутник, прикрыв глаза, тоже слушает. Я киваю ему и делаю глубокий вдох. Хочу сказать: «Свежий воздух. Осень...»

Он гладит ладонью кору дерева, к которому прислонился плечом, улыбается, потом показывает в ту сторону, где белеет огромный сугроб собранного хлопка. Повозки, по три мула в каждой — два впереди и один сзади, тоже нагружены хлопком и со скрипом двигаются к деревне. Мне кажется, будто мой спутник хочет сказать не о хлопке, а о том, что скоро будет снег и тогда вся равнина станет белой, как этот хлопковый сугроб.

Да, снег выпадет вот-вот, и если присмотреться и прислушаться к настроению окружающей нас природы, так вы уловите во всем ожидание зимы. Что-то грустное в этом ожидании, что-то уставшее и в то же время по-человечески теплое. Это как размышления, как чувства человека, которому уже шестьдесят и который один на один с самим собой встречает день своего рождения...

Мне начинает казаться, что и смех женщины на хлопковом поле обрывается так неожиданно потому, что лишь только она засмеется — сразу же чувствует это безмолвное ожидание зимы и... умолкает.

Мы долго стоим на бугре, а потом, не сговариваясь, сходим вниз, и Син Е легко, по-солдатски, перепрыгивает через старый окоп...

Земля повсюду прибрана человеком к зиме, выскоблена граблями — повсюду тонкие царапки от этих граблей, подобранных все до одного сухие листья и умершую траву.

Я прикасаюсь к этой земле рукой, беру землю в горсть. Мне хочется показать, что я прощаюсь с ней. Завтра мы уезжаем из деревни обратно в Пекин.

Мой товарищ, может быть, еще не раз поднимется на этот бугор, а я вряд ли. И поэтому хочется поблагодарить эту землю за все, что я увидел на ней.

Мне кажется, Син Е понимает меня...

* *
*

Когда на обратном пути в поезде на Пекин я перелистываю свою записную книжку и натываюсь там на цифры, которые говорят о том, сколько в деревне Чжоуцзячжуан дворов, земли, повозок и двигателей, эти цифры приобретают теперь для меня иной, совершенно осязаемый смысл.

Я читаю: «В кооперативе Чжоуцзячжуан, объединяющем жителей девяти деревень, — 1 509 дворов», и вижу «двор» старика Лэя, фанзу Лэй Цзин-хо и многие другие фанзы. «Кооператив имеет 19 827 му земли...» Это та самая земля, которую получила после Освобождения тетушка Лю, из-за которой старик Лэй выходил из кооператива, та земля, на которой возвышается бугор, рассеченный дорогой на две половины...

«Кооператив имеет двести мулов, четырнадцать лошадей. Он орошает свои земли; для этого служит 221 водоподъемник, десять пятисильных дизелей — ими качают воду с глубины тринадцати метров. Кроме того, земли кооператива покрыты еще сетью открытых каналов самотечного орошения, сеть эта год от году расширяется...»

Продолжаю перелистывать записную книжку. «Амбулатория в селе одна: Она же больница на несколько коек». Я вспоминаю невысокий домик из двух половин: в одной лечат средствами европейской медицины, в другой — китайской. Друг другу врачи ничуть не мешают, хотя крестьяне охотнее идут к тому, кто лечит китайскими средствами. В китайской аптеке триста лекарств, и все до одного — это лекарственные растения. Я поговорил с врачами. Они сказали мне, что эпидемий в деревне больше нет, что смертность детей представляет теперь исключительный случай, зато Чжоуцзячжуан славится в округе долголетием стариков. Родильного дома в селе нет, но есть две акушерки.

Я спросил:

— Когда была открыта амбулатория?

— Совсем недавно — в 1953 году.

«Сельская сберкасса (ее называют здесь банком). Из 4750 хозяйств округа — больше двух тысяч состоят ее вкладчиками. Самый большой вклад — 600 юаней».

— Когда был открыт этот банк?

— В 1952 году.

Школы. Их две: неполная средняя и начальная. В начальной школе — шесть классов, 320 учащихся, из них 200 девочек. В неполной средней — три класса¹, 720 учащихся, из них 500 мальчиков. При школе — общежития. Очень скромные, прямо-таки спартанские общежития: деревянные койки, одна к другой, над койками полотенца и только в одном углу комнаты полочки для хранения личных вещей. Впрочем, и неженатые учителя тоже живут в общежитиях, лишь чуть попросторнее. При школе — мичуринский участок (так и называется: «Мичуринский»), небольшой стадион. Школа открыта в 1952 году.

Клуб открыт в деревне в 1950 году, почтовое отделение — в 1953 году, кино и радио впервые появились в 1950 году.

Я вспоминаю, что в одной только провинции Хэбэй насчитывается свыше семидесяти тысяч населенных пунктов, а кооператив Чжоуцзячжуан — один из 23 800 кооперативов, существующих в провинции.

И почти во всех этих селах и кооперативах, вот так же, как и в Чжоуцзячжуане, за семь лет, прошедших со дня Освобождения, открыты школы, амбулатории, клубы, сберкассы, почтовые отделения...

В Чжоуцзячжуане, кроме этого, есть еще и МТС.

Вот об МТС мне хотелось бы сказать несколько слов отдельно, обдумать те цифры, которые у меня записаны, как бы оттолкнуться от них в некоторых других соображениях.

МТС в Чжоуцзячжуане обслуживает семьдесят кооперативов. Она имеет 48 тракторов. Каких? Самых разных. Есть «Сталинцы», есть «НАТИ», «Беларусь», есть тракторы чехословацкие, немецкие. А вот ремонтной базы нет, нет электросварки и даже автогена.

Сварку выполняют в уездном городе, а капитальный ремонт даже в Пекине. Пока тракторный парк МТС еще новый. А что будет, когда он пообносится?

Из прицепных орудий на усадьбе МТС много сеялок и культиваторов — рядовых, хлопчатниковых. А вот хлопкоуборочных машин нет совсем.

Почему так? Мне этого не объяснили, но я думаю, что к этому есть свои причины.

Технику, в том числе и сельскохозяйственные машины, очень приблизительно можно разделить на две группы: первая заменяет ручной труд, вторая выполняет технологические процессы, которые ручной труд, приложенный в любом количестве, выполнить не может. Скажем, к первой относятся грузоподъемные, землеройные машины, а ко второй — домны и мартены, металлообрабатывающие станки.

В сельском хозяйстве это подразделение еще более условно, но все-таки оно замечается. В китайской деревне существует избыток рабочей силы, поэтому та техника, которая может быть заменена рабочей силой, находит меньше применения. Глубокая тракторная пахота и высококачественный посев не могут быть выполнены

¹ Полная средняя школа тоже имеет шесть классов.

вручную или с помощью примитивных орудий, и вот трактор, тракторные плуги и сеялки используются машинно-тракторными станциями. Хлопчатник могут убирать женщины с тем же качеством, что и машины, и хлопкоуборочные и вообще уборочные машины в МТС отсутствуют.

Если бы они были, эти уборочные машины, они лишили бы работы сотни и даже тысячи женщин в одном только Чжоуцзячжуане. Поэтому же, видимо, и строительная, в частности землеройная, техника в Китае получает пока что очень небольшое распространение: строительные работы выполняются вручную.

Применение механизации в сельском хозяйстве Китая сталкивается еще и с другими условиями: это очень мелкие земельные участки, наличие затопляемых террас и каналов. Поэтому в Китае ставится вопрос о необходимости создания такой техники, которая была бы приспособлена к местным условиям.

Но даже и такие орудия, как тракторные плуги и сеялки, не всегда охотно используются кооперативами, хотя они, без сомнения, повышают качество пахоты и посева. Мне говорили, что тракторная пахота повышает урожай примерно на 7—10 процентов, значит и стоимость этой пахоты может превышать стоимость обработки почвы живым тяглом не более чем на эту же величину. Между тем в МТС при современной организации эти работы обходятся дорого: за обработку одного му МТС получает с кооператива один юань — это немало, учитывая дешевизну рабочей силы.

В кооперативе Чжоуцзячжуан, в хорошем кооперативе, полная стоимость трудодня составляет 2,5 юаня. Кооператив имеет около двадцати тысяч му земли и около четырех тысяч трудоспособных.

МТС обрабатывает далеко не всю землю кооператива, но если бы она обрабатывала всю, значит кооператив уплатил бы МТС двадцать тысяч юаней, что составляло бы около пяти юаней на трудоспособного.

Правда, механизация, несмотря на высокую стоимость работ, в определенные моменты совершенно необходима. Это период уборки первого урожая и посева вторых культур. В эти две-три недели сентября создается такой «пик», когда даже здесь не хватает рабочих рук.

Но тут есть еще одно обстоятельство: это монокультура хлопчатника. Шестьдесят процентов всех земель округа Шицзячжуан занято такой трудоемкой культурой, как хлопчатник. Такая концентрация — явление далеко не всеобщее, в других районах провинции хлопчатник не занимает такой площади, и «пик» в рабочей силе меньше.

Одним словом, речь идет о том, что широкое внедрение механизации в сельское хозяйство встречает очень большие затруднения, и здесь китайским кооперативам нужно искать свои пути, а промышленности — создавать новые машины, ибо мы не можем мыслить, что сельскохозяйственный труд и впредь, при социализме, останется ручным трудом.

При этом, однако, надо считаться с тем, что китайское земледелие — земледелие очень древнее, своеобразное, глубоко традиционное, в какой-то мере консервативное. Конечно, консервативное, если вспомнить, что в Центральном и Юго-Восточном Китае плотность сельскохозяйственного населения росла и росла, достигла, наконец, местами пятисот человек на один квадратный километр, а в северо-восточных и северо-западных районах страны в это время оставалось огромное количество неиспользованных земель, освоение которых, как теперь установлено, позволяет, по крайней мере, удвоить пахотные площади в Китае.

Другое дело, что для освоения этих земель в прошлом не было условий, этому препятствовала, в частности, собственность на землю, но так или иначе, а китайский крестьянин веками жил и кормился на своем крохотном земельном участке и земледелие почти не развивалось путем вовлечения в оборот новых земель.

В начале очерков о деревне я уже приводил некоторые цифры, приведу и еще по последним данным.

Товарищ Хуа Шу в статье «Темпы развития сельского хозяйства в Китае»¹ приводит такие сведения.

¹ Журнал «Народный Китай» № 4 за 1957 год.

До антияпонской войны среднегодовая продукция зерновых составляла в стране 150 миллионов тонн. В 1949 году эта цифра снизилась до 113 миллионов, в 1952 году достигла 163 миллионов тонн. Было намечено получить в 1957 году 192,8 миллиона тонн зерновых, но уже в 1956 году эта цифра была превышена (за исключением соевых бобов).

Важнейшая зерновая культура — рис. В самом урожайном 1936 году общий сбор по стране дал 57,34 миллиона тонн, в 1949 году — 48,65 миллиона тонн, в 1956 году — 84 миллиона тонн.

Сбор хлопка составлял в 1936 году 850 тысяч тонн, а в 1956 году — 1 540 тысяч тонн.

Это очень высокие темпы роста.

Валовая продукция сельского хозяйства КНР и его подсобных промыслов увеличилась в 1952 году в стоимостном выражении на 48,5 процента по сравнению с 1949 годом, в 1955 году — на 70 с лишним процентов.

Собственно, китайская культура земледелия и в худшие для нее времена могла выдержать сопоставление с другими культурами. В то время как в 1948—1950 годах в среднем на земном шаре производилось 240 килограммов зерновых на душу населения, в Китае эта цифра достигала 280 килограммов¹.

Итак, сельское хозяйство Китая глубоко своеобразно и традиционно.

Ну, а китайская кухня? Разве она не столь же своеобразна и традиционна? А живопись? А музыкальная драма? А письменность? Нет, земледелие не представляет исключения, весь уклад жизни Китая своеобразен и глубоко традиционен, и нельзя, конечно, запросто реформировать земледелие, музыкальную драму, живопись и все другое.

Вернее, рядом с китайской музыкальной драмой могут возникать и европейские опера и драма, рядом с китайской письменностью — фонетический алфавит, рядом с китайской культурой земледелия — новая культура. Собственно, так оно и происходит, когда в Синьцзяне и Северо-Восточном Китае на целине создаются новые госхозы. Площадь вновь освоенных за последние годы земель составляет в Китае 12 миллионов га (общая пахотная площадь — 110 миллионов га). Но это вовсе не значит, что китайская культура земледелия исчерпала, изжила себя.

Еще в 1906 году замечательный русский ученый Александр Иванович Воейков указывал, что плотное население в сельскохозяйственных районах имеет свои преимущества. Оно позволяет на месте осуществлять переработку сырья, позволяет лучше обеспечить поля удобрениями, лучше их обработать, и в самом существовании такого населения тоже таятся большие возможности: проще наладить образование, людям легче бороться со стихийными бедствиями, легче организовать «взаимопомощь», как говорил Воейков, а в наши дни эта «взаимопомощь» звучит, как «кооперирование».

Я вспомнил Воейкова, когда председатель кооператива Чжоуцзячжуан рассказал мне следующий случай.

— Сколько лет я вел свое собственное хозяйство, — сказал он мне, — сколько лет уже работаю председателем кооператива, и за всю свою жизнь я узнал семнадцать видов удобрений. Нечего и говорить о навозе, о золе, об иле, который мы вычищаем из оросительных каналов, о дорожной пыли, молотом хлопковом жмыхе и молотых кирпичах, которые мы получаем время от времени, заменяя старые каны новыми.

Об этих удобрениях знают все, я знал даже больше других — семнадцать видов удобрений. Потому, что я знал больше других, я и не искал ни у кого совета. Но вот однажды я собрал стариков и других членов кооператива и спросил их: «Товарищи, кто знает, чем еще можно удобрить землю?» Представьте себе — мы записали тридцать три предмета, которые годны для этой цели. Одних только отходов хлопчатника набралось три или четыре, а сколько было названо рецептов компоста?

Я вспомнил слова Воейкова, вспомнил и тот вопрос, с которым ехал в китайскую деревню. Как, на какой основе развивается сельскохозяйственное производ-

¹ Статья профессора Сунь Цзин-чжи, журнал «Народный Китай» № 8 за 1956 год.

ство, хотел я узнать, если кооперирование покоится на прежней или лишь на незначительно изменившейся технической основе, не сопровождается механизацией?

Но, очевидно, одно только Освобождение не принесло бы в деревню таких результатов, как раскрепощение женщины, свободный брак, образование для молодежи и взрослых, не изменило бы так уклад жизни людей и их мораль, воспитанию которой так много придается значения в Китае, если бы вслед за Освобождением в деревне не было осуществлено кооперирование.

Странное на первый взгляд сочетание — социалистическое кооперирование и древнее, глубоко традиционное земледелие — на самом деле ведет к необычным успехам.

А далее — народный Китай на основе социалистических преобразований, которые он осуществляет жадно, использует все достижения современной мировой культуры, техники и науки. Он необыкновенно быстро создает свою индустрию, свой транспорт, энергетику, водное хозяйство. Во всем этом неоценима роль той помощи, которую оказывают Китаю индустриально развитые социалистические страны, и прежде всего Советский Союз, неоценима роль исторического опыта советского народа.

Но самая большая помощь дает результат лишь в том случае, если зерна ее падают в благодарную почву. Человеку не дано заранее видеть все то, к чему он стремится. Одно можно сказать: народный Китай добьется таких результатов, которые поразят весь мир.



С О Р О К Л Е Т Н А З А Д

Июнь, 1917 год...

Четвертый месяц русской революции Четвертый месяц двоевластия. Временное правительство ничем не оправдывало надежд широких масс трудящихся, проводило прежнюю политику. Империалистическая война продолжалась, разруха народного хозяйства в стране усиливалась, надвигался голод.

Меньшевистско-эсеровское большинство в Советах шаг за шагом сдавало свои позиции Временному правительству, фактически полностью его поддерживая.

Недовольство народа политикой Временного правительства все возрастало. Лозунг «Вся власть Советам!», выдвинутый Лениным и большевиками, постепенно завоевывал все большую популярность.

Одной из насущных задач момента был созыв съезда Советов, создание Всероссийского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Меньшевики и эсеры всячески оттягивали созыв съезда и приступили к его подготовке только под давлением народных масс.

Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся 3 (16) июня 1917 года в Петрограде. На нем было представлено более тысячи депутатов от многих городов и промышленных центров России, организаций Действующей армии и флота. Большинство голосов на съезде принадлежало меньшевикам и эсерам. Большевики имели всего лишь 105 голосов. Это и определило характер решений съезда.

Основным вопросом съезда был вопрос о власти. Меньшевики и эсеры выступали против передачи всей власти Советам, одобряли создание коалиционного министерства, утверждали, что без буржуазной власти стране грозит гибель.

Высказавшись за поддержку Временного правительства, эсеры и меньшевики тем самым выразили одобрение его внешней политике — политике продолжения империалистической войны до «победного конца». Под прикрытием разговоров о мире они одобрили подготовляемое Временным правительством наступление русских войск на фронте.

Только Ленин и большевики, присутствовавшие на съезде, разоблачали антинародную политику Временного правительства, предательскую роль меньшевиков и эсеров, выдвигали требование передачи всей власти Советам.

Однако съезд не поддержал предложений большевиков и принял резолюции, выработанные эсеро-меньшевистским руководством. Эти решения съезда, в корне противоречившие интересам народа, вызвали недовольство рабочих и солдат. Протест стихийно нарастал и вылился в демонстрацию, состоявшуюся 18 июня.

Меньшевики и эсеры пытались придать ей характер «мирной манифестации» под лозунгами доверия съезду, одобрения его решений. Однако это не удалось. Грандиозная демонстрация питерских рабочих и солдат Петроградского гарнизона прошла при участии и под руководством большевиков, под лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Контроль рабочих над производством!», «Немедленное вооружение народа!»

Демонстрации состоялись также в Москве и в других городах России, показав нарастающую революционность масс, все большее их высвобождение из-под влияния меньшевиков и эсеров.

С 16 по 23 июня в Петрограде проходила Всероссийская конференция фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б). Конференция заслушала сообщения о деятельности местных военных большевистских организаций, наметила меры по расширению их сети и дальнейшему организационному укреплению.

С докладами о текущем моменте и по аграрному вопросу на конференции выступил В. И. Ленин. Докладчиком по национальному вопросу был И. В. Сталин. В основу принятых резолюций были положены решения Апрельской конференции большевиков.

В своих воспоминаниях, публикуемых ниже, старые партийцы рассказывают о тех событиях, участниками или свидетелями которых они являлись в июне 1917 года. В конце этой подборки читатель найдет некоторые документы и корреспонденции из большевистских газет тех дней.

С. ШУЛЬГА,

член КПСС с 1916 года

„ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!“

3 июня.

Петроград. Васильевский остров. Огромное серое здание Кадетского корпуса. Возле него толпится народ. К дверям проходят люди в скромных рабочих костюмах, солдатских гимнастерках, ослепительно белых офицерских кителях, профессорских сюртуках. Кое у кого в руках «Известия Петроградского Совета»; бросается в глаза «шапка»: «3 июня 1907 г. была разогнана 2-я Государственная Дума, 3 июня 1917 г. открываются заседания 1-го Всероссийского Революционного Парламента». Под жирным шрифтом «шапки» — передовая: «Десять лет».

Солнце накаляет мостовую, стены, крышу. Жарко на улице. Битком набит зал заседаний. Делегаты сидят, а гости стоят за веревкой, отделяющей их от делегатских мест.

За длинным, покрытым красным сукном столом один за другим появляются члены президиума. Вот тучный брюнет, облаченный в серый костюм, — это Чхеидзе. Рядом важный, с видом ученого, Церетели. Выкатился в офицерской форме широкоплечий маленький Дан. Степенно уселся похожий на кудрявого быка Чернов.

Поднялся над столом, отирая платком пот со складок шеи и молитвенно покачивая колокольчиком, Чхеидзе, председатель Петроградского Совета, бывший член третьей и четвертой Государственных дум, меньшевик. В приветственной речи ватно-пухлые фразы о победе сил демократии, об их единении, о тяжелом политическом прошлом России. Коренные вопросы революции — мир, земля, хлеб, задачи дальнейшего развития революции — не волнуют «околопартийного социал-демократа», как его метко окрестил В. И. Ленин. Зато юбилейная дата — десятилетие разгона второй думы — глубоко трогает председателя Петроградского Совета. И «кульминация»: Чхеидзе на глазах у всего съезда крепко обнимает и целует близкого его сердцу меньшевика Церетели, бывшего члена второй Государственной думы, месяц назад ставшего министром почты и телеграфа.

Символ? Да! Это символическое открытие Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов полностью отражает всю суть мелкобуржуазной направленности этого съезда.

Тысяча девяносто делегатов съезда. Большевиков же среди них только сто пять. Можно ли судить по этому соотношению о фактическом влиянии большевиков на рабочие и солдатские массы к моменту откры-

тия съезда? Никоим образом! Меньшевики и эсеры немало поработали над «подготовкой» съезда, сделали все, чтобы максимально ограничить представительство большевиков. Они хитро разработали инструкцию о нормах представительства. Советы, объединявшие до ста тысяч избирателей, выбирали одного представителя на каждые двадцать пять тысяч. А Советы крупных промышленных центров, иначе говоря Советы с подавляющим влиянием большевиков, выбирали одного делегата от каждого пятидесяти тысяч избирателей. Точно так же были уравнены в правах небольшие фабрички и крупные предприятия. Та же картина и в армии: представителя на съезд давали только крупные воинские соединения, армейские, фронтовые Советы.

Даже гостевые билеты, которые распределял исполком Петроградского Совета, преимущественно были розданы меньшевистско-эсеровским единомышленникам.

Мне и еще нескольким товарищам поручена работа по обслуживанию делегатов съезда большевистскими газетами, листовками, брошюрами, книгами.

4 июня.

Сегодня обсуждается вопрос об отношении к Временному правительству. С докладом выступает меньшевик Либер. Мысль о переходе власти к Советам он отвергает решительно. Да это и понятно: эсеро-меньшевики привыкли быть у буржуазии в услужении.

Вечером выступает Церетели. Дорогой черный костюм, ораторская поза, театральные жесты, в голосе величавость: Церетели очень горд своим министерским постом.

Интересно, как он ответит на вопросы: почему война затягивается, почему в стране разруха и голод усиливаются? Так, так. Ну, конечно, чего же ждать от этого «социалиста»-министра! Один ответ: надо усилить поддержку и доверие Временному правительству со стороны Советов, надо энергичнее помогать ему укреплять дисциплину и боеспособность армии, чтобы добиться победы на фронтах; надо прекратить «самоуправство» на местах, надо энергично бороться с большевиками, которые мешают Временному правительству выполнить намеченную им программу.

Еще десять лет назад на Пятом съезде партии Владимир Ильич квалифицировал Церетели, депутата второй думы, так: «...вместо того, чтобы смотреть вниз, — убедить народные массы, показать им правду, — Церетели смотрит вверх, желая убедить либералов...» Вот и сейчас Церетели смотрит вверх, доказывает, какую большую ответственность взяло на себя Временное правительство, как сложна политическая обстановка. Но о рабочих, о крестьянах, их нуждах — ни слова.

— В настоящий момент, — безапелляционно заявляет он, — в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место.

Зал притих. Церетели громко настаивает:

— Такой партии в России нет!

И вдруг:

— Есть такая партия!

Это было потрясающе. Возглас Ленина «Есть такая партия!» прозвучал так, что присутствующие на съезде нутром почувствовали в нем голос сотен тысяч рабочих, солдат и крестьян, которые хотят идти за такой партией, чтобы во главе с такой партией ринуться в бой за решение давно назревших коренных дел их жизни. Ленин сказал только три слова, а сила и страстная убежденность их была такова, что, казалось, съезд услышал в них всю боевую ленинскую программу партии. Эти слова

Ленина в то же время наносили удар по соглашательству меньшевиков и эсеров с буржуазией, разоблачая их измену интересам рабочих и крестьян.

И хотя Ленину потребовалось всего несколько секунд, чтобы произнести свои исторические слова, впечатление от них было настолько велико, что от грома аплодисментов многих делегатов съезда, от полного оцепенения и замешательства всех ярых противников большевизма как-то сразу потерялась мера времени. Ленин уже давно сел на место, а зал все гудит и гудит, возглас Ленина продолжает звучать как сама правда народа.

Оглядываю зал. В середине, на левой стороне от президиума, — делегация большевиков. Ленин, спокойный, сосредоточенный, гладит свой лоб. О чем он сейчас думает?.. У всегда ровного, выдержанного Свердлова задористым весельем горят глаза. Наклопившись к уху Крыленко, что-то шепчет Дзержинский. Приглаживая усы, иронически смотрит на президиум Сталин. Здесь же Володарский, Коллонтай, Луначарский, Невский, Подвойский...

А меньшевики, эсеры растерялись. Ерзают в президиуме испуганные реакцией зала растерянные руководители съезда.

— За такую партию горой встанут, — говорит кто-то рядом со мной. — За такой партией пойдут.

— Да, да, — киваю головой, аплодирую.

На трибуне все стоит потерявший сразу весь свой лоск Церетели. Что-то говорит. Его не слушают.

— Ленин! Ленину слово!

И вот на трибуне Ленин. Он не министр, не представитель правительства. У него нет ни капли высокомерности, нет важной осанки, которая отличает европейских «социалистов». Он предельно близок, человечески обычен, свой, весь от народа.

Ленин говорил:

— Первый и основной вопрос, который стоял перед нами, это вопрос, где мы присутствуем, — что такое те Советы, которые собрались сейчас на Всероссийский съезд...

Кого представляет этот съезд Советов, в чем его главная задача? Как практически, перейдя от слов к делу, Советы могут покончить с войной?

Ленина совершенно не смущало, что формально вопрос о войне стоял в порядке дня вторым по очереди. Он твердо знал, что для народа нет более важного вопроса, чем вопрос о войне, что народ ждет ясного ответа, как покончить с этой проклятой войной.

В простых, доходчивых словах Владимир Ильич убедительно доказывал, что главный зачинщик войны — это буржуазия, что, только свергнув буржуазию, можно прекратить империалистическую бойню. Только у нас в стране, подчеркнул Ленин, рабочие и солдаты уже имеют такую необходимую для подлинной власти народа силу, как Советы рабочих и солдатских депутатов.

— ...Он говорил, — продолжает свою речь Ленин, имея в виду предыдущего оратора, — что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: «есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком»...

Буржуазно-соглашательской тактике меньшевиков Ленин противопоставляет смелую, твердую линию большевистской партии:

— Наш первый шаг, который бы мы осуществили, если бы у нас была власть: арестовать крупнейших капиталистов, подорвать все нити их интриг. Без этого все фразы о мире без аннексий и контрибуций — пустейшие слова.

Тишина. Зал, весь зал затаил дыхание. Делегаты внимательно слушают. Речь Ленина практически отвечает на вопрос, как на деле, а не на словах можно покончить с войной.

Даже меньшевистские вожди неподвижны, молчаливы.

Но вот Чхеидзе встряхнулся, опомнился. Он страшно обеспокоен тем впечатлением, какое производят на делегатов слова Ленина. Обрывает его речь:

— Ваше время исчерпано.

Владимир Ильич спокойно отвечает:

— Я через полминуты кончаю...

Зал протестует:

— Продлить! Продлить!

Выкрики сливаются в сплошной гул. В президиуме озираются друг на друга, перешептываются. Наконец председатель говорит:

— Докладываю съезду, что президиум предлагает продлить срок речи оратора. Кто возражает?.. Большинство — за продление речи.

Ленин продолжает речь. Говорит он долго. Съезд слушает.

5—8 июня.

«Хозяева» съезда — меньшевики и эсеры — в ярости от ленинской речи. Они решают дать бой. Президиум выпускает на трибуну одного за другим самых «боевых» ораторов из меньшевиков и эсеров. Сразу вслед за Лениным дали слово Керенскому, затем министру-«социалисту» Скобелеву, потом популярному эсеровскому оратору Чернову. Вытащили на трибуну и меньшевика Дана.

Начинаю понимать, что расстановка этих ораторов — весьма хитроумная затея президиума съезда. Скобелев, министр труда, должен ослабить впечатление ленинской речи у рабочих. Чернов, министр земледелия, — у крестьян. «Солдатский специалист» Дан — у солдат и матросов.

Пять дней меньшевики и эсеры усердно выколачивают из сознания масс впечатление, оставшееся от выступления Ленина. Меньшевистско-эсеровские ораторы не стесняются ни в чем: ни в выражениях, ни в средствах. Они «хозяева» съезда. И президиум беспрепятственно разрешает им выходить за любые рамки вежливости по отношению к Ленину, к большевикам, неограниченно нарушать регламент.

Говорит Керенский. Он совершенно распоясался в своем озлоблении. Ленин-де «забыл Маркса», требования Ленина арестовать капиталистов — верное доказательство тому, что Ленин даже не социалист, а «держиморда». Да, да, именно так он и говорит.

Зал возмущен. Зал протестует.

Мягко изгибается к залу Чхеидзе, разъясняет присутствующим: в этом выражении нет, мол, ничего грубого, это, дескать, просто такой уж литературный прием.

Антиленинцев никто не останавливает. Церетели и Скобелев получают слово вне всякой очереди по несколько раз. Еще бы! Все их стрелы направлены только в одну цель — в Ленина.

...Комната большевистской фракции съезда. Часть заседаний устраивается открыто. Пройти в комнату уже невозможно — перед дверями толпа. Здесь и беспартийные делегаты, здесь и рядовые члены других партий. Только что кончил говорить кто-то из большевиков. Рядом со мной двое: солдат и рабочий.

Солдат:

— А ведь верно. Я вот в Питере четыре дня. Все сам вижу. Рабочий — это сила. Это он, большевик-то, верно говорит.

Рабочий:

— Верно, говоришь? Ну, давай, друг, руку. Закрепим союз рабочего класса и крестьянства.

Кажется, в шутку, а на деле как серьезно и крепко жмут друг другу руки!

На заседание фракции сегодня не пробиться. Я возвращаюсь к своему киоску в вестибюле. В заседаниях перерыв, и в вестибюле людно. Два киоска: наш и меньшевистский. У нашего шумно, толпятся делегаты, окружили длинный некрашенный стол. На нем быстро тающая гора литературы. У меньшевистского киоска тихо, чинно стоит небольшая группа аккуратно одетых людей. Подхожу к нашему киоску.

Крестьянин, бородатый, голубоглазый, сильно окая и краснея, обращается ко мне:

— Дочка, эсеры мы. В политике-то не совсем... того... Ты уж нам помоги... В деревне-то у нас Лениных своих нету. Я вот слышал его, а наши деревенские и не слышали никогда. Дай ты мне что-нибудь про правду. Только про крестьянскую, про нашу. Эсеровскую мы знаем. Сами, чать, эсеры. А нам теперь про ленинскую знать надобно.

Показываю ему литературу — брошюры Ленина, Либкнехта, «Кому нужна война» Коллонтай, листовки.

— Давай, давай, дочка. Давай что есть.

И забирает пять нераспечатанных пачек, по сто экземпляров каждая.

Под окнами рычат грузовики. Это привезли свежую литературу из редакции «Правды» и книжного склада большевистского издательства «Прибой». Вновь привезенная литература расходится быстро.

И так утром, днем, вечером, ночью — почти круглые сутки.

Не важно, что в зале заседаний съезда фракция большевиков занимает лишь около десяти процентов, — наш книжный и газетный киоск распространял свою деятельность так, что занял девяносто процентов территории вестибюля. И вот здесь-то, в вестибюле, и видно по-настоящему, как массы прислушиваются к большевикам, как они буквально впитывают ленинскую правду.

Эсеры и меньшевики пытаются здесь же, в массе делегатов, проводить свою агитацию. Но это не то, что в зале заседаний, где они чувствуют себя полноправными «хозяевами». Пять дней прошло с момента открытия съезда. За это время уже немало рядовых делегатов стали серьезно задумываться над переоценкой своих политических позиций. Я вспоминаю того же голубоглазого крестьянина. В кармане у него партийный билет эсера, а в сердце он большевик. Эсеровская «правда» ему надоела. Правда у большевиков — это убеждение не только его, но и очень многих, многих делегатов.

9 июня, день.

Голосование резолюции по итогам прений. В массах делегатов съезда меньшевистско-эсеровское руководство не чувствует того твердого единодушия, которого оно так усердно добивалось в эти дни. «Виноват» в этом Ленин. Головка съезда нервничает, суетится. Чтобы обеспечить больший успех при голосовании резолюции, меньшевики и эсеры подготовили объединенный проект резолюции. На своих фракционных заседаниях они решительно потребовали в порядке партийной дисциплины не уклоняться от поддержки этой резолюции.

Проголосовали. Ждем результатов. 543 голоса — за меньшевистско-эсеровскую резолюцию, 126 — против, 52 — воздержались. Мы приуныли: подавляющее большинство поддержало меньшевиков и эсеров.

Ленин вышел из зала. Мы сгруппировались около него. Увидел удрученные, погрустневшие глаза, заулыбался.

— Что, товарищи, негладко что-то у них с арифметикой? А?

— Почему? — не поняли мы.

— А как же? Меньшевиков и эсеров на съезде около шестисот, а голосов пятьсот сорок три — подвела соглашателей арифметика!

Кто-то подхватил шутку:

— Так и у нас, Владимир Ильич, с арифметикой не в порядке: на съезде большевиков — сто пять, а против меньшевистско-эсеровской резолюции подано сто двадцать шесть голосов.

Владимир Ильич хохочет:

— Да, да, вы правы. Но разница та, что у них получается дважды два — стеариновая свеча, а у нас: дважды два — не четыре, а пять.

Все ясно. Провал нашей резолюции? Нет! Владимир Ильич прав: мы побеждаем, и мы победим.

Сегодня же второе выступление Ленина по вопросу о войне. Записываю кратко сущность. Владимир Ильич разъясняет, что такое империализм и почему империализм неизбежно ведет к войнам; Ленин говорит, что смехотворно бороться против войны словами и манифестами. Выход из этой войны только в революции. Ленин призывает поддерживать революцию угнетенных капиталистами классов, свергать класс капиталистов в своей стране и тем давать пример другим странам. Уничтожающей критике подвергает Владимир Ильич лицемерие соглашательской, антинародной политики меньшевиков и эсеров в вопросах войны и мира.

Свою речь Владимир Ильич заканчивает цитатой из письма одного крестьянина. В письме этом, написанном в газету «Социал-демократ», автор приходит к такому выводу: «Нужно побольше напирать на буржуазию, чтобы она лопалась по всем швам. Тогда война кончится. Но если не так сильно будем напирать на буржуазию, то скверно будет».

В зале гром аплодисментов.

9 июня, вечер.

Питер настроен по-боевому. Рабочие, солдаты Петрограда сплачиваются под знаменем ленинских лозунгов. Они полны решимости предъявить съезду Советов требования передать всю государственную власть Советам, хотят продемонстрировать свою волю, поддержать программу большевиков по всем коренным вопросам революции. Учитывая это боевое настроение питерцев, ЦК партии, вместе с Петроградским комитетом и бюро профсоюзов, назначил на 10 июня мирную политическую демонстрацию, призывая рабочих и солдат выйти с лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Рабочий контроль над производством!», «Хлеба, мира, свободы!», «Землю крестьянам!» и другими.

Призыв ЦК подхватили. В эти дни партия под руководством Ленина провела большую агитационную работу. На фабриках и заводах с воодушевлением готовились к этой демонстрации. Было известно, что солдаты и матросы собираются присоединиться к рабочим и будут тоже участвовать в демонстрации.

Но президиум съезда решительно запротестовал. Меньшевики и эсеры, истощно проклиная большевиков, требовали, чтобы съезд немедленно запретил демонстрацию. Тогда же в Петрограде заседал и общеказачий съезд. Меньшевики для пушей убедительности стали аргументировать недопустимость большевистской демонстрации тем, что казаки собираются встретить ее кровавой расправой.

Опустился на город вечер, прохладный и ясный. Ветерок пролетает по вестибюлю, шуршит в нашем киоске бумагой. Только что нам привезли тюки свежих газет, листовок и брошюр. Я стою среди этой груды агита-

ционной литературы, развязываю пачки. Оглянулась и вижу: неподалеку справа, на ступеньках лестницы, опершись на перила, стоит Ленин. Наклонил голову, слушает кого-то. Тот держит себя с Владимиром Ильичем запросто, почти по-приятельски, крутит пуговицу жилетки Ленина и в чем-то настойчиво его убеждает.

Невольно прислушиваюсь. Ну, понятно! Это меньшевик. Речь идет об отмене демонстрации. Большевик умоляет, доказывает, внушает, угрожает. Ленин молча слушает. Ленин молчит, а его глаза выразительно отвечают. В них явная насмешка над «хозяевами» съезда.

— Владимир Ильич, я жду, что же вы не отвечаете?

— Простите, батенька, вы же говорили всегда, что большевики не пользуются влиянием в массах. Вам, очевидно, виднее.— И, хитро прищурив правый глаз, предлагает: — Так что отправляйтесь-ка на фабрики, на заводы, направьте самых сильных своих ораторов. Может быть, массы послушают вас, согласятся отменить демонстрацию.

— Но, Владимир Ильич...

А Ленин уже не слушает. Большевик, пожав плечами, исчезает.

Эсеры, меньшевики пытаются своими силами отменить демонстрацию, говорить рабочих, посылают к ним на заводы и фабрики своих представителей.

Прямо на заседание съезда прибежал меньшевик Суханов.

— Нас слушать не хотят! — кричит он с трибуны.— Верят только большевикам!

Двенадцать часов ночи. Президиум съезда, обсудив создавшееся положение, прибегнул к крайней мере: от имени съезда вынес решение запретить всякие демонстрации в течение трех дней: 10, 11, 12 июня.

Два часа ночи. Созывается большевистская фракция. Владимир Ильич коротко объясняет собравшимся: ситуация такова, что необходимо подчиниться решению съезда. ЦК партии постановил: демонстрацию отменить.

Задача невероятно трудная, в нашем распоряжении всего лишь несколько часов. А сотни тысяч рабочих, матросов, солдат готовы к выступлению, ждут, когда наступит назначенное время. Как их остановить, как сделать так, чтобы одновременно во всех районах Петрограда и его окрестностях задержать этот мощный людской поток?..

И все мы до единого человека прямо с совещания, уже почти на рассвете, спешим на заводы, фабрики, в воинские части.

10 июня.

Массы поняли большевиков и подчинились решению ЦК партии. В «Правде» пришлось снять все лозунги, связанные с демонстрацией, поэтому полосы газеты с пробелами. И тем ярче выделяется набранное крупным шрифтом обращение: «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда».

«В виду того, что Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, к которому присоединился Исполнительный Комитет Совета Крестьянских Депут., постановил, признавши обстоятельства совершенно исключительными, запретить всякие, даже мирные, демонстрации на три дня, Центр. Комитет Росс. С.-Д. Рабочей Партии постановляет отменить назначенную им на 2 часа дня, в субботу, демонстрацию. Центральный Комитет призывает всех членов партии и всех сочувствующих ей провести это постановление в жизнь».

11 июня.

В «Правде» статья Ленина «Запутавшиеся и запуганные» — объяснение причин отмены демонстрации, разоблачение пресмыкательства и соглашательства меньшевиков и эсеров

Отложила газету. Надо бы выспаться после бессонной ночи, но меня ждут на моей фабрике («моя» потому, что я часто там бываю как агитатор).

Приехала. До обеденного перерыва еще пятнадцать минут. Пройдусь по цехам. Повсюду листовки, транспаранты. Крупными буквами написаны короткие боевые ленинские лозунги. Большевики и эсеры пытались их срывать. Как-то работницы застали одного такого. Он резал ножом лозунг «Вся власть Советам!». Туго ему пришлось, еле ноги унес.

Фабричный гудок. Работницы выходят из цехов. Многие направляются к дощатому сараю в глубине двора. Вместе с ними иду и я. Здесь пункт по ликвидации неграмотности.

Наскоро сколоченный стол, врытый в землю, скамьи. К стене прислонен лист фанеры, вымазанный сажей. Мелом пишу слово «мир». Подбирая самые простые слова, говорю о политике партии. Так, попутно с обучением грамоте мы разбираем на уроках ликбеза все основные ленинские лозунги.

Ко мне подходит «ученица» лет на тридцать старше меня:

— Я говорю своему сыну: видать, Ленин правильный человек, очень он все по-нашему судит-рядит. А сын смеется. «Ну, — говорит, — мать, ты у меня большевичка совсем». Теперь придет домой, все рассказывает, объясняет. Понимаешь, мы теперь с ним и по душе родные стали, не по крови только...

В дверь заглядывает знакомый рабочий.

— Вот вы где! Ну, здравствуйте. Хотите новую песенку послушать? Демьян Бедный («Мужик вредный») написал.

И он, подтанцовывая, поет на мотив «барыни»:

Не горюй, не плачь, жена:
С немцем кончится война...
С немцем кончится война:
Надоела нам она.
— Надоела, барыня,
Ну ее, сударыня.
Бойня начата не нами,
А царями да панами...
За чужие дележи
Неча лезть нам на ножи...
Так ты всем и расскажи.

Он отводит меня в сторону.

— Уважает эту песню народ. Переписывают. Родным в деревни шлют, землякам на фронт.

18 июня.

Съезд запретил демонстрацию на три дня, а как быть в последующие дни? Рабочие и солдаты требовали ответа. И съезд был вынужден пойти на уступки.

На сегодняшнее воскресенье съезд уже от своего имени назначил манифестацию (не демонстрацию!) к Марсову полю, с тем чтобы возложить венки на братские могилы жертв Февральской революции. Большевикско-эсеровское руководство рассчитывает таким образом повернуть настроение масс назад, к самым истокам буржуазно-демократической революции. Большевики и эсеры думают, что этот маневр отвлечет массы от большевистских лозунгов. Посмотрим!..

Сегодня выпал солнечный денек. Улицы залиты народом. Говорят, вышло около полумиллиона демонстрантов. Всюду, куда ни помотришь, лозунги:

«Вся власть Советам!»

«Долой 10 министров-капиталистов!»

«Долой войну!»

С каждой минутой совершенно очевидным становится, что вместо назначенной съездом манифестации получается внушительная политическая демонстрация. Она зовет к дальнейшему развитию революции.

Делегаты съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, наблюдая, как район за районом столицы дружно шествует под знаменами большевиков, получили возможность наглядно убедиться в том, что возглас Ленина: «Есть такая партия!» — это голос действительно сотен тысяч рабочих и солдат. Две недели изо дня в день меньшевики и эсеры истощно доказывали делегатам съезда, что большевики — «кучка», не имеющая никакой поддержки в народе. И вот — мощная демонстрация, которая так решительно опрокинула их планы и надежды.

Меньшевикско-эсеровские вожди оказались в затруднительном положении. Ведь только два дня тому назад они за спиной съезда Советов дали свое согласие поддержать приказ военного министра Керенского о наступлении на фронте. Приказ этот уже подписан и передан командованию фронтом. Расчет был такой: вместо запрещенной большевистской демонстрации, назначенной на 10 июня, 18 июня будет обычная торжественно-похоронная манифестация к братским могилам жертв Февральской революции. Похоронная манифестация получилась, но хоронили-то меньшевиков и эсеров.

Сегодня на фронте должно начаться наступление. В этом буржуазия видела единственную возможность разделаться с революцией. Керенский твердо обещал, что это наступление будет победоносным.

19 июня.

Конечно, пышные речи приготовлены заранее. Вчера началось наступление на фронте, сегодня началось наступление на съезде. С трибуны залпом выступают министры-«социалисты» Церетели, Чернов, Скобелев, опять Чернов. Они все — сговорились, видно! — обходят молчанием вчерашнюю демонстрацию. Ее как будто и не было. Бесконечный словопад восторженных приветствий войскам, погнанным в наступление.

— Товарищи, открывается новая страница в истории великой русской революции! — восклицает меньшевик Церетели. — Наша революционная армия перешла в наступление.

Он прав в одном: страница в истории революции открыта. Но не наступлением на фронте, а вчерашней демонстрацией!

Торжественный, ура-патриотический тон все выше и выше поднимается в последующих выступлениях министров-«социалистов». Большевикам слова не дают, и тут же, твердой рукой председателя гильотинировав прения, быстро и энергично ставится на голосование заранее заготовленная меньшевикско-эсеровская резолюция.

Большевики не сдаются, вносят свою контррезолюцию, в которой побоевому сформулирована ленинская оценка буржуазной политики Временного правительства: политика немедленного наступления выгодна только контрреволюции; эта политика идет прямо вразрез с волей авангарда русской революции, так убедительно показанной в демонстрации 18 июня.

Съезд подавляющим большинством принял меньшевикско-эсеровскую резолюцию и перешел к очередным делам.

* *

*

Буржуазная, крайне реакционная газета «Новое время» писала: «...Ленин!.. Но имя ему легион. На каждом перекрестке выскакивает Ленин,

И очевидно становится, что здесь сила не в самом Ленине, а в восприимчивости почвы...»

Владимир Ильич, процитировав эту буржуазную тираду, на следующий день в «Правде» ответил: «...если «на каждом перекрестке» именно эти взгляды находят сочувствие, так причина тому — правильное выражение этими взглядами интересов пролетариата, интересов всех трудящихся и эксплуатируемых».

То, что в России «есть такая партия», волей-неволей должны были признать враги. Факты убеждали их в этом.

А съезд? Что ж съезд?.. Приходилось слышать:

— Говорильня всероссийского масштаба.

— Собирались, заседали, говорили и судили.

Так оно и есть: с 3 по 24 июня (с 16 июня по 7 июля) 1917 года заседал Первый съезд Советов, оставил в наследство истории целую грудку длинных и туманных резолюций, в которых ни один из коренных вопросов революции не был решен.

Их решил через четыре месяца — 25—26 октября—Второй Всероссийский съезд Советов. Решил полностью в интересах народа. По-ленински!

Я. РУДНИК,

член КПСС с 1917 года

СЛЫШНЫ РАСКАТЫ ОКТЯБРЯ

В дни Февральской революции балерина Кшесинская бросила свой дворец, подаренный ей Николаем Романовым, «на произвол судьбы». Дворец занял революционный отряд, в который входили солдаты броневозного дивизиона и рабочие. Потом здесь разместились Центральный Комитет, Петроградский комитет и Военная организация РСДРП(б). В этом же здании был организован гарнизонный социалистический клуб, клуб «Правда», сыгравший видную роль в большевизации Петроградского гарнизона. Сюда, в широкий зал на первом этаже, приходили солдаты поделиться своими сомнениями, найти ответы на беспокоившие их вопросы.

В то время я, юнкер 3-й Петроградской школы прапорщиков, был членом Военной организации большевиков и ежедневно посещал наш солдатский клуб, принимал участие в беседах с солдатами. У нас это называлось «агитацией в кучках»: увидишь, что собралась небольшая группа людей, подойдешь к ним, вступишь в разговор, постарайся помочь правильно разобраться в обстановке.

Как сейчас вижу перед собой этот клуб «Правды». Посреди большого зала длинный ряд столов. На стене, напротив входа, лозунг: «Вся власть Советам!» Мягкие кресла вперемежку с табуретками, венскими стульями, простыми деревянными скамейками. Табачный дым, шум, гомон. Спорящие хотят перекричать друг друга. В углу вокруг Н. И. Подвойского, руководителя нашей Военной организации, толпится народ. Это агитаторы, активисты «Военки». Николай Ильич знал всех нас в лицо и если не всегда запоминал по фамилиям, то отлично помнил, кто из какой воинской части.

Как-то в начале июня Подвойский, заметив меня среди посетителей клуба, помахал рукой.

— Юнкер, идите-ка сюда!

Возле него стояло несколько товарищей. Николай Ильич вкратце рассказал нам, что Центральный Комитет партии решил провести 10 июня

мирную демонстрацию питерских рабочих и солдат. Мы должны были немедленно направиться в свои казармы и провести там подготовительную работу, добиться, чтобы демонстранты вышли с большевистскими лозунгами. Нужно сказать, задача была не столь уж трудной. К этому времени массы трудящихся начали понимать, что Временное правительство ничего для них не собирает, да и не может сделать. Глухое недовольство народа нарастало, ища выхода. Поэтому, когда солдат Захаров и я выступили в электротехническом батальоне с призывом выйти 10 июня на улицы Петрограда, нас дружно поддержали.

— Давно пора! — кричал низенький солдат в распахнутой шинели, стоя на бочке, заменявшей трибуну. — Пойдем все и в один голос скажем съезду Советов: «Не хотим воевать, вот и все! Отдайте мужикам землю, а рабочим фабрики». Для чего ж иначе революцию делали?!

На просторном плацу поднялся шум. Наиболее горячие головы предложили:

— А чего ждаты! Идем сейчас. Стройся! На улицу!

И солдаты начали строиться.

Только с помощью батальонного комитета нам еле удалось отговорить солдат от преждевременного неорганизованного выступления. Как рассказывали тогда товарищи, примерно такая же картина была и в других воинских частях, на заводах и фабриках.

Поздно вечером я по обыкновению зашел в клуб «Правды». В зале мебель была сдвинута в сторону, на полу лежали длинные полотнища красной материи. Тут же, в кругу солдат, с кистью в руках на четвереньках пристроился Сергей Николаевич Сулимов, выделенный от Петроградского комитета для работы в военной организации. Когда я вошел в зал, он заканчивал писать слово «долгой». Поставив черточку над «и» кратким, он поднялся с пола и, склонив голову набок, посмотрел на написанное.

— А что, — добродушно рассмеялся он, — как будто получается. — И опять опустился на колени. Сергей Николаевич явно скромничал — рисовальщик он был отменный.

Работа кругом кипела. Настроение было боевое. С нетерпением ждали 10 июня. Но...

Первый съезд Советов, проходивший под руководством меньшевиков и эсеров, вынес решение о запрещении демонстрации трудящихся. Меньшеvistские вожди, Чхеидзе и Церетели, истерически кричали о «подрывной» деятельности большевиков.

В ночь с 9 на 10 июня Центральный Комитет партии по предложению В. И. Ленина решил, что будет тактически правильным подчиниться постановлению съезда и не проводить демонстрацию.

Раннее утро 10 июня. Я пришел в клуб «Правды», чтобы доложить о готовности солдат выйти на улицы.

— Сейчас же поезжайте по частям, юнкер, — встретил меня Подвойский, — и сделайте все возможное и невозможное, чтобы солдаты не вышли на демонстрацию.

— Как же так? — удивился я.

— А вот так! — подтвердил Николай Ильич и разъяснил, в чем дело.

Обстановка была очень напряженной. В клуб все время приходили люди, докладывали и опять исчезали. Пока я разговаривал с Подвойским, прибежал офицер в чине прапорщика.

— Товарищ Подвойский, — вытянувшись в струнку, как перед высоким начальством, растерянно говорил он, — солдаты такого-то полка (не помню сейчас, какой полк он назвал) не хотят никого слушать, говорят, что они сами пойдут на демонстрацию.

— Владимир Иванович, — обратился Николай Ильич к подошедшему Невскому, одному из лучших ораторов «Военки», — немедленно отправ-

ляйтесь с прапорщиком. Надо во что бы то ни стало убедить солдат не выступать сегодня.

Я тоже опретью бросился к казармам электротехнического батальона. Во дворе меня встретил возмущенный гул сотен голосов. Слышались выкрики: «Провокация! Не может быть! На улицу!»

Оказывается, Захаров успел уже собрать солдат и рассказать им об отмене демонстрации. Я протолкался вперед. Попытался было заговорить, но мне не дали.

— Долой! — кричали возбужденные солдаты.

Кое-как навели порядок, рассказали, чем вызвано решение партии. Ленину, большевикам поверили.

В два часа дня, когда было назначено начало демонстрации, на улицу почти никто не вышел.

И все же страсти не утихли, настроение рабочих и солдат было накалено до предела, они требовали самых решительных мер. Петроград, его рабочие окраины кипели. Меньшевики и эсеры почувствовали, что надо открыть клапан, дать возможность массам выступить. Обрадовавшись миру своего успеха в связи с запретом демонстрации, они слишком понадеялись на свои силы и влияние и, конечно, промахнулись.

По решению съезда Советов на 18 июня назначена всеобщая демонстрация. При этом меньшевики и эсеры рассчитывали, что массы утратили доверие к большевикам и что народ пойдет теперь с меньшевистско-эсеровскими лозунгами. «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» опубликовали такие лозунги: «Единство сил всей революционной демократии России!», «Через Учредительное собрание к демократической республике!» и так далее в таком же духе.

Для нас опять наступили горячие деньки. Надо сказать, что агитация меньшевиков и эсеров явно не имела успеха. Даже в тех случаях, когда им удавалось уговорить солдат, стоило появиться нашему агитатору и разъяснить истинный смысл их призывов, как солдаты быстро понимали, на чьей стороне правда.

Интересный случай произошел в 1-м пехотном полку. До прихода агитатора-большевика там уже побывал кто-то из меньшевистских говорунов, по-видимому весьма опытный. Наш товарищ все же удачно провел митинг, его обступили люди, стали спрашивать о большевиках, о Ленине, ответы были вразумительные, солдатам пришлось по душе.

— А ведь мы было и плакаты успели приготовить, — заметил один из солдат.

Пошли смотреть: «Да здравствует Третий Интернационал!», «Долой контрреволюцию!» и вдруг... «Война до победного конца!»

— А на кой ляд вам далась эта война, да еще до победного конца?

Смущенно улыбаясь, солдаты отводили глаза. Кто-то объяснил:

— Да вишь ты, как получилась эта петрушка. Приехал тут этот, говорил, говорил, ну взяли и написали.

— Стой, братва! — послышался басистый, трубный голос, и из толпы выдвинулся усатый, гвардейского вида солдат. — Сейчас мы это дело исправим.

Он схватил стоявшую неподалеку банку с краской и быстро расстелил на земле злополучный плакат. Вскоре на лозунге появилась приписка: «над буржуазией всего мира!» Так с этим лозунгом 1-й пехотный полк и демонстрировал 18 июня: «Война до победного конца над буржуазией всего мира!»

Понимая, что их планы терпят поражение, оппортунисты в конце концов стали агитировать за такое предложение: на каждом лозунге должно быть указано, какой батальон, рота, взвод выдвигает тот или иной лозунг. Это давало возможность взять на учет большевистски настроенные подразделения, с тем чтобы потом можно было расформировать революцион-

ные части. Конечно, мы поспешили растолковать этот замысел, и солдаты решительно провалили его.

Восемнадцатого июня спозаранку я пришел в электротехнический батальон, вместе с которым должен был идти на демонстрацию. Солдаты еще спали. Вот на плац вышел горнист и, вскинув трубу навстречу ярким солнечным лучам, протрубил сигнал: «Подъем!»

Замелькали фигуры, с шутками и смехом солдаты быстрее обычного закончили свои утренние процедуры.

— По-вздо-дно-о-о, в колонну по четыре, станови-и-ись! — пронеслась команда. Казалось, прошло лишь мгновение, и батальон выровнялся в четкий квадрат.

— Музыканты, запевайте, с места с песней, шагом ма-а-арш!

Грянул оркестр, взвились голоса:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Широко распахнулись ворота, и батальон во главе с командиром влился в людской поток, двигавшийся по Инженерной улице.

— Ура-а! — приветствовали наше появление колонны демонстрантов. — Да здравствует дружба солдат и рабочих! — неслось по всей улице.

Праздничные одежды, решительные лица, стройные колонны демонстрантов, боевые революционные песни, десятки, сотни лозунгов и транспарантов, среди них: «Требуем решительных мер против контрреволюции!», «Вся земля народу без выкупа!»

Между двумя трамвайными столбами бессильно повис одинокий призыв: «Доверие Временному правительству!» Это была символическая картина: доверие Временному правительству повисло в воздухе.

Колонны направились к Марсову полю. Во главе с членами президиума Первого Всероссийского съезда Советов и исполкома Петроградского Совета демонстранты подошли к могилам жертв революции и в траурном молчании склонили знамена. Потом все собрались возле трибуны.

Чхеидзе, Церетели и весь их «синклит» делали хорошую мину при плохой игре. Они старались не замечать, что демонстранты вышли под большевистскими лозунгами.

По окончании официальной части демонстрации я решил побродить по городу, посмотреть, что там творится. Все центральные проспекты, улицы, переулки были заполнены рабочими, работницами, солдатами. Что мне бросилось тогда в глаза — это отсутствие ораторов соглашательских партий. Обычно на Марсовом поле, на площадях Петрограда ежедневно собирались толпы людей, перед которыми выступали представители различных партий и, не стесняясь в выражениях, всячески поносили большевиков. А сегодня — никого, будто их смыло волной народного гнева. За весь день я не слышал ни одного из них. Да и понятно почему...

Группа «Единство», возглавляемая Плехановым, вышла на демонстрацию под лозунгом «Доверие Временному правительству!». На эти плакаты косились, однако до Марсова поля все шло более или менее благополучно. Но как только эта группа интеллигентов вышла за пределы площади, их встретил возмущенный гул толпы, стоявшей на тротуарах и наблюдавшей за шествием.

— Фью! — пронесся озорной свист. — Бросай плакат!

Люди грозно придвинулись к растерявшимся «защитникам» Временного правительства.

— Вы что, супротив народа идете? — напирала на них. — Эй, Васька, у тебя рука покрепче, образумь-ка вон того, что с «доверием»...

Какая-то худая, острая дама в пенсне встала между группой и толпой и, раскинув руки, заверещала тонко, надрывно:

— Не позволю! Только через мой труп!

Длинный господин, на голову торчавший над своими единомышленниками, возмущенно тряс козлиной бородкой.

— Мы протестуем! — фальцетом выкрикивал он. — Это — нарушение свободы, декларированной революцией!

— Свободы? — хохотали окружающие. — А при царе ты кем был?

Людям в визитках, котелках и галстуках-бабочках пришлось бы туго. Но тут подоспела колонна рабочих с Выборгской стороны.

— Что вы, что вы, товарищи, — уговаривали они разбушевавшуюся толпу, — бить нельзя. Надо все тихо, мирно.

Здоровенный рабочий, осторожно раздвигая людей, протиснулся к лозунгу группы «Единство».

— Все должно быть тихо, мирно, — повторял он, берясь за древко лозунга, — вот так!

Палка хрустнула в могучих ладонях, и полотнище, упав, накрыло головы близстоящих. Секунда — и его разнесли в клочки.

— А теперь пусть с нами идут!

Рабочие окружили интеллигентов и, сжимая плечами, повлекли их с собой.

— Уж коли вы «Единство», — шутили в колонне, — валяйте в единстве с рабочими.

Не обошлось и без путаницы. Преображенский полк вышел на улицу с лозунгом «Доверяем товарищу Керенскому». И вместе с ним над головами солдат высылось: «Скорейшее окончание войны!» и «Да здравствует Третий Интернационал!». Под лозунгом «Доверяем Временному правительству» выступали 4-й Донской полк, Бунд и злополучное «Единство».

Эта демонстрация явилась подлинным смотром сил большевистской партии. Петроградский гарнизон и пролетариат наглядно показали, на чьей они стороне. Кадетские, меньшевистские и эсеровские газеты на следующий день поместили унылые отчеты. Газета «Единство» говорила о том, что демонстрация была неудачной, кадетская «Речь» что-то бубнила о провале демонстрации, а меньшевистская «Рабочая газета» отметила, что «манifestация» произвела «удручающее впечатление». Большевики не могли не признать, что демонстрация сыграла большую роль и проявила организованность большевиков.

Демонстрация 18 июня со всей убедительностью доказала, каким огромным, непререкаемым авторитетом пользуются в массах большевики. Это радовало друзей и приводило в бешенство врагов. Поднявшись на вершину 18 июня, мы уж слышали вдали раскаты Октября.

М. СУЛИМОВА,

член КПСС с 1905 года

„ЭТО БУДЕТ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ“

Передо мной несколько больших пожелтевших, протершихся на сгибах листов бумаги. Полуслепой шрифт, текст напечатан только на одной стороне. Крупными буквами надписи: «Бюллетени Всероссийской Конференции фронтowych и тыловых Военных Организаций Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». Мне вспоминаются июньские дни 1917 года.

.. В небольшом вестибюле кишит народ, стоят два столика, за первым — один из руководителей «Военки» М. С. Кедров, за вторым — я. Вот

уж несколько дней, придя во дворец Кшесинской, я немного пугаюсь того количества солдат, с которыми должна поговорить, расспросить, записать. Кедров понимает мое настроение, он улыбается:

— Ничего, ничего! Чем больше делегатов на конференцию, тем лучше.

И уже отвернулся, уже говорит с каким-то солдатом, горячится, убеждает.

Весь день идет передо мной вереница делегатов Всероссийской конференции фронтовых и тыловых большевистских организаций. Румынский фронт... Северный фронт... Казанский военный округ... Закавказье... Записываю в тетрадь сведения, выдаю талончики: такой-то делегат приписывается на полное довольствие к такой-то воинской части Петрограда.

К вечеру людской прилив немного стихает, рассасывается. Некоторые делегаты допоздна ходят по дворцу бывшей царской фаворитки, разглядывают, осматривают. Около меня остановился молодой солдат. Шинель вся в дырах, пробита, порвана, но, видно, в женских руках побывала: залатана, заштопана. Кивает головой за мою спину, туда, где окно:

— А это, товарищ, что там, с башнями?

— Это, — говорю, — Петропавловская крепость, и сидят там сейчас царские министры.

— Ну-у? — удивился. — Что ж, правильно получается. Здесь, во дворце, солдаты собрались, на крыше красный флаг, а через дорогу — тюрьма для министров... Эх, всех бы министров временных еще туда. Ну да ладно! Будет еще бой — «наш последний и решительный»... — повернулся и пошел, не оглядываясь.

В первом этаже особняка был организован клуб «Правда».

Среди солдат Петроградского гарнизона в первый период революции распускались слухи, будто особняк Кшесинской зачумлен. Перед нами стояла задача — рассеять эту вражескую клевету.

По четвергам в клубе устраивались концерты. Они привлекали внимание прохожих. Сначала постоят у окна, послушают музыку, потом заходят к нам в клуб. Многие оставались на доклады большевиков, особенно если выступал В. И. Ленин. Так мы тоже завоевывали массы.

Теперь на наших «четвергах» перед солдатами Петроградского гарнизона выступали делегаты, приехавшие на конференцию, делились впечатлениями, рассказывали о фронте. Фронтовиков всегда слушали с особым вниманием.

Из поездки вернулся брат моего мужа — Дмитрий Сулимов. Оброс, худой, но глаза горят, веселые, довольные. Ездил он по заданию «Военки» в Двинск, Полоцк, Киев, Могилев и Липецк. «Военка» направила несколько таких, как он, большевистских эмиссаров в воинские части для подготовки конференции.

— Комиссары Временного правительства, — рассказывал Дмитрий, — сейчас всюду на прифронтовой полосе. Агитируют за наступление. А солдатам разве война «до победного конца» нужна? Им мир да землю подай. Озлобились фронтовики на этих «орателей-увещевателей». Ну и ясно, кто к ним приезжает для разговора, недружелюбно встречают. С трудом оттаивают. Однако газеты читают. О большевиках, об их лозунгах слушают охотно. Про Ленина обязательно спросят.

...Вот так в течение пяти недель шла подготовка к этой конференции.

Открылась конференция

Шестнадцатого июня 1917 года.

Перед рядами скамей подмостки, на них стол президиума. Делегаты сидят по-хозяйски, прочно, уверенно. Шелестят в ожидании начала газетными листами — преимущественно это «Солдатская правда». Многие без погон, но есть и погоны, пыльные, мятые, фронтовые.

Около ста шестидесяти делегатов съехались в Петроград на конференцию; на ней представлено сорок три фронтовых и семнадцать тыловых военных организаций, охватывающих двадцать шесть тысяч членов партии.

Но вот звонок, вышел президиум, и Владимир Иванович Невский произносит краткое вступительное слово. Сразу начинаются доклады с мест. Но я их не слышу, меня вызывают в редакцию «Солдатской правды».

В кулуарах

У «Солдатской правды» нет денег на бумагу. Основные сборы на газету делаются среди питерских рабочих. Несут и солдаты пятаки и гривенники.

Кончила принимать и записывать пожертвования, поднимаюсь из редакционного полуподвала на первый этаж, где в зимнем саду работает конференция. Первое заседание кончилось, перерыв. Навстречу мне — солдат. Взволнованно говорит:

— Слушай, товарищ, агитатора нужно, чтоб нам обстановку разъяснил.

А где же взять агитатора, когда у «Военки» они наперечет и расписаны все чуть не на неделю вперед? Петроградский комитет тоже не справляется, не хватает пропагандистов. Замечаю неподалеку неизменный френч, знакомую бородку, монгольского разреза глаза Николая Ильича Подвойского. Иду к нему вместе с солдатом.

Николай Ильич немного подумал, потом сказал:

— Ладно. Будет агитатор. Из делегатов конференции подберем.

...У окна стоит небольшая группа: рабочий, прапорщик и трое солдат. Разговаривают:

— Чинил вчера я водопроводные трубы в одном доме. Слышу в соседней комнате кто-то говорит: «Революция — это болезнь. Рано или поздно в это дело должна вмешаться заграница». Другой отвечает: «Если ребенок болен, надо немедленно вмешаться». Снова первый: «Транспорт развалился, фабрики закрываются. Голод и поражение вернут русскому народу здравый смысл». Не выдержал я, вошел в ту комнату, сказал им, шептунам, свое здоровое слово. Обиделись, зачем, говорят, ругаешься.

— Есть у меня профессор знакомый один, — вступает в разговор прапорщик. — Умница, знающий человек, но кадет по убеждениям. А недавно вышел он из кадетской партии. Это после того как ему свои же кадеты заявили, что экономическая разруха является частью кампании, проводимой для дискредитирования революции.

— Читал я, — говорит рабочий, — с марта капиталисты выкинули на улицу шестьдесят тысяч народу. И объясняют, гады, так: «Из-за отсутствия сырья, материалов, топлива». Саботаж — вот что все это значит!..

Один из солдат:

— В сорока трех губерниях волнения. Земля, земля... Крестьяне криком стонут: землю! А правительство ее продает иностранцам.

Доклады с мест

В зале заседаний продолжаются доклады с мест. Солдаты выступают возбужденные, разгоряченные. Рисуют страшную картину положения на фронте.

— Ушел я три года назад на фронт, — рассказывает один из делегатов. — Все воюем, воюем, воюем... А тут снова гонят нашего брата на передовые позиции — разутого, раздетого, голодного: вперед, вперед! А на родине? От земли гонят крестьянина: назад, назад!.. Кончать с этим надо, всю власть в свои руки брать.

На подмостках бородач, наверное из «сорокалетних», насильно мобилизованных Керенским солдат.

— Вот мы, товарищи, вроде все читали, слышали, знаем об Апрельских тезисах товарища Ленина. А ведь эти тезисы, товарищи,— наша святая книга. Я ее своим годкам читал. Не объяснял ничего, читал, и все. Так ведь как слушали! Я это, значит, к тому говорю, что побольше разъяснять массам наши большевистские лозунги. — Бородач вдруг запнулся, покраснел.— Ну, одним словом, хочу я сказать: да здравствует товарищ Ленин!

Зал взорвался аплодисментами. А на трибуну уже выскакивает другой фронтовик. Ударил прикладом винтовки об пол. Почти все делегаты так и ходили на заседания с винтовками.

— Я вот что спрошу: доколе? Нас гонят на смерть, а у отцов, матерей, детишек — ни кусочка хлеба. Земли не дают. Доколе, спрашиваю, так будет?.. Оружие — вот оно,— он потряс винтовкой,— руками держим. Чего ждем?..

Зал аплодирует восторженно.

В перерыве

Встретился мне как-то один из тех делегатов, кому я давала талончик на довольствие в воинской части. Рассказывает о том, как устроился. Действительно, это была замечательная идея — убиваем сразу двух зайцев: делегату есть где переночевать и пообедать и в то же время самая тесная, самая что ни на есть живая связь фронта с тылом.

— Приняли меня поначалу холодно, — говорит солдат, — часть мне попалась не большевистская. Косились — что, мол, за человек? А как увидели, что свой, такой же, как они, из мужиков, приветливее стали. Сообщил, конечно, про фронт, а они мне про свое житье-бытье. Помечтали вместе, кто о коровенке, кто о хатенке. И направляю я их на наше революционное мечтание. Сперва помолчат, подумают, потом, глядишь, на мою сторону склоняются. Начинают понимать, что гуртом да с рабочими только и добьешься хорошего житья и воли.

Демонстрация

В мае заметно активизировались контрреволюционные силы. В Петрограде были созданы союзы: «Военная лига», «Союз георгиевских кавалеров», «Союз воинского долга», «Союз чести родины», «Организация духа» — и у всех у них одна цель, та, которую выразил недели две назад казачий съезд: правительство должно вести политику твердой руки. Миллюков тогда согласился: да, пора уже кончать с большевиками.

Большевистская демонстрация, назначенная на 10 июня, была отменена, и нам больших трудов потребовалось, чтобы убедить солдат и горячих матросов-кронштадтцев подчиниться решению Первого съезда Советов. Но, хотя и позже, демонстрация состоялась.

И вот 18 июня. В колонне демонстрантов идем к Марсову полю. Всюду большевистские лозунги; меньшевистских, эсеровских — единицы.

Я стою рядом с Яковом Михайловичем Свердловым. Он смеется, поглядывая сквозь пенсне вокруг, негромко говорит:

— Теперь не может быть сомнений, за кем идут народные массы.

20 июня

Понятно, с каким нетерпением ждали мы этого дня — Владимир Ильич Ленин должен сегодня сделать доклад. Тема — «Текущий момент: организация власти и Советы рабочих и солдатских депутатов».

Конечно, спустя сорок лет не все сохранилось в памяти. Расскажу поэтому только о том, что запомнилось и что осталось в моих записях.

В своем докладе Владимир Ильич говорил, что большинство идет еще не за нами, большевиками, а за соглашателями. Это наглядно показали выборы в районные думы. Из двенадцати дум большевиками завоевана лишь одна — Выборгская. Чтобы всерьез идти к власти, пролетарская партия должна бороться за влияние внутри Советов. Сорвать эту нашу линию хотя бы контрреволюционеры, они всяческими средствами пытаются спровоцировать нас на преждевременное сепаратное выступление. Но мы, сказал Ильич, не доставим им такого удовольствия... Массы уже разуверились в буржуазном кадетском правительстве, но они находятся пока что под влиянием эсеров и меньшевиков. Если бы удалось сейчас взять власть, то наивно думать, что, взявши ее, мы сможем удержать...

Вспоминаю, что внешне Владимир Ильич держался спокойно. Но нам, часто встречавшимся с Ильичем, было видно, что он волнуется. Точку зрения Ленина разделяли вначале немногие делегаты, у большей же части участников конференции его слова вызвали разочарование. Делегаты-леваки ожидали, что Владимир Ильич, вне сомнения, одобрит их «революционность» и «левизну». Доклад Ильича сыграл роль ливня на слишком разгоряченные головы некоторых делегатов.

Через день-два после доклада Ленина услышала я такой разговор:

— Ленин-то прав, пожалуй. А?

— Видишь, я сам вначале считал, что коли брать власть, так сейчас. Но вот послушал Ленина, почувствовал, надо больше сил нам накопить...

Война, мир, наступление

Вышел на сцену Крыленко, «товарищ Абрам», как звали мы его по подполью.

— Наступление было бы приемлемо только в революционной войне пролетариата, взявшего власть в свои руки, против империалистических государств...

Страстная, горячая речь Николая Васильевича Крыленко всегда непреклонно убедительна. Он никогда за словом в карман не полезет, находчив, сообразителен.

Вспоминаю, как в 1905 году ловила полиция Крыленко на Семянниковском заводе. Уж кажется все — окружили, расставили засады. Ждут, сейчас вот покажется Крыленко и — прямо в лапы жандармов. А в это время наш «товарищ Абрам», перепрыгнув через несколько заборов, держал речь в другом месте. Был и такой случай. Как-то на диспуте с кадетами встретился Крыленко с Милюковым. И потом все долго говорили, что «Абрам» был так хорош, так остроумен, так сдержан, так силен своей правотой, что сановный Милюков по сравнению с ним казался заурядхулиганом...

Слушаю выступление Крыленко, а рядом шепот:

— Я делегат из Минска. Скажу своим, как большевики о войне говорят,— все за ними пойдут. У нас ведь Временному правительству уже многие не верят.

Право наций

На доклад Ленина по аграрному вопросу мне не удалось попасть: отвлекли неотложные дела. Видела только, как в перерыве между заседаниями плотным кольцом окружили делегаты Владимира Ильича. Он что-то им говорил. Долетали слова: «...Захват помещичьих земель... немедленная передача земель крестьянству...»

Оживленные дебаты разгорелись по докладу Иосифа Виссарионовича Сталина «Национальное движение и национальные полки». Сталин

стоял на трибуне уверенно, твердо. Темно-синяя куртка застегнута до самого подбородка, виден только белоснежный подворотничок. Изредка поглаживая усы, Сталин говорил тихо, глуховатым голосом.

Конференция приняла резолюцию, предложенную Сталиным. В ней говорилось: «Конференция твердо убеждена, что только решительное и бесповоротное признание права наций на самоопределение, признание на деле, а не на словах только, могло бы укрепить братское доверие между народами России и тем проложить дорогу действительному их объединению, объединению добровольному, а не насильственному, в одно государственное целое».

На заключительном заседании конференции было избрано Всероссийское бюро военных большевистских организаций в составе тринадцати человек. В бюро вошли В. И. Невский, Н. И. Подвойский, Н. В. Крыленко, Л. М. Каганович, К. А. Механошин, Е. Ф. Розмирович, М. С. Кедров, П. В. Дашкевич и другие.

* *

*

Вот коротко то, что вспомнилось мне о Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б). Конференция закрепила смычку между пролетариатом и солдатами. Конференция сыграла большую роль в подготовке Октябрьского восстания.

В конце июня ездили делегаты в Красный Кронштадт. На пароходе мы пели:

Это будет последний
И решительный бой...

И мы знали, что он будет.

И мы знали, что он будет скоро. И мы знали, что в этом бою мы победим.

К. ЛИХАЧЕВ,

член КПСС с 1918 года

КАРПАТЫ. ФРОНТ

Июнь 1917 года застал меня, рядового 3-й роты 8-го железнодорожного батальона, в Карпатских горах в Галиции.

По ночам мы подвозили боеприпасы и продовольствие на передовые позиции у станции Ворохта. Частенько перед рейсом ко мне на паровоз приходили руководители батальонного комитета — большевики солдат Михаил Четвергов и прапорщик Подгорецкий. После их ухода всегда оставались спрятанные в уголь пачки «Правды», «Солдатской правды», «Окопной правды». Газеты обладали поистине взрывной силой, и ждали их солдаты с жадным нетерпением.

Наша 3-я рота была настроена если не полностью по-большевистски, то решительно против Временного правительства. Еще с четырнадцатого года действовала у нас в роте подпольная революционная группа из трех человек — Косинов, Денисов и я. Солдаты или знали о ней, или догадывались о ее существовании. После Февральской революции меня избрали председателем ротного комитета.

На позиции мы возили не только военное оснащение, но и партийную литературу. Под ее влиянием наши солдаты заговорили о том, что не хотят наступать, драться и погибать невесть за что. А в июне 3-я рота сняла погоны в знак того, что мы не подчиняемся военному командованию Керенского, а только революционному комитету.

Прибыл к нам на станцию Татаров пулеметный батальон Керенского. У солдат и офицеров на фуражках — изображение черепа, на левом рукаве — черная нашлепка, а на ней белые кости и опять же череп. Поглядели мои годки-солдаты — а все народ боевой, обстрелянный, пороху нанюхавшийся столько, что и внукам хватит, — говорят:

— Черепа-то нацепили, ишь как пугают, а пальчик поцарапают — мамку кричать станут.

— Щенки. Щей солдатских не хлебавши, пороху не нюхавши, прилетели. Тю, «орлы»! Чуть что — зараз мокрыми курами станут.

И верно, хоть звались они «ударным батальоном смерти», а на поверку вышло: только-только из юнкерского училища.

Пошли эти молодчики среди солдат ходить, стали пропаганду вести. Мол, кто против наступления говорит, тот шпион немецкий; русскую революцию спасать надо, а для этого в первую голову немцев надо разгромить; правительство и Керенский, дескать, такие революционные, что дальше и ехать некуда. Мы слушаем, про себя посмеиваемся.

Заявились эти «ударники» и к нам в роту, пятеро их было. На фуражках — черепа, на рукавах — черепа, а на плечах, на погонах, блеском блестят короны и вензеля: «А» с тройкой — царь Александр Третий, значит. Только заговорили, перебил я их:

— Что это на погончиках-то у вас? За кого воевать собрались, соколы?

Один, молоденький такой, а злющий, кулаки сжал, глазами в меня впился, ну, прямо насквозь проткнет.

— Революция не может стирать исторические имена, и мы должны их свято хранить.

Стоял рядом со мной Павел Косинов, из рабочих-путиловцев он, подошел к этому юнкеру, положил ему этак тяжеленько руку на плечи.

— Знаешь, — говорит, — как поступали мы с этой исторической ценностью?

И сорвал Павло с него погоны, бросил под ноги. Закричали юнкера о насилии, а мы ничего, слушаем. Покричали, покричали они и пошли жаловаться своему командиру.

Через некоторое время вызывает нас командир роты поручик Сушнов. Приходим к нему на квартиру. Там уже и командир батальона и командир только что прибывшего пехотного полка.

А надо сказать, солдаты этого полка подняли на фронте целую бучу, отказались идти в наступление, и вот пригнали их с позиций к нам в прифронтовую полосу, расквартировали у станции Татаров.

Предлагает поручик наш извиниться перед юнкерами, причем в присутствии пехотных частей, за учиненное «насилие». Собрали на другой день солдат, построили. Вышел я и говорю:

— Товарищи солдаты! Мы вчера действительно сорвали погоны с царской коронкой, которые носят эти вот «ударники». Они считают это оскорблением. Так как же надо считать поступок питерских рабочих и солдат, которые сбросили царскую корону с престола и провозгласили республику? Что же, они теперь должны извиниться за свой поступок перед царской фамилией, дворянством и помещиками?..

Скосил я глаза налево, где стояло начальство, смотрю — нет начальства, смылось незаметно. А вокруг себя слышу голоса солдат-пехотинцев:

— К черту царские погоны!

— Да здравствует мир!

— Хватит воевать за господ!

И все как один пехотинцы рвут с себя погоны и топчут их ногами. А ночью, когда я приехал на передовые позиции, рассказали мне, как приняли там этих «ударников» с черепами. Слушали их, слушали, а потом сказали:

— Вот вы, ребята, молодцы и всякие слова говорить умеете. Винтовки у вас в руках, немцы вон они — идите, бейте, наступайте. Чего ж вы?.. «Ударники» покрутились, покрутились и убрались восвояси.

Никакие уговоры не могли толкнуть наших солдат в наступление. Солдат обманывали, подлой ложью заставляли их проливать кровь в угоду министрам-«социалистам» и всяким капиталистам.

Стоял по соседству с нами Финляндский полк. Тоже от наступления отказывался. А Керенский жмет, а генералы кричат: наступать, наступать! Является раз к финляндцам делегация гвардейского корпуса. Вы, мол, предатели, вы, мол, одни такие; если не пойдете сейчас наступать, накормим свинцовой кашей и закусить штыками дадим.

Что ж солдаты? Поверили, что одиноки, хоть нехотя, да подняли руки за наступление.

Началась артиллерийская подготовка, без малого за полчаса состригли с лица земли проволочные заграждения противника. Ворвались финляндцы в первую линию окопов, с боем отбили вторую, третью линии обороны. Залегли, ждут смену. Дело в том, что гвардейская делегация им обещала: прорвете оборону, тотчас вас сменим. Устали наконец финляндцы дожидаться, послали к гвардейцам узнать, почему те не приходят на смену. Вот тут и выяснилось, что солдаты гвардейского корпуса и не думали никому угрожать за отказ от наступления, наоборот, гвардейцев пугали финляндскими стрелками. Оказалось, что все это придумала меньшевистская группка, а весь корпус идет за большевиками.

Начали мы понимать, в чем тут собака зарыта. Временному правительству! меньшевикам и эсерам нужно было увлечь армию в наступление и кончить таким путем с большевиками и Советами. Ясное дело: кончится двоевластие—бери, буржуй, власть, командуй народом! Под грохот войны можно будет отложить, а потом и совсем снять жгучие вопросы революции — о положении рабочих, о земле.

Поняли это солдаты, и провалилось наступление на нашем участке. Высшее командование куда-то исчезло; когда, как — мы и не заметили. Факт тот, что остались мы одни и начали отступать к Делятину и Коломии. У подножия Карпатских гор взорвали тоннель и мост, а когда стали продвигаться дальше, то увидели: висят на телеграфных столбах трупы солдат, и на груди у каждого надпись: «За отказ от наступления и измену родине». Узнали мы, что это черное дело выполняла «дикая дивизия» по приказу Керенского.

Из Коломии наш батальон отправили в Бессарабию на достройку железной дороги.

Как-то, помню, прибегает к нам солдат, кричит:

— В Бельцах черносотенные казаки устроили в городе погром и станцию заняли!

Поручик Будулескус, новый наш командир, к слову сказать, первый среди офицеров сбросивший с себя погоны, тотчас вызывает грузовики, мы берем пулеметы и мчимся на станцию Бельцы.

Казаки, увидев нас, дали несколько ружейных залпов, мы ответили пулеметным огнем. Тогда они выслали парламентаря: пожалуйста, мол, к командиру для переговоров. Пришли. Казачий полковник глянул на шинель Будулескуса и решил осадить его начальственным басом:

— Как вы, офицер, могли присоединиться к этой шантрапе?!

Будулескус смерил его презрительным взглядом снизу вверх и заявил:

— Это не шантрапа, а революционные войска, которые я возглавляю. Сброд это те, кто грабит и убивает мирных жителей. Взять хоть бы вас — всю станцию завалили награбленными вещами.

— Что тут говорить? — вмешался Денисов. — Короче, немедленно освободите станцию!

Не знаю, что сильнее подействовало: наши слова или пулемет, многозначительно заглядывающий в окно, но казаки убрались со станции. Награбленные вещи мы возвратили жителям.

И снова пошли среди солдат разговоры:

— Надо брать власть.

— Правильно говорят большевики: «Вся власть Советам!» Надо дело делать.

Румынский фронт в это время окончательно разваливался. Солдаты ни о каком наступлении слышать не хотели. Некоторые из них поступали просто — брали винтовку, вещевой мешок за плечи, садились на первый попавшийся поезд и уезжали домой. Июньское наступление провалилось окончательно.

Как раз в это время приехал в нашу часть солдат, не знаю его фамилии, да он и не называл ее, видно были на то причины. Солдат этот рассказывал о закрывшейся на днях в Петербурге Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных большевистских организаций, о том, какие решения она приняла, о Ленине, о Питере.

— Приехал я в Петроград двенадцатого июня, — говорил солдат. — Все кругом одни «товарищи», и я товарищ и Керенский «товарищ». А от красного цвету пройти некуда — и конские хвосты перевиты красным и ордена на генералах тоже на красном подложены.

Шестнадцатого открылась конференция. Товарищ Невский сказал вступительное слово, избрали в президиум Ленина, Подвойского, Невского, Володарского... Какой, думаю, он, Ленин-то? Смотрю. Вот он сидит, лобастый такой, крепкого сложения мужчина. Поглядывает он на нас в зал и улыбается. А на душе у нас уверенно становится. Он с нами, мы с ним, вся Россия, значит, воедино.

Начались доклады с мест. О них я говорить не буду — вы сами фронтовики, знаете, что к чему. Были, одним словом, такие настроения, что, мол, чего ждем, самый раз сейчас власть брать. И я сам выступил, обращаюсь к Владимиру Ильичу:

— Как же, — говорю, — товарищ Ленин, вы же сами сказали на Первом съезде Советов: есть, дескать, партия большевистская, которая хоть сейчас может взять власть. Надо и брать ее сейчас.

Смотрю, Владимир Ильич словно погрустнел, чуточку нахмурился. С чего бы, думаю, вроде я правильно сказал, по-революционному.

А двадцатого на нашей конференции выступил Ленин. Многое прояснил он для нас. Ведь надо думать и о том, чтобы, взяв власть в свои руки, удержать ее. Значит, сперва нужно завоевать массы, убедить их. Власть крепка тогда, если весь народ ее поддерживает.

И еще раз выступал на конференции Ленин — по аграрному вопросу. О праве наций на самоопределение говорил в своем докладе Сталин, о мире — Крыленко. Он прямо, по-ленински, сказал, что никак иначе не кончишь империалистическую бойню — ни продолжением бойни и ни втыканием в землю штыков, ни бумажными воззваниями к правительству, — а только превращением буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую.

...Много еще кое-чего рассказывал нам тот солдат. Слушали мы его, дух не переводя. А потом уехал дальше куда-то. Оставил нам солдат и резолюции конференции — маленькую такую книжечку. Не раз и не два прочли мы их. Если раньше многие у нас верили большевикам и знали их только по отношению к войне, то теперь стало понятнее, как надо смотреть на власть и на земельный вопрос. Для нас стало ясно: Ленин с большевиками защищает интересы всех трудящихся масс.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕХ ДНЕЙ

„Наши лозунги на предстолицей демонстрации.

На Всероссийском съезде Советов, по-видимому, намечился перелом в настроении. Делегатам надоело слушать бесконечные речи вождей меньшевиков и народников, на все лады излагающих мысли г. Милюкова против большевиков. Несостоявшаяся 10 числа демонстрация тем не менее была большой демонстрацией. Делегаты съезда, поехавшие в рабочие кварталы и в полки «успокаивать» рабочих и солдат, соприкоснулись с землей. Они собрали там ряд впечатлений, которые должны будут подействовать на них освежающе после потока кадетских речей, услышанных ими на съезде от Либеров, Данов и К°. И — съезд как будто готов на минуту качнуться влево.

2 дня тому назад Церетели предложил Всероссийскому съезду один план действий: разоружение «непокорных» элементов, репрессии против них, т. е. другими словами прямой союз с контрреволюционной буржуазией против революционного пролетариата и революционных солдат. Этот план, однако, уже сорвался. И через 24 часа мы видим новый план, который как будто можно истолковать как робкую попытку отдать дань революционному пролетариату в его борьбе против контрреволюции.

Что поделаешь: в том и заключается вся политическая сущность мелкой буржуазии, что она мечется между двух лагерей, переметываясь то на ту, то на другую сторону.

Но именно поэтому революционный пролетариат не может отождествлять своей линии с линией мелкой буржуазии — особенно в такие моменты, как переживаемый ныне. Революционный пролетариат ставит себе одной из задач привлечение на свою сторону колеблющихся мелкобуржуазных элементов. Это несомненно. Но столь же несомненно, что рассчитывать он должен только на свои собственные силы, только на свою собственную организованность. Лучший способ привлечения на свою сторону наиболее демократических слоев мелкой буржуазии заключается в том, чтобы не делать уступок ее предрассудкам, чтобы безбоязненно и решительно идти вперед своей дорогой, ни на одну минуту не урезывая своих революционно-интернационалистских требований.

Вчера еще амплитуда колебаний мелкобуржуазных элементов в сторону Милюкова была так велика, что Церетели открыто защищал планы Милюкова и Ком[п]ании].

Вчера еще вся интеллигенция, околосоциалдемократическая среда — вплоть до писателей из «Новой Жизни» — всеми силами склоняли чашу весов в сторону милюковцев. Сегодня мы видим первые признаки отрезвления. Надолго ли?.. Поживем, увидим.

Революционные пролетарии говорят себе поэтому: мы идем своей дорогой, мы пойдем на демонстрацию 18 числа для того, чтобы бороться за те цели, за которые мы хотели демонстрировать 10 числа.

Мы пишем на своих знаменах:

Долой контрреволюцию!

Долой 4-ю думу и государственный совет!

Долой 10 министров-капиталистов!

Долой «союзных» империалистов, стоящих за спиной организующейся контрреволюции!

Долой капиталистов, организующих итальянские забастовки и скрытые локауты! Вся власть Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов!

Да здравствует контроль рабочих над производством и распределением продуктов! Долой недемократические пункты в декларации прав солдата!

Против расформирования революционных полков!
 Против разоружения рабочих!
 Да здравствует вооружение всего народа и рабочих прежде всего!
 Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с английскими и французскими капиталистами!
 Немедленное опубликование Советом действительно справедливых условий мира!
 Против политики наступления!
 Хлеба! Мира! Свободы!

Товарищи! Пусть каждый завод, каждая мастерская, каждая воинская часть сейчас же приступят к обсуждению вопроса о том, с какими требованиями мы идем на демонстрацию 18 числа.

Демонстрация должна стать не просто прогулкой, а политическим смотром сил. Демонстрация должна стать орудием давления со стороны революционного пролетариата и революционных солдат для практического проведения в жизнь их требований.

За работу! Время не ждет!

(«Правда» № 81 от 14 (27) июня 1917 года).

„Улица 18 июня.“

На улицу! — мощно разнеслось по рабочим кварталам Петрограда.

Пролетарская и солдатская масса построилась в ряды и выкинула лозунги революционной социал-демократии.

Еще за несколько дней до демонстрации по казармам, фабрикам, заводам и пролетарским организациям горячо обсуждались лозунги, за какими идти. Делалась оценка момента, выковывалось сознание масс, и на улице над головами более 300—400 тысячной пролетарской и солдатской массы реяли знамена с собственными требованиями:

«Вся власть Советам Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Батрацких (добавляли некоторые) Депутатов».

«Долой 10 министров-капиталистов».

«Контроль рабочих над производством», «ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с англо-французскими капиталистами», «против политики наступления», «вооружение всего народа и рабочих прежде всего» и «Хлеба! Мира! Свободы!» — мощно раздавалось на улице!

Много своеобразного бытового было выставлено на плакатах: «Земля крестьянам, фабрики рабочим, монахов и буржуазию в окопы», — говорили плакаты солдат. «Всех буржуев в окопы, кормильцев домой», — требовали солдатки...

«Товарищ, поторопись!» — говорил русский солдат на одном из плакатов немецкому.

Только 3—4 плаката говорили о «Доверии Временному Правительству». За ними шли небольшие группы.

Дело не обошлось без инцидентов. Когда Бунд, казаки и «Единство» со знаменами «доверие Временному Правительству» вышли с Марсова поля, то толпа, не участвовавшая в демонстрации, ринулась на эти знамена, знамена порвали... Вот, вот была готова вспыхнуть свалка... Но стройные колонны какого-то полка и завода с музыкой «Марсельезы» под большевистскими плакатами двинулись в беспорядочную разгоряченную массу. Это разрядило атмосферу. Подоспевший партийный автомобиль облегчил выход казакам с остатками знамени из толпы.

При входе на Марсово поле на высоких столбах спущены 3 флага, средний «Доверие Временному Правительству», крайне пустые. «Доверие» вызывало скептические насмешки манифестантов, но ряды проходили... После демонстрации под флагом улица оказалась запруженной солдатами и рабочими.

«Кто вывесил флаг?»

«Почему нет подписи организации?» — кричали в толпе.

«Это флаг казенный, — вывесило Временное Правительство, это оно само себе выражает доверие», — пронеслось в толпе.

Выступил солдат с теми же вопросами и недоумениями.

«Долой флаг!» — прокатилось по толпе. — «Кто за долой?»

Вся толпа подняла руки.

«Кто против?» — поднялось 3—4 руки.

Флаг спускают. Аплодирующая толпа жадно хватается за концы флага. Флаг трещит. «Доверие» в один миг по кусочкам разлетается по толпе.

Андрей».

(«Правда» № 86 от 20 июня (3 июля) 1917 года).

„Демонстрации 18 июня [в Москве].

Демонстрации и митинги, состоявшиеся 18 июня, наглядно показали, что среди самых активных слоев московских рабочих и солдат наша партия пользуется почти общим признанием. В громадном большинстве случаев, в особенности там, где митинги и уличные шествия проходили организовано, рабочие и солдаты шли под лозунгами и под знаменами революционной социал-демократии.

Во всех районах и почти на всех площадях состоялись митинги протеста против контрреволюции...

Особенно дружно прошли митинги в Замоскворецком районе, где было ярко выражено господствующее влияние нашей партии; то же в Городском районе, где до прибытия 2000 большевиков на Трубной площади было лишь 300 человек; митинг начался и закончился по инициативе большевиков; на Скобелевской площади, куда отправились собравшиеся товарищи, был устроен вторичный митинг, разошедшийся с уходом большевиков.

На Ходынке состоялся большой митинг солдат около 3000, к которому пришло несколько тысяч рабочих. Демонстрация шла до Скобелевской площади и обратно. Принята большевистская резолюция.

Сходное положение наблюдалось и в ряде других районов. Общее впечатление таково: рабочие массы, которые интересуются, выходят на улицу, кипят в котле политической жизни — стоят за большевиками. Пусть клеветет буржуазия. Пусть призывает она к погромам. Рабочие с каждым днем переходят на нашу сторону, и наша партия с каждым днем растет.

Вчера около 5 часов вечера, по Тверской в полном порядке продемонстрировала военная организация Р.С.Д.Р.П. Шествие имело внушительный вид. Впереди несли знамя с лозунгом: «Вся власть Советам Рабочих и Крестьянских Депутатов».

Затем следовало знамя всенной организации и остальные знамена с лозунгами: «Хлеба, Мира и Свободы!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Против политики наступления!». Шествие остановилось у Скобелевской площади, где и был устроен 15-ти минутный митинг, после чего солдаты в полном порядке, сопровождаемые Бутырским районом, тем же маршрутом повернули обратно на Ходынку, где был устроен многотысячный митинг. На митинге была принята большевистская резолюция.

В Петровском парке состоялся митинг, организованный Советами Р. и С. Д. Вначале выступали меньшевики и эсеры. Затем выступили большевики, и митинг закончился принятием резолюции М[осковского] К[омитета] Р.С.-Д.Р.П (большевиков). Большинство постановлено было на выборах в городскую думу голосовать за список № 5 большевиков и других с.-д. интернационалистов.

На митинге, устроенном во время демонстрации 18-го июня, рабочими Щелковского района почти единогласно (при 5 голосах против) была принята резолюция, требующая решительной борьбы с контрреволюцией, роспуска очагов контрреволюции Думы и Гос. Совета и удаления 10 министров-капиталистов, перехода власти к Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, которые начнут действительную борьбу с продовольственной разрухой, углубляемой капиталистами, и которые способны ввести действительный контроль над производством и распределением продуктов».

(«Социал-демократ» № 86 от 20 июня (3 июля) 1917 года).

„Резолюция 18-й батареи.

Мы, солдаты, при общем собрании, обсудивши вопрос о грозящей нам контрреволюции нашей свободной России со стороны буржуазии и черной сотни, все единогласно постановили:

1) Требуем, чтобы вся власть находилась только в руках Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, а Временному Правительству мы не доверяем, потому что там сидит Терещенко и К°, а они все капиталисты, около 10 элементов вредных, от которых тяжело жилось и еще хуже будет жить, если мы будем ждать их посулы, а на деле их нет, только желают крови и истребления трудящихся масс и себе набить карманы попопней.

2) Перевода Николая Кровавого с его бандитной шайкой в Кронштадт под охрану товарищей кронштадтцев; там мы находим удобным местом для них, а для народа безопасным.

3) Немедленного отчуждения всех земель государственных, удельных, частновладельческих, монастырских во власть крестьянских местных комитетов для обработки их пока соберется Учредительное Собрание.

4) От Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов, чтобы они заставили Временное Правительство, чтобы оно немедленно приступило к сокращению жалования генеральчикам и офицерам, довольны они и так нажили в продолжение войны.

5) Вооружение всего народа свободной России. Товарищи солдаты и рабочие, требуйте все вооружения народа.

Председатель батареи ком. Тимофеев
Секретарь Цыганков».

(«Правда» № 78 от 10 (23) июня 1917 года).

„К борьбе с контрреволюцией.

Мы, солдаты и офицеры 178 пех[отного] зап[асного] полка, собравшись на митинге в связи с демонстрацией протеста против поднявшей голову контрреволюции, организуемой вокруг Государств. Думы и Совета, считаем, что главная причина контрреволюции заключается в том, что не вся власть находится в руках революционной демократии. Мы требуем перехода всей власти в руки Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Деп[утатов], которые сумеют в корне пресечь попытки контрреволюции и сумеют положить конец братоубийственной войне, обеспечить справедливый созыв Учредительного собрания и положить конец хищнической прибыли буржуев-капиталистов, высасывающих народные соки.

Да здравствует революционная армия!

Да здравствует революционный народ!

Да здравствует развивающаяся революция!

Председатель митинга солдат 12 роты Н. З. Рубежин».

(«Правда» № 89 от 23 июня (6 июля) 1917 года).

„О наступлении.

Настроение в нашем полку по вопросу о наступлении разделилось следующим образом. Большинство солдат нашего полка против наступления. Солдаты заявляют: «Наши глаза раскрылись. Нам теперь ясно, что война эта ведется не в наших интересах, а в интересах капиталистов. Достаточно проливали мы крови за буржуев. Будет с нас! Пусть буржуи, которым эта война несет обогащение, идут в окопы. Нас же не мешало бы сменить, чтобы мы смогли запахивать наши поля, чтобы ни мы сами, ни наши дети, ни весь народ не помирал с голоду».

Меньшинство солдат нашего полка находится под влиянием буржуазных газет и поэтому легко поддается всяким призывам начальства, которое говорит: «мы должны сначала победить врага, мы должны наступать, чтобы победить немца, а затем уже будем разрешать вопрос о земле». Но на это товарищи им отвечают: «когда нас убьют, когда убьют еще миллионы наших братьев, нам вопрос о земле разрешать не придется. После нашей смерти нам всем дадут земли поровну — по 3 аршина. Если же мы хотим подумать о наших семьях, о наших детях, о наших братьях, мы должны высказаться против наступления. Довольно лилось нашей крови, мы тяжелые жертвы, принесенные для обогащения капиталистов, имеем право на получение не только 3 аршин земли, а столько земли, сколько нам необходимо, чтобы жить по-людски, а не так, как мы жили несколько сотен лет.

Солдат Гвардии Гренадерск[ого] полка М. Цыняев».

(«Солдатская правда» № 43 от 14 (27) июня 1917 года).

„Завод Новый Леснер.

Общее собрание рабочих завода Новый Леснер 20 июня, обсуждая вопросы:

- 1) о событиях на даче Дурново,
- 2) приказ Керенского о наступлении на фронте, [постановило]:

...2) По вопросу о наступлении мы заявляем, что наступлением нанесен удар русской революции и Интернационалу и вся ответственность за эту политику падает на Временное Правительство и поддерживающие его партии меньшевиков и [социалистов]-рев[олюционеров]. Мы убеждены, что только революционными усилиями трудящихся масс всех народов можно окончить войну, а для этого нам нужно не наступление на фронте, а наступление на буржуазию внутри страны для перехода власти в руки Сов[ета] Раб[очих] и Солд[атских] Деп[утатов].

Председатель собрания Комаров
Секретарь Кондратьев».

(«Правда» № 83 от 22 июня (5 июля) 1917 года).

„К наступлению.

Мы, рабочие завода Эриксон, собравшись 21 июня с. г. на общее собрание и выслушав доклад от товарищей и Совета Солдатских и Рабочих Депутатов о наступлении нашей армии по приказу Временного Правительства, решили:

Что наступление нашей армии на фронте за старые империалистические цели войны, но прикрытые пышными фразами господ Церетели, Чернова и комп[ании], считаем, что до тех пор, пока мы не порвем соглашения со своими и союзными капиталистами и не возьмем власти в руки С[оветов] Р[абочих], С[олдатских] и К[рестьянских] Д[епутатов], которые опубликуют тайные грабительские договоры с союзными капиталистами и не наметят в интересах народа условия мира, до тех пор мы протестуем против наступления, так как наступление в настоящих условиях только на руку англо-французскому и германскому империализму и русской контрреволюции; она приостанавливает развитие революционного движения в Европе. Но, считаясь с фактом

наступления, мы глубоко возмущены политикой министров и всю ответственность за последствия возлагаем на них и на правящие партии меньшевиков и эсеров, которые поддерживают авантюру Временного Правительства.

Председатель Я. Иванов
Секретарь Иванов».

(«Правда» № 89 от 23 июня (6 июля) 1917 года).

„О братании.

Товарищи солдаты!

Братание, по моему убеждению, только одно средство сближения пролетариев, труженников всех народов, всех национальностей всего мира. Только братанием с истинными братьями пролетариями других стран и можно достичь любви и братства всех народов всего земного шара, потому что мы, солдаты, видим в окопах не врага немца, австрийца и турка, а видим и слышим такого же одураченного и обманутого солдата, как и мы все русские. Товарищи солдаты! Наше начальство говорит нам: не нужно брататься с немцами, они враги наши, а мы говорим и будем говорить, что они наши братья, а не враги, враги же наши те, которые не велят нам брататься. Им братание по духу не нравится, капиталисты, помещики еще хотят нашей крови, они думают еще натравить брата на брата. Товарищи солдаты! Каждый почти из вас был в окопах и знает, сколько горя он перенес за эти три года неизвестной для нас кровавой бойни. Кому нужна такая бойня и для чьих интересов она велась? Потребуем вас, кровожадных фабрикантов-заводчиков капиталистов, идти к нам в окопы на передние линии огня и добывать себе новые рынки. Нам же всем солдатам не нужно никаких захватов.

Солдат Цыганков».

(«Солдатская правда» № 43 от 14 (27) июня 1917 года).

„Почему мы идем к вам.

Товарищи наши, социалисты (большевики), шлем мы вам привет и хорошие пожелания. Мы все гордо смотрим на вас, как на тех борцов, которые только и защищают интересы крестьян и рабочих. Вы, дорогие наши товарищи, ведете борьбу с капиталом, а мы также всецело присоединяемся к вам и протестуем против того, что вошли в состав Временного Правительства некоторые грудовики и оборонцы. Эти социалисты прикрывают собой то, что творят помещики и капиталисты, которые ради своей добычи теперь же призывают нас обратно к той бойне, которая уже итак длилась 34 месяца, и если товарищи-солдаты будут согласны на это, то война эта может затянуться еще на несколько лет. Кому же она нужна эта война? Конечно, капиталистам и тем, которые делают поставку на армию, но не крестьянам и рабочим, которых и бьют, и работать заставляют, и деньги с них же берут для того, чтобы войну довести до конца. Еще мы протестуем против займа свободы, так как этот займ является не для ускорения окончания войны, а для того, чтобы нам продлить еще эту тягостную войну Социалисты, которые вошли в состав Временного Правительства, также нас, солдат, призывают к наступлению, то есть к той же кровавой бойне, но спрашивается: ради чего и для кого? Как же мы можем пойти в наступление, когда наши союзники не отказываются от захватной политики и контрибуций?

Товарищи большевики! У нас, на фронте, были союзные социалисты, которые нас призывали вести войну до полной победы, но наши солдаты не желают победы, желают скорейшего мира. Наши солдаты думают, что те социалисты не были представителями от рабочего и крестьянского класса, а они, вероятно, были представителями от своих правительств.

Товарищи большевики! Как теперь нам на фронте грудно бороться против тех, кто это все проповедует. Хотят остатки нас побить, итак уже миллионы погибли и покале-

ченны и остальных побьют, и тогда вам, товарищи, трудно будет бороться с капиталистами, когда не будут бороться в ваших рядах наши солдаты-фронтовики.

Мы тоже требуем, чтобы земля перешла в руки крестьян до Учредительного Собрания, рабочим всех фабрик и заводов провести в законе 8 час. раб. день... Мы также требуем общего мира и разоружения всех стран на социалистических началах, а форма правления у нас должна быть Демократическая республика; и еще мы вас просим, товарищи, запишите в вашу партию.

С почтением к вам

Михаил Степанов, Стахеев Савелий, Митрофанов, Моргунов».

(«Солдатская правда» № 43 от 14 (27) июня 1917 года).



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

МАТВЕЙ ФРОЛОВ

★

ЛЕНИНГРАДЦЫ

На днях, добравшись до самых глубоких недр своего письменного стола, я увидел пачку блокнотов. Уже давно позабытые, лежали они в одном из ящиков стола под грудой последующих пятнадцатилетних напластований — записных книжек, тетрадей, просто листков писчей бумаги, испещренных записями, пометками, всем тем, что являет собой сырье, полуфабрикат и, наконец, готовую продукцию журналиста.

Открыл первый блокнот, прочел первую запись.

...Ленинград военный, Ленинград блокадный. Много уже написано о людях, выстоявших в девятистодневной осаде, победивших непоколебимой верой в торжество великих идей нашей партии, поразивших весь мир своим мужеством, бесстрашием и отвагой. А сколько еще будет рассказано о героике этих дней!

То, что вы прочтете здесь, на этих отрывочных листках журналистского дневника, который автор, будучи радиокорреспондентом, вел в те годы, — только некоторые штрихи жизни ленинградцев во время блокады и после нее. Эти записи не претендуют на полный показ всех этапов, всех сторон ленинградской эпопеи. Они могут лишь пополнить представление о Ленинграде военной поры.

12 января 1942 года.

Восстановлено железнодорожное сообщение между Тихвином и ближайшими к Ленинграду станциями.

Сегодня по радио передали беседу с председателем исполкома Ленинградского городского Совета.

«Трудностей впереди много, — сказал он. — Мы не должны забывать, что еще находимся во вражеском окружении. Но самые тяжкие дни уже позади».

...Сегодня же исполком разрешил продажу по январским продовольственным карточкам: мяса и мясопродуктов — сто граммов, крупы — двести граммов, муки в счет крупы — двести граммов.

24 января 1942 года.

Сегодня ел крендель, почти настоящий Выборгский крендель. Когда рассказывал знакомым, не верили.

Вот как это вышло. Делегация ленинградских хлебопеков собиралась в гости к летчикам, в знаменитый, летающий ночью истребительный полк ПВО. Ехать решено было с подарком. Только чем удивить летчиков?

— Может быть, спечем что-нибудь?

— А что? Не везти же им формовой черный хлеб!

Кто-то робко предложил:

— Хорошо бы крендель.

— Что, настоящий, Выборгский? Но это ж невозможно. Откуда возьмешь крупчатку, специй... Да и разучились вроде печь сдобу.

— А может, попробуем?..

— И без крупчатки обойдемся. Летчики — свои люди, поймут, не цена подарка важна, а внимание. — Это сказал знаменитый мастер тортов и пирожных, венской сдобы и баранок Павел Антонович Никитин.

И вот из остатков сэкономленной муки стали печь крендель. Работницы отдали часть пайка, полученного по карточкам. Где-то в далеких углах пекарни нашли малость миндаля, горстку изюма... Никто так и не узнал, каким получился крендель. Никитин вынул его из печи, спрягал в фанерный ящик, уселся в уголок грузовика и бережно взял ящик в руки.

...Вместе с хлебопеками еду в истребительный полк. Машина мчится по дороге, связывающей Ленинград с Ладожским озером, — по ней везут муку, масло, мясо, ее прикрывают с воздуха летчики, которые пригласили нас в гости.

Приехали. Павел Антонович с величайшей торжественностью на лице медленно раскрыл свой ящик. Все мы ахнули: пышный, покрытый румяной корочкой, аппетитный крендель. Чудо-крендель! Смотрели на него как зачарованные.

— Чем богаты, тем и рады, — тихо и смущенно сказал старый пекарь. — Не обесудьте, ребята. Придет время, такой крендель вам спеку, какого в жизни не видали и не едали...

Он отрезал первый кусок этого серо-черного, но небывало вкусного кренделя и передал его молодому лейтенанту — Алексею Севастьянову, любимцу ленинградцев, тому самому, кто темной ноябрьской ночью рубанул своим самолетом по хвосту «юнkersа».

Под конец встречи, когда допивали последний самовар, в столовую вошел коренастый немного возбужденный летчик. Два часа назад, получив свою порцию кренделя, он ушел на аэродром.

— Разрешите доложить, товарищ командир, — обратился летчик к офицеру, — полет прошел нормально. В воздушном бою сбит «мессершмитт-109».

Потом, повернувшись к гостям, добавил:

— По-русскому обычаю: вы — нам подарок, мы — вам.

4 марта 1942 года.

Теперь в Ленинграде будет театр — возобновила работу «Музыкальная комедия». Сегодня шла «Сильва».

Играют не у себя дома, а у соседей: оперетта переехала в Академический театр драмы имени Пушкина — самое вместительное, крепкое и теплое по сравнению с другими здание. Здесь всего лишь десять градусов ниже нуля. Публика сидела в шинелях, полушубках, пальто.

«Музкомедия» дает два спектакля в день. Начало вечерних представлений в четыре часа дня. Ленинградский блокадный вечер кончается рано.

8 марта 1942 года.

«Взяв под обстрел грязь и заразу, в поход за здоровьем двинемся разом». Эти строки Маяковского кто-то написал на кумаче и прикрепил полотнище над сугробами, над промерзшими глыбами мусора.

«У Маяковского» — сборный пункт для тех, кто пришел с лопатами, ломami, граблями. Руки у всех слабые, непослушные, а снег смерзся, тверд, как камень. Ледяные айсберги и ропаки... И все это на Невском, одном из красивейших проспектов мира.

Работают женщины, подростки, работают все, кто может держать лопату или лом. Подъезжают грузовики, появляются тракторы. Грузят мусор, лед, снег. К концу дня из ледяного плена освободили трамвайные пути. Осторожно, медленно, опробывая дорогу, пошел трамвай. Грузовой, конечно. Как давно на Невском не было трамвая!..

В первый день воскресника центральные магистрали города убрали одиннадцать тысяч ленинградцев.

29 марта 1942 года.

Из «партизанского края» прибыла группа партизан. С задушевной теплотой встретили ленинградцы пулеметчика Мишу, «тетю Таню», товарища И., товарища П. и других народных мстителей. Их настоящие имена нам неизвестны.

Гости рассказали, как собирали подарки Ленинграду в тылу фашистских войск. За линией фронта жители двух районов Ленинградской области решили помочь блокированному Ленинграду. Из потайных хранилищ колхозники доставали спрятанные от гитлеровцев продукты, завертывали в холстины мясо, упаковывали в ящики масло, тщательно укладывали продукты на подводы. Везти подарки доверили самым уважаемым, самым лучшим колхозникам.

Председатель одного сельсовета, отправившийся за подарками в соседний колхоз, был схвачен гитлеровцами. Он ни слова не сказал палачам и умер под пулями.

По глухим дорогам и тропкам, через болота и леса, обоз из двухсот подвод двинулся к фронту. Днем подводы прятали, ехали только ночью. Для лучшей маневренности обоз разбили на отдельные отряды.

Ленинградцы получили 380 центнеров хлеба и крупы, 120 центнеров жиров и другие продукты.

Продукты эти можно взвесить. Но цены подаркам нет...

15 апреля 1942 года.

Раньше, до войны, мы даже не представляли себе, какое это удовольствие ездить в трамвае.

Сегодня снова пошел трамвай. Пока движение возобновилось только на пяти маршрутах. Два из них, «тройка» и «девятка», везут на фронт, — на кольце уже контрольно-пропускные пункты.

У пассажиров по-настоящему праздничное настроение — сразу стало веселее на душе. Только бы не стреляли по вагонам!

Движение будет заканчиваться в 21 час 30 минут.

23 апреля 1942 года.

Стрелковый полк готовился к наступлению. За несколько часов до выхода на исходные позиции на командный пункт принесли маленький конверт.

— Из Ленинграда, товарищ комиссар, — доложил красноармеец.

Комиссар осторожно распечатал конверт, из него выпали разноцветные листки. Рядом с картой, рядом с оперативным планом наступления на стол легли детские рисунки и письма. Ребята рассказывали фронтовикам о том, что фашисты обстреливают город из пушек, что в детском саду бывает темно и холодно.

— Передайте это бойцам! — приказал комиссар.

Из землянки в землянку, из окопа в окоп бережно передавали листки.

Между войнами 54-й армии и воспитанниками детского сада № 40 Дзержинского района завязалась задушевная дружба.

18 августа 1942 года.

Секретарь парторганизации фабрики «Швейник № 5» Александрова прислала нам на радио обращение коллектива фабрики к бойцам, уходящим на фронт:

«Мстите, товарищи, фашистским гадам за наше горе, за наши слезы. Мстите и за работниц нашей фабрики, которые потеряли своих родных, любимых, близких.

За П. С. Иванову, у которой погибли от голода мать, отец и брат.

За В. В. Баланину, у которой муж и два брата погибли на фронте, мать умерла от голода.

За А. Никитину — погиб на фронте муж, а мать и трое малых детей умерли от голода.

За Н. П. Жираковскую — мать и два брата погибли от голода.

За десять наших ткачих — Чалаю, Репину, Жичкину, Лифарову, Самодурову, Зяотову, Панфилову, Рафалович, Кузминскую и Иванову, — погибших от голода.

За погибших от бомбардировки работников фабрики Карпова, Сесенко и Гириш с двумя малышами.

Отомстите, товарищи бойцы, и за моего племянника Анатолия Юдина — танкиста, погибшего смертью храбрых...»

21 октября 1942 года.

Сегодня в помещении «Комедии» — первый спектакль нового театра. Названия он не имеет. Просто — ленинградский драматический. Труппа сборная, в нее вошли актеры разных театров, оставшиеся в Ленинграде. Некоторые уже давно не играют на сцене. Курзнер — теще Филармонии, Петрова работает на радио. И здесь же Горин-Горяйнов, премьер Пушкинского театра драмы.

В день открытия показали «Русских людей» К. Симонова. Следующая премьера — «Фронт» А. Корнейчука. Пьесу будет ставить главный режиссер театра С. Морщихин. В антракте перед последним действием я с ним встретился за кулисами. Морщихин одет в военную форму. Может быть, он участник спектакля «Русские люди»? Нет.

— Я не только режиссер, но и воин, — объяснил Морщихин. — В первые дни войны ушел добровольцем. Воевал. Был тяжело ранен. Сейчас отдыхаю после ранения и вот работаю здесь в театре. Продолжаю оставаться командиром Советской Армии в звании капитана..

16 декабря 1942 года.

Командующий войсками Ленинградского фронта генерал-лейтенант Л. А. Говоров принял делегацию энского завода. До осени 1941 года завод был не «энским», а Сестрорецким инструментальным имени Воскова. Сестрорецкие рабочие изготовили первую русскую трехлинейную винтовку, они скрывали в Разливе Ленина, участвовали в штурме Зимнего...

В начале войны завод освоил производство автоматов. В декабре не стало электроэнергии, мороз сковал цехи. Детали выпиливали вручную, озябшими, одеревенелыми руками собирали оружие и отправляли на фронт. Некоторые узлы автомата через весь Ленинград на саночках возили обрабатывать на другой завод.

Сегодня делегация преподнесла командующему образец нового автомата, впервые выпущенного в нашей стране.

29 декабря 1942 года.

Вместе с группой железнодорожников побывал сегодня на бронепоезде. Нас познакомили с бортовым журналом. Первая запись: «10 сентября 1941 года. Получен приказ формировать команду бронепоезда, который изготовлен ленинградскими железнодорожниками...», «30 сентября. Первое занятие с личным составом по политической подготовке. Тема: «Город Ленина был, есть и будет советским», «Ночь с 18 на 19 октября. Первая боевая стрельба по противнику...»

Когда командир предложил гостям осмотреть бронепоезд, железнодорожники скромно сказали:

— Посмотреть, конечно, можно, но мы здесь всё как у себя дома знаем, сами строили.

Гостям было интересно другое: узнать, как служит бронепоезд артиллеристам.

— Мы довольны, — ответил командир, — броня надежная, пушки стреляют далеко и точно.

А Иван Твердун по просьбе ленинградцев рассказал о таком случае:

— Стреляли раз ночью по фашистам — огневой налет. Я замковым у орудия стоял. В самый разгар боя отломилась рукоятка для открывания затвора. Клип затвора стал ниже, чем полагается, — от этого пушка могла выйти из строя. Ну, я и придерживал рычаг правой рукой, а левой опускал спусковой крючок. Врать не буду, нелегко было. Как пушка выстрелит, так вся сила отдачи на меня. Не успевал руку отнимать, все равно попадало. Ну, верно, вспухла рука, больно было. Но пушка стреляла.

19 января 1943 года.

22 часа 42 минуты. Передача «В последний час». Мы ждали этого часа. Мы знали, что он придет.

«После семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда...»

Начало сделано!

— Меч разрубил гадюку, окружавшую город,— так сказал боец вчерашней ночью.

Ночь была морозная, настоящая январская питерская ночь. Улицы пустынные. Зенитки смотря» вверх. На набережной — морячки-балтийцы. Даже они, обычно строгие, немногословные, сегодня заговорили: «Ну, как, браток, скоро конец немцу?! Поздравляем... А пропуск ваш, товарищ?»

Город продолжал фронтовую вахту. Поехал на завод, где делают оружие. У верстака — слесарь Коновалов. Вместо трех изделий по норме он дает пятнадцать.

Коновалов вспоминает:

— Вот недавно перед наступлением были мы у генерала Говорова. Познакомились, о своих делах рассказали, говорим: «Благодарят рабочие за стойкую оборону, но просят бойцов блокаду разорвать». Командующий не сразу ответил, будто задумался, а потом сказал коротко: «Войска Ленинградского фронта выполняют свою задачу — так и передайте рабочим завода».

Десятки людей шли ночью в Дом радио: «Дайте сказать хоть несколько слов».

Звонят из Москвы: «Привет, друзья! Москвичи обнимают вас». Спасибо, москвичи!

Еще звонок: девочка.

— Мой папа скоро вернется домой с войны?

— Скоро, Людочка, теперь уже скорее, чем прежде.

С Лиговской из дома № 202 пришла гражданка Журавлева: «Не могу быть одна, а в квартире — никого. Вот к вам и пришла. Поцелуйте от меня наших героев».

Где они, наши герои? Они идут вперед, расширяют прорыв. Те, кто ранен,— в Ленинграде.

Госпиталь. Доцент А. В. Бондарчук в халате. Усталое, бледное лицо. Он только что закончил сорок вторую сложнейшую операцию на мозгу. Недавно снаряд угодил в больницу и ранил хирурга. Еще с незажившей раной Бондарчук вернулся в строй — боец лечил бойцов.

— Сколько часов вы не спали, Антон Васильевич?

— Я считаю сейчас, сколько мы жизней спасли.

...Рассветает. На улицах вывешивают алые флаги, флаги победы. Один из них укреплен на развалинах дома, что разрушен фашистской бомбой.

Утро. Взошло солнце, начав свой путь на запад. Ночь с 18 на 19 января 1943 года, историческая ночь Ленинграда, позади. С добрым утром, земляки!

20 января 1943 года.

Из детдома, что на Стремянной улице, принесли письмо одиннадцатилетнего Бориса Светлова. Он назвал свое письмо: «В 22 часа 50 минут». Вот оно:

Защитник города родного,
Освободивший нас вчера,
Что мне сказать, чем мне ответить
На то, чем ты порадовал меня?
Как я был счастлив, рад в тот миг,
Когда услышал голос из эфира:
«Блокада прорвана»,—
Ведь я ж освобожден..
Я молча, тихо встал с постели,
Не веря сам себе, сказал:
«Нет, это правда, я освобожден».
Да, это трудно было пережить..

31 января 1943 года.

Сегодня меня пригласили в дом отдыха. Да, да, в блокированном Ленинграде организован настоящий дом отдыха! Отдыхать сюда приезжают бойцы с фронта.

6 февраля 1943 года.

Девятнадцатый день после прорыва блокады. Встречали первый поезд с «Большой Земли». Он прошел по прямому железнодорожному пути, снова связывающему Ленинград с другими советскими городами.

Из репортажа с Финляндского вокзала:

«6 февраля 1943 года. Запомним и этот день, товарищи ленинградцы. Он займет свое место в славной ленинградской эпопее.

Оглянемся назад. Вспомним август 1941 года. Эшелоны с детьми и женщинами уходили в глубокий тыл. Один эшелон не вернулся. Что случилось? Не прошел, путь прерван. Последняя железная дорога перерезана врагом. Это было начало долгих, тяжелых месяцев блокады.

Шли дни, недели. Выручила Ладога. Озеро штормовало, но буксиры тянули баржи, и водной путь связывал нас с Родиной. Прошел ноябрь. Наступили морозы. Лед сковал Ладогу. Вмерзли в лед баржи. Что будет? Продуктов становилось все меньше. Норма хлеба 125 граммов в день.

В город шла помощь по воздуху. Не успевало одно звено самолетов подняться, как на аэродром опускалось другое. Из машин выгружали туши, ящики сахару, бочки масла... Но только средствами авиации не в силах было накормить, согреть, осветить город.

Жизненной артерией города опять стала Ладога. Родилась невиданная доселе ледовая трасса — «дорога жизни».

Сначала не было дороги, не было вешек, регулировщиков. Были ледяные ропаки, нагромождения льда. Тронулись в путь розвальни, прошли и дошли. Затем двинулись автомобили — робко, осторожно, по одному. Прошли и дошли. Дошли до Ленинграда, привезли муку, другие продукты. Будет жить Ленинград!..

Уже тысячи автомобилей проходили по льду — днем и ночью, в пургу и безветрие, под обстрелом и в тихие дни. Тысячи тонн грузов — шоколад и снаряды, нефть и сгущенное молоко. Машины доходили до берега. Груз переваливали на платформы, в вагоны. Поезда шли в Ленинград.

Ныне войска прорвали блокаду. И вот прошло только 19 дней. Сегодня мы встречаем поезд, который идет с той стороны, с «Большой Земли».

Я представляю себе: где-то на полустанке пассажир сказал кассиру торжественно и радостно: «Ленинград». И, наверное, в эту минуту улыбнулся кассир, с завистью посмотрели на пассажира все, кто был на вокзале. Да, давно кассиры не продавали билетов в Ленинград.

Поезд уже близко, виден дымок. Послушайте, друзья, настоящий поезд!

Добро пожаловать, товарищи пассажиры и железнодорожники!»

22 февраля 1943 года.

Наконец прибавка хлеба. Вчера хлебозаводы работали с наибольшей за время блокады нагрузкой.

Беседовал с директором треста хлебопечения Н. А. Смирновым. Он дал такую справку:

— Первый раз норма выдачи хлеба была уменьшена в ноябре 1941 года: рабочие стали получать 250 граммов в день, иждивенцы и служащие — 125. Хлебозаводы работали тогда в чрезвычайно сложных условиях — не хватало топлива, воды, энергии. Один из заводов получал электроэнергию от подводной лодки, которая для этого специально встала на якорь у берега.

Ледовая дорога дала возможность перебросить в город муку. Продовольственное снабжение Ленинграда все время улучшалось, прорыв блокады города дал возможность увеличить с сегодняшнего дня норму выдачи хлеба на сто граммов, а для рабочих оборонных предприятий — на двести граммов.

25 апреля 1943 года.

Сергей Литаврин и Илья Шишкань — друзья и боевые товарищи не только на земле, но и в воздухе. Летают они парой. Не раз один прикрывал другого от вражеских атак. Счет сбитых фашистских самолетов ведут общий: пока 26.

В начале войны Литаврин и Шишкань знали Ленинград только с воздуха. Но фронт приближался, аэродромы оказались почти в черте города. Когда в полк пришло письмо от рабочих Энского завода, летчики решили пригласить их к себе. Так познакомились Сергей Литаврин и Илья Шишкань со сварщиком Арсением Коршуновым и слесарем Иваном Григорьевым.

Летчики бывают в цехах, Коршунов и Григорьев приезжают на аэродром. Вот Литаврин и девять других истребителей атаковали шестьдесят «юнкерсов» и «мессершмиттов». В цехе радость: наши сбили пять машин. На заводе досрочно выполнили задание по ремонту танков — весть об этом сразу доходит до гвардейского полка.

Сегодня Коршунов и Григорьев написали письма своим друзьям-летчикам. «Добрый день, мой боевой друг,— пишет Иван Григорьев Герою Советского Союза И. М. Шишкань.— Недавно я прочитал в газете об одном трудном бое старшего лейтенанта Шишкань и его шестерки. В этот день многие товарищи по цеху говорили: «Здорово сражается твой друг!» Учти, весь наш коллектив следит за твоими боевыми делами. Мы, конечно, тоже не сидим сложа руки.

Будешь патрулировать над Выборгской стороной, покачай крылом. Желаю успеха.

Твой друг Иван Григорьев».

1 июня 1943 года.

Актеры приехали на завод, где директором Боженко. Представитель завода знакомит артистов с теми, кто в зрительном зале. Рассказывает о свердловщине и доноре Тосе Васильевой, о Наташе Сорокиной — самом храбром наблюдателе на вышке, о Максиме Борисове — токаре и слесаре («когда что нужнее»), о группе работниц, которые уехали в подсобное хозяйство выращивать овощи, — они тоже прислали свои заявки и сейчас слушают концерт по радио.

Начинает концерт заслуженный артист республики В. Л. Легков. По просьбе директора завода он исполняет ариозо Мизгира из «Снегурочки» и куплеты Торедора. Тепло встречают Софью Петровну Преображенскую — народную артистку республики. У нее сегодня — 725-й за время войны концерт. Преображенская поет Мусоргского, Бизе, Дунаевского. Затем выступает Довенман из ансамбля Ленинградского фронта, солисты оперетты.

Под конец все вместе — артисты и зрители — спели «Заставу».

Концерт «проскочил» благополучно, без остановок — воздушных тревог и обстрела в это время не было.

Какой необычный концерт!..

6 июня 1943 года.

Сегодня отметили 144-ю годовщину со дня рождения Пушкина. В доме на Мойке, на последней квартире поэта, искалеченной осколками снарядов, собрались писатели, ученые, рабочие, фронтовики, артисты. У многих на груди — знаки ленинградской славы — медали, на которых сверкает Адмиралтейская игла, воспетая поэтом в его вдохновенных строках.

Николай Тихонов сказал:

— Мы не можем по традиции отметить этот день торжеством в милых его сердцу местах — Михайловском или Тригорском: они захвачены фашистскими варварами. Мы не можем прийти под лицейские липы, где проходила его молодость: город Пушкин в руинах. Варвары, о которых поэт не имел представления, разорвали его книги, сожгли и уничтожили изображения поэта, разбили статуи. Но тень великого Пушкина присутствует в нашей грандиозной борьбе, каждым словом своего стиха

он напоминает о ярком солнце свободы, испепеляющем мрак варварской ночи. Все наши предки, на всех попрятках возвеличившие могущество нашего национального характера, создавшие славу нашему народу, присутствуют в священном бою с врагами. Среди них и бессмертный Пушкин.

Вера Инбер прочитала свое новое стихотворение «Пушкин жив». Всеволод Вишневский сказал:

— Пушкин для нас дорог как человек, воспевший победу России, воспевший Полтаву. Пушкин дорог для нас как человек, воспевший наш родной город. Пушкин представляет для нас образ бесстрашного человека, который был велик, человека, который был безгранично богат духовно. Сегодня для нас в этом городе, который два года без усталости дерется, он жив. Вся страна, весь Ленинград благоговейно чтят память Пушкина. В день его рождения мы видим его живым — Александра Сергеевича Пушкина, который работал для России до конца, который, умирая, стрелял во врага. Пусть этот образ послужит нам всем великим примером...

22 сентября 1943 года.

Встретил знакомого профессора из Политехнического института. У них в Лесном сравнительно тихо — стреляют меньше, чем по центру города.

Профессор рассказал об одном из заседаний ученого совета. Аспирант Текстильного института Гнездов еще до войны начал готовить кандидатскую диссертацию о сушке льняной тресты. Он собрал большой экспериментальный материал. Война прервала работу. Гнездов стал офицером Красной Армии, был ранен, лечился, снова воевал.

В госпитале Гнездов продолжал писать диссертацию. Вчера успешно защитил ее в Политехническом институте. Оппоненты — профессора Шреттер и Баймаков — дали высокую оценку.

Сразу после защиты диссертации кандидат технических наук гвардии капитан Гнездов возвратился на фронт в свою часть.

23 сентября 1943 года.

— Побывайте у профессора Жонголовича. Выполняет важное фронтовое задание, — посоветовали в штабе.

Думал, что узнаю о каких-то новых приборах или взрывчатке, а услышал рассказ о солнце, луне, звездах... Оказалось, что Жонголович и его сотрудники составляют «Астрономические ежегодники».

— Сейчас? Кому они нужны?

Нужны! Без этих толстенных книг, где каждая страница усыпана тысячами цифр, нельзя воевать. Книги эти — постоянный спутник военных моряков и авиаторов в боях и походах. «Астрономические ежегодники» можно найти в кабине штурмана дальнего бомбардировщика, в каюте командира подводной лодки, у фронтовика-геодезиста. Они позволяют узнать широту и долготу, не пользуясь земными ориентирами, — по методу астрономической ориентировки.

В Ленинграде в блокадные годы издано четырнадцать пособий, объемом 380 печатных листов. Для них потребовалось вычислить около десяти миллионов цифр. Это сделали несколько оставшихся в Ленинграде сотрудников Института теоретической астрономии Академии наук СССР.

Раньше расчеты велись на специальной счетно-механической станции. Теперь у астрономов — обыкновенные арифмометры. Но все равно скорости расчетов очень велики. В числе сотрудников Е. С. Иванова, пенсионер. Когда началась война, она возвратилась в институт, чтобы «считать звезды».

В примечании к одному из сборников я прочел: первые 289 страниц книги набраны в Ленинграде, остальные — в Москве, корректура читалась в Москве, Ленинграде, Казани, печаталась книга в Ленинграде и Москве. Корректуру везли на самолете вместе с боевым грузом. Наши летчики охраняли ее от вражеских истребителей.

6 октября 1943 года.

Объявлены результаты выборов в Академию наук СССР. Состав академии пополнился сразу четырьмя ленинградцами — сотрудниками Физико-технического института: И. В. Курчатов и А. И. Алиханов избраны действительными членами академии, А. П. Александров и П. П. Кобеко — членами-корреспондентами академии. Все это молодые ученые, самому старшему 46 лет.

И. В. Курчатов и двое других ученых сейчас где-то на «Большой Земле», а Павел Павлович Кобеко — все время в Ленинграде. Он мало говорит о своих работах, потому что выполняет задания фронта. Про него рассказали такой случай. Как-то зимой в окрестностях Ленинграда был задержан «подозрительный» велосипедист с большой сумкой за плечами. Проверка документов показала, что это профессор Кобеко, который вез в поле на испытание модель детали новой машины.

15 октября 1943 года.

Год назад в Ленинград приезжала делегация Приморского края. В одной из частей фронта она вручила танкистам подарки приморцев: портсигары, часы, бумажники.

— А самому храброму и самому веселому бойцу мы подарим баян, — сказал руководитель делегации и вынул из футляра баян. Танкисты наперебой расхваливали подарок.

— Ой, да он ленинградский, — заметил кто-то. И верно, на дощечке была выгравирована фабричная марка ленинградской гармонной фабрики.

— Ну, и баян-путешественник, — шутили танкисты, — на Тихий океан забрался, да, видно, по дому соскучился...

— Да, — задумчиво сказал капитан, тронув клавиши, — придет время, и снова Ленинград будет делать баяны...

В декабре 1941 года замерзшими руками рабочие собрали последний баян. С тех пор тихо стало в опустевших цехах. Когда танкисты, получившие подарок приморцев, вместе с другими бойцами шли на прорыв блокады Ленинграда, мастера фабрики собирали первую гармонию выпуска 1943 года. Снова запели на все лады голосистые ленинградские гармоники.

С тех пор фабрика изготовила более трех тысяч гармоней, тринадцать тысяч губных гармошек, пятьдесят девять баянов и несколько аккордеонов. Один из них — в подарок Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову.

Бомба, сброшенная фашистами, снова приостановила работу фабрики, но ненадолго. Рабочие и работницы сами восстановили цехи, и вскоре опять заговорили гармони.

Заказчики приезжают прямо с фронта. Нередко бойцы заходят в цехи:

— Потропитесь, товарищи, ребята ждут.

И тогда еще быстрее движутся искусные руки.

На фабрике ремонтируют и старые баяны. Вот и сегодня с фронта привезли несколько десятков баянов и гармоней. Бережно берет мастер израненные, молчаливые инструменты. У одного пулей пробиты мехи. Где-то его хозяин, жив ли?.. У другого осколок отбил край и несколько клавиш. Скоро все они обретут свой голос и возвратятся на фронт.

25 декабря 1943 года.

Сегодня побывал в одном из институтов на кафедре микробиологии. Руководитель кафедры — профессор Алексей Макарович Калинин. Прошли с ним по узкой лестнице в подвал. Вокруг — пробирки, колбы, столы и на них микроскопы.

— Раньше целый этаж занимали, — говорит Алексей Макарович. — После того как в здание попал снаряд, пришлось временно перебраться вниз.

Профессор рассказывает: до войны было двадцать два сотрудника, сейчас восемь. А объем работы утроился. Когда погасло электричество и остыли радиаторы теплосети, пришлось поддерживать необходимую температуру в термостатах керо-

синовыми лампами — только так можно было сохранить культуры микробов. И сохранили. А как же иначе?

Алексей Макарович нашел способ быстрее выявления одного из возбудителей газовой инфекции — перфрингенса. Чтобы определить наличие микробов, всегда требовалось не менее суток. Это, так сказать, по нормам мирного времени. Профессор Калинин создал питательную среду, в которой микробы вырастают за шесть часов. Способ Калинина с успехом применяется в нескольких больницах Ленинграда.

Научная деятельность сочетается с учебной и производственной работой кафедры: за время войны подготовлено более трехсот врачей-специалистов, сделано свыше трех тысяч анализов.

19 января 1944 года.

Началось! И на нашу улицу пришел праздник. Впервые Москва салютовала воинам-ленинградцам.

Началось наступление. Оборона немцев проворвана. Несколько дней не смолкает гул нашей артиллерии, но с каждым часом он отдаляется.

Захвачена большая группа немецкой артиллерии, тяжелые и сверхтяжелые орудия, стрелявшие по Ленинграду. Вот это здорово! Неужели кончились обстрелы? Даже не верится.

Освобождены Красное Село, Ропша. Снова наш Петергоф. Как там фонтаны?.. Пулково уже тьл, что же говорить о самом Ленинграде!

На эти дни отложили все «внутриленинградские» темы. Больше на фронт на трамвае не поедешь. Достали машину — надо догонять войска..

22 января 1944 года.

Гитлер и его подручные были уверены, что захватят Ленинград. Гитлеровцы напечатали билеты на банкет в гостинице «Астория», составили план парада своих войск на Дворцовой площади, они готовились фотографировать мчащиеся по Невскому «тигры»...

Мечтам не суждено было сбыться.

Но самоходное орудие «фердинанд» все же попало на Невский, а крупнокалиберные пушки оказались вблизи Дворцовой площади... во дворе Артиллерийского музея.

Сегодня здесь большое оживление — прибыли трофеи. Правы оказались бойцы, которые предупреждали работников музея: «Готовьте место. Мы вам столько экспонатов доставим, только успевайте размещать».

Наши части идут вперед. И с каждым днем музеев и выставки будут пополняться новыми экспонатами — образцами всех видов вооружения фашистской армии.

1 февраля 1944 года.

Вместе с литератором Г. Макогоненко возвратился с фронта. И так, Сиверская — знаменитый поселок дач и пионерских лагерей — наша. После Гатчины — это первый крупный населенный пункт на южном направлении, где враг, охваченный паникой бегства, не успел угнать советских людей на каторгу. Еще возбужденные дыханием боя, солдаты и офицеры попадают в объятия местных жителей. Пожилые женщины и ребятишки гянут на санках свои пожитки — несколько дней скрывались они в подвалах и землянках. Каждому бойцу пожимают руки, наперебой приглашают в гости.

— Ну хоть на минутку зайдите, родные. У меня сын в Красной Армии, — говорит женщина, выбежавшая на улицу без пальто.

— У меня коза осталась, — вторит другая, — зайдите хоть на секундочку. Посидите, молочка попейте.

— Милые! Наши! Вернулись! Товарищи!..

Как хорошо, не озираясь по сторонам, громко сказать родное слово: «товарищ». Одни сиверцы просят газетку, другие расспрашивают о своих родственниках в Ленинграде. Мальчишки пытаются сосчитать, сколько орудий прошло по их улице, а те, что постарше, с завистью поглядывают на погоны.

...К вечеру возвращаемся в Ленинград. Только что освобожденная Сиверская — уже тыл. Сиверская уже не предмет разговора военных. О Сиверской говорят вошедшие сюда гражданские власти. О Сиверской говорят прибывшие из Ленинграда представители профсоюзов и учреждений, которые осматривают дачи и обсуждают вопрос об отдыхе ленинградцев летом 1944 года.

8 февраля 1944 года.

Только что беседовал по телефону с проживающим в Москве ленинградцем С. Я. Маршаком.

— Чем порадуете, Самуил Яковлевич, читателей, что нового написали?

— «Военную почту»,— ответил Маршак.— Двадцать лет назад я написал «Поэму о ленинградском почтальоне». Сейчас продолжил ее. «Военная почта» посвящена читателям моей первой поэмы, которые теперь сражаются на фронтах Отечественной войны. Вот еще не опубликованный отрывок из этой поэмы:

Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
Это тот, кого мне надо,
Ну, конечно, это он —
Письмоносец Ленинграда,
Ленинградский почтальон.

С ним я встретился по-братски,
И узнал я с первых слов,
Что земляк мой ленинградский,
В общем, весел и здоров.

Уцелел со всем семейством.
Горе нынче позади.
И медаль с Адмиралтейством
На его блестит груди.

Он — защитник Ленинграда,
И не раз на мостовой
Он слышал полет снаряда
У себя над головой.

Но походкою спокойной,
Как и двадцать лет назад,
Он обходит город стройный,
Город славный — Ленинград!

Сегодня же обновленный «Ленинградский почтальон» совершил свое первое «путешествие» по городу: эти строфы мы передали по радио.

21 марта 1944 года.

Если бы не пулемет на товарном вагоне, прицепленном в «хвосте поезда» («На всякий пожарный случай»,— говорят проводники), трудно было бы и подумать, что война продолжается, что бои идут на Днестре.

Голубой экспресс блестит свежим лаком. У проводников — белые перчатки. Окна прикрыты шелковыми занавесками и плюшевыми гардинами. На платформе — обычный для вокзала шум, оживленный говор, напутствия провожающих.

Занимаем места в мягком вагоне. Начальник поезда Герой Социалистического Труда М. Г. Кардаш интересуется, как устроились.

Давно ли М. Г. Кардаш сопровождал под обстрелом товарные составы, что шли с Ладожского озера. Давно ли машинист экспресса П. И. Волосюк водил поезда с боеприпасами. И вот первая «Красная стрела» отправляется в путь.

Главный кондуктор В. Гусев дает свисток. Поехали...

Все оборудование поезда довоенное. Когда 22 июня 1941 года «Красная стрела» пришла в Ленинград в последний раз, железнодорожники не только надежно укрыли составы, но и бережно спрятали все оборудование: белье, одеяла, ковры, хру-

стальные графины — пригодятся! «Стрела» не ходила больше тысячи дней. Все хозяйство сберегли, и оно действительно пригодилось.

Поезд минает Колпино. Проезжаем через наш передний край. Здесь в течение почти трех лет держали оборону советские войска... Полуразрушенные громады Ижорского завода, наместо срезанные макушки деревьев — след непрерывной артиллерийской дуэли. Еще несколько сот метров, и позади остается передний край врага. Развороченная земля, взорванные дзоты, блиндажи, землянки. По сторонам полотна валяются разбитые танки и орудия. Поезд идет медленно, осторожно — путь только что проложен.

Красный бор — место многодневных упорных боев... Ульяновка, где была окружена и уничтожена крупная группировка врага. На каждой станции сотни людей подходят к поезду: «Наконец-то снова «Стрела».

Незаметно бежит время. Почти всю ночь не спим. Пожалуй, ни разу за войну у газетчиков не было возможности вот так без дела посидеть за стаканом крепкого чаю и попросту поболтать, никуда не торопясь. Кто-то написал на листке из блокнота «вывеску»: «Дом журналиста на колесах».

Пассажиры, выехавшие вчера из Ленинграда, сегодня будут в Москве. Письма, опущенные вчера в Ленинграде, сегодня получают московские адресаты.

Москва встречает первую «Красную стрелу». Приехали...

3 мая 1944 года.

— Смотри, опять подняли!

Двое парней, что шли по Кировскому проспекту, остановились, задрали головы. Я понял недоумение ребят: фронт — за несколько сот километров, немцы не рискуют даже подлетать к городу, а тут аэростат...

Действительно, зачем каждый день висит над городскими кварталами одиночный аэростат? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо оглянуться назад.

В годы блокады Ленинграда было решено построить мощную радиостанцию, которую могла бы слушать вся Европа. Оборудование было сделано на ленинградских заводах, монтаж шел параллельно с проектированием, и уже через несколько месяцев станция была готова. Такими небывалыми темпами радиовещательные станции никогда не строились.

Но перед конструкторами встала серьезная задача: как сделать станцию невидимой для врага, ведь из-за мачты ее мгновенно обнаружат. И тогда был найден остроумный и простой выход. Антенну поднимали на... аэростате заграждения. Она терялась среди других стальных тросов аэростатов. Как только радиопередача кончалась, аэростат опускали. Голос Ленинграда слушали миллионы людей в Советском Союзе и за рубежом.

Блокада была снята, но антенна осталась. И каждый раз в часы работы станции тянется вверх аэростат. Правда, теперь радисты уже недовольны своим прежним изобретением. Все-таки не надежна эта антенна для постоянно действующей станции: то сильный ветер подует, то снег ляжет на аэростат.

Сейчас инженеры заняты проектированием высокой мачты — новой постоянной антенны для ленинградской радиостанции. Но антенна-«невидимка» сделала свое дело.

31 августа 1944 года.

Сегодня встречали футболистов «Зенита», приехавших «Красной стрелой» из Москвы. В минувшее воскресенье я видел их всех — Иванова, Пшеничного, Яблочкина, Левина, Чучелова, Сальникова — на столичном стадионе «Динамо». Это была первая крупная игра ленинградской команды после блокады, и, казалось, вся любовь к ленинградцам выразилась в сердечном отношении стадиона к зенитовцам.

Редкий случай в футболе: все москвичи болели не за ЦДКА, а за ленинградский «Зенит». Думаю, что такая единодушная поддержка зрителей помогла нашим футболистам завоевать кубок.

1 сентября 1944 года.

Десять часов утра. Из репродуктора раздается звонок. Его передали по радио для всех школ. Какой необычный звонок — сразу для всего города...

Лейтенанта Круповского, кавалера двух орденов и медали «За оборону Ленинграда», пришедшего в 203-ю школу Дзержинского района, в вестибюле встретил директор.

— Вы с сыном?

— Никак нет, товарищ директор, я лейтенант Круповской, — козырнул военный. — Он же, если не забыли своего бывшего ученика, Олег Круповской. Вот пришел, с вашего разрешения, посмотреть, как ребята учебный год начинают...

Впервые за три года ребята начинают учиться в нормальной, спокойной обстановке. В прошлом году первые уроки нового учебного года многие классы провели в укрытиях — город подвергался артиллерийскому обстрелу.

Враг нанес школам города огромный ущерб — пострадало несколько сот зданий. Фабрики и заводы, воинские части, батальоны МПВО помогли восстановить школы. Они подготовлены к новому учебному году не хуже, чем в довоенные годы.

В этом году в Ленинграде вдвое увеличилось число учащихся. Открылись 62 новые школы, а для детей со слабым здоровьем — специальные лесные школы в пригородах.

2 сентября 1944 года.

Вчера Академический театр оперы и балета имени Кирова начал свой восемьдесят пятый сезон, сезон, непохожий ни на один другой.

По-прежнему сверкает радужными огнями «шапка Мономаха» — гигантская хрустальная люстра весом в тонну, поблескивает позолотой лепка лож, снова светится небесной голубишной потолок зала с порхающими на нем музами и купидонами. Все на своих местах, все празднично и роскошно, как и до 18 сентября 1941 года.

В тот день «юнкерс» сбросил на театр тяжелую фугаску. Бомба раскрыла правый флигель, разнесла в щепы мебель. Воздушная волна с огромной силой вдавила на три четверти метра в глубь сцены двенадцатитонный железный занавес. Осколками был разбит уникальный деревянный инструмент — единственный в России. В течение многих десятилетий его специально возили в Большой театр столицы, когда там шла «Саломея» Штрауса. Снег запорошил декорации, холодный ветер гулял по фойе и ложам.

Фашисты не забыли о Мариинском театре. За годы блокады двенадцать раз сюда попадали артиллерийские снаряды. Но хотя враг стоял еще у Пулковских высот, хотя трамвай ходил еще почти до самого переднего края, в разрушенное здание уже пришли рабочие. Большинство из них раньше строило оборонительные укрепления.

Здание обросло лесами. В верхнем ярусе работал Сергей Ментусов, кавалер ордена Славы, трижды раненный боец. Фронтовиками были и другие мастера. А на «небе» театра чудодействовал художник Валентин Щербаков.

Три недели искали по городу специалиста по реставрации монументальных росписей. И наконец нашли — единственного. Потолок зала, на который был наклеен холст с музами, составлен из сотен отдельных квадратиков. От сырости, мороза и сотрясений при бомбежке квадратiki разошлись. Между ними образовались широкие щели. Живописное полотно плафона порвалось и свисало жалкими лохмотьями. Забравшись на высокие леса, Щербаков и его ученики составляли деревянную часть плафона, наклеивали на него холст, обновляли купидонов и муз.

Иван Иванов и его помощники, которые когда-то золотили Адмиралтейскую иглу и знаменитого петергофского «Самсона», теперь восстанавливали в театре ярусы. Правительство разрешило Государственному банку отпустить театру почти три килограмма золота, и вскоре снова засверкали лепные украшения.

Специальная мастерская была создана для реставрации центральной люстры. Она состоит из 26 987 частей. Каждый хрусталик люстры нужно было промыть в

особой кислоте, подобрать по размеру и осторожно нанизать на проволочные нити, С этой работой искусно справился Павел Константинов.

Весь Ленинград помогал театру: воинская часть генерала Степанова дала строительных рабочих, завод «Красный маляр» наладил производство лака для позолоты, а одна из пригородных ферм прислала... молоко на побелку фигурного потолка в главном фойе.

Театр восстанавливался военными темпами. Это позволило труппе вернуться из эвакуации в родной Ленинград. В 19.00 1 сентября главный дирижер Б. Э. Хайкин поднял дирижерскую палочку.

Восемьдесят пятый сезон Государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова открыт. И артистам и зрителям он показался вторым рождением театра.

6 сентября 1944 года.

Позиция офицера Шурыгина находилась на переднем крае нашей обороны возле города Пушкина. Наблюдая за тем, как копошатся гитлеровцы возле Екатерининского дворца, он каждый раз думал о судьбе Петергофа. Там до войны Шурыгин работал заведующим научной частью музея. В каком состоянии петровский Мон-Плезир? Не поврежден ли Марли?..

Ответ на эти вопросы Яков Ильич Шурыгин получил только в этом году, когда после двух ранений был демобилизован из армии и назначен директором дворцово-музеев Петродворца.

— Вы знаете,— рассказывает Яков Ильич,— на фронте приходилось видеть много страшного, но, кажется, ничто не причинило мне столько боли, сколько рунны Петродворца. Я увидел развалины гениального творения Растрелли, дикий заросший лес вместо парка, в ночной тиши услышал крики филинов и сов...

Небольшой коллектив рабочих и научных сотрудников энергично взялся за дело. Бойцы помогли разминировать парк и постройки — только на одном участке было извлечено 26 тысяч мин. Некоторые здания уже подведены под крыши. На днях в Екатерининском корпусе начинается консервация росписи и лепки Гваренги и Скотти.

В земле обнаружено около восьмидесяти парковых скульптур, закопанных в начале войны. Поиски их представляли большие трудности, так как имелся только схематический план. Для того чтобы найти одну скульптуру, приходилось разрывать огромную площадь.

С болью в сердце приводит Я. И. Шурыгин цифры: в парке гитлеровцами вырублено около семи тысяч деревьев, сгнило пять тысяч, больны двадцать пять тысяч лип, кленов, ясеней.

Главный садовник, инвалид Отечественной войны Александров, и его помощники приступили к планировке газонов, стрижке кустарников. Яков Ильич показал нам сегодня проект восстановления известных во всем мире фонтанов Петродворца.

4 ноября 1944 года.

Позвонил Липатьев: «Наконец открываемся, приходи обязательно, билет оставлю!»

Сколько я помню ТЮЗ, столько помню Александра Липатьевича Липатьева. И вот ТЮЗ — на Урале, Липатьев — в Ленинграде. Как будет жить он без театра? Неужели Липатьев остался «не у дел»?

Случилось так, что оба мы добирались на работу по тем же улицам, по той же «необстреливаемой» стороне. Нелегко ему пешком ходить каждый день с Петроградской на Моховую. Честно сказать, страшно идти, когда обстрел.

...Безлюдно. Зря в блокаду никто не ходил. Шли, только когда уже очень нужно было. И вот по площади мимо цирка идет Липатьев. Походка медленная, шаг тяжелый.

— Ну, что, старик, жив?

— Жив!

— Что ты зря ползаешь? Сидел бы дома.

... — А театр? — В голосе обида.

О театре, о его сохранности думал Липатьев в самые страшные дни, он жил будущим театра. Пусть здание пустое, холодное, но это его театр, его ТЮЗ, который надо сберечь для будущих спектаклей. Пусть труппа в Березинках, но придет время, и снова амфитеатр заполнится детворой.

Александра Липатьевича, путешествующего на Моховую, видели многие ленинградцы, бывшие когда-то юными зрителями. И то, что администратор эвакуированного детского театра в нечеловеческую зиму 1942 года аккуратно ходил на работу, говорило всем: будет еще весело и шумно в доме № 35 по Моховой улице.

Я помню Липатьева грозным для нас, школьников, стражем театральных порядков. Мы подружились с ним в годы моей юности. Мне отчетливо запомнилась сутуловатая фигура «старика» блокадной зимы. Я рад, что из его рук получил контрамарку на открытие нового, военного, сезона моего любимого ТЮЗа.

10 апреля 1945 года.

Все мы, проходя мимо памятников, бережно укрытых песком и досками, знали: наступит день, и они снова будут сиять во всей красе.

Вот уже более ста лет на берегу Невы на гранитной глыбе стоит памятник Петру Первому. Вслед за Пушкиным народ прозвал его «Медным всадником». В первые месяцы войны заботливые руки засыпали памятник песком, землей, скрепили защитный покров досками. Почти четыре года был скрыт от нас замечательный монумент. И вот сегодня он снова, как и в былые годы, предстанет перед глазами ленинградцев.

Девушки — бойцы МПВО — вынули из укрытия тысячи килограммов земли. Они крепко держат туго натянутые тросы, прикрепленные к деревянной обшивке.

14 часов 40 минут. По команде офицера бойцы сильно дергают за тросы, деревянная обшивка падает наземь, и на фоне серо-голубого неба вырисовывается фигура «Медного всадника». Все, кто был в эту минуту на Сенатской площади, в едином порыве захлопали в ладоши.

Это было незабываемое зрелище. Торжество невосковой твердыни, города-крепости, заложенного Петром Первым и прославленного доблестью и мужеством ленинградцев. Мой сосед, молодой офицер, до сих пор молча стоявший у памятника, сказал тихо:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия...

21 апреля 1945 года.

Вновь открывается для посетителей музей — шалаш Ленина в Разливе.

«На месте, где в июле и августе 1917 года в шалаше из ветвей скрывался от преследования буржуазии вождь мирового Октября и писал свою книгу «Государство и революция» — на память об этом поставили мы шалаш из гранита

Рабочие города Ленина».

Такая надпись высечена на памятнике, установленном в 1927 году на том месте, где осенью семнадцатого года скрывался Владимир Ильич Ленин. До войны шалаш-памятник посещали десятки тысяч экскурсантов. Сюда приходили по песчаной косе, идущей с берега, приезжали на лодках, парусниках, катерах.

В самом начале Отечественной войны памятник оказался в прифронтовой зоне. Только несколько километров отделяло его от переднего края обороны. Не стало здесь экскурсантов. Но бойцы и офицеры Красной Армии постоянно посещали историческое место, а некоторые и служили здесь.

Старший лейтенант В. М. Вакуленко — офицер подразделения, расположенного вблизи памятника, — говорил мне:

— С волнением приходил каждый из нас к памятнику. Мы знали, что на этом месте, где стоит сейчас гранитный шалаш, в течение целого месяца жил Ленин. Обо всем этом мы рассказывали молодым бойцам, воспитывали их на примерах из жизни и борьбы Ленина.

Не раз вражеские снаряды разрывались на территории, где находится памятник, не раз пролетали над ним самолеты противника. Бойцы бережно охраняли памятник, любовно заботились о нем.

Фронтовики с большим удовлетворением узнали, что к 75-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича шалаш-памятник и маленький музей, организованный в Разливе, реставрируются, восстанавливаются и будут открыты для посещения. Все, что связано с именем великого Ленина, бесценно дорого советским людям...

29 апреля 1945 года.

Сегодня в канун первомайского праздника, когда войны Красной Армии штурмуют Берлин, мы рассказали радиослушателям о Первом мае 1943 года.

День тогда выдался, как и нынче, солнечный, весенний. Редкие горожане торопливыми шагами шли по Невскому. Вдруг пронзительный свист нарушил тишину утреннего Ленинграда, и снаряд с грохотом разорвался в доме № 34 по Невскому проспекту.

Обратимся к документам. Меня познакомили сегодня с «Журналом боевых действий» штаба МПВО Куйбышевского района. Два года назад сведения были секретными — они помогли бы врагу корректировать стрельбу. Вот факты только по одному району, факты одного дня.

Первый снаряд разорвался в доме № 34 по Невскому проспекту. В 11.09 утра была обстреляна Публичная библиотека, в 12.25 — Казанский собор, повреждены колонны и ступени. В 17 часов 20 минут снаряд попал в здание Филармонии, еще через пять минут — в Сад отдыха. На Невском проспекте в этот день снаряды попали в дома №№ 17, 18, 30, 34, 50, 54 (утром и вечером), 60. Гитлеровцы умышленно били по центральной магистрали города, по перекресткам, по культурным учреждениям.

Два снаряда разорвались на Садовой, в детском саду № 15 ранено пять человек. В течение дня гитлеровцы только по территории Куйбышевского района выпустили из дальнобойных орудий 28 снарядов.

Мы никогда не забудем страшного преступления врага, совершенного 1 мая 1943 года в центре Ленинграда.

Наши артиллеристы теперь штурмуют кварталы Берлина. А Ленинград, ставший тыловым городом, строится, ленинградцы возрождают свой город.

...Концертный зал Филармонии всегда переполнен публикой. В Публичной библиотеке вставили стекла, и теперь снова открыт читальный зал. Сад отдыха готовится к летнему сезону.

Сегодня я зашел в детский сад № 15 на Садовой. Зажили раны у заведующей детским садом Марии Николаевны Нисневич. Семилетний Витя Власов, который два года назад находился в комнате, развороченной снарядом, рассказал о подробностях обстрела.

— А сейчас,— добавил он,— мы готовимся к празднику, приходите к нам. Стрелять больше не будут...

30 апреля 1945 года.

Год назад открылась выставка «Героическая оборона Ленинграда». Сегодня я встретился с директором выставки майором Раковым.

— Прежде чем рассказать об экспонатах, поступивших на выставку за прошедший год,— начал Раков,— хочу показать вам вот эту записную книжку...

И майор вынул из ящика маленькую книжку, в которую обычно записывают телефоны. Все первые страницы заполнены написанными мелким почерком цифрами, перечнем деталей машин, техническими обозначениями — владелец книжки, видно, был инженер.

Затем начинаются алфавитные листки. На листке с буквой «Б» мы прочли запись, сделанную синим карандашом большими буквами: «Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года». Подобные надписи той же детской рукой сделаны и на

других листках. В алфавите на букву «У» занесено: «Умер дядя Вася, Женя, дядя Леша...» На листке с буквой «О»: «Осталась одна, Таня...»

Таня Савичева в суровую зиму 1942 года делала записи о погибших родных. Она осталась одна, а потом умерла и сама.

Эта книжка — человеческий документ огромной силы — найдет свое место на нашей выставке рядом с другими экспонатами о буднях ленинградской эпопеи.

24 декабря 1945 года.

Командующий войсками Ленинградского военного округа Л. А. Говоров принял делегацию инструментального завода.

Первая его встреча с инструментальщиками произошла три года назад. Тогда они были оружейниками и принесли в штаб фронта новый автомат, изготовленный в Ленинграде. Теперь делегация завода пришла в штаб с изящным ящиком. В нем сложены точные чувствительные инструменты. Тогда Говоров был генерал-лейтенантом, теперь он маршал, Герой Советского Союза. Тогда Говоров командовал фронтом, а теперь округом, теперь — мир.

Завязалась дружеская беседа.

— Вот мне тут дали справку, — сказал Говоров, — в 1941 году вы сдали частям фронта пять тысяч автоматов. Это значит, что где-то на одном из решающих участков фронта с вашей помощью враг был остановлен. Вот и в 1942 году мы получили от вас двенадцать тысяч автоматов. Тоже замечательная цифра. Фашисты кричали на весь мир, что Ленинград вот-вот падет. А он обладал такой силищей, что не только сам отбивался, но и производил все, что нужно для обороны, а потом и для наступления... Ну, рассказывайте, как живете, как дела на заводе. Вы теперь совсем иначе выглядите, не то что в сорок втором году...

— Еще бы! — вступил в беседу инженер Чернышев. — Мы тогда к вам в Смольный под обстрелом шли, в цехах народ в пальто работал, не хватало электроэнергии. Теперь наш завод вырос, окреп и снова выпускает мирную продукцию.

29 декабря 1945 года.

Есть в Ленинграде командный пункт противовоздушной обороны. Отсюда в войну управляли действиями всех наших самолетов и орудий. Глубоко под землей находились сердце, мозг и нервы сложнейшего организма. Сегодня штаб разрешил мне побывать на командном пункте ПВО.

Лестница, похожая на корабельный трап, привела нас в глубокое подземелье. Мы миновали несколько отсеков, разделенных стальными дверями, и оказались в комнате, напоминающей класс: столы вроде парт, грифельные доски, карта. «Разговаривать вполголоса» — предупреждает плакат. Почти одновременно с появлением вражеского самолета в той или иной зоне на карте в том же квадрате вспыхивала лампочка. И с этого момента за самолетом следили тысячи глаз: артиллерийские дивизионы, батареи, аэродромы, посты воздушного наблюдения, оповещения и связи. Когда самолет противника подходил к определенному рубежу, давался сигнал воздушной тревоги. Сопровождавший нас полковник сказал:

— Стоило нажать вот эту кнопку, и вы через секунду слышали по радио сирену и слова «Воздушная тревога».

Мы побывали в «Зале артиллерии», откуда по одному сигналу во всей зоне противовоздушной обороны Ленинграда можно было создать многослойную огневую завесу. В «Зале авиации» нам показали, как по радио наводили советских истребителей на фашистские самолеты...

— Что делают части ПВО в наши дни? — спросил я полковника.

— Упорно учатся, — ответил он. — Изучают опыт войны. Артиллеристы и летчики ПВО Ленинграда уничтожили за военные годы около двух тысяч фашистских самолетов. Зенитчики выпустили по авиации противника полтора миллиона снарядов.

Потом мы перешли в другое здание, где поднялись на вышку.

— Здесь,— сказал полковник,— во время воздушных налетов противника находился наш командующий. Высший начальник авиации руководил по радио воздушными боями. Теперь отсюда в дни всенародных праздников командуют артиллерийским салютом...

* *
*

Трудно, конечно, проследить судьбу всех людей, которые упоминаются в дневнике военных лет. Много изменилось в их жизни, да, и сам Ленинград совсем не такой теперь, как во время блокады и сразу после войны. Теперь это снова город мира, труда, творчества.

...Я встретился с рабочими металлического завода электросварщиком Арсением Коршуновым и слесарем Иваном Григорьевым (он стал инженером). Теперь они уже не ремонтируют танки, а строят турбины, равные мощности трех Волховстроев.

...Я вспомнил поездку на первой после блокады «Красной стреле», которая шла до столицы почти сутки. И сразу записал в блокнот сравнение: недавно новый пассажирский тепловоз харьковского завода доставил состав Москва — Ленинград за 5 часов 55 минут. Этот тепловоз будет воить «Стрелу».

...Ленинградский инструментальный завод, который в блокаду освоил новый тип автомата, в наши дни выпускает автоматы для сортировки колец подшипников на 25 групп. В этой изумительно точной и сложной машине применены полупроводники.

...Проект восстановления фонтанов Петродворца, о котором в свое время мне говорил Я. И. Шурыгин, давно воплощен в жизнь.

...И, конечно, ребята из детсада, о которых заботилась 54-я армия, давно стали взрослыми.

Ну, а в общем снова наряжен Невский, прекрасны набережные Невы. За Нарвскую заставу от Московского вокзала проложено метро. Заметно похорошел весь возрожденный Ленинград, героический, орденосный, город Великого Ленина.



МАТЭ ЗАЛКА — ГЕНЕРАЛ ЛУКАЧ

Двадцать лет назад, сражаясь за республиканскую Испанию, погиб под Уэской венгерский писатель коммунист Матэ Залка (1896—1937). Много лет он прожил в нашей стране, боролся за установление Советской власти, сражался с ее врагами в годы гражданской войны, участвовал в социалистическом строительстве. Он написал много хороших рассказов, повестей, несколько романов. Его произведения изданы многотысячными тиражами почти на всех языках народов СССР. Добровольцем отправился Залка в Испанию, объятую пламенем войны, и под именем Лукача командовал славной Двенадцатой интернациональной бригадой.

Ниже мы публикуем ранее не печатавшиеся статьи Матэ Залка, предоставленные редакции вдовой писателя Верой Ивановной Залка, воскрешающие перед читателем некоторые страницы из сорокалетней истории советского народа, и отрывок из воспоминаний о Матэ Залка его адъютанта в Испании А. Эйнера.

М. ЗАЛКА



Новогоднее слово

И приходилось ли вам испытывать чувство радости и гордости, когда завершается стройка? Весь могучий комбинат еще не готов. Закончена только первая очередь. Здание освобождается от лесов, фасад его даже не просох, но шустрые грузовики уносят последние кучи строительного мусора, и окна, как радостные глаза, вспыхивают светом.

Вы смотрите на это здание и говорите себе: здесь и моя доля.

Наша жизнь похожа на такую завершающую свою первую очередь стройку. Это не символ, не аллегория, даже не аналогия, это надо понимать в буквальном смысле слова.

Ну, что со мной?

Я не начальник строительства, не архитектор, не инженер, не каменщик, не штукатур и не кровельщик. Я скорее похож на табельщика. В своем сердце я веду учет всех наших побед, и у меня не меньше радости, чем у тех, кто должен предстать перед всесоюзным старостой, который со светлой калининской улыбкой передаст из рук в руки маленький футляр с орденом, поздравляя сына или дочь страны с победой на фронте труда. И мне радостно, ибо доля и моей работы блеснет в этом ордене.

Большевики — удивительный народ, даже мало сказать удивительный! Они научились не только драться, они научились и работать. Большевики работают так, как другие умеют только драться, и дерутся, как бы работая.

На пороге 1936 года мой взор устремлен на карты, планы и цифры.

На днях я читал об установках по строительному плану на 1936 год. Эти цифры в десятки раз превышают цифры первой пятилетки. Они раскрывают перед нами гигантские перспективы, и большевистский народ кажется мне искусно расставленной армией, которой отдан приказ штурмовать еще никем не завоеванные высоты.

Челюскинская эпопея как литературная тема

Что больше всего захватывает в эпопее челюскинцев? Что следует положить в основу отображения героизма этой борьбы и радости этой победы? Чем отличается этот эпизод от множества других проявлений человеком мужества и упорной воли?

Ответ на эти вопросы может быть дан в подлинно художественном произведении, достойном советского поэта и писателя.

До сих пор человек более всего проявил свою изобретательность, ловкость и решительность в борьбе с человеком.

Родовая, феодальная, буржуазная формы человеческого общества испокон веков не щадили материальных и моральных средств на армию — аппарат нападения и обороны. В армию идут самые сильные, ловкие, решительные. Никакие средства, никакие суммы не кажутся человеку достаточно большими для истребления себе подобных. От этого безумия не спасли человечество ни христианство, ни культура, ни цивилизация. Религия была использована как моральный базис для истребительной авантюры, культура утончила ее методы, цивилизация через технику усовершенствовала ее средства. «Чистая» наука и «святое» искусство были поставлены на службу уничтожения человека человеком.

С этим пришло цивилизованное общество на подступы к XX веку. Что принес он миру?

Двадцать лет тому назад буржуазия ринулась в самую варварскую авантюру, облачив своих ратников в самое совершенное вооружение. Говорилось, правда, о том, что «ружейная пуля должна быть гуманной», что попавших в плен должны опекать Красные Кресты нейтральных стран, и т. д. и т. п. В результате разорено несколько государств, искалечены и уничтожены десятки миллионов людей. Из них девяносто процентов не только не были заинтересованы в целях войны, но даже не понимали, о чем идет речь.

На эту войну было затрачено столько средств, что даже с половиной их можно было бы превратить в цветущую страну пустыню Сахару.

За войной последовала волна революций. Она утвердила власть трудящегося большинства пока только на одной шестой земного шара. Эта революция победно строит новую жизнь во всех областях человеческого бытия.

Как раз сейчас происходит одна из бесчисленных конференций Лиги Наций, созданной якобы для предотвращения войны. Дипломатия революции шокирует дипломатию всего мира откровенной прямоотой своих диагнозов и предложений.

Однако для всех ясно, что война грозowymi тучами нависает над миром.

И во мраке этих туч ясным лучом светит челюскинская эпопея. Люди революции показывают человечеству путь, по которому надо направить все стремления, все усилия, показывают поле настоящей славы. В борьбе с природой человеку дано проявить невиданные качества мужества, героизма, организованности.

Мы живем на земле, но мы не являемся ее хозяевами. Мы в плену у страха. Государства, ошестившись, стоят друг перед другом, как хищные звери, высматривая добычу. Об этом с полным цинизмом заявляют фашисты.

Миролюбие Советского Союза не есть признак слабости. СССР не заинтересован в войне. СССР знает свою силу и верит в свое будущее. Люди СССР вооружены не только оружием, но и духом. Это блестяще доказали челюскинцы.

Что, собственно, произошло? Правительство революционной страны объявило поход для покорения недр земли, овладения стратосферой, освоения ледяных пространств Севера, орошения южных пустынь. Объявлена решительная схватка. Советские люди хотят стать полными хозяевами своей земли, победить, приручить самого могущественного врага — дикую природу.

Чуваши строят десятки тысяч километров культурных дорог. Башкирия превращается в индустриальную страну. Урал скоро будет источать нефтяные соки. «Оседлыми» станут кочующие пески Каракумов.

Льды Севера должны быть изучены и побеждены. Может быть, не каждому белому медведю Чукотского моря знакома борода профессора Шмидта, но его триумфаль-

ное шествие через Америку и Европу доказывает, что он один из самых замечательных людей нашей эпохи.

Выдержка, упорство, преданность и организованность — вот чем отличается коллектив челюскинцев, вот качества, которые были им проявлены во время катастрофы с судном и в жесточайшей мучительной борьбе за жизнь — за культурную советскую жизнь — на сжимающейся льдине.

Челюскинцы твердо верили в то, что страна их не оставит, что все, как на войне, будет брошено для их спасения. И они не ошиблись. Было действительно брошено все: лучшие корабли, самолеты, лучшие люди. Были проявлены в полной мере самоотверженность, отвага, спаянность.

Потому так захватывает, так волнует челюскинская эпопея, что это была схватка с дикой природой. Это была смелая разведка, которую предприняла страна, серьезно и всесторонне взявшаяся за превращение земли в подлинное достояние освобожденного человечества.

В этом революционный смысл героизма челюскинцев.

В этом направлении писатель и поэт найдут богатейшие залежи тем и мыслей, из которых можно составить целую библиотеку, начиная от юношеского приключенческого романа до научно-исторического.

Вот мысли, которые вызывает во мне возвращение челюскинцев. От чистого сердца поздравляя героев, я желаю им новых прекрасных успехов на фронте, самом благородном и самом передовом из всех фронтов человечества.

1934 г.

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

★

Смерть генерала Лукача

(Из воспоминаний)

...В эту последнюю свою ночь Лукач долго не мог заснуть. Из моей комнаты я слышал, как скрипит кровать, когда он ворочается. Его, должно быть, беспокоило, благополучно ли идет передвижение обеих бригад нашей дивизии, которые пешим порядком в темноте переваливали горы и должны были сосредоточиться к северу и северо-западу от Уэски, с тем чтобы войти в линию в ночь на двенадцатое июня. Раза три он выходил в мягких туфлях на веранду и, высунувшись наружу, пытался в ночных шорохах услышать пехоту на марше. Около четырех часов он на цыпочках подошел к моей двери.

— Что прикажете, товарищ комдив?

— Так и знал, что не спите! А я старался вас не разбудить. Сон у вас, как у зайца, один глаз всегда открыт.. Ну, раз не спите, попрошу вас, дорогой, возьмите дежурного мотоциклиста, они где-то здесь рядом, и катайте вниз, на перекресток, посмотрите, как там и что. Я пока прилягу. Вернетесь, доложите.

...Он нервничал не первый день. Еще за неделю до назначенной операции, когда мы стояли в анархистском вольном городе Каспе, Лукач около полудня выехал в Лериду в штаб фронта, чтобы ознакомиться с предварительным планом взятия Уэски. Его не было до вечера. Мы ужинали без него и, ожидая его возвращения, засиделись за столом, на котором, оплывая от сквозняка, горели три свечи. Православной приметы, что три свечи — к покойнику, никто у нас не опасался или не знал. Начальник связи, старый Мориц, в мировую войну германский унтер-офицер, польский еврей из Восточной Пруссии, ходячий анекдот и общий любимец, воспользовавшись отсутствием генерала, единственного человека, перед которым он робел (в его отношении к генералу Лукачу забавно и трогательно вплеталось почтение бывшего прусского унтер-офицера к бывшему лейтенанту союзной австро-венгерской армии), рассказывал очередную историю. Плохо прислушиваясь вначале, я с удивлением обнаружил, что Мориц излагает типичнейший «страстующий сюжет».

Родная сестра французской маркизы из «Tous va très bien, madame la marquise»¹; польская пани едет со станции в коляске, возвращаясь в свое поместье, и узнает от кучера, что «вшистко е в поржондку, але тен Круцек сдех». Как птица, склонив голову набок, ехидно прищуривая подслеповатые глазки за стеклами очков в старинной серебряной оправе, поджимая тонкие губы, Мориц пел на два голоса:

— «В тен час поведа пани: «А кто е тен Круцек?» — «А то е наш пьес подворжбый (значи по-русску двёрная собака)» — отповедал стари фурман (цо значи по-русску возник)...»

Мориц рассказывал талантливо. Уже выяснилось, что сгорела конюшня, а вместе с ней лошади, кроме той, на которой едет бедная пани и которая «забила Круцека», сгорела и мыза с коровами и со скотницей, сгорел дом, а «фурман» с идиотской настойчивостью приговаривает: «Вшистко е, пани, у нас в поржондку, але тен Круцек сдех...» Слушатели смеялись все громче и громче.

Вдруг в темную столовую своими быстрыми шагами вошел, почти вбежал Лукач. Мы встали. Мориц с виноватым видом всячески старался стусешваться.

Было заметно, что Лукач сильно взволнован. Не снимая портупей, он расстегнул френч, сел и в ожидании ужина правой рукой заиграл, как на рояле, по столу. Потом откинулся на стуле, засунул руки в карманы, недовольно оглядел присутствующих.

— Спать, спать, ребята! Завтра много работы, болтать некогда, — сказал он сердито.

Все, кроме начальника штаба Белова, заместителя командира молодой интердивизии Петрова² и меня, вышли из столовой. Лукач хлопнул ладонями по коленям.

— Нет, вы бы только знали, чего эти сукины дети в штабе фронта придумали, чтоб им ни дна, ни покрывки!.. Дивизию нашу хотят угробить!.. — вскрикнул он.

Белов и Петров переглянулись.

— Давайте сюда свет, карту давайте! — приказал Лукач, сбрасывая френч вместе с ремнями через голову. — Карандаш!

Аккуратно раскладывая карту и успокаиваясь на этом привычном занятии, он начал рассказывать план леридского штаба. Картина действительно получалась странная.

Странной была она и в целом, так как оказалось, что занимать выход из окруженной подковой республиканскими войсками Уэски и брать два прикрывавших ее населенных пункта Чимильяс и Алере будут только две наши бригады при полном бездействии остальных частей, странными были и многие, многие частности.

Все оставшиеся в его распоряжении дни Лукач безуспешно спорил с леридским штабом. Еще вчера мы с ним ездили к советнику всего фронта Леонидо и тоже тщетно.

...Когда я, выполнив распоряжение Лукача, возвратился перед рассветом, он, подложив правую ладонь под щеку, спал одетый, сбросив лишь ночные туфли, и дышал тихо, как ребенок. Но, едва рассвело, я обнаружил, что смятая постель его пуста. Он вернулся откуда-то, пока я умывался. Вид у него был усталый, глаза воспалены. Он негромко поздоровался, упрекнул меня, что я не разбудил его ночью.

— Распорядитесь насчет завтрака, прошу вас. К девяти все соберутся.

Он прошел к себе. Через открытую дверь я увидел, что, смотря в зеркало, он натирает виски палочкой ментола. Значит, головная боль, мучившая его накануне, усилилась.

За завтраком, допивая кофе, он заговорил, обращаясь ко всем:

— Прошу, товарищи, вести себя завтра, как полагаются: грамотно, внимательно и осторожно. На осторожности настаиваю особенно: неприятель ни о чем не должен догадываться. И, пожалуйста, без показного геройства: дело делать, а без дела никуда не соваться. Успеем погеройствовать, до Гибралтара еще далеко...

Он встал.

— К шести тридцати всем быть на своих местах, все проверить, просмотреть, продумать. Подготовиться к бою, как мы умеем. О малейших неполадках, о непредвиденных мелочах докладывать моему заместителю. Сверить часы. При соблюдении всех

¹ «Все очень хорошо, госпожа маркиза» (франц.).

² Петров и Белов — оба болгары.

условий, пехота поднимается в семь ноль-ноль... Карл, — обратился он к Белову, — ты все с товарищами проработал? Все знают, что делают?..

— Сегодня, что осталось, доработаем, Матвей Михайлович.

Через полчаса я зачем-то вошел к нему. Опираясь локтями на маленький столик, на котором лежала пачка доставленных вчера московских газет двухнедельной давности, он обеими руками обхватил голову. Глаза его были закрыты. Услышав мои шаги, он оглянулся. Я поразился бледности и несвойственному ему мрачному выражению лица.

— Что-то страшное случилось дома! Что-то очень, очень страшно!.. — с ударением сказал он.

На полу лежал номер «Правды». Я поднял газету. В ней были тяжелые для нашей страны новости.

Лукач медленно поднялся, осторожно положил левую руку на свой лоб. По-видимому, голова невыносимо болела.

— Я приму лекарство и с четверть часика поваляюсь. Если танкисты приедут раньше половины одиннадцатого, постучите.

Он вышел сам, когда прибыл советник испанского танкового полка, небольшой, молодой, какой-то весь серый, несмотря на ярко-голубую шелковую рубашку, а с ним связанной от авиации — полная ему противоположность, загорелый гигант, с пробивающимся сквозь загар румянцем и улыбкой, как у голливудских красавцев. Поздоровались. Танкист, словно играя на гармошке, собирал и распускал морщины на лбу, информируя нас о положении с танками. Они шли своим ходом. Дошло четырнадцать. Команда испанская — из коммунистов и комсомольцев. Обучались под Мадридом. Идут в свой первый бой. Танкист переложил на колени свой пистолет — целую пушку в деревянной кобуре, — резавший ему тонким ремнем плечо, и заговорил о командирской разведке на местности. Лукач категорически отказался.

— Я уже две недели всякие цирковые трюки придумываю, людей замучил. Хочу довести дивизию до исходных позиций к атаке, чтобы эти господа ни о чем не догадались, а вы мне всю обедню хотите испортить. Начнем на двадцати машинах перед ними раскатывать. Вы думаете, они совсем дураки?..

Танкист доказывал свое:

— Вы, товарищ генерал, вспомните, как на Хараме танки пошли без разведанных. Восемь штук немецкие пушки враз выбили.

— А я настаиваю, что внезапность — самое главное. За танки не бойтесь. Наши ребята проведут их, как девушек на танцплощадку.

Тот продолжал спорить:

— Мне Леонидо определенно приказал, и сам приедет. Мы обязаны выполнять...

Лукач вдруг сдался. Я чувствовал, что он занят какой-то сложной и мучительной внутренней работой, и свойственного ему непреклонного упрямства в отстаивании того, что он считает правильным, в нем сейчас нет. Командирскую разведку назначили на два часа; сбор на высотах к северу от Уэски, у населенного пункта Аппес. Договорились о проходах для танков на завтра, об опознавательных знаках для авиации. Затем гости уехали. Лукач поманил меня к столу, на котором лежала развернутая карта.

— Смотрите сюда. Эту прямую дорогу к позициям вы знаете. Так вот, возьмите двух бойцов из нашей охраны и лучшего сержанта. Надо заменить стоящий здесь испанский пост. Чей он там?

— Поумовский 1, — ответил Белов.

— Будет стоять наш. У товарища Белова возьмите бумажку к командиру их дивизии с объяснениями, извинениями и всякими там словесными украшениями. Так. Мой строжайший приказ: ни одной машины в сторону фронта. Ясно? Ни одной, ничьей!

— Ясно, товарищ комдив.

— При неподчинении применять оружие. Тоже ясно?

— Тоже ясно: применять оружие.

¹ ПОУМ (POUM—Partido obrero unification marxista) — Объединенная рабочая марксистская партия — так называли себя испанские троцкисты. Поумовские части не всегда подчинялись приказам своего тылового руководства; например дивизия ПОУМ отказалась бросить фронт и участвовать в барселонском путче 3—5 мая 1937 года.

— На всякий пожарный случай выдайте на пост ручной пулемет. У нас же есть в охране штаба?

— Так точно, есть, товарищ комдив.

— Теперь посмотрите сюда. Видите серпантин? Так вот, по этой самой «военно-грузинской» дороге и организовать движение к фронту. Дорога узкая, повороты крутые. Где надо, расставьте сигнальных. Возьмите сколько нужно людей. Флажки сделать. Где можно обеспечьте разъезды встречных машин. Основное: люди и грузы к фронту доставляются по серпантину, окружной дорогой, безопасно; по прямой дороге вдоль фронта разрешается проезд только в сторону тыла и только для пустых машин и санитарных с ранеными... Здесь у нас будет въезд, а здесь, где пост, только выезд. Поезжайте и устройте все как следует. И попрошу: будьте построже. Ждите меня к двум на месте сбора командирской разведки.

Я козырнул и вышел. Двух человек с винтовками и сержанта со старым «льюисом», вполне пригодным для целей устрашения, я отвез к перекрестку дорог на своем «шевроле». Люди из поумовской дивизии после краткого разговора вежливо уступили нам место и сели на траву в ожидании попутной машины. Один из них спрягал в пилотку конверт с подписанной Лукачом бумажкой, адресованной их командиру. Я объяснил им, что в сторону фронта по этой дороге машин больше не будет. Мы обменялись традиционным «Salud!» — «Salud!», и они пошли восвояси. Черт оказался не так страшен, как его малевали.

Сержант из охраны был немцем, единственным осколком батальона Тельмана, контрабандой оставшимся у нас. Как и полагается немцу, он был исполнителен и точен, сверх того он хорошо говорил по-испански и понимал по-французски. Я изложил ему задачу:

— Dans cette direction personne...¹

— No pasará nadie², — пообещал он.

Из тыла подошла к нам запыленная легковая машина. До того, как она подъехала, я узнал шофера. Еще в декабря он возил Фрица³, первого начальника штаба нашей бригады, уже давно назначенного советником под Теруэль. Маленький, худой, подвижной Фриц выпрыгнул из машины. Мы обнялись.

— Не выдержала душа. Узнал, что вы здесь, и не отпросился, приехал. Да и предлог есть: возвращался к себе из Валенсии и на дороге подобрал комиссара, машина у него сломалась...

Наш комиссар, немецкий писатель, спросил у меня, как дела. Я ответил ему двусложным французским словом, не плохо характеризующим обстановку, и прибавил, что генерал второй день беспокоится, куда он девался.

— Ты вечно разводишь панику.

— Да, уж я не такой железобетонный, как ты, — отвечал я не слишком почтительно.

Показывая дорогу, я подсел в машину и вкратце рассказал Фрицу, что у нас происходит. Он слушал с вниманием, глубокая морщинка стояла у него над переносицей.

— А ты, дорогой товарищ, не преувеличиваешь?.. — спросил он. — В общем, сейчас с вашими начальниками разберемся. Уж раз приехал обняться с друзьями, попробую, чем смогу, помочь им.

У штаба уже стоял автобус, в который усаживались бойцы. Я приказал взять одеяла и двухдневный паек: трудно было угадать, когда их теперь снимут, а сам забежал в штаб полюбоваться встречей наших с Фрицем. Лукач расцвел, увидев его:

— Фрицинька, родной ты мой!..

Достав из чемодана с десяток чистых носовых платков, я выбежал к поджидавшему меня автобусу и отправился организовывать цивилизованное движение в диких пустынных горах. Узкая дорога, на которой в редких местах можно было разойтись двум машинам, круто извивалась над обрывом. В самых опасных местах я попарно саживал бойцов, выдавал им носовой платок с приказанием найти палочку и сделать флажок, что было не так-то просто: палочки тут на земле не валялись.

¹ В этом направлении никого... (франц.).

² Никто не проедет (исп.).

³ Псевдоним советского добровольца, сражавшегося в Испании.

Около тринадцати часов пустой автобус уперся в ветхие каменные постройки Аписеса. Со мной оставалось еще два бойца. Мы сошли на площади, и я отправил автобус обратно. Было очень жарко. Мы вышли к дороге, которая поворачивала налево, а ниже проходила вдоль линии фронта и в конце которой теперь стоял наш пост. Через дорогу начиналась небольшая оливковая плантация, расположенная на естественной террасе, обложенной камнями. Терраса кончалась отвесным обрывом. Внизу в нескольких километрах по прямой лежала Уэска. Возле оливковой плантации открыто стояло не меньше десяти машин самых различных марок и окраски. Ослепительное солнце, отражаясь от их металлических частей и зеркальных стекол, резало глаза. Среди олив, как на пикник, прогуливалось несколько человек в штатском, а три девушки в пестрых платьях рвали цветы. Я буквально остолбенел от этой идиллии. Опомнившись, я свирепым голосом приказал своим товарищам немедленно разогнать скопление машин. К этому часовые наши были хорошо приучены: горе тому шоферу, который, замешкавшись, не давал газ в ту самую секунду, когда высадившийся у штаба пассажир хлопывал за собой дверцу автомашины. С глубоким знанием дела и завидным темпераментом бойцы начали распоряжаться. Сам я направился к гуляющим. За моей спиной раздались такие вопли, что я уже было остановился, опасаясь возможных перегибов в исполнении моего распоряжения, но, оглянувшись, увидел, что ребята только угрожающе размахивают винтовками, а шоферы, чертыхаясь на разных языках, включают зажигание, и машины, маневрируя и фыркая, разъезжаются во все стороны.

— Что вы здесь делаете, товарищи? — спросил я, определив, что передо мной мексиканцы, и тут же увидел среди них знакомого танкиста с его деревянным ящиком набоку.

— Вашего командира ждем, — ответил он.

— Так вы его вряд ли дождетесь. Из Уэски же все видно. Сейчас фашистская артиллерия вас отсюда выгонит. Лучше заранее самим разойтись.

— Вы кто, собственно, такой? — спросил меня высокий, красивый, хорошо одетый человек несколько надменного вида.

Я ответил.

— Так чтоб вы знали, я — Леонино. Слышали про такого? В ваших замечаниях ни я, ни кто другой из здесь присутствующих не нуждается. Прошу запомнить.

Я молча козырнул и отошел. Все во мне кипело. Переводчицы, из них одна необыкновенно красивая, продолжали собирать букеты. Танкист подошел к Леонино и, жестикулируя, что-то объяснял ему. Тот сделал несколько шагов ко мне.

— Кто приказал увести наши машины?

Пришлось доложить, что приказал я, следуя постоянно действующему требованию генерала Лукача не допускать незамаскированных автомашин в пределах расположения нашей дивизии.

— Видно, лейтенант, вас под Мадридом здорово напугали фашисты!

Я с трудом сдержался. Леонино отошел к обрыву и стал в бинокль рассматривать Уэску. Я посоветовал севшим в кружок девушкам перебраться за ствол старой олицы; от гранаты, она, конечно, не спасет, но от осколка спасти может. Взглянув на часы, я увидел, что до приезда Лукача оставалось двадцать минут. Вдруг раздался звонкий выстрел пушки, одновременно с ним треск распарываемого снаряжом воздуха и вместе с этим оглушительный гром разрыва. Засвистели осколки, гудя полетели камни и бесшумно комыя земли. Я мгновенно растянулся за высоким пнем.

Бум, бум, бум... стреляла батарея поорудийно. Завывая, одна за другой летели к нам гранаты и, разрывая уши, грохотали среди нас. Стреляла германская четырехпушечная батарея: это стало ясно на пятом выстреле; гитлеровские инструкторы обыкновенно давали восемь выстрелов подряд и уже потом производили корректировку. Неопытным наблюдателям чудилось, что бьет восемь орудий; расчет был на психологию. Мы познакомились с такой манерой стрельбы еще на Хараме.

После восьмой гранаты я вскопчил и закричал ошеломленным, растерянным девушкам, чтобы они бежали к селению. Почти все бросились за ними. Леонино как ни в чем не бывало смотрел в бинокль. Несимпатичный мне танковый советник, беспокойно вертя головой, стоял рядом с ним. Его голубая рубашка казалась яркой даже на фоне неба. Я настойчиво предложил им уходить. На этот раз Леонино послушался. Мы уже

подходили к домам, когда в Уэске снова забили пушки. Теперь фашисты ударили по невидимому ими поселку, здраво рассудив, куда укроются люди. Пришлось подвигаться перебежками. Я был полностью отомщен, когда все сконфуженно столпились в узкой, служившей погребом пещере, в которой пахло плесенью и вином.

Обстрел Апиеса скоро кончился. Леонидо раздраженно бросил, что командирская разведка отменяется, разыскал свою машину и уехал. За ним разъехали остальные. До приезда Лукача осталось пять минут, и я отправился к назначенному месту. Под оливами чернели пятна свежих разрывов. На том месте, где стояли машины, лежал мертвый мул. Два бойца из охраны мирно курили, сидя на корточках под стоящей у самой дороги запыленной шелковицей.

Вскоре со стороны фронта раздался шум машины. Она вылетела из-за поворота и остановилась около меня. Из нее вышел командир бригады Гарибальди со своим комиссаром. Следом подошла машина Янека¹. Шоферы обеих машин немедленно угнали их, не ожидая указаний. Я удивился, как они миновали поставленный мною пост.

— Генерал приказал пропустить три машины, — ответил командир бригады. — Сам он едет последним. При мне подтвердил, чтобы больше никого не пропускали.

Я рассказал о том, что здесь произошло.

— По шляху теж начали пристрелку, — сказал Янек. — Мы только звернули, за нами ка-ак рванет!

Прошло минут пятнадцать. Итальянский комбриг посмотрел на часы.

— Je crois, que le général ne viendra plus. Les mexicains ont eu le temps de le prévenir. Moi, je pars. Les copains marchent à pieds, il faut aller les voir. N'est ce pas, commissaire? ²

Они пошли к машине. За ними ушел и Янек со своими спутниками, пригласив меня заглянуть к нему в штаб, в ущелье неподалеку. Я прождал еще с полчаса. Бойцы вынули банку консервов, фляги, предложили закусить с ними. Я отказался. На душе было тревожно. Меня беспокоило и то, что мой комдив не приехал, и то, что он забыл про меня, не прислал за мной хотя бы мотоцикла. Поразмыслив немного, я решил спускаться напрямик в ущелье за Апиесом, туда, где должен был находиться штаб домбровцев. Это оказалось не так-то легко. Прыгая с камня на камень, иногда срываясь, изодрав сапоги и поранив руки колючими кустами, я лишь с высоты двухсот метров обнаружил хорошо замаскировавшийся польский батальон. Штаб Янека находился рядом. Разложив вместо скатерти одеяло, польские командиры обедали. Ко мне протянулось несколько рук, держащих фляги с коньяком.

— У меня французский... — соблазнял кто-то

Мое беспокойство росло. Я попросил у Янека машину.

— Взьми мою старуху «гишпано-суизу», — сказал он. — Тылько глядай, не жалуйся, ежели поседеешь. Муй шофер не шути. Як близко до фронту, с переляку меньше сто двадцать не дае. Он фашистув боится, а я его язды, пся крив...

Пока мы ехали среди гор, маленький жизнерадостный толстяк каталонец вел машину нормально. Но едва мы, обогнув закрытые холмы позиции поумовской дивизии, выехали на пустынное шоссе, справа от которого сквозь дрожащий нагретый воздух был виден собор и даже дома Уэски, он на подъеме поскрежетал скоростями, и тяжелая машина рванулась вперед. На поворотах ее с воем заносило то влево, то вправо. Я обеими руками вцепился в кожаные подушки сиденья. Впереди показались бездарные камышовые завесы, прикрывавшие дорогу в самом опасном месте, где она, вся обращенная к фашистам, штыпором спускалась в долину, а каждая машина на ней так и напрашивалась на прямую наводку. Ниже то там, то сям вздымались бурные султаны разрывов. Рискуя на каждом повороте жизнью, мы вихрем вылетели из-за камышовых завес на открытый участок. До будки, в которой стоял наш пост, оставалось километра четыре. Я покосился на шофера. Весь сжавшись, казалось даже заложив уши, он впивался глазами в середину шоссе. Не без содрогания я увидел,

¹ Командир бригады Домбровского.

² Я думаю, что генерал не придет. У мексиканцев было время его предупредить. Я еду. Ребята идут пешком, нужно пойти к ним, не правда ли, комиссар? (франц.).

что стрелка спидометра твердо уперлась в цифру «140». Вдруг у меня екнуло сердце: уткнувшись носом в парашют дорожного мостика, промелькнула разбитая машина.

— «Пежо»? — крикнул я, не веря себе.

— *Esto coche? Un ford!*¹ — тонким, но неожиданно совершенно спокойным голосом ответил толстяк.

Шофер не мог ошибиться. Значит, мне показалось... Сбавляя скорость, мы влетели в Сьетамо. Я поблагодарил шофера и выскочил из его адской колымаги.

— Где генерал? — спросил я у часового.

— Па, я не знаем, — отвечал тот, — нийе био вещь давно².

— А кто в штабе?

— Нема никог.

Я направился к дому, где жили болгары. Белов, просматривая бумаги, сидел за столом. На столе дежурила бутылка коньяку и стояли стаканы. Белов, не отрываясь от чтения, показал мне на стул.

— Садись...

— Где комдив?

— Садись-ка, садись...

— А где комдив? Он не приехал на разведку...

Не отвечая, Белов кивнул на бутылку:

— Налей.

Я налил ему и себе по четверти стакана.

— Налей себе больше.

Все, значит, в порядке. Особенно уговаривать меня не приходилось. Я подлил в стакан до половины. Белов чокнулся со мной.

— Пей, до дна пей.

Я удивился. Белов не был варваром и залпом коньяк не пил. Когда я поставил стакан, Белов посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

— Лукач убит.

— В машине?.. — бессмысленно выкрикнул я, вскочив. — Я видел машину...

— Садись. Успокойся. Переживать будем потом. Сейчас некогда. Завтра бой. Мы должны взять Уэску, а для этого надо прежде всего взять себя в руки.

Он говорил ровным, спокойным голосом. Очевидно, я не мог справиться с собой, потому что Белов смотрел на меня неодобрительно.

— Где тело?

— Час тому назад он был еще жив. Завезли его в поумовский госпиталь в Сариньене. Я сразу послал туда нашего хирурга. Но выжить генерал не может: голова совсем разбита. Комиссар очень плох. Фриц ранен легко. Эмилио³ тоже получил в голову.

— Они были все вместе?

— Да, в одной машине.

— Если бы я был с ним! Я бы не пустил.

— Не понимаю, что с ним случилось. Сам же закрыл эту дорогу...

Я встал.

— Слушай, делай со мной, что хочешь, — я поеду к нему.

Белов долго молчал, все так же пристально смотря на меня.

— Хорошо. Поезжай. Ровно в двадцать два будь здесь. На командный пункт отправимся вместе. Петрова, понимаешь, тоже нигде не найду..

...Я сидел на табуретке в маленькой комнатке, где умирал Лукач. Голова и левая нога его были наглухо забинтованы. Он был раздет догола и накрыт до шеи накрахмаленной простыней. Лежал он совершенно неподвижно с вытянутыми вдоль тела руками, закрыв глаза, только живот судорожно вздымался и опадал.

Вошел главный хирург дивизии Хулиан, несмотря на молодость, до мятежа бывший мадридской медицинской знаменитостью. Он положил обе руки мне на плечи:

¹ Эта машина? Форд! (исп.).

² А я не знаю. Не был уже давно (серб.).

³ Молодой испанец, шофер Лукача.

— Pleure, petit, pleur...¹

Плакать я не мог. Все это было слишком страшно для слез. Голова была какой-то пустой, в ней глухо шумело, как в морской раковине.. Хулиан рассказал, что генерала не оперировали:

— Ведь мы, врачи, не знаем, не чувствует ли тело страданий и когда нет сознания. Зачем его даром мучить... Если бы не ранение в голову, левую ногу пришлось бы ампутировать... Какой был сильный человек! Смотри, как он борется, а у него осталась только часть мозга. Другой бы умер на месте...

Он вскинул левую руку к глазам:

— Il lutte déjà trois heures. C'est un miracle!..²

Я вышел за ним в общую палату, послушал бред комиссара, которому изрешетило спину. Рядом на спине лежал Эмилио, с прозрачно бледным лицом; ему только что сделали первую трепанацию черепа; он умер при третьей, осенью. Фриц полу-сидел на подушках в другом углу палаты. На приставленном к койке стуле лежала обмотанная ватой и бинтами, будто в белом валенке, нога его. Он был возбужден от боли, но бодр. Он рассказал, как все произошло.

Подшло время выезжать к Апиесу. Комиссар пожелал ехать с ними. Он сел рядом с Эмилио. Лукач сидел слева, сзади шофера, Фриц — справа за комиссаром. Лукач захотел проверить пост, поставленный на перекрестке у закрытой дороги. Эмилио, который подал машину, чтобы ехать по окружной, развернул ее и повел вниз. У поворота уже находились машины Паччарди и Янека, которые сержант-тельмано-вец ни за что не пропускал и шоферы которых, ударившись в амбицию, не уступали, выражая свое негодование клаксонами. Лукач вышел из машины, похвалил сержанта, но, поговорив с Янеком, приказал пропустить их. Впереди послышался разрыв, потом еще один.

— К дороге, сволочи, пристреливаются, — сказал Лукач, усаживаясь

Эмилио стал поворачивать.

— Есрега ин росо³, — коснулся его спины Лукач. — Может, поедем на прямую, а? — посоветовался он с Фрицем. — Уже поздновато...

Тот не возражал. Машина прошла километра три, когда в том месте, где было ближе всего к фашистам, прямо на дорогу перед левым колесом упал снаряд. Раздался грохот. От дыма и пыли стало темно. Машину трянуло, по ней затарахтели осколки, посыпались стекла, потом она ударилась во что-то и стала. Лукач тяжело навалился на Фрица. Когда рассеялся дым, Фриц осторожно высвободился из-под неподвижного Лукача и увидел, что все трое залиты кровью и лежат без сознания. Через разбитое стекло, потому что дверцу заклинило, он выбрался из машины.

— Я побежал назад за помощью. Пробежал метров двести до деревьев, там в одном месте обсажено шоссе, смотрю, стоит санитарная машина, шофер из ручья заливает воду. Кое-как объяснил санитарам, в чем дело, показываю, чтоб ехали. Пока он заворачивал, чувствую: голова кружится. Посмотрел под ноги, а трава моей кровью забрызгана. Ну, я сразу тут и упал в обморок. Двести метров пробежал и в пылу, как говорится, даже не заметил, что в ногу ранен. Никто не поверит, если рассказать...

Я помог перенести Фрица в машину. Было приказано эвакуировать его в Валенсию. Потом пошел проститься с Лукачом. Он был все в том же состоянии. Тот же непрерывный хрип и свист напряженного дыхания сотрясал маленькую комнату. Я взял кулаком под козырек и несколько минут простоял смирно, смотря на потемневшее, неузнаваемо изменившееся лицо...

Ровно в десять мы с Беловым садились в его открытую машину. От Петрова он получил записочку, в которой тот сообщал, что принял командование и находится в боевых порядках, изучая обстановку. Белов продолжал держаться с тем же суровым спокойствием. Мы ехали по объездной дороге, и, когда на бесчисленных поворотах

¹ Плачь, малыш, плачь... (франц.).

² Он борется уже три часа. Это — чудо!.. (франц.).

³ Подожди немного (исп.).

фары срывались в пустоту, откуда-то сбоку приветливо мигал фонарик регулировщика.

Мы пересекли Апиес и подъезжали к позициям, когда из темноты на дорогу шагнула какая-то фигура. Я успел, уже расстегнув кобуру, узнать Морица. Белов приказал остановиться. Мориц обеими руками ухватился за борт машины. Он потерял фуражку, лицо его трудно было рассмотреть в темноте.

— Товарищ Белов, товарищ Белов!.. — укоризненно воскликнул он. — Товарище, цо е то?.. Я вас пытам, товарище, цо е то?.. Вшистка е в поржондку, але тен Круцек сдех!.. — отчаянно закричал он, упав лбом на руки, и заплакал.

Белов гладил его по вихрастой голове.

— Геноссе Мориц, как со связью? — спросил он.

Они заговорили по-немецки. Закончив разговор, Мориц вытащил из кармана платок, кончиком его, как старуха, вытер глаза, всхлипнул, повернулся и пропал в темноте.

К оборудованному командному пункту дивизии, которую мы сменяли, вели высеченные в камне ступеньки. Сам он с широкими просветами во всех четырех стенах напоминал высоко стоящий курортный павильон. Куча необрушенных пустых бутылок дополняла сходство. Наблюдательный пункт был от него далеко, и Белов решил перебраться поближе на холм в запасные окопы. Под холмом охрана штаба вырыла небольшое убежище. Начинало светать, и новый командный пункт понемногу обживался. Телефонисты перетаскивали сюда аппараты. Бойцы охраны маскировали оливковыми ветвями наблюдательную трубу и на всякий случай устанавливали «максим». Пришел измученный Петров, молча обнял Белова, меня и уселся к телефонам.

Ровно в шесть наведаясь начальник дивизионной службы доктор Хельбрунн. отправлявшийся проверить на передовых медпункты; покашляя, своим ломающимся, как у юноши, голосом сказал, что Лукач скончался под утро, и пообещал заехать на обратном пути. Это ему не удалось. Двумя часами позже, на обратном пути, на его машину спикировал «хейнкель», и поднявший голову на рев мотора Хельбрунн получил крупнокалиберную пулю в горло. Это была вторая, но далеко не последняя смерть в этот роковой день.

Солнце еще не взошло, а в бледном сером небе слышалось комариное пение высоко летающего самолета. С восходом солнца воздух уже тяжело гудел от фашистских истребителей и разведчиков, месяцами не гулявших над Уэской. При появлении республиканских бомбардировщиков, рассчитывавших провести внезапную бомбежку, завязался затяжной воздушный бой, в котором наша авиация с каталонских аэродромов, не в пример мадридской, вела себя вяло. Артиллерия ждала, пока очистится небо, но, когда это случилось, фашистские пушки открыли точный и мощный огонь по республиканским батареям.

Все шло не по плану. Враг во всем предупреждал нас. Узнав о смерти Лукача, люди рвались в бой, и хотя с опозданием, но дружно танки и пехота двинулись вперед. Однако как только они вышли на открытое пространство, их встретил меткий кинжальный огонь тяжелых пулеметов и противотанковых пушек. Батареи же нашего сектора были вынуждены менять позиции и артиллерийской поддержки оказать не могли. Танки повернули обратно, и пехота залегла, неся большие потери. Тогда с запада под хорошей охраной волна за волной пошли трехмоторные «юнкерсы». Горы сзади нас загрохотали от эха. Над полем боя, скрыв Уэску, поднялись густые черные облака. Телефонисты один за другим убегали на ремонт поврежденных. Следующие звенья «юнкеров» обрушились на наш командный пункт и на близлежащий правый фланг поумовской дивизии. Долбили тылы и дороги. Вздрагивала земля. Прижавшись друг к другу, мы вповалку лежали в кустарной глиняной норе, потолок которой слоями обваливался на нас при каждом воздушном толчке.

После полудня атака полностью захлебнулась. Задыхающиеся от жары и газов неопытные танкисты пытались вывезти с поля боя тяжелораненых. Петров будто на глазах седел, когда телефонисты передавали сводки потерь. В бригаде Гарибальди были тяжело ранены все три командира батальонов, убито несколько комиссаров и около

трети всех офицеров. У Янека пулей в сердце убит начальник штаба Давид Давидович, даже среди домбровцев слывший героем, и пять командиров рот. Когда около часу дня был введен в бой и резервный батальон, Нибург¹ повел его, семена впереди всех, держа в левой руке пистолет, а правой опираясь на палочку. Он уже прошел передовых стрелков одной из польских рот, вдруг взмахнул палочкой и упал мертвым. Батальон залег в этом месте, терпя урон от вражеских снайперов. Пока, по приблизительным подсчетам, в дивизии было около пятисот убитых, множество раненых и никакого успеха.

Поздней ночью к нам доставили двух перебежчиков: сержанта и солдата регулярной армии. То, что они перебежали, несмотря на отбитую атаку, очень определенно их рекомендовало. Испуганно счастливые, они наперебой, торопясь, рассказывали обо всем, что знали.

Еще свыше двух недель тому назад прибывшие из Сарагосы военные инженеры, из которых один был «алемано»², занялись фортификационными работами в Чимильясе и Алере. Кроме бетонных стен, рвов вокруг них, противотанковых надолб и колючей проволоки, были возведены на ключевых участках, и вращающиеся пулеметные башни. Девятого июня к вечеру гарнизоны укреплений были значительно усилены офицерами и солдатами, переведенными из частей, несущих оборону города в других местах, а на следующий день их предупредили, что двенадцатого Чимильяс и Алере будут атаковать интернациональные бригады под командованием «de uno bandido unpaго quien se llama Lucas»³, как сказал полковник.

Перебежчиков немедленно переправили в вышестоящий штаб. Естественно было бы после этой информации предположить, что республиканская контрразведка сделает все, чтобы найти и покарать изменников, а военная прокуратура начнет следствие об утечке военной тайны и о поразительной синхронности в планах наших и вражеских штабов. Вместо того тринадцатого июня было приказано повторить все сначала по той же диспозиции и теми же силами, сократившимися только почти вдвое. Узнав об этом, Петров, бешено сверкая глазами, прыгнул в беловскую машину и, стоя, вцепившись руками в ветровые стекла, понесся с развевающимся чубом в Сариньену. Несмотря на вещественные доказательства, ему, как и Лукачу, никого ни в чем убедить не удалось. В штабе фронта умели слушать лишь самих себя. Приказ остался в силе. Опять нас обстреливали и бомбили. Опять черные тучи заволокли всю долину Уэски. Опять одинокая пушка била нам в спину. И опять все остальные части, посылавшие накануне делегатов в штаб фронта, прося разрешить им одновременно атаковать со своих позиций, бездействовали по его приказу. Но на этот раз, трезво оценив обстановку, наша пехота почти без потерь вернулась в свои окопы.

Радио Саламанки, не скрывая злорадного торжества, выпустило в эфир сообщение о смерти Лукача, и оно распространилось повсюду на территории республики. О том, что вместе с ним была смертельно ранена и вся его дивизия, еще не знали. О том, как была подготовлена и проведена губительная операция, вообще не говорили. Именно в эти дни кому-то понадобилось пустить версию о поумовском патруле, направившем Лукача не по той дороге или даже предупредившем фашистов о его проезде. Кому-то это было нужно, кто-то заметал свои слишком приметные следы. Как ни странно, но эта ложная версия жива и поныне.

Через двое суток санитарная машина везла тело генерала Лукача в Валенсию, где должны были состояться национальные похороны. За нею шел автобус со знаменами батальонов и почетным караулом при них.

Была африканская жара. Только к вечеру мы выехали к морю. Перед нами вилась вдоль берега одна из красивейших в мире дорог. Я сидел рядом со смуглым стариком шофером, казавшимся негром из-за контраста с серебристо-белым цветом его волос. Сзади нас на полу закрытой машины стоял застекленный гроб.

¹ Командир мадыарского батальона имени Ракоши, шестидесятилетний старик.

² Немец (исп.).

³ Венгерского бандита, которого зовут Лукас (исп.).

Уже совсем стемнело, когда мы подъезжали к какому-то тихому, обсаженному пальмами приморскому городку. В окна машины тянуло с моря соленой сырой прохладой. У шлагбаума, закрывшего въезд в черный без единого огонька город, нас остановил часовой в форме карабинера. Я протянул ему свой пропуск, в котором было напечатано, что лейтенант штаба 45-й дивизии такой-то направляется в санитарной машине со спецгрузом в сопровождении автобуса с восемью младшими лейтенантами и восемью сержантами. Часовой, приблизив пропуск к фонарю, висевшему на шлагбауме, читал его, шевеля губами. В свете тусклых лучей фонаря я увидел на его рукаве траурную повязку. Возвращая бумагу, он попросил ехать через город как можно медленнее. Я не успел спросить, что это значит, как он вскинул винтовку к плечу и выстрелил в небо. Я невольно вздрогнул. Часовой, забросив винтовку за спину, стал поднимать шлагбаум.

Санитарная машина медленно, поскрипывая, поползла вперед. И в то же мгновение лежащий перед нами заземненный город весь осветился. Загорелись уличные фонари, вспыхнули лампочки в квартирах, окна которых не только не были замаскированы, но распахнуты настежь. С балконов свешивались ковры. На балконах и в окнах виднелись люди. У первого от въезда дома стоял духовой оркестр. Раньше чем мы поравнялись с ним, он негромко и скорбно заиграл: «Вы жертвою пали...» За оркестром по обеим сторонам улицы, вдоль тротуаров, шпалерами выстроились карабинеры. Наверное, здесь формировалась новая часть. Раздалась испанская команда, блеснула чья-то сабля, карабинеры взяли на караул. Перед ними в белых блузах с пионерскими галстуками дети держали букеты цветов. Цветы полетели под машину. Сверху почти из каждого дома тоже бросали цветы. Повсюду висели красные и красно-желто-фиолетовые республиканские флаги с длинными черными лентами. Народ на тротуарах и на балконах, подняв кулаки, стоял молча, благоговейно, как в церкви. На площади, где уже не был слышен оркестр, несколько барабанщиков, высоко вскидывая палки, страшно, как по сердцу, били дробь... Я не стеснялся своих слез и сквозь них видел, как рядом плачет, держась за баранку и вздрагивая худыми плечами, старый, выдавший вида шофер санитарной машины с почти черным лицом.

Барабанная дробь стихла. Машина остановилась. Толпа окружила ее. К нам подошли делегация Народного фронта и командование молодой дивизии карабинеров. Я вышел, плохо владея собой, выслушал речь, пожимал чьи-то руки. Наши бойцы и офицеры напряженно, не шевелясь, сидели в автобусе, вывесив знамена в окна. Я открыл дверцы санитарной машины. Девушки положили на гроб венки. Многие женщины в толпе горько плакали, как будто хоронили своего сына или мужа. Опять затрещали барабаны. Мы тронулись в путь.

При огромном стечении народа Лукача похоронили в Валенсии, замурав в его гроб в стене кладбища, как это принято во многих районах каменистой Испании.

Через несколько дней осиротевшую его дивизию вывели в тыл залечивать раны. А скоро входившие в нее бригады были разведены по разным участкам, по разным частям разошелся штаб, и детище Лукача — интернациональная дивизия — перестало существовать.

Москва, 1957.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ОЗЕРОВ

★

КРАСОТА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

1. КНИГИ, ЗОВУЩИЕ К ПОДВИГУ

В каждого большого писателя обязательно есть собственный, присущий ему, и только ему, творческий пафос, о котором говорил Белинский. Это свойственный данному автору подход к жизни, единая поэтическая настроенность, пронизывающая его произведения, неповторимые особенности таланта, отличающие его от других. «...Все произведения поэта,— писал Белинский,— должны быть запечатлены единым духом, проникнуты единым пафосом. И вот этот-то пафос, разлитый в полноте творческой деятельности поэта, есть ключ к его личности и к его поэзии. Первым делом, первой задачей критика должна быть разгадка, в чем состоит пафос произведений поэта, которого взялся он быть изъяснителем и оценщиком».

Как это верно и как редко ставится такая задача современной критикой! Надо ли после этого удивляться, когда слышишь вопрос: в чем же состоит многообразие литературы социалистического реализма? Мы не раз объявляли о нем и при этом не отступали от истины, но сказанное чаще всего звучало общей декларацией, так как поэтическое своеобразие отдельных писателей оставалось заслоненным «общими чертами». Литература целых периодов выглядит в глазах сегодняшних читателей беднее, чем была на самом деле, именно потому, что она не освещена во всем своем многообразии. Тридцатые годы — это время появления немалого числа ярких и оригинальных произведений, подписанных не только хорошо известными именами Шолохова и Федина, Эренбурга и Гладкова, но и впервые выступивших прозаиков, поэтов, драматургов: Островского, Макаренко, Крымова, Твардовского и других. И об этом вре-

мени кое-кто осмеливается рассуждать как о начале «застоя» советской литературы.

Историко-литературный анализ начисто опровергает подобные нигилистические суждения, как и домыслы о художественном нивелировании советской литературы. Можно назвать десятки книг, отмеченных печатью незаурядной писательской оригинальности. Вспоминая об этих богатствах нашего искусства, нельзя не упомянуть романа «Последний из удэге». В нем отразились идейно-творческие искания советской литературы, он, пожалуй, больше всех других произведений Фадеева помогает понять творческий пафос этого художника, «ключ к его личности и к его поэзии».

А поэзия Фадеева — это поэзия страстной, активной любви к трудовому человеку, горячей жажды видеть человека лучше и чище, боевой готовности бороться за социалистический идеал, отстаивать его всеми силами души, всем трепетом сердца. Мужественная любовь и преданность в жизнь и в людей, вера в силы добра и разума и составляют определяющий пафос всего написанного и сказанного Фадеевым. Со страниц его книг встает большая, героическая жизнь, наполненная драматическими событиями, населенная людьми кипучих страстей, сложных и многообразных эмоций. Она всегда в движении, в борьбе, в становлении. Писатель не бесстрастно взирает на происходящее, его симпатии неизменно на стороне передового, он открыто провозглашает себя певцом нового человека, главной темой своего творчества избирает рождение и становление нового мира, формирование социалистической личности «Юность мира,— говорил Федин,— вот основная тема самых живых страниц фадеевской лирики и революционной романтики»;

лейтмотив всех его произведений — «человек в борьбе за коммунизм».

Фадеева всю жизнь не оставлял увлекательный творческий замысел. Он мечтал создать роман-эпопею о гражданской войне, который охватывал бы широкий круг событий, людей и по времени продолжался бы в течение многих лет¹. Первоначально материал «Разгрома» и «Последнего из удэге» мыслился в рамках единого большого романа, но затем первый вылился в отдельное произведение, оставшиеся же наброски пригодились для начатой заново большой работы о дальневосточных партизанах. Эта работа затянулась на десятилетия. Начальные главы «Последнего из удэге» были опубликованы в №№ 1—4 «Октября» за 1929 год. В 1930 году вышло в свет отдельное издание первой книги романа, в 1932 году — вторая, а в 1935 году — третья книга. Все четыре книги — оконченная часть романа — появились в 1940 году, а отрывки из пятой книги публиковались в 1941 году (они перепечатаны во втором сборнике «Литературной Москвы»). События военного времени и работа над первым вариантом «Молодой гвардии», а затем над ее перделкой заставили отложить завершение неоконченного труда. Однако Фадеев не оставлял планов переработки всего написанного и создания шестой, заключительной части романа. В ней он хотел «дать картину э той же местности, тех же людей спустя десять — пятнадцать лет после гражданской войны, чтобы показать, как выросли люди за этот промежуток времени».

Но за этот промежуток времени выросли не только герои романа, вырос и сам автор. Первоначальный замысел «Последнего из удэге» претерпел серьезные изменения. Он был навеян мыслями о судьбе маленькой народности удэге, у которой еще сохранился первобытно-общинный строй и которую во всех других условиях, кроме советских, ждала бы гибель. Отличие ее судьбы от судьбы поглощенных капитализмом малых народов давало Фадееву возможность решить задачу полемиического характера: посвоему откликнуться на богатую и хорошо

известную ему литературу об отсталых, так называемых «диких» народах. Писатель признавался, что его роман не мог возникнуть без книг Джека Лондона, без «Последнего из могикиан» Купера, говорил о своей готовности «выразить вот какую идею: вопреки тому, как писали много лет художники из буржуазного и помещичьего мира, — те из них, кто чувствовал противоречия эксплуататорского общества, — выход из этих противоречий лежит не в том, чтобы возвратиться вспять, чтобы возвратиться к предыдущему этапу, а в том, чтобы перейти на более высокую ступень развития, завоевать и построить социалистическое общество».

В то самое время, когда создавался роман, контуры строящегося нового общества становились все более и более отчетливыми, и это не могло не отразиться на творческом замысле внимательного к современности писателя. Фадеев не отказался от изображения племени удэге, но не захотел этим ограничить тему романа. В книгу властно вошла порожденная самой жизнью более широкая и всегда глубоко волновавшая Фадеева мысль о нравственном росте людей в ходе перестройки их социального бытия. Их истории все больше стали выступать на первый план, процесс рождения нового человека и непрерывного обогащения его индивидуальности вставал в центр внимания автора. Написанное он перестраивал с таким расчетом, чтобы ведущее место в книге заняли люди новые, борцы, революционеры. Осмысливая откристаллизовавшийся замысел романа, Фадеев в 1932 году формулировал его следующим образом:

«Мне хотелось показать, каким образом в процессе революции передовые представители общества, борющиеся за коммунизм, вступают в союз с отсталыми народами, помогают им в борьбе и ведут их за собой, показать, каким образом происходит в процессе революционной борьбы ниспровержение всех эксплуататорских идей буржуазии, как происходит перделка миллионов рабочего класса и крестьянства и как революция смыкается с теми представителями первобытных народностей, которые находились и находятся на стадии родового строя».

Стягивая основные сюжетные линии к образам Суркова и Алеши Маленького, автор стремился показать решающую роль этих героев в жизни остальных персона-

¹ Любопытно, что такая же творческая потребность возникала и у некоторых других писателей. Серафимович намеревался написать эпический цикл «Борьба», куда вошел бы и «Железный погон». Фурманов считал «Чапаева» одной из частей намеченной им «Эпопеи гражданской войны», наброски которой сохранились в его архиве.

жей — и Лены Костенецкой, и ее брата Сережи, и партизан Борисовых, и Семки Казанка, и т. д.

Эволюция творческого замысла «Последнего из удэге» не была случайной, она перекликалась с очевидной для писателя необходимостью художественно раскрыть истоки достигнутой страной победы, проследить в человеческих судьбах те исторические тенденции, которые закономерно развиваются в революционной борьбе и как лучший свой плод создают людей, способных на любые подвиги. Роман строился на фактах прошедших лет, но смысл его состоял в утверждении единственно возможного пути развития человечества — социалистического пути развития.

Если действие «Разгрома» сконцентрировано вокруг одного эпизода и локализовано во времени, то «Последний из удэге» — произведение многоплановое, в нем изображается множество представителей разных классов и национальностей, несхожие судьбы, разнородные характеры. Роман широк и во временной протяженности, события, начавшиеся еще до революции, должны были продолжаться до тридцатых годов. Действие переходит из особняка богача Гиммера в стойбище удэге, из партизанского штаба — в глухие, таежные дебри, перемежается воспоминаниями героев о прошлом, лирическими отступлениями, философскими раздумьями. Словом, мы имеем дело с произведением, явно тяготеющим к форме эпического повествования. Эта форма пользовалась особенной симпатией Фадеева.

«По своему художественному воспитанию,— писал он в 1953 году в письме Андрею Улиту,— по литературным вкусам я принадлежу в известном смысле к «староверам». Я люблю монументальную форму старого реалистического романа с его обилием социальных типов, подробными точными описаниями быта и всего материального мира, среди которого протекает жизнь людей, где все выражено языком свободным и в то же время таким же материальным и весомым, где все прочно и устойчиво по фактуре, но — тем пронзительней и глубже и долговечней воздействие на душу читателя авторской большой гуманистической мысли».

Такого типа романом должен был, по мысли Фадеева, стать и «Последний из удэге», задуманный как эпическое повествование о силе и непобедимости народного дви-

жения. Это должен был быть эпос особого, так сказать философского, характера, так как в книге совершенно исключительная роль принадлежит обобщающей художественной мысли, философскому осмыслению действительности.

Известно, что сам Фадеев отзывался о «Последнем из удэге» излишне критически. Неудовлетворенный архитектурикой романа, он десятки раз переделывал начало книги, открывая ее то сценой на перевале, то моментом пробуждения Сережи в избе Боярина, то разговором в городе Ольге по телефону, то описанием жизни Лены Костенецкой, то встречей партизан с хунхузами. Написав две части романа, он обнаружил, что «построение обеих частей нехорошее и... переделал обе части, вклинив всю вторую часть в первую с некоторыми изменениями в обеих».

Но и эти многократные возвращения к уже написанным главам не устранили всех композиционных просчетов. Отдельные линии в развитии действия идут в первом томе параллельно; они довольно слабо связаны друг с другом. История Лозы и жизнь Лены Костенецкой, описание путешествия Сережи и Мартемьянова, эпизоды в стойбище удэге воспринимаются каждый сам по себе; внутренне они не соединены прочными нитями. Первому тому недостает динамического развития действия, он выглядит как затянувшаяся экспозиция. Описав на первых полуста страницах путешествие Сережи и Мартемьянова, автор надолго расстается с ними. Последующие двести страниц превосходны сами по себе, но изложенная на них история Лены заставляет вернуться на несколько лет назад, начавшиеся события приостановлены, и пауза эта кажется тем более долгой, что идущие далее главы о Боярине и Лозе, о жизни и быте удэге также не продолжают основных событий романа. Лишь спустя примерно триста страниц после сцены на ольговском телеграфе действие снова устремляется вперед.

Говоря о композиционной неслаженности романа, нельзя забывать ни о сложности общего авторского замысла, ни о длительных сроках работы над рукописью книги.

Многолетние идейные и художественные искания автора сказались и на стилиевой неоднородности произведения. Роман, если можно так выразиться, многослоен, рядом с взволнованным лирическим монологом не всегда мирно уживается сложносочиненная

«толстовская» фраза, риторические интонации порой сталкиваются с аналитически выверенной мыслью. Эпическая монументальность повествования требует масштабности изображения, но этому иной раз противоречит обилие частных примет, бытовых штрихов. Это заметил сам Фадеев. В «Последнем из удэге», говорил он в 1934 году, «мне хотелось взять большую идею, сделать нечто синтетическое, но работа идет туго, медленно: забывают детали, образы героев не перерастают в типические, расплзаются». В то же время автор не отказался от синтетической формы, уже в последние годы жизни у него окрепла решимость расширить исторический фон романа и ввести в него образ Сергея Лазо.

Фадееву не пришлось довести до конца свой труд. Но и тот вариант романа, который нам известен, при частных своих недостатках прочно войдет в историю советской литературы. В нем мы находим и потрясающие по силе изображения картины народной жизни, и полнокровные характеры живых, думающих людей, и окрыленную устремленность к идеалу. Книга живет и будет жить как правдивый рассказ о славной эпохе гражданской войны, о первых приступах к строительству Советского государства. Роман этот имеет неоценимое воспитательное значение, он учит молодежь мужеству и прямоте, нравственно возвышает читателей не только примером своих героев, но и всей своей прекрасной моральной атмосферой. «Последний из удэге» остается одним из образцов подлинно партийного понимания задач литературы, ее главного назначения: роман утверждает героическое в обыкновенных трудовых людях, воодушевляет на борьбу за лучшую жизнь. Этот пафос всего творчества Фадеева, чьи книги всегда зовут вперед, к подвигу, делает «Последнего из удэге» поучительным примером не только для читательской молодежи, но и для многих литераторов, ищущих пути к сердцу читателя.

2. ПЕВЕЦ НОВЫХ ЛЮДЕЙ

В речи на похоронах Фадеева Константин Федин назвал его «певцом отважных и богатых душой советских людей». Безупречно точное определение. Но может возникнуть вопрос: как согласовать с этим тот несомненный факт, что герои двух первых романов весьма еще далеки от идеала нового

человека? Некоторые из них грубы и малокультурны, другие могут больно и незаслуженно обидеть товарища, третьи способны даже провороваться, как Морозка. И они же первыми идут в бой, проявляют редкостное бескорыстие, самые благородные свойства. Где же объяснение этого странного противоречия? Оно в противоречивости самой жизни.

Героико-романтический пафос никогда не ограничивал остроты художнического зрения Фадеева. Он брал действительность такой, какова она есть, не закрывая глаза на одно и не выдвигая искусственно другое. Увиденное неизменно освещалось с партийной точки зрения, помогающей отделить главное от второстепенного, обреченное на гибель от призванного расти и развиваться. В отрядах дальневосточных партизан сражались горняки и крестьяне, вся жизнь которых прошла в непрерывном изнурительном труде, нищете, унижениях. И что же удивительного, если они принесли с собой привычки бесправных и голодных лет, душевную озлобленность, внешнюю неотесанность. Большевики не рассчитывали на какой-то особый человеческий материал, призванный строить коммунизм, они знали, что это предстоит делать простым, обыкновенным людям с всем их грузом старых навыков и предрассудков.

Фадеев непримиримо высказывался против прилаженного изображения действительности. Сбрасывая покровы условной романтики, он особо оттенял реальные противоречия жизни.

Раньше Сережа представлял удэгейцев в самом романтическом освещении; побывав в их селении, он увидел, как «нелепы и унижительны» пляски шамана, как «жалок и страшен» этот старик, и все окружающее напомнило юноше какой-то «страшный сон, отвратительное очарование». Нет, еще не такова жизнь, какой она рисовалась Сереже при взгляде на богатыря Гладких. Нашу землю, размывает он, населяют не одни герои, а и такие люди, как Боярин, Бусыря, как издевающиеся над Бусырей партизаны. «Жизнь их пока что не стала светлее и чище, они по-прежнему дрались за корку хлеба, не уважая и обманывая друг друга, жизнь их была жестока и отвратительно несчастна».

И это не только мнение зеленого юнца, впервые столкнувшегося с реальной действительностью. Старый рабочий, большевик Мартемьянов высказывает мысль о том, как

тесно переплетаются в жизни добро и зло. Рассказывая Сереже о странах, где на рикшах ездят, как на лошадях, он восклицает: «Сколь велик мир! Сколь богат! Сколь много людей — разных цветов и языков — населяют его! Сколь непомерно много труда людского вложено в него — и в землю, и в сталь, и в камень! И сколь же нищеты, обмана, зверства в жизни нашей, сколь темноты, грязи!.. На людях ездят!.. — весь сотрясаясь и багровея от гнева, говорил Мартемьянов».

В том-то и дело, убеждает Фадеев всем содержанием своего романа, что силы человеческие в капиталистическом обществе скованы уродливыми условиями существования, а дай им выход — и невиданно широко развернутся творческие возможности трудовых людей. А если так, слышим мы знакомую горьковскую мысль, значит, в своей темноте виноваты не сами люди, а несправедливое общественное устройство, и, значит, его изменение откроет путь к обновлению человеческой души. Вытекающее отсюда чувство активного, действенного гуманизма оплодотворило не одно произведение советской литературы — от «Матери» Горького до «Чапаева» Фурманова, «Вириней» Сейфуллиной, «Разгроме» того же Фадеева. Но в «Разгроме» высокие нравственные качества героев типа Морозки пробуждаются в момент особого испытания, наивысшего напряжения всех сил. А в «Последнем из удэге» показано, что эти качества органически присущи трудовому народу, живут в нем даже под ярмом угнетения, развиваются еще при старой жизни. Самые условия труда пролетариата, возникающая у него товарищеская славка, отсутствие собственнических инстинктов — все это оказывается благодатной почвой для укрепления новых, социалистических качеств.

Новаторское значение «Последнего из удэге» заключается как раз в том, что здесь с особой силой говорится о внутренней красоте, духовном росте человека труда еще в старом обществе. Отношения в семьях Чуркиных, Филя и других пролетариев, а также в передовых крестьянских семьях показаны как зародыш новых человеческих отношений.

В романе художественно доказывается, что человечность, нравственная чистота, благородство побуждений могут быть только у тех, кто живет не ради обмана и ко-

рысти, а ради того, чтобы трудом своим украшать землю, кровью своей завоевывать народное счастье.

Несмотря на страшную жизнь в прошлом, несмотря на силу старых пережитков, именно простые труженики являются настоящими людьми, в них проявляется все лучшее, человеческое, и ничто не может задавить их прекрасных задатков. Фадеев по существу отстаивал свой собственный взгляд на человека, когда вспоминал Горького, который как никто другой показал миру, что в среде трудящихся людей, придавленных уродствами старого строя, заложены черты великого и прекрасного, черты товарищества, братства, героизма, трудового энтузиазма, разумного творчества, коллективизма. Это было сказано в 1938 году, но нетрудно заметить, насколько выраженная здесь программа близка творческой практике самого Фадеева, реализованной в «Последнем из удэге». В романе нашли воплощение содержащиеся в той же речи слова, что именно в среде трудящихся «таятся силы, способные изменить общественное устройство и дать человеку труда все человеческие права».

В соответствии с этой своей мыслью Фадеев задумывается о цельности человеческой личности. В раздумьях Пташки накануне казни ярче всего звучит мысль о том, что настоящими людьми являются только труженики, а палачи и насильники недостойны этого звания. О настоящем человеке не раз задумывается и Лена. Когда она в приемном покое больницы наблюдала сильных и красивых людей, каждый из которых страдал от болезни или уродства, ей пришло в голову, что во всех этих людях «были как бы заключены разрозненные части и стороны цельного образа, полного красоты и силы, — нужно было, казалось, только усилие, чтобы он воссоединился, сбросил с себя все и пошел».

Да, нужно усилие, чтобы сильный и свободный человек встал во весь рост, раскрылся во всей своей красоте. Что же это за усилие, что имеет в виду автор? Логика развития образов не оставляет никаких сомнений: все человеческое в людях воспрянет, когда они встанут на борьбу за изменение уродовавших их жизненных условий. Счастье возвышающей и окрыляющей революции — главный стимул в деятельности таких людей, как Сурков или Чуркин; его обретает Сережа, осознав его, вырывается из затхлого мирка гим-

меров Лена Костенецкая. И этот процесс закономерен. Марксизм учит, что в революционной деятельности человека «изменение самого себя совпадает с преобразованием обстоятельств».

Во всех произведениях Фадеева социалистическая революция изображена как школа человеческих характеров, воспитывающая у людей труда новое сознание, помогающая им изживать пережитки. Стремление, связанное с активным характером социалистического гуманизма! Тридцатые годы, когда шла основная работа над «Последним из удэге», ознаменованы растущим интересом советской литературы к жизненной и нравственной биографии борца и строителя. В эту историческую эпоху перестраивалась не только экономика, перестраивались сами люди, и задачи их перевоспитания встали как решающие на повестку дня. О возникновении и развитии нового строя мыслей, чувств, привычек рассказывала литература; тема «переделки» вчерашнего собственника оказалась центральной для произведений масштаба «Поднятой целины», «Как закалялась сталь», «Людей из захолустья», «Педагогической поэмы», «Страны Муравии» и т. д. Проблема формирования нового человека, ставшая ведущей проблемой литературы, была подсказана самой жизнью, коренным поворотом миллионов в отношении к труду, государству, коллективу. «Ведь теперь,— заметил как-то Мажаренко,— перевоспитываются не только дети... потому, что вся атмосфера, весь тон жизни и отношений новые».

Фадеев принадлежит к художникам, у которых нет расхождений между их эстетическими воззрениями и художественной практикой. Он всегда стремился теоретически осознать задачи, стоящие в данный момент перед литературой, и ответить на них своими произведениями, как отвечал ими на запросы жизни. Высказывания Фадеева по общим вопросам искусства или об отдельных его явлениях, как правило, имеют прямое отношение к проблемам, которые он в это время решает в своем творчестве. Мы не ошибемся, если не посчитаем частностью фадеевскую оценку романа «Бруски». У Панферова, заметил он, «очень часто именно материальная, организационная, внешняя сторона выступает на первый план и загораживает, затемняет гуманистическую сторону». И далее

Фадеев высказал мысль, несомненно связанную с его личным пониманием задачи, стоящей перед литературой. Коллективизация деревни, продолжал он, «раскрепостила самые лучшие, самые светлые, чистые и героические стороны народа. Мало того, что она раскрепостила эти лучшие стороны и силы народа, она наполнила их новым содержанием. И процесс становления этих новых мыслей и чувств, отношений есть, по существу, главная тема для художника нашего времени».

Подчеркнутые нами слова Фадеев мог бы объявить собственной художественной программой. Главная тема его творчества и есть как раз формирование характера нового человека.

Под влиянием происходящего закаляются характеры революционных борцов, таких, как Сурков или Чуркин. Петра, рабочего-подростка, отделяют от Петра, председателя ревкома, не только годы прожитой жизни; в практической работе ежедневно вырабатывается его умение строить отношения с людьми, искусно влиять на них, точно рассчитывать свою тактику.

Молодые герои романа переживают сложную духовную эволюцию, связанную с их участием в революционной деятельности. У одних она проходит в благоприятных обстоятельствах, как у Сережи, сразу же оказавшегося в пролетарском лагере, а другим, как Лене, достались на долю долгие «хождения по мукам». Но во всех случаях пути исканий героев являются путями их нравственного развития.

Перед Сережей не стоял вопрос о выборе, он быстро нашел свое место на стороне партизан, куда его привели демократические традиции семьи Костенецких, советы встреченных в жизни большевиков. Ему предстояло другое: приобрести свойства настоящего революционера, преодолеть романтические представления юности. И Фадеев сосредоточивает внимание на показе того, как суровая жизнь развенчивает юношеские иллюзии. Вначале Сережа ко всему относился с наивной восторженностью. Стоило ему услышать слово «удэге», и сердце его «тревожно забилося». Приметил «орлиный блеск» глаз Гладких, и уже готов идти за ним на край света. Посмотрел на эту исполинскую фигуру, и «даже излюбленные героические образы померкли перед ним». Глядел на партизан-

ский костер, собравшихся вокруг него людей, и «все это сразу наполнило Сережу волнующим романтическим чувством».

Таким вступил Сережа на партизанскую тропу. Ему пришлось встретиться с действительной жизнью, без книжных прикрас и красивых выдумок, пережить первые разочарования. Удэге оказались непохожими на благородных индейцев из прочитанных книжек; в их поселке Сережа видел столько дикости, грязи, отвратительных обычаев, что «чувствовал себя все более неловко», его тошнило от нечистой пищи, всю ночь кусали блохи — словом, для романтики места здесь не было. Постепенно рассеивался романтический ореол и вокруг таких партизан, которые, издеваясь над Бусьрей, совершая отнюдь не рыцарские поступки, открывались с самой неполюбованной «героям» стороны. Думая о них, Сережа пытался заслониться образом Гладких, но и это удавалось все реже. «Зачем ты обманываешь себя?» — вдруг спросил он себя, и сел, и снова услышал мышинный шорох и храп Мартемьянова, увидел ползающие по стене фанзы огненные языки. «Затем, что я хочу быть сильным, счастливым, хочу выделяться среди людей и быть прославленным ими... Да, но ведь это же ложь, то, что ты думаешь о себе и о людях, — ведь это же совсем не такое?.. Но разве можно жить без этого? Чем же тогда жить?» — спросил он себя.

Эта ночь в стойбище удэге как бы подвела итоги целой полосы жизни Сережи, окончательно развеяв наивно-восторженное отношение ко всему «необыкновенному», хотя юноше предстояло еще многому научиться. Нужно сказать, что в первоначальной редакции романа у Сережи было больше черт детскости, он дольше жил в атмосфере абстрактных романтических иллюзий. В дальнейшем автор опустил имевшиеся в журнальной редакции восторги Сережи перед неказистым внешне городом Ольгой, его ожидание чего-то небывалого от очередного похода, когда все «сулило более приятное и необыкновенное в будущем». Сокращено описание первой встречи с Сарлом, о котором Сережа думал, «невольно попадая в ряд... романтических мыслей и представлений», долго владевших сознанием юноши и неотделимых от внешних атрибутов героизма — обладания настоящим винчестером, ночевки под открытым небом, ожидания неведомых опасно-

стей — словом, от всего, что сочеталось «с тем смутным идеалом смелого, сильного, мужественного человека — мореплавателя, охотника, открывателя новых земель, который был заимствован Сережей из любимых книг и которому он старался подражать».

В первой редакции «Последнего из удэге» («Октябрь» за 1929 год) образ такого героя приключенческих произведений рисовался в сознании Сережи ярче, чем образ стойкого революционного борца, и это противоречило реальной роли, выполняемой самим Сережей в романе. Отсюда и характер внесенных писателем изменений, подчеркивающих рост сознательности юноши. Сперва исключение Сережи из гимназии связывалось с его стихийным возмущением поступком преподавателя, со случайной сделанной на чертежной доске надписью. Углубляя трактовку образа, Фадеев придает протесту Сережи социальный характер, заставляя его вслух высказывать свои мысли, а затем отстаивать их в разговоре с директором и на собрании гимназистов.

Характер работы над вторым томом романа подтверждает стремление сильнее подчеркнуть нравственное возмужание Сережи.

Показывая, что такое настоящий героизм и каковы пути к высокому подвигу, Фадеев учит молодежь выдержке, мужеству, скромности, коллективизму, отвергает мелкобуржуазное представление о героизме, связанное с философией индивидуализма, позерством, славолубием. Сравним в этом отношении «Последний из удэге» с романом Островского «Как закалялась сталь», с «Педагогической поэмой» Макаренко или повестью Крымова «Танкер «Дербент», и не потребуются дополнительные доказательства единой воспитательной направленности советской литературы тридцатых годов, представлявшей значительный этап в развитии нашего искусства, сколько бы ни уверяли в противном враги социалистического реализма.

Литература тех лет проявила живейший интерес и к внутренней перестройке старой интеллигенции, к людям, преодолевающим индивидуалистические пережитки. В решении этой темы Фадеев также внес свой вклад. Мы имеем в виду главным образом линию Лены Костенецкой. Она воспитывалась в доме богача Гиммера, и в отличие от Сережи ей пришлось в поисках своего пути пережить сложную душевную драму. Перипетии этой драмы прежде всего и при-

влекают Фадеева. Он показывает, какой ценой вырывается Лена из буржуазной среды, через какие испепеляющие страдания приходится ей пройти в поисках правды. В изображении ее нелегкого пути нагляднее всего проявляются заставляющие вспомнить Толстого и сила беспощадного психологического анализа и метод обнажения разительных противоречий в жизни и в сознании людей. Фадеев проводит свою героиню не только через нравственные испытания, но и через жестокие ошибки, срывы, падения, через муки и даже грязь.

История нравственных исканий Лены кажется несколько растянутой и заслоняющей в первом томе остальные сюжетные линии. Но большинство эпизодов, в которых она участвует, отличается редкостной психологической точностью. Сила нравственных метаний Лены оттенена контрастным изображением лагеря контрреволюции. Фадеев следует при этом горьковскому принципу: врага он не считает достойным звания человека и морально его развенчивает. Ему важно изобразить не зверства и насилия, а античеловеческую сущность, нравственное вырождение врагов.

Ни мысли, ни чувства, ни эмоции не играют существенной роли в жизни старого Гиммера. Это раб собственного дела; он озабочен одним — выколачивать деньги, чтобы они принесли новые деньги, а те опять новые, и так до бесконечности... Если Фадеев подробнее касается морального облика представителей буржуазного общества, то делает это для того, чтобы обрисовать путь их моральной деградации. Ланговой когда-то имел высокие представления о родине и чести, но роль душиателя свободы привела его к позорному краху, он взялся за дело, которое считал гадким и грязным, и начал все больше опускаться, теперь он «играл в карты и много пил, заглушая всякую возможность работы мысли».

В этом-то и состоит, считает Фадеев, отличие фальшивого человека от настоящих людей, живущих насыщенной, умственной жизнью. Мысль, чувство, эмоции никогда не покидают положительных героев «Последнего из удэге». Что думают люди, какие ощущения возникают у них, каково их моральное состояние в минуты боя или острого спора, как переживают они радость, огорчения, надежду? На эти вопросы Фадеев отвечает читателю детально и щедро. Он подробно рассказывает о душевной

жизни революционеров, не обходя ее интимных сторон, силы проявления всех чувств своих героев, и это не нарушает впечатления о них, как о людях твердых, волевых, мужественных.

...После долгих и жестоких споров, взаимных обид, после жестокого боя, где обоим грозила смерть и где их не покидала мысль друг о друге, Петр Сурков и Алеша Маленький остались одни. Петр ранен — он в постели. И все пережитое Алешей за эти дни и недели не может больше оставаться в глубине его души. Вот Сурков просит рассказать о событиях.

«— Как раз самое время рассказывать,— садясь на край кровати, сурово сказал Алеша. И вдруг, не выдержав, он склонил голову и прижался к горячему лбу Петра.— Я уж думал, что навеки потерял тебя,— сказал он тихо.

— Друг мой... — Петр крепко сдвинул его руку.— Друг мой. Самое лучшее, что было в моей жизни, это ты,— сказал Петр, счастливо улыбаясь в темноте».

Фадеев рад каждому случаю показать высокую человечность, нравственную красоту, определяющую облик борца, революционера, хотя обстоятельства жизни еще нередко сдерживают такие проявления. Пройдут десятилетия, и этот художественный прием получит широчайшее развитие в «Молодой гвардии» с ее взволнованными монологами о дружбе, любви, уважении к матери, о красоте чувств, расцветших при социализме. Однако и в условиях ожесточенной гражданской войны героям Фадеева (и в этом — своеобразие его творческого метода!) все больше раскрывается красота жизни. Писатель становится более щедрым не только в изображении духовного мира людей, но и в живописании окружающего их мира. Еще в «Разгроме» пейзажи помогали выявить нравственное состояние героев, гармонировали с их переживаниями. В «Последнем из удэге» писатель дает более развернутые картины природы. По-прежнему переключаясь с чувствами и ощущениями персонажей, они приобретают все более активную роль: подчеркивают красоту жизни, ее облагораживающий дух. Выздоровливающий Петр окунулся в теплую, ликующую ночь и сразу же испытал «чувство радостного обновления и полноты жизни»; это чувство укрепило его в уверенности, что «нет ничего страшного и невозможного, а все, все возможно, все можно преодолеть, когда такая ночь!».

Природа у Фадеева всегда активна, она живет, сияет многими красками, звучит множеством разных голосов, каждый миг обновляется, — единая и в то же время меняющаяся, многообразная. Больше всего художник любит картины восхода и заката, он тонко чувствует запахи земли, весны, его слух безошибочно различает в многоголосом хоре каждый звук: и удар молота в кузнице, и цокот конских копыт, и лягз ведра у колодца, и девичью песню на пароме. И все это сливается вместе, создавая единую настроенность всей сцены, выявляя внутреннюю сущность происходящего. Описание партизанской переправы через реку подготавливает заключительные слова о чувстве боевого подъема, владеющем бойцами. «Огненные языки факелов, их отблески на волнах и на стенах утесов по той стороне реки, говор толпы на берегу, звонкие голоса детей и плач женщин, крики переправляющихся партизан, ржание коней, всплески весел, топот ног по парому и сходням сливались в одно тревожное, бодрящее и возбуждающее впечатление».

Живая, деятельная, полная звуков и красок природа так же эмоционально насыщена, как все в романе Фадеева, и содействует она той же цели — возбуждать в людях лучшие, самые светлые чувства.

Впрочем, этой цели подчинены все изобразительные средства и приемы Фадеева. У него положительные персонажи всегда сильнее и ярче отрицательных. С непосредственным изображением событий, освещенных светом определенной идеи, сочетается прямое изложение взглядов писателя — в форме авторских раздумий, лирических монологов, обращений к читателю. Очень часто Фадеев открыто, от собственного имени высказывает свою точку зрения, отстаивает ее горячо и убежденно. Рядом с эпической полнотой повествования утверждаются лирические интонации, скрупулезная аналитичность не исключает общей эмоциональной приподнятости романа. В этом смысле показательна эволюция стиля Фадеева-художника.

В «Разгроме» преобладали краски, передающие суровость борьбы, роман был направлен своим острием против лжеромантики, акцентировал внимание на сложности внутренней перестройки людей. В «Последнем из удэге» с той же силой раскрываются жизненные противоречия, но здесь заметнее ориентация на перспективу целеустремленного психологического развития нового че-

ловека. Можно согласиться с К. Зелинским, который писал: «Если в «Разгроме» художественный метод Фадеева отмечен... значительной долей критицизма, если установка на обнажение противоречий и, в известной мере, на толстовское «срывание масок» сказывалась на распределении света и тени в изображении партизан, то в «Последнем из удэге» «теней» меньше. Наоборот, в этом романе громче звучит... поэзия утверждения и даже любования».

Гармоничнее и полнее всего такая поэтичность восторжествует уже в «Молодой гвардии», отразившей величие и красоту самой действительности. В последнем романе Фадеева нераздельно сольются эпическая полнота, героическая патетика и проникновенный лиризм, а психологический анализ станет средством для глубокого раскрытия яркого и прекрасного духовного облика человека, рожденного при социализме. Добиться органического сплава этих художественных элементов, соответствующего главному творческому пафосу Фадеева, помогла сама жизнь. Но шел он к нему в непрестанных исканиях, и как раз «Последний из удэге» явился кульминационным пунктом упорных поисков художника.

Применительно к этому периоду творческого развития Фадеева очень остро стоит вообще актуальный для него вопрос о влиянии Л. Н. Толстого. В литературоведении делались попытки как преувеличить это влияние (работы А. Дермана), так и отвергнуть его на том основании, что Фадеев — писатель «горьковской школы» (работы К. Зелинского). Истина состоит в том, что хотя философские концепции Толстого полностью неприемлемы для Фадеева, но в творческом опыте создателя «Войны и мира» он нашел немало привлекательного для себя. Иногда этот опыт сводят к чисто стилистической стороне дела, ссылаясь на известное высказывание самого Фадеева: «...Толстой всегда пленял меня живостью и правдивостью своих художественных образов, большой конкретностью, чувственной осязаемостью изображаемого и очень большой простотой. Работая над произведением «Разгром», я в иных местах в ритме фразы, в построении ее невольно воспринял некоторые характерные черты языка Толстого». В «Последнем из удэге» типично «толстовских» фраз с длинными периодами и сложносочиненными предложениями еще больше. Однако проблема тол-

стовского влияния к этому не сводится; она связана прежде всего с умением живо и правдиво изображать характеры в их психологической истинности и сложности.

Для Фадеева Толстой был писателем героической, эпической темы, певцом трудового народа. Сравнивая его с Чеховым, Фадеев писал: «Сила Толстого перед Чеховым не только в том, что Толстой вообще гигант и поэтому глубже чувствовал народную жизнь. Сила Толстого еще в том, что он — самый беспощадный русский реалист — глубоко героичен... Толстой — писатель героический».

В своей работе над жанром народной эпопеи Фадеев должен был снова обратиться к опыту Толстого; это обращение сказалось в том, что автор «Последнего из удэге» укрепился в стремлении раскрыть героическое в обыденном, в обыкновенных людях, одновременно обличая книжно-красивую, идеалистическую романтику. Ему была глубоко близка мысль о решающей роли народа в истории. Но дальше начались расхождения, ибо Фадеев условной романтике противопоставлял настоящую, революционную, он с поэтической силой изображал социальный идеал, в борьбе за который проявляется все сильное, красивое, возвышенное. На первом плане в его книге не «росвая» жизнь народных масс, а рост пролетарского сознания. У Толстого столкновение человеческого и античеловеческого связано с обращением к «вечным» проблемам нравственности и религии, с защитой первобытной естественности, зло он толкует абстрактно-моралистически. А Фадеев, продолжая тему страстной защиты человечности, стоит на позициях активного гуманизма и требует изменения человеческой природы на путях социалистического развития.

Не менее сложно отношение Фадеева и к толстовскому взгляду на человека. Он внимательно изучает приемы, с помощью которых Толстой раскрывает душевные свойства людей, истинные мотивы их поступков. Но ему в корне чуждо и враждебно представление, будто человек не в состоянии как-либо влиять на predetermined «свыше» ход событий и остается ничтожной песчинкой, уносимой потоком событий. Прямой полемикой с Толстым звучит начало четвертой части «Последнего из удэге». Люди, рассуждает Фадеев, видят факты в свете собственного

опыта и знания. Складываются и отстаиваются самые разные точки зрения на увиденное. Но ближе к правде та точка зрения, «которая выдвинута самой жизнью в ее развитии, ее как бы завтрашним днем».

Если это было справедливо и до того, как гениальные умы открыли объективные законы исторического движения, то тем более это стало справедливо после открытия этих законов, когда и обыкновенный рядовой человеческий разум все более учится не только понимать события, но и предвидеть и направлять их».

Фадеевские герои держат в своих руках нити событий, ломают вскозые установления, испытывают новые формы жизненного устройства, они чувствуют себя хозяевами истории, — это чувство и определяет значительность их личности.

Верность активному, воинствующему горьковскому гуманизму придает особую направленность весьма сильной в творчестве Фадеева морально-этической струе. Она ничем не напоминает абстрактно-религиозного морализаторства, справедливо отождествляемого с толстовщиной. Фадеев все время углубляет морально-этический аспект своих произведений, связывая его с общественной практикой героев, их социально-политической физиономией.

Осознание активной роли трудового человека в истории, стремление противопоставить абстрактному морализированию практическую борьбу героев против реального зла, борьбу, в которой политика неотделима от морали, а гуманизм — от социалистического идеала, понимание закономерностей и перспектив социального прогресса, идущего не назад, к первобытности, а вперед, к коммунизму, — все это показывает, как резко противостоит идейно-художественная концепция романа Фадеева философии толстовства. И вместе с тем неверно забывать другое: наступательно борясь с толстовской идеологией, автор «Последнего из удэге» не отвернулся от достижений Толстого-художника. Воспринять у него он хотел прежде всего искусство реалистического изображения внутренней жизни человека, его психологического развития. Огромный арсенал поэтических средств, накопленный Толстым, оказался настоящей сокровищницей для советских писателей. И Фадеев был одним из тех, кто с наибольшей эффективностью творчески использовал это богатство.

3. ЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЕРДЦА

Литературу не зря называют человековедением. «Знание человеческого сердца, — писал Чернышевский, — способность раскрывать перед нами тайны — ведь это первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения которых с удивлением перечитываются нами... Писатель может увлекать сторонами более блистательными; но истинно силен и прочен его талант только тогда, когда обладает этим качеством».

Советская литература имеет дело с такими крутыми и быстрыми изменениями в жизни и психологии людей, каких еще не бывало в истории. Художественно познать человека в момент столь решительных сдвигов в его сознании, выказать «знание человеческого сердца» на переломе исторических судеб всего человечества — задача очень трудная и очень почетная. Тридцатые годы явились важным этапом в решении этой задачи. Уже первое десятилетие существования советской литературы дало примеры глубокого художественного познания советского человека, хотя в это время чаще появлялись произведения, изображающие гигантский размах революционных боев без детального анализа психологии отдельной личности. Масштабы и глубина этих изменений стали особенно заметными в годы социалистического переустройства экономики и всего быта страны, в годы первых пятилеток. Реальная жизнь заставила многих писателей задуматься о том, как и каким образом раскрыть нравственное развитие строителей социализма, создающих не только новую экономику, но и новые отношения, в свою очередь немислимые без нового строя чувств, мыслей, привычек.

Были писатели, склонные отказывать новым людям в богатстве и сложности внутренней жизни. Ею наделялись старые интеллигенты, рефлектирующие и колеблющиеся, революционера же, рабочего, строителя изображали по старым рецептам «кожаной куртки» — шибко деятельным, волевым и совершенно бесчувственным. В некоторых книгах того времени, например в «Зависти» Ю. Олеши, человек-работник выглядит неким роботом, лишенным полноты эмоций. Большевики, персонажи написанных тогда рассказов Сергея Колдунова и Василия Гроссмана, подчеркнуто аскетичны: они отказываются от

всего личного и знают одно — непрерывную, изнуряющую и испепеляющую их работу. Герой повести Колдунова «Р. С.» крупный хозяйственник Боровой — человек «замкнутый, казавшийся несколько сухим», — был совершенно одинок и «отдавал себя работе с некоторым даже надрывом». Мысли о личном представлялись ему ненужными и вредными, и он стремился «очиститься» от них и полностью забыть «себя ради дела». Когда Боровой заболел и его поместили в больницу, он не смог лечиться и бежал на стройку, где люди «жили большим сверхличным делом... и поднимались до самоотречения». Речь, конечно, идет не о том, что литературными персонажами оказались самоотверженные люди, а о том, что некоторые писатели утверждали своеобразную «философию» аскетизма и жертвенности, далекую от мировоззрения социализма.

Психологическое обеднение нового человека было в конечном счете связано с неверным представлением о социализме, как унылом, казарменном однообразии, где все якобы делается «для людей, но без человека». Личность здесь растворяется и бесследно гибнет в бесчисленных массах, индивидуальные особенности нивелируются. Именно так искаженно понимали примат массы над личностью сторонники течения, получившего тогда название антипсихологизма. Требуя показать человека частичкой массы, класса, они вслед за пролеткультовцами обнаруживали у него лишь ряд «общеклассовых» признаков и отказывали ему в праве самостоятельно мыслить, любить, ненавидеть, страдать или радоваться. Живой человеческий образ уступал в их произведениях место схеме, плакату.

О борьбе с такой плакатностью, схематичностью громко возвестили идеологи рапповского направления, начертавшие на своих знаменах лозунг «психоанализа». Они выдвинули требование изображать не условного «представителя» класса, но «живого человека» со всей противоречивостью его классовой психики. Разумное на первый взгляд требование на самом деле трактовалось вульгарно-социологически. Подразумевался человек, выключенный из общественной практики и раздираемый происходящими в его сознании «классовыми битвами». Психология советского человека превращалась в арену, где сталкиваются и сражаются абстрактные логические категории, сознательное и подсознательное, пока

не приходит «единство противоположностей». Всякая определенность и цельность образа при этом исчезает.

Подобные «теоретические» рецепты были не только практически бесплодны, но и разрушительны для художественного образа. Следуя им, Либединский после «Недели» и «Комиссаров» написал «программный» роман «Рождение героя». И здесь раскрылась вся схоластичность «психоанализа». Действия людей изображались как прямое выражение обуревавшей их внутренней борьбы, и эта идеалистическая точка зрения лишила повествование всякого правдоподобия. Переживания персонажей оказывались совершенно не реальными, ибо они сведены были к борьбе различных социологических начал в сознании человека. Такая непрекращающаяся борьба происходит, например, в мозгу старого большевика Шорохова. И именно в зависимости от победы того или иного начала Шорохов совершает те или иные поступки.

Мы кратко напомнили о двух полярно противоположных подходах к задаче психологического анализа в советской литературе. Не следует думать, что все остальные произведения литературы родились как готовые образцы априорно правильного понимания этой проблемы. История литературы сложнее, чем иногда ее излагают. Писатели, отвергнувшие рецепты «психоаналитиков», «антипсихологистов», либо тех, кто вообще отказывал новому человеку в духовном богатстве, сами должны были практически найти наилучшие способы художественно раскрыть духовный облик своих героев. Но ведь эти герои находились в процессе становления, формирования, черты их характера еще не устоялись. И вырисовывались новые люди прежде всего в своей трудовой и общественной деятельности и в повседневной практике, кипучей работе, а не в сугубо личной сфере, где в прошлом многие писатели черпали материал для характеристики внутренней жизни персонажа. Предстояло показать человека в его деле и как работника и как глубоко мыслящую и ярко чувствующую личность, найти новые стимулы его мыслительной и эмоциональной жизни, передать обретаемое им единство трудовых и духовных импульсов.

Новизна этой задачи очевидна. Очевидны и трудности ее разрешения. Опыт великого Горького помог советским писателям глубже понять стимулы, движущие человеком — преобразователем мира, о них задумался

Фурманов, он стремился передать не только героический облик Чапаева, но и сложность его духовного развития, хотя еще не прослеживал психологическую жизнь своего героя в ее взаимопереходах и внутренних противоречиях. Блестящих успехов добился Шолохов — великолепный знаток человеческой души, мастер тонкого и убедительного психологического портрета. Правда, и в «Тихом Доне» герои-большевики эмоционально суше и психологически прямолинейнее, нежели люди типа Мелехова. С нелегкими творческими поисками связана работа Федина, Леонова, Макаренко и других крупных советских художников. И когда мы говорим об отдельных неудачах или неполном успехе, это должно не принизить сделанное, но подчеркнуть трудность художественных поисков. В целом же они увенчаны такими замечательными произведениями, как «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Педагогическая поэма», «Как закалялась сталь», «Люди из захолустья» и многими другими. Ведь становление литературы — не идеально прямой путь от одной вершины к другой; это непрерывная «разведка боем», где успех завоевывается напряженным трудом.

Весь в поисках и Александр Фадеев. В новых условиях автор «Разгрома» ищет новых приемов для раскрытия психологической глубины и сложности своих героев, и его поиски идут в общем русле развития советской литературы. Фадеев был одним из руководителей РАППа и участвовал в разработке его теоретических принципов, о чем иногда стыдливо умалчивают исследователи, боясь, должно быть, «скомпрометировать» большого художника. Но, во-первых, давно осуждены любые попытки улучшить или ухудшить историю, а во-вторых, Фадеев нередко вкладывал в некоторые лозунги несколько иное содержание, чем то, которое закрепила за ними история. Лозунг «живого человека» некоторое время пользовался решительной поддержкой Фадеева. Но, помня об этом, нельзя забывать и то, что же имел он в виду в данном случае. При внимательном перечитывании статья Фадеева «Столовая дорога пролетарской литературы» и другие его работы не вызовут никаких кривотолков на этот счет. Здесь довольно много неточных и неверных формулировок, однако с понятием «живого человека» связывается не та антиобщественная абстракция, которая нашла воплощение в «Рождении героя», но представле-

ние о социально определенной, исторически конкретной личности, изображаемой в противоречивости ее внутренней жизни, в сложности психологического развития. Иногда этот тезис высказывается с характерной для Фадеева запальчивостью, и тогда появляются рецидивы призывов к «свержению» Шиллера, психологическое углубление выглядит как толстовское нравственное самоистязание и т. п. Со временем Фадеев уточнял и исправлял допущенные крайности. Если же взять его художественную практику, в частности занявшую тридцатые годы работу над «Последним из удэге», выяснится последовательно реалистическая направленность всей этой работы. Схоластика рапповских теорий не оказала на нее заметного воздействия. Фадеев умеет раскрыть человеческий характер в действии. Образы его героев пластичны, чувственно осязаемы, мы видим внешность человека, его лицо, позу, люди держатся так, как им подсказывает их натура. В «Последнем из удэге» немало удивительно точных описаний того, как переживания героев выражаются вовне, как люди ведут себя в гневе и в страсти, в раздумье и печали.

Обращаясь к жизни человеческого сердца, Фадеев не только констатирует то или иное чувство, владеющее в данный момент персонажем. Он пытается — и часто весьма успешно — передать сложность и многообразие переживаний. В одну и ту же минуту в сознании человека могут совмещаться различнейшие чувства и ощущения, иногда гармонирующие друг с другом, а иногда и противоречивые. Фадеев умело рисует переход одного чувства в другое, их взаимосвязи, единый и противоречивый процесс психологического развития. Этот прием особенно часто применяется при характеристике Сережи и Лены Костенецкой, молодых людей, живо и эмоционально реагирующих на все происходящее. Они еще не прошли жизненной закалки, характеры их не вполне определились, душа наиболее непосредственно воспринимает впечатления, и порой эти впечатления бурно и стремительно сменяют друг друга.

Забота о многосторонности и цельности облика действующих лиц потребовала от писателя многообразия изобразительных средств. «Последний из удэге» был новым шагом Фадеева в работе над портретом героя. В «Разгроме» он строился на немногих деталях, разбросанных по всему произведению и превращающихся в лейтмотив обра-

за. Психологически насыщенная, повторяющаяся деталь портрета полностью сохраняет свое значение и в новом романе Фадеева. Но здесь у каждого героя гораздо больше характерных признаков, они естественнее дополняют друг друга, воссоздавая облик человека.

Характерная деталь помогает читателю лучше запомнить персонажей романа. Мы говорим о Сереже, и в памяти обязательно встает «большерукий подросток с черными глазами». У Лены запоминается ее «тонкие руки», «удивленно приподнятые брови», «неожиданные зверушечьи жесты или взгляды». Думаешь о Петре Суркове — как живой, рисуется перед тобой этот «широкоплечий и угловатый человек» с большими руками, его «угрюмое и злое лицо», «холодноватые и злые глаза», устремленные «из-под бугристых бровей». А рядом так непохожий на него Алеша Чуркин — «маленький, с ежовой головой человек», с «плотной ручкой» и «веселым и тонким голоском»; Сеня Кудрявый — худой, с неизменно грустным выражением лица, ровными кремовыми зубами, веселыми морщинками у глаз. Людей много, все они разные, и почти у каждого Фадеев находит отличительную примету; повторяя ее и варьируя, он подчеркивает ведущую моральную черту героя.

Нет другой внешней детали, которую Фадеев описывал бы с таким же постоянством, как человеческие глаза, их цвет, разрез, выражение, манеру героев смотреть, обмениваться взглядами и т. д. Знакомая читателей с Боярином, писатель обязательно обратит внимание на его глаза — «голубые, покорные», у Крынкина он обнаружит «выпуклые, усталые и добрые светло-голубые глаза», у Бредюка — «пронзительные и желтые», у Семки Казанка — «светлые, дерзкие», в глазах у Гладких подметит «орлиный блеск», у старого Казанка — «смелый и дяковатый взгляд», у жены контрразведчика Маркевича — «странный отсутствующий взгляд» и т. д. и т. п. Здесь нет ни одного случайного слова, — иначе и не скажешь о тихом, покорном Боярине, глуповатом Крынкине, лихом Бредюке, наглом Семке Казанке, о других героях романа, — в глазах полнее всего выразилась их духовная сущность. Потому эта портретная деталь заняла такое место в произведениях Фадеева.

В «Последнем из удэге» нередко непосредственные описания внутренней жизни

персонажей прямо «от автора» или через их «внутренний монолог». Порой одно перерастает в другое — восприятие героя как бы «подхватывается» и развивается автором, его отношение к явлениям становится неотделимым от аналогичных ощущений героя, несобственно прямая речь переходит во внутренние монологи и диалоги. Еще чаще Фадеев выступает в роли, позволяющей ему непосредственно оценить поведению, мысли и высказывания персонажа, вскрыть их истинность или же их показной характер. Достигается это с помощью соответствующей интонации (часто иронической), путем использования прямой речи героя для передачи настроения, наконец, с помощью комментирования, высказывания, в котором явственно и откровенно звучит голос самого автора.

В романе Фадеева мы часто находим развернутые описания нравственного состояния героев. Сложное и противоречивое развитие мысли, сопровождаемое множеством взаимопереходов, требует и соответствующего построения фразы. Она, как и у Толстого, сплошь и рядом представляет собой сложносочиненный лексический период с целым рядом причастных и деепричастных оборотов. Мысль движется вперед, как бы расчлняясь, уходя в сторону, чтобы в конце периода найти наиболее точное выражение, и все это определяет структуру и развитие самой фразы. Внешняя сложность, даже неуклюжесть стиля на самом деле воспроизводит течение мысли — не гладкой, книжной, а живой, естественной, данной в ее непосредственном рождении и развитии.

Особо стоит сказать о емкости, содержательности такого лексического периода — он может охватить множество различных сторон обдумываемого вопроса, перебрать самые разные варианты, отбросить одно, утвердить другое и прийти к окончательному заключению через антитезу противительно-разъяснительные союзы «но», «однако», через ставшие уже классическими обороты: «несмотря на то, что...», «не потому, а потому...» Ограничимся одной иллюстрацией:

«И хотя Гиммер знал, что тысячи людей, работающих на него, ненавидят его лютой, неистребимой ненавистью; что все богатые люди, которых он принимает у себя в доме, завидуют ему как удачливому конкуренту и презирают его как выскочку и выкреста; что сам он, необразованный св-

рей, чужд всей своей русской и образованной семье, что из его потомства никто не интересуется его делом и не способен продолжать дело после его смерти; что жена его — ханжа и лицемерка; что старший сын его — толстый и высокопарный бездельник; что средний сын его, учившийся в другом городе в кадетском корпусе, стыдится еврейского происхождения отца и выдает себя за немца; что младший сын его — вырожденец; что дочери его некрасивы и неспособны в учении; что сам он уже стар и близок к могиле,— хотя Гиммер знал все это, все-таки он всеми силами поддерживал тот строй и порядок жизни, в котором жил, и вступил бы в борьбу со всяким, кто попытался бы изменить этот порядок».

В одной фразе выражена вся противоречивость нравственных представлений человека, и все они сведены к главному, ради чего он живет. Не просто живет — чему он посвящает себя, во имя чего действует, борется или готов бороться. Фадеев так далек от всевозможных теорий «психоанализа» именно потому, что никогда не рассматривает психологию человека изолированно от его идейных устремлений и его практической деятельности. Возвращаясь к положению дел в советской литературе тридцатых годов, мы уверенно отнесем автора «Последнего из удэге» к тем писателям, которые решительно выступали против искусственного разделения сферы жизни советского человека на его дела, общественную практику и его внутренний мир, личные интересы. Сурков, Чуркин, Сени Кудрявый и другие персонажи «Последнего из удэге» раскрываются ярче всего не в какой-то отвлеченно моральной плоскости, а в их замечательных делах, самоотверженной борьбе за интересы народа. Как и другие персонажи, они рельефно вырисовываются в эпизодах, где им приходится практически проявить свою внутреннюю сущность. Не забыть сцены боя, когда был ранен Сурков, или речи Чуркина перед крестьянами, или горячих споров между друзьями по тактическим вопросам. В умении организовать людей, твердо и решительно вести их за собой выявляются железная воля, неумная энергия Петра. В искусстве воздействия на людей, в тонком и умном подходе к ним полнее всего раскрывается гибкий и осторожный Алеша. Это и понятно: работа с людьми — главное в деятельности большевиков, революцион-

ных руководителей, здесь и находит автор «ключ» к их характерам.

Фадеев не сводит их характеристики к портретным деталям, он подмечает и, так сказать, деловые детали, выработанные в практической работе, дающие представление о жизненном опыте человека, его навыках руководителя. У Алеши, к примеру, — великолепная память, профессиональная память революционера, встречающего и запоминающего множество людей. Он мельком услышал фамилию Казанка, но, когда за ним пришел мужик-всзчик, одного взгляда на него было достаточно: это тот самый Казанок. Ему показалась знаменательной для настроения партизан встреча с Павлом Снетковым, и Алеша не забыл о нем. Когда Чуркин захотел в своей речи развенчать эти настроения, но не мог прямо назвать командира отряда Бредюка, он «из той внутренней коробочки, в которой Алеша хранил сотню имен и фамилий, вытащил Павла Снеткова и подробно рассказал собранию о встрече, оказанной ему Павлом Снетковым».

Пример положительных героев «Последнего из удэге» еще раз свидетельствует, что именно у людей дела — наиболее богатая и значительная внутренняя жизнь. Стойкость убеждений придает их натуре целеустремленность, уму — обостренность, чувствам — особую выразительность. Человек же без большой цели в жизни, без твердых убеждений, как правило, — человек бедной души, слабого и аморфного характера. Его «сложность» идет не от яркости и многообразия личности, а от ее неопределенности, от безликости, а нередко духовной опустошенности. Это та самая уродливая «сложность» мещанина, о которой писал Горький и которую он заклеил в образе Клима Самгина. В годы, когда еще делались попытки воспеть рафинированного и рефлектирующего индивидуалиста как яркую человеческую личность, развенчание мещанской души было особенно важной задачей. Выполняя ее в «Разгроме» и в «Последнем из удэге», Фадеев смело пользовался методом контраста. Его положительные герои, деятели, воины, строители новой государственности всегда прельщаются цельностью своего характера, внутренней собранностью; писатель художественными средствами подчеркивает силу и красоту крепнущих в них новых нравственных

качеств и тем самым помогает распространению этих качеств в жизни.

Большевики, герои романа Фадеева, близки друг другу многими своими характерными чертами. Но это не простые разновидности одного и того же, весьма схематичного и прямолинейного образа, к которому иные писатели сводили все индивидуальное многообразие порожденных революционной эпохой новых людей.

4. ЛЮДИ БОЕВОГО АВАНГАРДА

«Одна семья!» — так охарактеризовал когда-то революционных бойцов автор «Чапаева». Все вместе чапаевцы — «перевитое и свитое молодецкое гнездо», но приглядишься поближе, и увидишь, что «у каждого свое. Нет двоих, чтоб одно: парень к парню, как камень к камню». Традиции Фурманова в изображении людей революции переоценить невозможно. Он впервые попытался дать широкую галерею типов красных воинов в «Чапаеве», показать партийную организацию в «Мятеже». Не все характеры выписаны им достаточно глубоко, не во всех случаях убедительно раскрыто психологическое движение образа. Но Фурманов решительно покончил со схематическим подходом к партийным деятелям как различным вариациям одного и того же типа; он изображал внутреннее многообразие цельного и сплоченного большевистского коллектива, рисовал его в богатстве составляющих его человеческих индивидуальностей.

Эта замечательная традиция советской литературы нашла свое продолжение в «Последнем из удэге». Напряженность повествования достигается в романе прежде всего остротой отраженной в нем классовой борьбы; Фадеев вводит нас в самый центр революционных боев на Дальнем Востоке, делает очевидцами партизанского движения, действий белых карательных войск, японских и американских оккупантов. Представителей враждебных лагерей соединяет сложная связь личных отношений, что еще больше углубляет драматичность положения. Лена была невестой Лангового, а теперь она любит Суркова, а Сурков, уже не раз сталкивавшийся с Ланговым, дерется против него во главе партизанского отряда. Сережа находится в одном отряде с Семкой Казанком, а их личная неприязнь таит большее, чем пока знает юноша, — Семка

связан с кулаком-отцом, ставшим вражеским лазутчиком, и т. д. и т. п.

Непримиримость и ожесточенность борьбы между классовыми врагами придает особое звучание всем книгам о гражданской войне. Драматизм «Последнего из удэге» объясняется не только этим. С наименьшим напряжением вглядываешься в многообразные и зачастую очень сложные отношения внутри революционного лагеря. Они очень разные, партизаны и подпольщики, жители таежных сел и сучанских рудников, профессиональные революционеры и безусые юнцы. И разный уровень сознания, и несходство характеров, и расхождение во взглядах—все это сказывается на отношениях героев романа. В конечном счете сквозь разногласия мнений и подходов к делу должно пробиться единство воли, цементирующей весь коллектив, а это предполагает большую и терпеливую работу с одними, борьбу с другими, переубеждение третьих, то есть новые конфликты.

Коллектив и человек в коллективе — эта тема стала одной из центральных тем советского искусства. И в «Разгроме», и в «Последнем из удэге», и в «Молодой гвардии» трудовой коллектив изображен как источник нравственной силы отдельного человека, залог духовного и морального роста личности. Отражая этапы общественной жизни, эти произведения рисуют все более тесное слияние личных и общественных интересов у советского человека, все более глубокое развитие социалистических индивидуальностей. Связывающие героев «Молодой гвардии» отношения высокой дружбы, искреннего товарищества, взаимного доверия, неизменного благородства могли развиваться с такой силой только в условиях победившего социализма. Но основы этих отношений Фадеев увидел уже в среде революционных пролетариев, представителей большевистской гвардии, выведенных в «Последнем из удэге».

Любовь, дружба, доверие к человеку, понимание смысла жизни — эти «вечные» вопросы по-новому решаются Сурковым, Чуркиным, Кудрявым. По-новому отнюдь не в том смысле, что героям романа недоступно любое из этих чувств. Напротив, как мы уже отмечали, именно они живут самой насыщенной умственной и эмоциональной жизнью. Но разумные и подлинно человеческие отношения, складывающиеся в пролетарском коллективе, придают новое

содержание «извечным» нравственным устремлениям. Дружба Петра Суркова и Алеши Маленького — то самое чистое и верное чувство, которое с древних времен соединяет близких друг другу сердца. Каждый из них искренне любит другого, верит ему, готов в любую минуту прийти ему на помощь, обоих тяготит долгая разлука, беспокоит судьба товарища. Фадеев подробно рассказывает о душевной близости двух товарищей, о теплых словах, сказанных ими друг другу после ранения Петра, о полных взаимного понимания взглядах, которыми им доводилось обмениваться в трудную минуту. Однако чаще их дружба выражается не во внешних проявлениях, а глубоко таится в сердце, они сдержанны, как это естественно для русского человека, закаленного борца.

Об истинном характере этой дружбы не скажешь лучше самого Фадеева, когда он пишет, что чувствовали Петр и Алеша во время боя с белогвардейцами: «...Несмотря на то, что все силы и Петра и Алеши были заняты боем, они все время помнили и чувствовали друг друга, беспокоились и заботились друг о друге. Это не выражалось ни во взглядах, ни в жестах, ни тем более в словах поддержки или одобрения или благодарности; но простое знание того, что оба они не сдадут и не согнутся перед лицом опасности, это чувство доверия друг к другу перед лицом врага придавало их отношениям сейчас особенную теплоту и силу мужества».

Дружба большевиков, политических деятелей, основана не только на сугубо личных привязанностях — она предполагает общность политическую, стремление к единой позиции, единым действиям. В реальной жизни она может сложиться нелегко и непросто, особенно если иметь в виду несходство характеров, различия в понимании вопросов.

Настоящие коммунисты — политические единомышленники, связанные общностью цели, мировоззрения, дисциплины. Единство в главном не мешает любому из них оставаться самим собой, сохранять личную самостоятельность, по-особому подходить к решению общих задач. Как говорил Ленин об организаторах «из народа»: «Единство в основном, в коренном, в существенном не нарушается, а обеспечивается многообразием в подробностях... в приемах подхода к делу...».

Ленинские слова приходят на память, когда читаешь произведения, проникновенно изображающие большевиков-работников. В «Мятеже» Фурманова воспроизведены споры между членами ревкома о разделе земли в связи с возвращением бежавших в Китай киргизов. Ревком раскололся на две половины, его члены долго и нервно спорили «до криков, угроз, оскорблений», пока не пришли к общему решению, как это и должно быть в каждом здоровом партийном коллективе. Аналогичная ситуация изображена в «Последнем из удеге», причем она особенно драматична потому, что во взглядах на дальнейшую тактику партизанской борьбы разошлись два давних и надежных друга — Сурков и Алеша.

Крайне запутанная обстановка в крае, незнание общего положения и планов врага, арест основного состава обкома партии, отсутствие связей с центром — вот откуда неясности в этом вопросе, временно расколовшем оставшихся на свободе членов обкома, с одной стороны, и партизанский ревком, с другой. Представитель обкома Чуркин для того и приехал к партизанам, чтобы внушить им линию областного комитета. Однако Сурков совершенно уверен в правильности избранной ревкомом линии. Согласия достигнуть не удастся. Дело не в том, что кто-то один упрямо отстаивает неверные взгляды. Со своей вышки, без помощи руководства ни один из них не мог полностью охватить и безошибочно оценить обстановку в целом, каждый стоял на принятой им точке зрения и считал необходимым отстаивать ее хотя бы и в споре с близким другом, дорогим человеком. Дружба для Суркова и Чуркина — не просто личная симпатия, застольная беседа, взаимная поддержка, она немислима без идейной основы. А если возникли неясности, нужно сделать все, чтобы привлечь друга на свою сторону, не уступая в принципиальных вопросах, не отрекаясь от убеждений. Прекрасный пример для нашей молодежи, ищущей честных, принципиальных отношений без взаимных поблажек, уступок, круговой поруки!

Петр и Алеша не могли отступить от своих взглядов, но и не умели переубедить друг друга, каждый тянулся всей душой к товарищу и чувствовал разделяющую их преграду, нападал на друга и знал, что разногласия не могут подорвать существа их дружбы, а в целом все это придавало

очень сложный и противоречивый характер их отношениям. Фадеев остается верен себе, нигде не смягчая напряженности развертывающегося конфликта. С первой же встречи взаимоотношения Петра Суркова и Алеши Маленького складываются очень и очень трудно.

Сама жизнь, начавшиеся бои отодвинули в сторону споры и заставили друзей действовать практически. Совместная борьба оказывается лучшей проверкой старой дружбы. В бою Алеша и Петр помнят друг о друге, чувствуют себя увереннее, зная, что каждому есть на кого опереться, после боя задушевно говорят о своих чувствах. Алеша всё больше включается в партизанские дела, они захватывают его, и он начинает улавливать рациональное зерно в позиции ревкома, хотя по-прежнему видит и ее уязвимые пункты. Объективное развитие событий подтверждает необходимость подготовки областного съезда, и Чуркин не может упорствовать в прежних возражениях против создания в тылу врага органов Советской власти и централизованного военного командования.

Споры и разногласия приобрели такую остроту потому, что они были для Алеши и Петра не чем-то посторонним, чисто «служебным» делом, но делом глубоко личным, выстраданным. Письмо, присланное из тюрьмы областком, положило конец дискуссиям, объединило все силы большевиков.

Разрешение возникшего спора также связано с творческим пониманием самого существа и характера большевистского руководства. Люди долго и ожесточенно отстаивали разные точки зрения, не щадя при этом личной дружбы. Но вот краткое письмо, присланное областком, заставило прекратить полемику и занять единую позицию. В чем же причина огромной авторитетности директив областкома? Конечно, сказались и непоколебимое доверие к руководящему партийному органу и чувство дисциплины, владеющее коммунистами. Но не только это сыграло свою роль. В письме выражена мудрость партии, опирающейся на объективные законы развития, на логику самой жизни, и потому способной морально вооружить миллионы людей и направить по указанному пути. Таким образом, подчеркивает Фадеев, обеспечивается единство множества отдельных волей и устремлений, ведомых и сплавляемых

коллективной волей партии, а не чьим-то безграничным личным авторитетом.

Размышляя о пересланном из тюрьмы письме областкома, Фадеев делает широкое политическое и художественное обобщение:

«Ни один король, царь, президент или какой-либо другой руководитель современного буржуазного государства и никакой папа, банкир или закон никогда не имели и не могли иметь такой власти над своими подчиненными, какую небольшая группа людей, сидящих за толстыми каменными стенами, за семью замками, за сонмом часовых и надзирателей, — имела на Петра, Алешу и Мартемьянова, а через них на десятки и сотни, а через этих на десятки и сотни тысяч восставших людей.

Власть эта была признана Петром, Алешей и теми, кто шел за ними, добровольно и была основана на силе простой разумной мысли, очищенной от всяких побочных соображений и потому совершенно бесстрашной, мысли, настолько жизненно правдивой, то есть настолько соответствующей ходу самой жизни и стремлениям людей, что она приобретала характер материальной силы».

Партия как политический и организационный коллектив направляет усилия всех этих людей, но она не ограничивает их возможностей, как думают мелкобуржуазные индивидуалисты, а дает мощный толчок для развития отдельной личности. О такой целенаправленности партийной работы рассказали лучшие произведения советской литературы, в том числе книги Фурманова, Фадеева, Островского, Павленко. Ее обычно не могли понять писатели, рисуящие большевиков в виде «кожаных курток» — узколобыми делегами, а не организаторами и воспитателями масс. До сих пор не прекращаются споры, кто из героев «Разгрома» может претендовать на роль главного героя — Морозка или Левинсон. Но ведь на том и построен роман, что такие люди, как Морозка, выходят на большую жизненную дорогу именно под воздействием партийных организаторов и воспитателей, подобных Левинсону. С другой стороны, прежде всего во взаимоотношениях с окружающими, в работе с массами и обнаруживаются основные черты характера, индивидуальные особенности всякого, кому приходится выполнять роль, аналогичную взятой на себя Левинсоном. Все это определяет главное направление в работе над образом большевика, народ-

ного руководителя. Однако это же таит в себе и серьезную опасность. Нередко большевики — литературные герои — выполняли довольно узкие, чисто «служебные» функции, направляя и воспитывая других и оставаясь сами в тени. В этом смысле «Последний из удэге» также является для Фадеева шагом вперед в развитии его главной темы.

В своем втором романе, передающем большую широту жизни, духовную раскованность людей, Фадеев не ограничивается акцентировкой особых качеств героев-большевиков, дающих им моральное право управлять другими; его интересует неповторимое своеобразие каждого характера. Подробно и внимательно, как никто до него, автор «Последнего из удэге» раскрывает не только сложность отношений между людьми, но и многообразие человеческих индивидуальностей внутри единого большевистского коллектива.

В образах Суркова и Чуркина контрастно подчеркнуты наиболее характерные для них, индивидуальные, отличительные черты.

Алеша — человек спокойный, сдержанный, умеющий рассчитать свои действия, схитрить, если нужно — отступить из тактических соображений, чтобы затем наверстать упущенное. А Петр резок, грубоват, бескомпромиссен; он побеждал своей непоколебимой уверенностью, железной силой воли, неуступчивостью, с помощью которых он «незаметно подминал под себя людей». Алеша общителен, даже ласков, всегда готов пошутить, склонен к мечтательности, философствованию, откровенно любит радости жизни, любит красивых девушек. Петр же несколько мрачноват, он производит впечатление жесткого, порой даже злого человека; поглощенный делами, он может ради них забыть все на свете. Прислушайтесь к речи обоих, и станет осязательным различие этих людей. Если Чуркин говорит с иронией и усмешечкой, то Сурков разговаривает «грубым отрывистым голосом», холодно и язвительно. Таковы они и в общении с людьми и в практических делах. Об их несходстве дает представление даже короткое сообщение о том, как они держались во время боя: «Чем жарче разгорался бой и чем больше упорства проявлял противник, тем ожесточенней становился Петр и тем спокойней и даже как-то ласковей — Алеша».

Все это не просто частные различия, они сказываются в общественной практике

руководителей. Алеша не столько командир, сколько политик, воспитатель, блестящий партийный агитатор. Его речи — образец дальновидности, тактической продуманности, заражающей силы.

Суркова нельзя назвать столь же искусным оратором, и если он берет верх над Алешей, то «секрет» в другом — в совпадении его взглядов с насущными интересами партизан, крестьянских масс. Петр несравненно сильнее как организатор, военачальник. Он хладнокровно и уверенно руководит боевыми операциями, решительно и твердо пресекает начинающуюся панику, все его распоряжения немедленно и точно выполняются. Подчиненные не только верят своему начальнику, но и побаиваются его, чувствуя, что шутить с ним не приходится, а переспорить его трудно.

Сурков еще совсем молод — ему всего двадцать четыре года, и это смутило некоторых критиков. Е. Книпович, автор одной из самых лучших работ о Фадееве, считает, что в последних частях перед нами фактически предстает «человек 30-х годов, лет 35 от роду, с огромным и уже отстоявшимся опытом государственной работы, сильный, немного усталый. Именно поэтому кругозор его вдвое шире, чем у других коммунистов, выведенных в романе, именно поэтому он с такой легкостью «подминает» под себя чужую волю, в том числе и волю своего партийного учителя — Алешы Маленького. Именно поэтому сравнивает его Алеша с «титанами» Ренессанса — явный анахронизм для 1919 года, ибо увлечение этими титанами характерно для советской интеллигенции 30-х годов».

В приведенном замечании есть доля истины. На романе сказались не только высота идейно-творческой позиции тридцатых годов, с которой Фадеев оценивал перспективы исторического развития, но и настроения, мотивы, которые тогда получили распространение и которые в отдельных случаях механически переносились автором в иное время. Но в целом упрекать Фадеева в модернизации образа Суркова было бы несправедливо. Решительный характер Петра, властные его привычки, резкие манеры могли сформироваться и сформировались в условиях гражданской войны. Они не модернизированы писателем. Взаимоотношения Петра и Лены в условиях тридцатых годов, без сомнения, сложились бы иначе, чем в 1919 году, когда Сурков чувствовал себя не вправе отдалиться чув-

ству любви, да еще любви к девушке из другого класса. Во взглядах Петра на личную жизнь живут отголоски того нравственного максимализма, который характерен именно для периода гражданской войны.

Следуя логике, о которой шла речь выше, и образ Алешы можно считать чересчур современным. Как никак, он говорит о проблемах межпланетных полетов и использования атомной энергии, тогда еще почти не обсуждавшихся. Но тут, конечно, происходит не смешение во времени; смелый полет мечты позволяет автору подчеркнуть творческие возможности своего героя. Такой прием закономерен. Его нельзя смешивать с искусственным «подновлением» образа. Когда книги тридцатилетней давности начинают приспосабливать к сегодняшнему дню, а героев той поры приводят в соответствие с нынешними требованиями, из произведения бесследно исчезает колорит эпохи, персонажи превращаются во вневременные схемы. Таких ошибок нет в «Последнем из удэг»: изображенные в нем события верны исторической атмосфере своего времени. Разумеется, это совершенно не мешает автору решать тему гражданской войны иначе, чем решала ее советская литература и он сам десятилетием раньше. Тогда было привычным изображать большевика-руководителя уже сформировавшимся человеком, готовым осуществлять свою авангардную роль. Его показывали во всей силе его духа, опыта, в беззаветном мужестве, негибимой стойкости, но все эти качества он обычно имел еще до прихода на страницы книги. Как они приобретены, каков жизненный путь героя, приведший его в большевистскую партию, — это чаще всего оставалось за рамками повествования.

Не составил исключения и «Разгром» с краткими упоминаниями о прошлой жизни Левинсона, о его семье, обретении им революционной морали. Тридцатые годы, выдвинувшие перед писателями задачу всестороннего изображения процесса формирования и роста новых характеров, закономерно внесли изменения и в трактовку образа большевика. Художественную биографию коммуниста написал Николай Островский, к грандиозному замыслу передать жизнь пролетарского революционера приступил Василий Гроссман — автор неоконченного романа «Степан Кольчугин». В этом же направлении работает и Фадеев.

Он уделяет сравнительно не много места прошлому таких героев, как Алеша Маленький, Мартемьянов, Сеня Кудрявый. Зато о жизни Петра Суркова нам известно, начиная с его детских лет, иногда в интерпретации автора, а чаще со слов Лены — через восприятие девушки, которую всегда влекло к Петру и которая пристально всматривалась в эту маящую и загадочную для нее фигуру.

Показывая некоторые — пусть сравнительно немногие — эпизоды биографии Петра Суркова, автор ставит перед собой задачу передать целеустремленность нравственного развита этого характера, воспитанного жестокой борьбой.

Большевики в «Последнем из удэге», как уже говорилось, показаны не только в делах, но и в их духовной, эмоциональной жизни, в многообразии и богатстве чувств и ощущений. При этом Петр, Алеша и другие раскрываются прежде всего в своей функции руководителей, воспитателей. Но это не чисто служебная «функция», служащая лишь для показа влияния партийного деятеля на окружающих; в ней выявляются индивидуальные человеческие качества персонажа, его внутренний, эмоциональный мир. И нужны эти человеческие качества не для того, чтобы, как говорят иные, немножко «утеплить», «очеловечить» образ, а для того, чтобы передать многосторонность личности, ее внутреннее богатство. Многогранность образа большевика — одно из основных завоеваний автора «Последнего из удэге».

Полнее, многообразнее стала жизнь революционных борцов — и свободнее выявляются их личные свойства, отчетливее вырисовываются индивидуальные особенности. Может быть, этот процесс идет обособленно от общественной функции действующих лиц или просто параллельно с ней? В том-то и дело, что у Фадеева неразрывны обе стороны деятельности большевика — его нравственная жизнь и его практическая революционная работа в массах. Он показывает все более тесную связь революционных вожakov с массами, рост взаимопонимания и взаимодоверия между ними. Беззаветная любовь к людям была главным стимулом всей деятельности Левинсона, он горячо верил в трудовой народ и делал все от него зависящее, чтобы поднять и растить каждого человека. Условия времени требовали строгой дисципли-

ны, порой принуждения, и Левинсон при необходимости смело шел и на то и на другое. Шел во имя общих интересов, ни на йоту не утрачивая теплого отношения к людям, озабоченности их судьбой. Но в образе Левинсона появляются черточки, противоречащие общей атмосфере книги. Автор несколько раз повторяет, что в период отступления Левинсон «превращался в силу, стоящую над отрядом», что он «почувствовал себя враждебной силой, стоящей над отрядом». И это связано не только с трудностями определенного момента. Левинсон всерьез озабочен установлением некоторой дистанции между ним и остальными партизанами. Сдерживая проявления обычных человеческих качеств, подавляя естественные порывы, скрывая свое болезненное состояние, командир отряда «ни с кем не делился своими мыслями и чувствами, преподносил уже готовые «да» или «нет». Поэтому он казался всем... человеком особой правильной породы». Левинсон считал, что «вести за собой других людей можно, только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои».

Этого «чувства дистанции» не обнаружить в «Последнем из удэге». Мартемьянов вообще всегда находится в окружении людей, он, пожалуй, даже слишком разговорчив (уже сказывается и возраст). Приветливый и обходительный Алеша не может не познакомиться с новым человеком, он тоскует, если поблизости нет собеседника. Сурков менее общителен, но и он никогда специально не задумывается об установлении какого-то расстояния между собой и своими товарищами по ревному, рядовыми партизанами. Больше того, подобная мысль просто не приходит, да и не может прийти в голову Петру, Алеше, Сене Кудрявому. При всей внутренней глубине и сложности им совершенно чужда какая бы то ни было рефлексия. Их не беспокоит проблема преодоления мелкобуржуазных или старинтеллигентских представлений, которые пришлось в молодости отбросить Левинсону — выходцу из непролетарской среды — и отголоски которых сказываются в его обостренной заботе о своей непогрешимости. Большевики, герои «Последнего из удэге», — плоть от плоти рабочего класса, пролетарская мораль усвоена ими прочно и органично, им нет необходимости казаться

иними, чем они есть. Осюда естественность и непосредственность отношений, которые складываются между руководителями и всеми участниками партизанского движения.

«Первым и главным человеком на руднике,— это Сережа видел по всему,— был Сеня Кудрявый.

Никто не избирал Сеню, никто не назначал его на эту роль. Да и где была та сила, которая могла назначить человека первым и главным среди двенадцати тысяч забастовавших рабочих? Он сам стал первым и главным среди них».

И дальше слова, как будто прямо полемизирующие с суждениями Левинсона о том, каким образом надо вести людей за собой. Может быть, задает Фадеев вопрос, Сеня Кудрявый «умел незаметно выпятить личные свои достоинства и подчеркнуть в других людях их слабости, выступал среди этих людей в качестве учителя жизни?».

Нет, Сеня явно не стремился выделиться среди людей и никогда не оценивал людей по тому, насколько их личные качества совпадают с его собственными. И вообще никаких черт властности в Сене не было. Он брал людей такими, какими сложила их жизнь, в многообразии их привычек, слабостей, достоинств, и всем умел найти место, и сам был среди людей всегда на виду, со всеми своими слабостями и достоинствами, не умел и не хотел никем «казаться».

Очевидна новая, более углубленная, чем прежде, трактовка Фадеевым существа и характера большевистского руководства, умения коммунистов пробуждать лучшие способности людей и при этом не стараться чем-либо выделиться из коллектива. Последнее обстоятельство, видимо, сыграло свою роль при доработке образа Сени Кудрявого для отдельного издания романа. Фадеев подверг сокращению сцены журнального варианта, где Сеня поучал рядовых партизан, где рассказывалось о всеобщей любви к нему. Исключены сентенции, высказывавшиеся Сеной, о недопустимости для партизана «холуев заводить», заставлять других обслуживать себя. В приведенной выше фразе о стремлении Сени Кудрявого брать людей такими, каковы они на самом деле, опущены следующие слова: «Люди платили ему тем же. В отряде все любили и дружили с ним. «Сеня что-то захворал»,—озабоченно го-

ворил кто-нибудь, и на всех лицах проступала тревога. «Эх, никто Сене и сумки не зачинит!», и к утру выкраденная у Сени сумка зачинена. «Я вот скажу Сене, как ты себя понимаешь!», и непослушный шел исполнять приказание». Эти слова не то чтобы были неправильными, но они придавали образу героя несколько сентиментальную окраску, приходили в противоречие со стремлением автора оттенить его бескорыстие, даже отрешенность от личных интересов.

Это самоотречение Сени Кудрявого, как и неумение Суркова построить свои личные отношения с Леной, показывает, что перед героями романа, несмотря на стремительность их духовного роста, все еще стоят нерешенные проблемы, что они далеко не во всем достигли гармонии. Но борцы революции идут к такой гармонической полноте, и в следующем своем романе Фадеев покажет молодое поколение социалистической эпохи, пленяющее прекрасной цельностью, удивительным слиянием личного и общественного, мысли и чувства, слова и дела. Работая над «Последним из удэге», писатель не только мечтал о грядущем поколении, он хотел сделать шаг навстречу ему и в этих целях заострял у своих героев-большевиков черты, принадлежащие будущему.

В горьковском стремлении акцентировать внимание на лучшем, передовом в людях—основа революционной романтики, пронизывающей творчество Фадеева. Горький в одной из статей писал, что реализм «справился бы со своей нелегкой задачей, если б он, рассматривая личность в процессе «становления»... изображал бы человека не только таким, каков он есть сегодня, но и таким, каков он должен быть — и будет — завтра». И в статье Фадеева «Образ советского человека» можно найти примерно такую же формулировку. Социалистический реализм, заявляет автор статьи, «это прежде всего умение показать человека правдиво,— таким, каков он есть, и одновременно таким, каким он должен быть».

Сказанное относится к 1947 году, но здесь выражены взгляды, которые начали складываться у Фадеева еще при создании «Последнего из удэге», а в известной мере и «Разгрома». В этих романах наряду с настоящим незримо присутствует будущее, в героических поступках действующих лиц

осуществляются наивысшие их возможности, и в такой миг как бы видишь их завтрашний день.

Было время, когда утверждение, что наша литература должна изображать человека не только таким, каков он есть, но должна заглядывать и в его завтрашний день, понималась иногда схоластически, и речь вели о механически сконструированной схеме нового человека. Разгром теории бесконфликтности похоронил и такую связанную с нею концепцию, о литературных гомункулусах перестали говорить. Но заодно стали забывать и о задаче изображения человека таким, каков он должен быть, эта задача оказалась фактически снятой с повестки дня, хотя на ее важность указано в постановлениях партии по идеологическим вопросам. Противники этого эстетического принципа упирали на то, что он неизбежно приведет к уходу от сегодняшней жизни, к лакировке, идиличности, но суть, конечно, была не в этом, а в недоверии к большому, масштабному образу, к революционной романтике.

Нам нужны все жанры, все проявления писательской индивидуальности, но решительное движение вперед невозможно без книг, пронизанных героическим ощущением времени, населенных мужественными сынами и дочерьми могучего народа, завоевавшего новую жизнь, построившего социализм и решительно идущего по пути коммунистического строительства. Борьба за создание произведений эпического склада, за крупные, активные характеры продолжается по сей день. Все созданное Фадеевым является могучим оружием в этой борьбе, помогает поднять наше искусство на новую идейно-художественную высоту.

Художественные произведения и теоретические работы Фадеева, несмотря на наличие в последних ряда неточностей и ошибок, убеждают в необоснованности мнения, будто изображение человека таким, каким он должен быть, уведет писателя от действительной жизни и сделает его лакировщиком. В книгах Фадеева нет и тени лакировки, они передают атмосферу суровой жизненной борьбы. Нет в них умозрительного сомнения еще не появившихся в жизни черт и качеств, ибо все самое лучшее,

что присуще действующим лицам,—это красота самой жизни. Облик человека завтрашнего дня Фадеев видел в передовых людях сегодняшнего дня, и, воспевая их, он внушал читателям чувство гордости за них, желание самим достигнуть такого идеала— вполне реального и вместе с тем требующего немалых усилий, чтобы приблизиться к нему. В очерковой книжке «Ленинград в дни блокады», написанной еще тогда, когда Фадеев не отложил в сторону «Последнего из удэге» для того, чтобы сесть за «Молодую гвардию», есть такие строки: «Нельзя было без волнения слушать, как мои собеседники старшего и младшего поколений говорили о новом человеке как о мечте будущего... не подозревая, что они-то и есть живые и новые люди, каждый шаг которых в Великой Отечественной войне нашего народа освещен светом самых больших мыслей и дел, какие только знало человечество».

Прошел год-другой, и Фадеев, перебирая документы о простых советских юношах и девушках, слушая рассказы людей, знавших краснодонских подпольщиков, воочию представил себе неведоманных героев «Молодой гвардии», самых земных, обыкновенных и вместе с тем величественных в немеркнущей красоте совершенных ими подвигов. Не приукрашивая молодогвардейцев, не отступая от реальных фактов, писатель уверенно искал и находил у этой молодежи качества беззаветных патриотов, показывал бурное развитие этих замечательных качеств, высшее их проявление,— и в результате образы Кошевого и Громова, Тюленина и Шевцовой, их верных товарищей приобрели вечное бессмертие. Целые поколения находят и будут находить в них образец жизни и борьбы.

Героическое звучание книг Фадеева, мужественная красота его героев, зовущих к отваге, стойкости, подвигу, вся атмосфера высокой идейности и морального благородства, в которой живет читатель его произведений,— все это делает творчество Фадеева подлинно партийным, глубоко патриотическим. Оно успешно служило и будет служить задачам коммунистического воспитания молодежи, формирования бодрого и смелого поколения новых, коммунистических людей.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Александр Ивич. Портрет планеты.— **В. Сивозников.** Очки против солнца.— **В. Тимофеева.** Книга о жизни и творчестве поэта.— **Л. Лазарев.** Живой опыт литературы.— **Н. Кузьмин.** Древнерусское искусство.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Доктор исторических наук профессор **М. Ветошкин.** Воспоминания выдающегося революционера.— Инженер **В. Левачев.** На стальных магистралях.— Академик **М. Лаврентьев.** Мемуары большого ученого.— **Сергей Марков.** Исследователь Русской Америки.— **Л. Василевский.** Современные проблемы астронавтики.— **Т. Лильин.** Читая Курта Типпельскирха...— Адмирал **Л. Владимирский.** Уроки войны на Тихом океане.

Литература и искусство

Портрет планеты

Небывалое путешествие! На протяжении года писатель прошел нашу планету от Северного полюса почти до Южного.

Будь путешественник летчиком, китобойцем, метеорологом — кем угодно, он выполнил свой общественный долг ко дню возвращения. Как-нибудь вечером он соберет друзей и расскажет о том, что видел. Если глаз его зорок и внимателен, если он владеет словом, перед слушателями, быгь может, возникнут четкие, хотя бы и отрывочные, изображения стран, народов, пейзажей. А иной раз после такой беседы уходишь с ощущением, будто провел вечер у испорченного телевизора. Что-то мелькало, ничего схватить не удалось. Досадно, но что поделаешь? Не для того путешествовал человек, чтобы удовлетворить нашу любознательность.

Иное, когда в пути писатель. Для него путешествие — только подготовка к выполнению общественного долга. Ради того он и поехал, чтобы дать нам живописное, архитектурно стройное, пронизанное мыслью и чувствами изображение земли и океана, людей и народов.

Замысел произведения Н. Михайлова подканан самим маршрутом, характером

путешествия. Писатель взялся напомнить, что мы — жители планеты, что любовь к Родине не исключает любви к миру, что Европа нам своя и вся земля — своя.

Писатель идет по меридиану и смотрит, что в мире завяло, что выросло и расцвело, смотрит, как живет человек на своей планете и как ее меняет. Ему ясна диалектичность темы «человек и природа». Человек победил пространство. Прежде люди готовились годами к путешествию на Северный полюс, и это не помогало. В лучшем случае они не достигали цели, в худшем — гибли в пути. Теперь можно попасть на полюс, если повезет с погодой, за сутки. И в дорогу надо взять только резиновые сапоги, купленные за 82 рубля, — на льдине летом много луж. Но это мнимая, внешняя легкость. Природа не обессилела, хотя кое в чем, кое-где покорилась человеку. Опасна посадка в тумане, опасна льдина, опасен океан. Завоевание планеты наукой и трудом — это непрестанная борьба, тысячи неописанных подвигов, которые вошли в повседневный быт покорителей природы. Так легко перекликнуться из Антарктики через 170 градусов широты с дрейфующей станцией у Северного полюса. Но, пока идет радиобеседа, быть может в Антарктике смертельно опасный шторм, а на Севере треснула льдина.

Это не пересказ того, что пишет Михайлов, а мысли, подсказанные эпизодами его произведения.

Что же, резиновые сапоги для полюса и легкая одежда для тропиков — вот и все, что писатель взял с собой в путешествие? Нет, Михайлов отправился с тщательно отобранным багажом. Многие из выработанных для прежних книг привычек письма он оставил дома. Профессиональные знания географа, конечно, взял с собой. Фотоаппарат тоже взял. Но не для того, чтобы потом пересказать словами снимки, а только на правах черного блока. А самый важный его багаж — это внутренняя готовность активно и непредвзято воспринять тысячи впечатлений. Воспринять и пережить. И сопоставить и обдумать.

Знания, которые дают нам путевые записки Михайлова, освещены не банальной мыслью и широким диапазоном эмоций. Ничего не навязано. Факты, точные наблюдения — и сопоставления, столкновения их. Огромный труд отбора материала, отбора слов, которые дали бы возможность сохранить в произведении свежесть и запах впечатлений, стоит за каждой главой. Не преподнести читателю умело составленный гербарий из засушенных впрок наблюдений хочет автор, а взять нас в спутники, чтобы и мы увидели, пережили все, что увидел и пережил он.

Страстность, темперамент этого стремления в соединении с литературным мастерством победили: наблюдения, выраженные в слове, не увяли.

О чем написана вещь? О разнообразии планеты, о народах и людях, о странах и городах, об океанах и проливах, об огромной радости живого личного знакомства с известным из книг или вовсе неизвестным, об опасностях пути и еще о многом.

Ни одна тема не выделена. Все нити повествования переплетены, сотканы в сложную, добротную, хорошо и спокойно расцветившую ткань. Часто одна деталь работает сразу на несколько тем, часто одна тема выражена в различных тональностях — то лирической, то гневной или сатирической, то просто веселой. Плотность ткани произведения достигнута средствами сложными и многообразными, как самое путешествие.

Все изложено очень лаконично. Короткие главы, короткие фразы. Это определяет

стремительность рассказа, соответствующую стремительности движения путешественника по планете. Быстро сменяющихся впечатлений слишком много, чтобы говорить о них длинно — потерялось бы их соседство во времени и в пространстве. Но и скороговорка все бы испортила. Надо было отбирать самое важное и характерное, искать самые впечатляющие детали, самые экономные средства, чтобы вместить в одну фразу и факт и переживания, вызванные им.

Как передать покорооче необычайное ощущение того, что ты не на мерзлой земле, а на дрейфующей льдине, на полюсе? Можно, оказывается, обойтись всего тремя словами: «Льдина скользила неслышно». И потом еще: «Во сне я слышал шум вращения планеты. Мне чудилось, что земной шар, крутясь как кусок сахара в стакане, растворяется во вселенной, и я перед нею — один на один».

Как напомнить читателю о вечном дне на полюсе? «Стрелки часов ничего нам не говорили — 2 часа чего? Светло, как всегда... мы ложились не вечером, которого не было, а когда хотелось спать».

Или другое описание, слитое с ощущением, — выход в океан через Гибралтар. Пролив — «дыра, просверленная ветром». Сквозь узкое отверстие между Европой и Африкой в лицо дул и свистел такой сильный сквозняк, что, казалось, подпрыгни — унесет». Пейзаж и переживание его сплетены неразрывно. Однако Гибралтар — понятие не только географическое, но и политическое.

Скала над проливом «чернела на нежной заре, как горбушка дота». Этот образ не случаен, он связан с описанием Гибралтара как военной базы. Реактивные самолеты, пушки. «Можно подумать, что над Гибралтаром в разгаре страшная война. Между тем все прекрасно знают, что штурмовать скалу никто не собирается. Впечатление такое, что Гибралтар изо всей своей силы хочет показать свою силу. Все здесь так напыщенно, воинственно и громко, что вспоминаешь барона Мюнхаузена, который с Гибралтарской скалы палил ядрами во встречные ядра, чтобы повернуть их обратно». Так вошла в произведение характеристика холодной войны, «позиции силы», вошла и описанием, и серьезным напоминанием, и насмешкой.

Политическая мысль, забота о состоянии мира неотделимы для Михайлова от пейзажа. Он запоминает то, что, вероятно, пропустил бы глаз не географа, видит даже следы ветра, которого сейчас нет: «Зимой в воронку Босфора дули холодные ветры: кроны ливанских кедров зачесаны с севера». В то же время писатель видит у Босфора «лопоухий радар на вершине холма, колонну танков, строй солдат перед казармой...» и видит, что «женщины взрывают мотыгами красноватую землю». И вот, хотя о бюджете Турции — ни слова, читатель увидел, как он строится: мотыга и длинные стволы орудий.

Выразительность и лаконичность деталей доставляют непосредственное эстетическое наслаждение. О масштабе шторма автор дает представление спокойной и потому особенно впечатляющей справкой: «...вес самой волны на палубе танкера — чуть не тысяча тонн». Или иначе — сообщением, что вместо кранцев (веревочных мешков, опущенных с борта, чтобы не стукнуться о другое судно) приходится пользоваться во время антарктического шторма тушей кита. И она не выдерживает, плющится. Это сообщено не просто для сведения. Несколько таких деталей заставляет почувствовать огромное напряжение, опасность и мастерство труда, нужного, чтобы сблизить в бушующем океане два судна.

Темп рассказа не всегда равно стремителен — он точно соответствует характеру путешествия. Над полярными льдами, над тундрой — в самолете. Писатель видит столько, сколько можно увидеть, пролетая. Но то, что он видит, переключается с тем, что он знает, о чем думал, что ему близко, — и вот интересные хозяйские мысли о судьбе лесов в нашей стране, о перспективах освоения тундры.

Путь по океану нетороплив и долог. Замедляется темп повествования. Танкер проходит сороковые широты, знаменитые свирепыми штормами. Глава, одна из лучших, посвящена напряженному ожиданию бури. «Невыносимо, Уж лучше шторм, чем это томление». А шторм — редчайший случай — так и не состоялся. Но мы не потеряли его описание — шторм настиг южнее, в антарктических водах, когда танкер приблизился к цели похода, к встрече с китобойной флотилией «Слава». Танкер привез топливо, повезет обратно китовый жир и...

контрольные работы заочников, членов экипажа. Скупую фразу об этих контрольных работах мы читаем, когда только что освободились от почти физического напряжения, вызванного рассказом о героическом труде моряков, продолжающих в одиннадцатибальный шторм охоту на китов. Одна черта — контрольные работы — дает толчок воображению и чувству читателя. Каковы люди! На краю света, в шторм, сменившись с труднейшей, изматывающей вахты, решают математические задачи, чтобы послать с оказией в Одессу.

Каждая деталь, каждое сравнение переключаются с другими деталями и сравнениями, образуя сквозную образную систему и соединяя отдельные эпизоды в единое путешествие. В цитатах не так заметна, как в тексте, емкость почти каждой фразы, ее многозначность и органическая связь с тем, что сказано прежде и будет сказано потом.

Пейзаж Михайлова не равнодушен. Обогащая нас знаниями о мире, он в то же время рождает мысли о судьбе народов и стран, приобщает к переживаниям путешественника, то потрясенного величием и богатством планеты, то огорченного неустойчивостью мира, социальными противоречиями, подготовкой войны, бедностью тружеников, то восхищенного красотой или испуганного опасностью, то досадующего, что не все удалось посмотреть. Действительно обидно: иной раз даже видишь, как мул на берегу шевелит ушами, а проплываешь мимо страны, не узнав ее народа, не повидав городов!

И вот перед нами произведение — оно еще не вышло книгой, — которое, едва отложив, хочется вновь раскрыть; хочется позвать кого-нибудь, чтобы прочесть вслух — ну хоть ироничную и философскую главу о пингвинах.

Каждая строка проникнута заботой, как бы не расплескать впечатлений, донести их до читателя во всей сложности, противоречивости, во всем их разнообразии и единстве.

Покоряют не только богатство и значительность портрета планеты, который дал Михайлов, но и глубина, непосредственность переживаний путешественника, выраженных просто, без рисовки и красотостей, — переживаний человека, распахнувшего душу, чтобы принять в нее весь мир — от полюса до полюса.

Не чрезмерно ли все восхищение прочитанными страницами? Не знаю, так я их воспринял. Для меня «Иду по меридиану» Н. Михайлова — одно из самых удачных и важных художественных произведений последнего времени.

Мы все давно знаем и уважаем Михайлова как автора талантливых и своеобразных, обладающих многими серьезными достоинствами научно-художественных книг о нашей Родине. Но как неожиданно, как

радостно увидеть, что зрелый литератор сумел подняться не то что на ступень, а на этаж над уровнем прежнего мастерства, раскрыть свой талант с неожиданной стороны, создать увлекательную книгу, несравненно более эмоциональную, чем прежние, книгу снайперскую по точности осуществления замысла, значительную по выраженным в ней мыслям и чувствам.

Александр ИВИЧ.

★

Очки против солнца

Уже самое заглавие пьесы Л. Малюгина «Путешествие в ближние страны» явно с полемическим оттенком, как бы дразнящее, заметно интригует. Список персонажей комедии лишь усиливает интерес: в ней действуют только дети. Правда, есть здесь и два «совершеннолетних» героя (20—23-х лет), но ведь это не те традиционные взрослые, которых мы привыкли встречать в повестях и пьесах о детях. Мы их просто не представляем на сцене без любящих, но близоруких родителей и чиновников от педагогики, горячих молодых учителей и мудрых, неторопливых старых — словом, без всего того сложного воспитательного агрегата, который призван тут же, на глазах зрителя, в тесных рамках сценического времени произвести чудо: вырастить маленькую человеческую душу.

Конечно, в каждом отдельном случае это можно показать и хорошо и плохо. Поэтому само по себе то обстоятельство, что в пьесе взрослых нет, что крайних по возрасту юных героев Л. Малюгина разделяет всего лишь какой-нибудь десяток лет, еще ничего не предвещает, но уже как будто обещает некоторое отклонение от шаблона.

Дети путешествуют в «ближних странах». Где-то за сценой большой отряд пионеров проводит ординарный лагерный поход «по утвержденному маршруту» с костром и ночевкой, а на авансцене — маленькая группа ребят, ведомая младшим вожатым Майей, почти их ровесницей. Они теряют путь в степи и ночью в грозу оказываются вовсе не беспомощными, но инициативными и великодушными. Такими застают их утро и старший вожатый Боровой, прибежавший в

панике из-за того, что срывается «мероприятие» — встреча со знатным трактористом.

Дети открыто конфликтуют с карьеристом Боровым, бунтуют и отказываются идти «по утвержденному маршруту», а попутно собирать «дикорастущие», не хотят запланированных парадных встреч и заранее сочиненных руководством речей. Бесповоротным размежеванием детской честной непосредственности с казенщиной и формализмом завершается действие пьесы.

Комедия написана остро и зло. Задумав в гротескно-сатирической форме осмеять изъяны воспитательной работы, обнажить злокачественность бюрократических вывертов в жизни нашей пионерии, автор намеренно чужд той идиллической лубочной традиции, по которой детвору представляют иногда этакой беззаботной стайкой шалунов и хохотушек в беленьких рубашках и ярких галстуках, ловящих сачками бабочек и у костра несерьезно спорящих на тему, кем быть.

Дети двенадцати — четырнадцати лет уже думают, утверждает автор. Они далеко не равнодушны к тому, чему их учат, куда ведут. Упущения и ошибки, вскрытые недавно партией в нашей жизни, не могли не отзываться и на детях, на школе. Показать некоторые последствия, внешне незначительные, но угрожающие, к которым подчас приводили неполадки в общественной жизни прошлых лет, — значит, решить очень трудную задачу.

Понятно, что такое гражданское дело требует не только идейной смелости, но и большой творческой ответственности. Читатель и зритель, прочитав или посмотрев пьесу, должен быть не эпатирован игривой солью авторских суждений, кое-как роз-

Л. Малюгин. Путешествие в ближние страны. Комедия в трех действиях. «Театр» № 11 за 1956 год.

данных героям, но эстетически убежден самой логикой поведения характеров, логикой их отношений. В героях пьесы он вправе видеть не рупоры для произнесения сентенций, хотя бы и остроумных, а живущих на сцене людей, говорящих и поступающих сообразно своему характеру и возрасту, разумеется. Эти старые истины невольно приходится вспомнить, с чувством обманутых ожиданий завершая знакомство с комедией Л. Малюгина.

В чем причина? В том ли, что таких боровых, таких пустопорожних «мероприятий» не бывает? Нет, конечно: каждый из нас может припомнить много похожего. Так, к сожалению, еще «бывает». В том ли, что казовая, ложная сторона пионерской активности и руководства дана драматургом слишком преувеличенно, местами карикатурно? Тоже, пожалуй, не в том: каждый жанр имеет свои права, и фарс, например, не только допускает, но прямо требует огрубленной преувеличенности смешного и дурного. Возможно, не беда и в том, что комедия обернулась фарсом, — плохо, что даже фарс получился слабым, искусственным. Автор вдруг упустил из виду ту подчас малоприметную грань, которая отделяет условности искусства от безвкусицы, разрушающей художественность, и за которой сатирическая концентрированность оказывается только сгустком нелепостей, а комедия перестает быть смешной, становясь жалкой.

В самом деле, центральной фигурой этой разоблачительной пьесы является, конечно, Боровой. Подозрительной тенью возникает он в первой же реплике Кати: «Хорошо пишет Боровой! Красиво! (Заглядывает в бумажку.) Надо повторить!» Красота по шпаргалке! Задолго до появления Борового из реплик Майи у нас уже складывается емутный, но достаточно неприятный облик этакого пионердиктатора («Боровой сказал...», «Поговорим с Боровым...», «Без мероприятия нельзя! Боровой уже договорился...», «Это уже зависит от Борового!..» и опять: «Боровой сказал...»), к которому сами дети относятся, впрочем, хотя и с опаской, но несколько иронически. А Майя пока в ослеплении. И когда Костя, почуяв неладное, заявляет: «Заблудился Боровой!», Майя страшно оскорблена: «Как ты мог про него такое подумать?!»

На сцене старший вожатый появляется эффектно, как оперный дьявол, — во тьме,

при громовых раскатах. Он вдруг предстает перед детьми, ошеломленными грозой и одиночеством, старающимися бодрой песней разогнать страх, и тотчас начинает расправу: «Что за пение во внеурочное время?.. Спать! Без разговоров!.. Быстро в шалаш!» А затем происходит распекание Майи, потом «суд» над Костей, — и тут уж несуразностей буквально нельзя перечислить: пришлось бы выписать целиком несколько страниц.

Боровой впадает в какой-то необъяснимый транс и залпом формулирует свои пороки, причем делает это не горячо и «лично», что бывает в минуту растерянности даже с эгоистами, истомившимися в одиночестве, когда их вдруг, что называется, «прорвет». Нет. Боровой сухо, деловито, как о чем-то постороннем, информирует Майю, что он, ее руководитель и наставник, — подлец, что из-за неудачного похода у него «пятерка» за практику «сгорела», что быть вожатым — «самая неприятная нагрузка». Не успевает та переспросить: «Неприятная?!», как Боровой уже уточняет: «Не люблю детей!»

М а й я. Зачем же вы пошли в педагогический институт?

Б о р о в о й. А куда мне идти? В нашем городе только два института — педагогический и медицинский. Больных я не люблю еще больше, чем детей. Сгорела пятерка!

М а й я. Неужели в институтах тоже из-за пятерок учатся?

Б о р о в о й. Почему из-за пятерок? Из-за диплома с отличием... У меня из-за тебя жизнь исковеркана... Сгорела пятерка, не видать мне диплома с отличием! И вместо аспирантуры погонят на целину! Пойду заниматься гимнастикой.

М а й я (удивленно). Вы любите спорт?!

Б о р о в о й. Гимнастику любить нельзя, ею занимаются для поддержания жизненного тонуса. Бессонная ночь, а впереди беспокойный день — надо быть в форме!..»

Но для двадцатилетнего монстра этого мало: занимается день, а он где-то потерял темные очки. «Против солнца», — поясняет Боровой Кате, и она так простодушно, но, по мнению автора, так символически значительно переспрашивает в удивлении: «Против солнца?!»

Перспектива ответа за Майины «политические ошибки» осложнена для Борового пропажей темных очков. Зато как его радует пропажа Кости! Есть кого осудить,

объявить дезертиром и виновником срыва похода. Писатель мог одним штрихом, намеком выдать это тайное злорадство карьериста. Однако Боровой и здесь разоблачается так же неправдоподобно открыто, «в лоб», дополняя свою автохарактеристику еще рядом деталей (он, конечно, маменькин сынок, у родителей — собственная дача, его идеал прежде всего «порядок» во что бы то ни стало и пр. и пр.).

Боровой уже перестал действовать как персонаж, превратившись в какую-то олицетворенную функцию воинствующего фарисейства. Он уже не воспринимается как типическая личность: читателю впору только хоть как-нибудь расклассифицировать в сознании тот ворох мерзостей, из которых он наспеш склеен.

По идее автора, Боровой стоит «против солнца». И против детей, которых ненавидит и которые от него наконец отрекаются. Пионеры Катя, Костя, Павлик, их старшие сверстники Майя и Алеша должны были, по замыслу, явиться тем реальным залогом морального здоровья нашей детворы и юношества, их настоящей идейности, которую Боровые не в состоянии подорвать. Однако дети Л. Малюгина производят странное, вовсе не отрадное впечатление.

Казалось бы, все в порядке: поначалу подпорченные воспитанием Борового, они немножко лицемерят (Катины бумажки), гонятся за легкой славой (Алеша), все произносят громкие слова, подражая руководителю (Майя), и т. д., но потом под влиянием трудностей первого самостоятельного пути, неофициальной встречи с Коршуновым (таким положительным, даже некурящим!), в особенности после разоблачения Борового они выздоравливают или, как Алеша, всей душой стремятся к тому. Но самое это заболевание какое-то недетское. Да, фальшь в поведении взрослых чутко отражается детским сознанием — это общеизвестно. Но дети остаются детьми. Некоторые из них, если их вовремя не спасти, могут стать маленькими очковтирателями, болтунами «активистами», а в сущности невеждами, но вряд ли рефлектерами и неврастениками, вряд ли злыми скептиками, тринадцатилетними старичками.

Пионеры Л. Малюгина слишком часто говорят и ведут себя как люди, обремененные жизненным опытом. Их реплики подчас словно состязаются с изречениями восточной мудрости. Вспомним хотя бы ожесточенную перепалку между Костей, Катей и

Павликом об искусстве и красоте, о пианистах и ямщиках, где оба мальчика соперничают друг с другом в сочинении убийственных шуток. Невольно хочется спросить: сколько лет этим ядовитым острякам?

Через всю грозовую ночь, которая внешне так выигрышно аттестует ребят и служит началом перелома, лейтмотивом проходит безнадежно тоскливый вопль Кати: «Скорее бы прошла эта ночь!», и Павлика: «Когда эта ночь кончится?». Не помогают ни философские беседы с Костей, ни его насмешливый мужской совет: «Продолевать страх лучше всего во сне». Страх ночи — это детское. «Не знаешь, чего бояться», — говорит Катя. Но надрывные рассуждения о том, что страшнее всего непонятное, что солнце остывает, что оно, быть может, уже больше не взойдет, отдают таким мрачным душевным подвалом, какой немислим даже у детей подземелья.

Правда, малюгинские дети не чужды романтических порывов. Им так хочется спать под звездами в открытом поле, встречать на кургане солнце, а потом идти неведомой дорогой, открывая за далью даль. Среди ряда удачных, но — увы! — слишком рассеянных деталей есть одна замечательная. Избавившись от Борового, ребята решают начать увлекательное изучение трудовой жизни родного края — «ближних стран», а затем и дальних. Майя взволнованно произносит: «Как объявят запись охотников лететь на луну — мы с ночи встанем в очередь записываться!» Такая привычная черта ночного города (например, перед встречей какой-нибудь залетной знаменитости), и вдруг глянула так свежо, сердечно, красиво! Но верный себе автор тут же отравил впечатление фиглярской репликой Павлика, словно убоявшись того, что пьеса под занавес зазвучит слишком патетически. А заключил ее повторением той же полюбившейся ему антитезы, которая и в первый раз коробит своей нарочитой сделанностью:

«Из-за тучи показывается солнце.

К а т я. Солнце!

Б о р о в о й (хмурится). А я потерял очки!»

Пьеса кончается, как и следует быть, «хорошо». Но того очищающего воздействия, которое должно производить подлинное сатирическое зрелище, она не произведет. Не будет и радости, возникающей тогда, когда хоть чуть-чуть обогащается и

уточняется наше представление о жизни. Комедия Л. Малюгина невелика, свободна от длиннот, диалог в ней живой, часто забавный. Но автору, видимо, так хотелось одним ударом рассчитаться со всем, что его раздражает, и тем облегчить душу, что

намеченный контраст между реальным злом и реальным добром не получился. А на переднем плане, искусственно помещенные в фокус, остались лишь темные очки Борового.

В. СКВОЗНИКОВ.

★

Книга о жизни и творчестве поэта

Литературоведческие работы нередко упрекают в серости, однообразии, отсутствии ярко выраженной творческой индивидуальности. Упреки эти по большей части справедливы: у нас появляется немало книг, где фамилию автора можно определить только по титульному листу, а не по манере исследования. С тем большим вниманием встречаешь каждую новую книгу, привлекающую к себе «лица необщим выраженьем». К числу их с полным основанием можно отнести работу В. Перцова о Маяковском — второй том трехтомного исследования о жизни и творчестве крупнейшего советского поэта.

Автор не только по документам изучал эпоху, отделенную от наших дней более чем третью столетия. Он сам был участником литературного движения двадцатых годов, по собственному опыту знает, как сложен был путь к верному пониманию задач нового, социалистического искусства. В работе В. Перцова рассеяны многочисленные свидетельства современника; исследователь в ней нередко сливается с мемуаристом, по памяти восстанавливающим отдельные черточки литературной жизни. Вместе с тем автор вводит в обращение целый ряд новых или давно забытых литературных фактов, документов, что позволяет более полно представить изучаемый период и творческие позиции Маяковского. В качестве примера можно привести впервые публикуемую стенограмму второго выступления Маяковского на конференции пролетарских писателей в 1925 году, ряд материалов, характеризующих отношения Маяковского и Луначарского, воспоминания О. Литовского, К. Зелинского, Г. Козиятко, письмо Н. Тихонова о поэме «Сами» и т. д.

Поставив своей задачей широко, многогранно показать развитие замечательного

таланта Маяковского, В. Перцов прослеживает различные стороны деятельности поэта, закономерно обращается к важнейшим явлениям литературного процесса тех лет, к событиям общественной жизни страны. Не все удалось автору в равной мере. О лирике Маяковского, например, в книге сказано гораздо ярче, чем о сатире; рожденные поэтического замысла порой раскрываются с большей убедительностью, чем его поэтическое воплощение. Автор не умалчивает о трудностях творческого роста поэта, не уклоняется от рассмотрения сложных вопросов. Об этом свидетельствуют глава «Маяковский и Леф», а также раздел, посвященный взаимоотношениям Маяковского и Мейерхольда. Но, к сожалению, некоторые моменты поэтической биографии Маяковского в книге рассматриваются не с той полнотой фактической обоснованности, какую следовало бы ожидать от столь компетентного литературоведа.

Возьмем, например, первые главы, характеризующие жизнь и творчество поэта в 1918—1919 годах. Для Маяковского это было время сложных творческих исканий. Он настойчиво стремился определить «место поэта в рабочем строю» и завоевывал это место, не только преодолевая внешние — весьма многочисленные — помехи, но и пересматривая свой прежний творческий опыт, отыскивая новые пути и формы общения с читателем. В. Перцов справедливо подходит к изучению этого периода с «большой мерой», раскрывая характерные черты исторической эпохи и литературы, сопоставляя творчество Маяковского с творчеством таких писателей, как А. Блок, Д. Бедный, А. Серафимович. Но при этом он почти совершенно не уделяет внимания непосредственному литературному окружению поэта, очень глухо упоминает о связях Маяковского с продолжавшей свою деятельность группой футуристов, об участии поэта в их изданиях и выступлениях. Факты эти хорошо известны по многочисленным воспоминаниям, они находили отражение в

В. Перцов. Маяковский. Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической революции. Ответственный редактор Е. Книпович. 496 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1956.

произведениях Маяковского и поэтому не могут быть обойдены молчанием.

С этими фактами жизни поэта связаны и некоторые особенности его творчества тех лет — в частности формалистические тенденции, появившиеся и в высказываниях Маяковского и в таких стихотворениях, как «Наш марш», «Мы идем», частично в поэме «150 000 000».

В острой и интересной главе «Маяковский и Леф», вскрывая причины и сущность разногласий внутри этой группы, справедливо и обстоятельно показывая отличие взглядов поэта от теоретической программы Н. Чужака и О. Брига, В. Перцов, однако, почти не раскрывает существовавших в то время противоречий в эстетических представлениях самого Маяковского. В результате в книге появляется необоснованное заявление, будто бы поэт, «подчиняясь логике групповых и приятельских отношений», «должен был делать вид», что не замечает подлинного смысла лефовских формалистических теорий. Однако многочисленные факты свидетельствовали о том, что Маяковский в то время еще не преодолел формалистических влияний, не сразу разобрался в лефовской программе.

Мы останавливаемся на этих моментах потому, что неполное освещение некоторых существенных моментов творческой биографии Маяковского создает неполное, а следовательно, и не совсем правильное представление о его развитии.

На наш взгляд, нуждается в некотором пересмотре и уточнении освещение темы «Горький и Маяковский». Разрыв личных отношений с Горьким был немаловажным эпизодом в творческой биографии Маяковского. Смягчать и упрощать освещение этого эпизода в книге о жизни и творчестве поэта нельзя без нарушения исторической правды.

Не совсем правильно освещается роль Горького в первые годы становления советской литературы. Можно и нужно говорить о временных заблуждениях крупнейшего пролетарского художника, но нет достаточных оснований утверждать, что он «в первые годы после Октября стоял в стороне от активного участия в литературной жизни и организации сил литературы».

Широко известно, что в 1918—1921 годы Горький много выступал как публицист, создал ряд новых произведений, подготовил второй «Сборник пролетарских писателей», развернул большую работу в издатель-

стве «Всемирная литература», к которой привлек немало литераторов, интересовался писателями из группы «Серапионовы братья» и т. д. и т. п. Уже один этот перечень показывает, что Горький отнюдь не «стоял в стороне», а активно участвовал в литературном процессе.

Нельзя не пожалеть, что в книге о Маяковском так бегло освещен принципиально важный для понимания творческого развития поэта вопрос об отношении к классическому наследию.

Интересные мысли и наблюдения имеются в главе, посвященной поэме «Про это». Однако, увлекшись критикой высказываний А. Луначарского и некоторых проявлений сугубо «биографического» подхода к поэме, В. Перцов недостаточно полно осветил это сложное произведение.

Можно было бы еще остановиться на отдельных сторонах работы В. Перцова, но нам представляется необходимым высказать некоторые соображения, возникшие в связи с первым печатным отзывом на разбираемую книгу — статьей Л. Лазарева «Путь поэта и литературный процесс», опубликованной в «Литературной газете» 6 сентября 1956 года. Статья эта примечательна не столько самой оценкой книги (в общем довольно доброжелательной, хотя местами не совсем справедливой), сколько тем, что ее главный пафос направлен на пересмотр установившихся оценок футуризма и Лефа.

Вопрос этот имеет принципиальное значение, поэтому необходимо рассмотреть его более внимательно.

Прежде всего следует отметить, что Л. Лазарев, оценивая книгу В. Перцова, возражает не против тех натяжек и пропусков в освещении творческой биографии Маяковского, которые особенно заметно сказались в первых главах монографии, а против некоторых резко критических оценок позиций футуристов, данных в книге о Маяковском, и упрекает В. Перцова в том, что футуристы «рассматриваются чуть ли не как основные враги советской литературы», а подлинных врагов, выступавших не только против принципов советской литературы, но и против Советской власти, автор якобы забывает. Мягко выражаясь, это утверждение не соответствует действительности. Автор монографии отнюдь не представляет футуристов и Леф как основную угрозу для роста советской ли-

тературы. Наоборот, он совершенно определенно заявляет, что «фронт классовой борьбы в литературе проходил внутри группировок». Исследователь отнюдь не ставит под сомнение искреннее стремление футуристов создавать новое искусство, не умалчивает об их отношении к Октябрьской революции. Так, характеризуя «Газету футуристов», он пишет следующее: «Весь тон газеты был окрашен ярким сочувствием Октябрьскому перевороту. Намерения ее участников были самые демократические: «Все искусство — всему народу». Однако лозунг «Да здравствует революция духа!», провозглашенный футуристами, хотя и выглядел очень революционно, на деле был тем же отрицанием культурного наследия прошлого, которое характеризовало футуристов и до Октября».

Л. Лазарев призывает пересмотреть вопрос о футуризме и Лефе. При этом он не предлагает своего решения, однако исходные позиции этого пересмотра выражены в статье довольно отчетливо. Рецензент возражает против критических высказываний по адресу футуристов не потому, что эти высказывания неправильны по су-

ществу. По мнению Л. Лазарева, футуристы не заслуживают резкой критики потому, что они искренне стремились создавать социалистическое искусство.

Но известно, что искренность убеждений не всегда служит достаточной гарантией полезности, общественной ценности практической деятельности. Поэтому главным критерием при оценке писателя или литературной группы для нас всегда являются объективные результаты их деятельности.

С этих позиций и подходит В. Перцов к оценке футуризма и Лефа, и только такой подход представляется нам единственно правильным. Бесспорно, что в новом издании книги следует более обстоятельно показать те сложные отношения, которые складывались у поэта с его бывшими соратниками по борьбе за новое искусство. Но, исправляя ошибки, восполняя пробелы литературоведческой науки, не надо забывать и о той полезной работе, которая была проделана раньше, незачем ставить под сомнение принципиально важные завоевания нашего литературоведения.

В. ТИМОФЕЕВА.

★

Живой опыт литературы

Книга ленинградского критика Е. Добиной «Жизненный материал и художественный сюжет» возникла, если можно так выразиться, на пересечении двух направлений, или, точнее говоря, отраслей нашего литературоведения, некогда действовавших весьма активно, а затем, в послевоенные годы, как-то заглохших и оскудевших.

Случилось так, что проблемы поэтики стали достоянием лишь учебников по теории литературы и вузовских курсов введения в литературоведение. Да и здесь преобладало и господствовало историческое рассмотрение этих проблем, словно в поэтике все было уже определено и окончательно установлено если уж не Аристотелем и Буало, то, во всяком случае, Белинским и Чернышевским. И, пожалуй, самое досадное то, что живой и весьма богатый опыт советской литературы, который никак не укладывается в рамки поэтики предшествующих этапов раз-

вития реализма,— этот поучительный опыт не стал предметом специальных исследований. Задавшись целью отыскать причины прозябания этой важной области литературоведения, нетрудно установить, что настроенное, а иногда и пренебрежительное отношение к проблемам поэтики было в известной мере защитной реакцией на многочисленные формалистические изыскания, дискредитировавшие нужное дело.

Вторая, прежде процветавшая, а ныне сошедшая на нет область литературоведения — это изучение творческой лаборатории писателей, воссоздание творческой истории произведений. Многие, по-видимому, еще помнят выходящую в тридцатые годы серию «Творческий опыт классиков». Там были книги неравноценные: и серьезные, добротные работы, освещенные оригинальной мыслью, и менее солидные труды, иногда обладавшие лишь одним достоинством — добросовестно собранным богатым, но разношерстным материалом. Быть может, эти последние и вызвали тот скепсис, то недоверие, которые установились по от-

Е. Добиной. Жизненный материал и художественный сюжет. 230 стр. «Советский писатель». Л. 1956.

ношению к исследованиям подобного рода. И сейчас даже нелегко вспомнить, когда же вышла в последний раз книга, в заголовке которой вынесены слова: «Творческая лаборатория». А ведь при всех недостатках серия «Творческий опыт классиков» была начинанием по-настоящему ценным.

Е. Добин написал интересную и умную книгу. Его монография демонстрирует плодотворность некоторых «разрезов» литературоведческого исследования, в последние годы считавшихся необязательными и даже излишними.

Круг вопросов, занимающих Е. Добина, исчерпывающе и точно определен в названии книги: «Жизненный материал и художественный сюжет». Позиция автора, его подход к решению поставленных вопросов сформулированы столь же определенно в заключительных строках работы: «Законы сюжетосложения, как мы видим, нужно искать в эстетических отношениях искусства к действительности». Книга Е. Добина полемична по своей внутренней устремленности. Она направлена — и это уже видно из того, как критик характеризует свою позицию, — против формализма, против присущей ему псевдонаучной, в сущности, никчемной классификации якобы самодовлеющих, не подчиненных задаче верного воспроизведения действительности приемов сюжетного построения.

Как правило, бой с формалистами шел в области сугубо теоретической: вскрывалась несостоятельность их методологии, решительно опрокидывались их исходные субъективистские позиции. К этому приходит в конечном счете и Е. Добин: он вскрывает методологические пороки формалистической концепции сюжетостроения. Но именно в конечном счете Е. Добин воюет с формалистами, отвергая их построения не априорно, а с помощью конкретного анализа самого процесса формотворчества, сюжетосложения, не только оспаривая их выводы, но опрокидывая самую систему доказательств.

Каждое выдвинутое положение Е. Добин подтверждает многочисленными историко-литературными фактами. И пусть даже немалая часть из них уже известна литературоведам — это не беда, потому что автор самостоятелен в главном: проникая в творческую лабораторию художника, он убедительно и по-новому раскрывает, как

жизненные впечатления диктуют писателю тот или иной сюжетный поворот, ту или иную особенность сюжетной конструкции. И для читателя это не просто знакомство с историей нелегких поисков художественной выразительности, без которых немислимо творчество, — из книги Е. Добина выносишь нечто большее: она устанавливает обусловленность сюжета произведения авторской позицией и жизненным материалом. Не следует лишь эту связь понимать и трактовать упрощенно: в искусстве не может быть и не бывает раз навсегда данных или универсальных приемов и решений. По одному шел процесс создания сюжета, скажем, у Л. Н. Толстого, когда он работал над «Воскресением», и по-иному у Флобера, создававшего «Мадам Бовари». И даже у одного художника по-разному идет освоение жизненного материала, когда он работает над различными произведениями. И, быть может, потому, что исследователь все время не выпускает этого из виду, ему удается без каких-либо натяжек и домыслов выявить и показать действительно общие черты, присущие творческому труду каждого подлинного художника. «Как и в художественном произведении в целом, — пишет Е. Добин, — в сюжете слиты и объективное отражение закономерностей реальной жизни и взгляд художника на действительность». И когда писатель вновь и вновь возвращается к уже написанному, уточняя, дополняя, перестраивая книгу, когда без сожаления перечеркивает сделанное и садится за новый вариант произведения, им неизменно движет стремление достовернее и глубже постичь и воспроизвести действительность, наиболее ясно, полно и отчетливо выразить свои взгляды, свое мировосприятие. Для Е. Добина творческая лаборатория писателя действительно лаборатория. Нет, не озарение, не интуиция, не провидение, а настойчивое постижение и осмысление явлений действительности — вот в чем суть творческого процесса.

Мы довольно долго весьма снисходительно относились к тому, что многие теоретические работы были крайне далеки от реального опыта искусства, что их авторы свои суждения охотнее проверяли цитатами, а не живыми явлениями искусства, что конкретный материал становился в них не столько доказательством, сколько иллюстрацией выдвинутых положений. Мы так притерпелись к отвлеченному теоретизированию и

теоретическим разглагольствованиям, что даже как-то неловко говорить о том, что книга Е. Добина «перенасыщена» фактическим материалом и это ее недостаток. Но ничего не поделаешь, это так.

Что убедительнее: четыре примера или два? Вряд ли правомерна такая постановка вопроса: конечно же, ценность исследования определяется не просто числом содержащихся в нем фактов. А некоторые страницы монографии заставляют думать, что автор решил воевать числом. Новые и новые детали и подробности, новые и новые высказывания писателей о своем труде (справедливости ради заметим, что сами по себе они иногда интересны — вероятно, поэтому автору было жаль их опускать), но ничего нового к ранее сказанному они уже не добавляют и лишь тормозят развитие авторской мысли. Можно было бы отметить и другие более частные изъяны исследовательской «технологии», но важнее сказать о тех положениях работы Е. Добина, которые представляются нам ошибочными, противоречащими его основным идеям.

Одну из глав книги Е. Добин назвал «Сюжет — концепция действительности». И хотя это звучит очень внушительно, согласиться с автором нельзя. Нельзя, потому что концепцию действительности дает лишь произведение в целом, а не один из его, пусть даже очень важных, основных компонентов. Нам кажется бесспорным утверждение исследователя, что ключ к пониманию особенностей сюжетной конструкции произведения всегда следует искать в жизненном материале и авторской позиции. Но разве отсюда следует вывод, что сюжет — «философский густок реальной жизни»? Когда самое понятие «сюжет» трактуется Е. Добиним так расширительно, что теряет свое конкретное содержание, тогда открывается простор для самой откровенной и оголтелой вульгаризации. В самом деле, если сюжет должен содержать в себе концепцию действительности, если с подобной меркой подходить к произведениям, естественно, например, трактовать трагический финал как выражение пессимистического взгляда художника на жизнь и т. д. и т. п.

Конечно, в книге Е. Добина нет и не может быть примеров такой махровой вульгаризации: автора оберегает и хороший вкус и то, что он идет не от теории к литературе, а от живых явлений искусства

к теории. Но предлагаемая им формула может послужить основанием и отправной точкой для подобного рода толкований. И сам исследователь, по-видимому, чувствует эту опасность. Во всяком случае ничем другим мы не можем объяснить ту весьма серьезную оговорку, которую он делает: «Упаси бог вывести отсюда заключение, что при данном мировоззрении и данном жизненном материале возможно только одно сюжетное решение. Подобный вывод был бы чудовищно неверным». Но беда в том, что сам автор монографии в какой-то мере подготовил почву для такого чудовищно неверного заключения.

В чем же причина этого явного просчета? Скорее всего в безоглядном и бесконтрольном увлечении предметом исследования. Сюжет становится для Е. Добина самым или даже единственно важным компонентом произведения, все остальное отходит на задний план. Всячески стремясь выделить и подчеркнуть эту решающую роль сюжетного построения в произведении, исследователь совершает еще одну ошибку. Он противопоставляет сюжет композиции, утверждая, что лишь сюжетное построение обусловлено закономерностями действительности. «Художник свободно строит сюжет. В сфере композиции эта свобода не ограничена. В сфере сюжетосложения (в нашем понимании этого слова) она заключена в некий круг необходимости. Здесь свобода художника детерминирована задачей проникновения в глубь законов реальной жизни, задачей воплощения причинных связей действительности». И это говорится там, где автор особенно яростно сражается с формалистами. Разбивая их доводы и построения относительно сюжета, он, в сущности, отдает им сферу композиции. Ведь, по его мнению, в сфере композиции возможно чистое формотворчество: именно в этом он видит отличие композиции от сюжета.

Неверные суждения занимают весьма скромное место в книге Е. Добина. И если мы уделили им столько внимания, то потому, что хотим рекомендовать эту книгу широкому кругу людей, пробующих свои силы в литературе, молодым писателям, не чурающимся литературной учебы. А это нельзя сделать, не сказав о том, что в монографии способно ввести в заблуждение не искушенного в вопросах теории читателя.

«Жизненный материал и художественный сюжет» — занимательно написанная

(а это, к слову сказать, тоже немалое достоинство, которое присуще далеко не всем литературоведческим работам) и полезная книга. В свое время Горький, рассказывая о целях только что созданного журнала «Литературная учеба», писал: «Наша задача — учить начинающих писателей литера-

турной грамоте, ремеслу писателя, технике дела, работе словом и работе над словом. Это — нелегкая задача». Этому нелегкому, но важному сегодня, не меньше чем четверть века назад, делу, несомненно, будет служить и исследование Е. Добиная.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

Древнерусское искусство

Есть в нашем художественном наследии область столь непререкаемой значительности, что при оценке ее смолкают все споры и прекращаются все разногласия. Это область нашей древней иконописи.

«Открытие» иконной живописи — не как предмета культа и объекта археологии, а как произведения высокого искусства — произошло не так давно. Раньше старинным иконам всегда и неизменно сопутствовало определение — «мрачные», «темные». Когда в 900-х годах началась систематическая музейная расчистка икон, когда скрытая под слоями позднейших записей и почерневшей олифы живопись икон заново явилась в неожиданном великолепии и яркости невиданных красок, — это было ошеломляющим откровением. Иконами заинтересовались художники и искусствоведы. В. М. Васнецов и И. С. Остроухов стали горячими партизанами в поисках и собирательстве древних икон. К 1913 году накопился уже столь значительный фонд расчищенных икон, что стало возможным подвести первые итоги. Выставка иконописи, собранная в Москве в помещении Делового Двора, въевь показала, какой великий клад открывается нам в иконах, если работа всего какого-нибудь десятка лет дала нам в руки такие сокровища!

И еще одно стало ясным: русская икона не есть рабское повторение византийских образцов, как считалось раньше. В ней в превосходной степени проявились все те качества народного крестьянского искусства, которые до сих пор радуют нас в изделиях кустарей: удивительный дар ритма в композиции и дивное колористическое чувство, покоряющее нас в ликующих красочных сочетаниях иконостасных ярусов.

Всякий, кому доводилось видеть процесс

Художественные памятники Московского Кремля. 330 стр. Издательство «Искусство». М. 1956.

Древние иконы старообрядческого кафедрального Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве. 139 стр. М. 1956.

расчистки икон, кто с сердечным трепетом наблюдал, как под скальпелем реставратора из-под копоти, черной олифы, нескольких слоев позднейших записей появляется наконец первоначальная живопись во всей ее первозданной яркости, такой, какой видели ее наши предки пять — семь веков тому назад, понимает, что открытия в этой области не менее увлекательны, чем археологические находки экспедиций Толстова или Арциховского.

За годы Советской власти, открывшей возможность доступа для исследования древней иконописи во всех церквях и монастырях, проделана колоссальная работа по выявлению, сбору, описи и классификации этой неисчерпаемой области древнерусского искусства. Реставрационные мастерские раскрыли сотни и сотни икон. Кроме иконных собраний в Третьяковской галерее и Русском музее, в настоящее время существуют большие иконные отделы в музеях Новгорода, Киева, Ярославля, Вологды, Владимира и других городов.

Скопился материал обширный, необозримый. Когда смотришь в музее Новгорода на изумительную «Битву суздальцев с новгородцами» или в Вологде на мощный «чин» из Глушицкого монастыря, хочется, чтобы эти шедевры были доступны возможно более широкому кругу зрителей. Настало время для широкого показа всех этих национальных сокровищ на большой всесоюзной выставке древнерусского искусства, которая подведет наконец итоги сорокалетней работе советских музейных работников, искусствоведов и реставраторов в этой области.

Немало поклонников и энтузиастов русской иконы мы видим и за рубежом. В письме в редакцию газеты «Советская культура» (от 14 июля 1956 г.) Анна Зегерс рассказала о своем посещении музея имени Андрея Рублева и о большом интересе на Западе к замечательным мастерам древнерусского искусства. По-

путно писательница высказала недоумение по поводу того, что в Москве невозможно найти альбомы и репродукции с древних фресок и икон.

Действительно, наши издательства и журналы для популяризации древнерусской живописи делают до обидного мало.

Недавно вышли две книги: «Древние иконы старообрядческого кафедрального Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве» (Старообрядческая Архиепископия Московская и всея Руси) и «Художественные памятники Московского Кремля» («Искусство»), первая целиком, вторая в большей части посвященные иконам.

Иконы Рогожского кладбища представляют целнейшее собрание древнерусской живописи. Благочестивые радетели Потапы Максимычи были рьяными собирателями предметов древлего благочестия — книг и икон для своих моленных. Романтика этого собирательства ярко изображена в «Запечатленном ангеле» Лескова.

В книге, отпечатанной Изогизом, воспроизведено пятьдесят икон, из них шесть в цвете. Наличие в редакционной коллегии имени М. И. Тюлина, многоопытного реставратора и знатока древней иконописи, служит известной гарантией добросовестности предпринятого труда. Описание икон составлено со знанием дела и содержит много интересных сведений. К сожалению, в подборе репродукций есть следы дилетантства и непродуманности. На Рогожском кладбище ведутся за последние годы планомерные работы по расчистке икон, и, казалось бы, в первую очередь нужно репродуцировать результаты именно этих работ. Между тем в снимки попало много икон записанных, под слоем позднейших поновлений. Особенное недоумение вызывает цветное воспроизведение «Одигитрии»: икона не расчищена, даже не промыта. А ведь в собрании имеются такие интересные по цвету, как фамильная икона Строгановых работы знаменитого мастера Прокопия Чирина (№ 42) или затейливая по композиции и виртуозная по выполнению икона «Рождества Христова» (№ 48).

Радуют своими цветовыми качествами репродукция с заново промытой иконы «Св. Параскевы Пятницы» и публикуемая впервые репродукция иконы «Входа Господня во Иерусалим», сверкающей переливами голубых, фиолетовых, оливковых и киноварных тонов.

Существует изданный в 1913 году альбом, посвященный древним иконам Рогожского кладбища. Внешнее оформление, качество сопроводительного текста неизмеримо выше в новом издании, но, не в обиду будь сказано Изогизу, качество черных тоновых автоотипов хуже, чем в старом издании.

В книге «Художественные памятники Московского Кремля» около пятидесяти снимков с икон и фресок; текст к ним написан Н. Мнёвой, крупным специалистом в данной области. Подбор иллюстраций очень интересен и отражает широкий размах реставрационных работ, проведенных в Кремле за годы Советской власти. Я не собираюсь говорить о книге в целом, но не могу не отметить написанное с блеском увлекательное и поэтическое вступление М. Аллатова «Художественное значение Московского Кремля».

С чувством досады приходится поставить на вид издательству полиграфическую бедность книги: почему нет цветных репродукций, почему многие из черных снимков такие тусклые и нечеткие?

Издания такого типа должны больше показывать, чем рассказывать. Но вот в тексте очень заманчиво повествуется, что «палитра древнерусских художников была яркой, звучной, насыщенной» или «красочная гамма светлая, праздничная, нарядная», а читателю предлагается поверить этому на слово: судить о цветовом богатстве икон по черным снимкам трудно даже при наличии воображения.

Или в тексте, например, дается подробное описание иконы Успенского собора «Апокалипсис», но даже это описание не поможет разобраться в едва различимых, туманных фигурах на снимках этой иконы.

Тираж книги — 75 тысяч — означает, что издание адресовано широкому читателю. Учитывая это, составительница старалась не загромождать текста технической терминологией иконописания, но мне кажется, что следовало бы комментировать и библейскую церковнославянскую терминологию. Для широкого читателя «Преполовление» или «Древо Иисево» звучит так же темно, как «Беллерофонт и Химера», с той разве разницей, что о Беллерофонте можно прочитать в популярных книжках о греческих мифах, а о библейских мифах справляться придется в громоздком первоисточнике, не снабженном именным и предметным указателями.

На состоявшемся недавно Всесоюзном съезде советских художников многие делегаты в своих выступлениях указывали на вопиющие недостатки в деле пропаганды и популяризации искусства. За рубежом мало знают наших художников и художественные сокровища нашего прошлого. И мы сами в том виноваты: мало издается по искусству открыток, репродукций, иллюстрированных книг. Список наших претензий к издательству «Искусство» и Изогизу необъятен. И, конечно, в программу минимум, которую надлежит осуществить в ближайшие годы, непременно должен

войти альбом цветных снимков с шедевров древнерусской живописи и ряд монографических изданий: живопись Новгорода, Рублев, Дионисий и другие в хороших цветных достоверных репродукциях.

Аналогичный счет нужно предъявить и Институту истории искусств Академии наук СССР: рядом с монументальными томами «Истории русского искусства» следовало бы в целях популяризации на том же материале попутно выпускать монографии небольшого формата и объема.

Н. КУЗЬМИН.

★

Политика и наука

Воспоминания выдающегося революционера

Отрадно, что за последнее время на книжном рынке появились воспоминания некоторых старейших деятелей КПСС. К числу таких профессиональных революционеров принадлежит верный помощник В. И. Ленина в деле создания нашей партии И. А. Пятницкий.

«Записки большевика» Иосифа Ароновича Пятницкого (последнее, четвертое, издание их вышло более двадцати лет назад и давно уже стало библиографической редкостью) с захватывающим интересом прочтут наша молодежь, рабочие, колхозники. Книга Пятницкого будет прекрасным пособием для преподавателей истории КПСС и ценным источником для научных исследований по отдельным вопросам жизни и деятельности великой Коммунистической партии Советского Союза. Каждый читатель найдет в воспоминаниях Пятницкого правдивые картины подлинно героической деятельности большевиков в условиях царизма.

И. А. Пятницкий был типичным профессиональным революционером-большевиком, выдающимся практиком партийной работы.

Многих читателей, возможно, удивит, что Пятницкий писал свои воспоминания целиком по памяти. Но нужно иметь в виду, что это писал человек, который по условиям нелегальной работы постоянно должен был тренировать свою память, чтобы помнить все необходимые адреса, имена лиц и раз-

личные факты партийной работы без каких-либо записок или дневников.

Профессиональный революционер-большевик находился при царизме под постоянной угрозой ареста. Всякого рода записки становились уличающими документами не только для самого арестованного, но могли повести к провалу других лиц, явочных квартир и даже целых партийных организаций. Неудивительно поэтому, что автор «Записок» держал в памяти различные сведения о людях, с которыми ему приходилось встречаться по партийным делам, и обстоятельства, при которых эти встречи происходили.

Всю свою сознательную жизнь Иосиф Пятницкий отдал партии. По делам партии он исколесил не только многие районы царской России, но и побывал во многих городах Европы. С кем только не встречался из руководящих и рядовых деятелей партии этот неумный подпольщик и искусный организатор!

Пятницкий был талантливым организатором доставки партийной литературы из-за границы в Россию, перехода наших товарищей через границу. Он был помощником В. И. Ленина, например, в таком сложном и трудном деле, как созыв в Праге Шестой Всероссийской конференции РСДРП в 1912 году.

Воспоминания Пятницкого насыщены яркими и поучительными фактами из жизни партии, рассказами о разнообразных и затруднительных положениях, в которых оказывался по делам партии этот профессиональный скиталец.

О. Пятницкий. Записки большевика. Издание пятое. Редактор В. Игнатьева. 228 стр. Госполитиздат. М. 1956.

Вот начало его революционной деятельности (1896—1902). Арест, киевская тюрьма, побег. Работа за границей, снова в России и снова арест и тюрьма. И так на протяжении всего дореволюционного периода, описанного в воспоминаниях. Периоды работы на «воле» неизменно «диалектически» сменяются тюрьмой или ссылкой.

Но куда бы ни забрасывала Пятницкого судьба подпольщика, он прежде всего думает об интересах партии, о ее великой освободительной миссии. Только вера в эту высокую миссию, только беспредельная преданность делу рабочего класса позволяют Пятницкому стойко переносить все тяжелые испытания.

Вот он в далеких захолустных деревнях Сибири. Безрадостную жизнь местного населения и особенно ссыльных показывают даже названия деревень, ставшие официальными: Покукуй, Потоскуй, Погорюй...

Мы находим у Пятницкого такую запись: «Деревня была поголовно безграмотной в буквальном смысле этого слова. Мальчики очень рано впрягались в работу, а девочкам грамота «не для чего». Эта характеристика дореволюционной Сибири полностью соответствует действительности, и каждый старый сибиряк подтвердит ее полностью.

Воспоминания И. А. Пятницкого — прекрасная иллюстрация того, в каких условиях работали большевики в царской России, как неизменно крепка была их связь с массами. Особенно много нового расскажут эти воспоминания нашему юношеству, которое старой жизни своими глазами не видело и которому труднее поэтому конкретно представить себе весь страдальный путь, пройденный нашей партией.

Доктор исторических наук профессор
М. ВЕТОШКИН,
член партии с 1904 г.

★

На стальных магистралях

Более двадцати двух миллионов квадратных километров составляет территория Советского Союза, превосходящая территорию любого другого государства. Многочисленные районы и области нашей обширной страны связывает в единое целое железнодорожный транспорт — важнейший среди всех других видов транспорта. Днем и ночью по стальным магистралям мчатся длинные железнодорожные составы. Они доставляют необходимые грузы стройкам, продукцию сельского хозяйства городам. В. И. Ленин указывал, что железные дороги «...это одно из проявлений самой яркой связи между городом и деревней, между промышленностью и земледелием, на которой основывается целиком социализм».

О больших задачах, которые ставят перед транспортом постоянно растущие потребности народного хозяйства, рассказывает Б. П. Бещев в своей книге «Железнодорожный транспорт СССР в шестой пятилетке». Сейчас, когда советский народ подытоживает достижения своего самоотверженного труда за сорок лет существования первого в мире социалистического государства, особый интерес представляют

популярные издания, посвященные различным отраслям народного хозяйства. Однако таких книг, особенно по транспорту, почти нет. Работа Б. П. Бещева в известной мере восполняет этот пробел.

Грандиозны масштабы развития железнодорожного транспорта, предусмотренные шестым пятилетним планом. Грузооборот железных дорог в 1960 году составит астрономическую цифру — один триллион триста семьдесят четыре миллиарда тонно-километров. Это на сорок два процента превышает уровень 1955 года. В два с половиной раза удлинится протяженность электрифицированных дорог. В книге приводится следующий пример. Перевод железнодорожной магистрали от Москвы до Иркутска на электрическую тягу позволит повысить техническую скорость движения на 10—12 километров в час и почти вдвое увеличить среднесуточный пробег локомотивов. Вес поезда на направлении от Новосибирска до Москвы возрастет в полтора раза. Еще одна выгода от внедрения электрической тяги заключается в том, что станет возможным улучшить снабжение электроэнергией районов, прилегающих к железным дорогам.

В шестой пятилетке в три раза увеличится объем перевозок, осуществляемых наиболее производительными локомотива-

Б. П. Бещев. Железнодорожный транспорт СССР в шестой пятилетке. Редактор П. Эжин 176 стр. Госплитиздат. М. 1957.

ми — электровозами и тепловозами. Скорость доставки грузов возрастет на двадцать процентов. Многое нужно сделать для того, чтобы расширить перевозки большегрузными составами, благодаря которым достигается значительный экономический эффект. Речь идет не только об увеличении количества электровозов и тепловозов, но и о реконструкции пути, а также улучшении конструкции вагонов.

Железнодорожный путь. Чем он прочнее, тем выше могут быть вес и скорости движения поездов. К концу шестой пятилетки около половины всей сети железных дорог СССР будут иметь рельсы так называемого тяжелого профиля. Кроме того, промышленность перейдет на прокат рельсов длиной двадцать пять метров — вместо обычных двенадцати с половиной. Как следствие, вдвое сократится количество рельсовых стыков — наиболее слабого места пути.

Конструкторская мысль успешно решает еще одну трудную задачу — улучшить соотношение веса вагонов и их грузоподъемности. В ближайшие годы при словах «товарный состав» вместо привычного

образа — паровоз, клубы черного дыма, цепь небольших товарных вагонов — будет возникать иная картина: мощный электровоз или тепловоз с удлинненными массивными шестисосными вагонами. Такой поезд без увеличения длины состава сможет перевезти в полтора раза больше грузов.

Автор книги рассматривает и другие проблемы. В ближайшие годы все более широкое применение на железнодорожном транспорте найдут новейшие средства управления и связи — автоматика и телемеханика. Без них невозможно было бы осуществить предусмотренное шестилетним планом увеличение скоростей движения и количество пропускаемых поездов. Большое внимание в книге уделено механизации погрузочно-разгрузочных работ, самых трудоемких на железных дорогах. Знакомство с новыми высокопроизводительными механизмами облегчают рисунки.

Хочется выразить пожелание, чтобы в ближайшее время вышла в свет книга, посвященная всем видам транспорта Советской страны и их планомерному взаимодействию.

Инженер В. ЛЕВАЧЕВ.

★

Мемуары большого ученого

В истории мировой науки насчитывается не так уж много ученых, списки произведений которых состояли бы не только из научных исследований и популярных произведений, но также и мемуаров. Это редкое сочетание мы встречаем в объемистом томе прославленного математика, механика и кораблестроителя академика Алексея Николаевича Крылова.

Его книга «Мои воспоминания», написанная во время Великой Отечественной войны и вышедшая впервые в 1945 году, неоднократно переиздавалась. За пять лет, истекших со времени последней публикации, в архивах А. Н. Крылова были выявлены новые материалы. Кроме того, к некоторым старым изданиям можно предъявить серьезные претензии за слишком бесцеремонные купюры и непоследовательную компоновку очерков и статей.

Академик А. Н. Крылов. Воспоминания и очерки. Ответственный редактор профессор И. С. Исаков. Подготовка к печати и комментарии С. Я. Штрайха 884 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1956.

В настоящее издание, кроме основного текста «Мои воспоминаний», вошли два больших раздела: «Научно-биографические характеристики» и «Научно-популярные статьи и очерки». Все части книги сопровождаются обстоятельными комментариями, без которых воспоминания А. Н. Крылова воспринимаются нелегко, так как в них приводятся имена огромного числа его современников и содержатся ссылки на события, которые сейчас припомнят далеко не все и которые подчас вовсе не известны молодежи.

Выход в свет этого издания лишний раз свидетельствует о большом, неослабевающем интересе, который проявляет широкий круг читателей к произведениям А. Н. Крылова. В чем же причина этого интереса?

Начну с «Воспоминаний». Отличным, четким языком описывает автор многие важные события огромного периода жизни. Воспоминания начинаются 1890 годом и заканчиваются 1940 годом. Сам автор принимал деятельное, часто руководящее участие в строительстве отечественного

флота как в дореволюционное время, так и в период его воссоздания и развития в наши дни.

Выполнение разнообразных правительственных поручений, педагогическая деятельность (в частности, в Морской академии) живо и интересно описаны автором и позволяют читателю сделать много полезных выводов и наблюдений.

Со страниц «Воспоминаний» встает образ А. Н. Крылова — пламенного патриота родины, стойкого борца за прогресс отечественной науки и техники. Он умел настойчиво добиваться цели, преодолевая не только бюрократизм тех старых дореволюционных чиновников, на которых не действовали логические доводы, но подчас вступая в борьбу с целыми ведомствами и департаментами консервативной и реакционной государственной машины царской России.

Сразу же после победы Великой Октябрьской социалистической революции А. Н. Крылов начал активно помогать Советской власти. В этом смысле очень показательна его многолетняя работа за границей по приемке и транспортировке в Советский Союз турбин и электрогенераторов для Волховстроя, паровозов, танкеров, сухогрузных судов и т. д.

Велика роль А. Н. Крылова в качестве долголетнего и авторитетного руководителя Отделения физико-математических наук

Академии наук СССР. Особое значение и в своей практической деятельности и в разрабатываемых им идеях А. Н. Крылов придавал тесной связи науки с жизнью.

Поражает обширнейший круг интересов А. Н. Крылова. Основную часть книги — «Мои воспоминания» — гармонично дополняют две другие, содержащие отзывы о наших крупнейших математиках, физиках, техниках, а также статьи и очерки, посвященные разнообразным вопросам науки и техники: «Наше кораблестроение», «Учение о пределах, как оно изложено у Ньютона», «О кафедре прикладных наук», «О подготовке специалистов», «Поучительные случаи аварии и гибели судов», «Об аренде русских заводов иностранцами», «О типографской работе издательства АН СССР» и т. д.

Через всю книгу проходит идея служения Родине — самое главное в жизни А. Н. Крылова.

Новое издание книги будет очень полезно для самых широких кругов читателей, и особенно для молодежи. В связи с тем, что оно выгодно отличается от предыдущих публикаций, хотелось бы в заключение отметить большую работу, которую провели в подборе материала и его систематизации профессор И. С. Исаков и недавно скончавшийся С. Я. Штрайх.

Академик М. ЛАВРЕНТЬЕВ.

★

Исследователь Русской Америки

Более столетия назад в печати появилась и сразу же обратила на себя внимание «Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Л. Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах». Так вполне прозаически был назван печатный труд человека, более пяти тысяч верст прошедшего пешком по снежным просторам и проплывшего на байдаре по могучим рекам Русской Америки.

Советское издание книги Л. А. Загоскина открывается очерком «Лаврентий Алексеевич Загоскин», написанным М. Черненко. Автор этой ценной и добросовестной

работы отыскал ряд новых данных о родословной нашего героя, о его службе на Каспии и Балтийском море, о последних годах жизни Загоскина в Рязани. До 1956 года мы не могли представить себе облик Загоскина. Теперь в книге впервые воспроизведены два портрета крепкого, широкоплечего человека с суровым и пронзительным взором. Одно из изображений путешественника находилось на фамильной фарфоровой чашке, хранившейся у внучки исследователя Н. П. Гласко.

В советском издании сочинений Л. А. Загоскина нас радует добротный научный аппарат, над которым немало поработали составители и редакторы книги. Опубликованы впервые фотографические снимки с коллекций, собранных путешественником, дано их подробное описание. В приложениях напечатана статья Б. А. Липшиц

Путешествия и исследования лейтенанта Лаврентия Загоскина в Русской Америке в 1842—1844 гг. Общая редакция, примечания и комментарии М. Б. Черненко, Г. А. Агранат, Е. Э. Бломквист. 455 стр. Географгиз. М. 1956.

«Л. А. Загоскин, как исследователь этнографии Аляски», даны библиография сочинений Л. А. Загоскина и литературы о нем, очень полезный словарь специальных терминов, местных и устаревших слов, указатель имен и географических названий.

Все это говорит о том, что книга составлена и издана любовно, и в этом проявилось высокое уважение к памяти незаурядного путешественника, ученого и писателя XIX века.

...Читатель следует за Загоскиным и его немногочисленными спутниками на Шумагинские острова, на Уйгу с ее окаменелыми деревьями, онксами и горным хрусталем, а затем на Уналашку, где исследователь искал циркон и гиацинт в диких недрах острова.

Оттуда Загоскин направился к палисадам редута св. Михаила, выросшего всего девять лет назад на базальтовой тверди острова в Нортоновом заливе.

На поморье близ редута св. Михаила Загоскин начал изучение жизни и быта народа канг-юлит, как назывались здесь эскимосы, а также составлял словарь языка с помощью хорошо грамотного и бывалого креола Григория Курочкина.

Посещая полуподземные обиталища народа канг-юлит, путешественник подробно описал редут, занятия, верования эскимосов. Ему довелось наблюдать так называемый «пóтлач» — щедрую раздачу подарков на годовичных поминках умерших, праздник в честь морского духа.

«Нет ни одного племени на земном шаре, которое не сознавало бы своего бессмертия», — писал Загоскин, размышляя о духовной жизни эскимосов.

Он произвел опись части Нортонова залива, открыл янтарь и каменный уголь в устьях Юкона (Квихпака), собирал словарь языка эскимосов, делал съёмку местности.

В декабре 1842 года Л. А. Загоскин со своими спутниками вышел из ворот бревенчатого редута и направился вдоль берегов Юкона. Люди и собаки с трудом продвигались вперед. Глубокие снега лежали во круг. Впереди отряда шли креолы-«топтальщики». Они протапывали и уминали снег; только после этого могли идти вперед собачьи упряжки. Загоскин проник в самое сердце Аляски. Он побывал в Нулато, молодом русском поселении под 64° 42' 11" северной широты, где велась чрезвычайно

удачная охота на бобров. В Нулато, за стеной с бойницами, жили вологжанин, русский креол из Калифорнии, эскимоска Куропатка.

Загоскину после скитаний по Юкону удалось пройти на большую реку Кускоквим — в Колмаковский редут. Там путешественник собирал научные коллекции. Ему помогал пылливый индейский подросток Касяк. Креолы, индейцы, эскимосы неизменно оказывали Загоскину гостеприимство и помощь во время его скитаний.

Течение Юкона Лаврентий Загоскин исследовал на протяжении шестисот морских миль и лишь на этом участке своего пути определил астрономически шестнадцать пунктов. Он изучил течение главных притоков Юкона—Юннака́ (Куюкак) и Иттеге — и прошел по ним на сто миль от каждого устья. На высоких приметных ярах Лаврентий Загоскин ставил огромные сосновые кресты, похожие больше на мачты, и выжигал на них раскаленным шомполом надписи с обозначением широты и долготы вновь открытой местности.

Он открыл горы, речные острова, бобровые плотины, богатства недр дикой страны, измерил глубины юконских вод. Часто ему доводилось находить кости ископаемого слона и мастодонта, образцы редкой яшмы, медной и железной руды, каменного угля и золота.

В глубине страны Загоскин не раз встречался с индейцами-голцанами, которых без всякого к тому основания считали «людоедами». Голцане не тронули Загоскина; они встречали его торжественными ружейными салютами или выносили навстречу ему ветви тальника — знаки мира и дружбы.

Лаврентий Загоскин за все время своих долгих странствий не имел ни одного столкновения и даже ссоры с индейцами: так было велико обаяние душевной силы, бескорыстия и доброты русского человека. Тоскуя о родине, Лаврентий Загоскин в индейской глуши справлял праздник троицы у подножия юконских берез. Он записывал сказания индейцев, изучал их язык и обычаи. До Загоскина никто не производил научного деления туземцев Аляски на народности и племена. Он открыл для человечества мир народа ттынай — людей из «собственно американского семейства краснокожих».

Русский путешественник прилежно изучал богатства живой природы Аляски. Боб-

ры, медведи, выхухоль, рысь, волки, выдра, дикий олень, россомаха, лось, глухари, дикобразы в изобилии водились в темных лесах Северо-Западной Америки. Загоскина поражало обилие красной рыбы в привольных и глубоких водах широких рек. Летом Загоскин собирал образцы растений для первого гербария юконской страны, составлял коллекцию насекомых.

Он самым подробным образом исследовал «переносы», или волокни, между аляскинскими реками. По этим волокнам материковые племена устанавливали сообщения с поморьем. Жители Берингова поморья были торговыми посредниками; через них шел обмен товарами между индейцами и чукчами и даже якутами. Якутские копыта и ножи, русские ружья и тобольские шапки нередко можно было встретить в глубине материка Северной Америки. Торговцы мехами в низовьях Юкона имели, как это открыл Загоскин, свой особый условный язык, подобно владимирским офеням.

Лаврентию Загоскину удалось установить, что великий Юкон (Квихпак) вполне судоходен от Нулато до Икогмута на протяжении 220 миль, пройденных путешественником. Юкон был очень глубок; в некоторых местах лишь Загоскина длиной в двенадцать сажен не доставал дна. Исследователь составил первое научное описание Юкона.

Л. Загоскин, влюбленный в дикую природу Северо-Западной Америки, прилежно записывал в свой дневник ежедневные метеорологические наблюдения, которые он вел все время: «18 апреля показалась на Нулато первая утка...», «20-го прилетел первый гусь...». Первый крик лягушек, сроки появления листьев на юконских березах, первые удары грома — такого рода записями пестрят дневники исследователя Аляски. Полтора года пробыл Лаврентий Загоскин в своих походах.

В семь часов утра 21 июня 1844 года экспедиция Загоскина пришла по «большой воде» морского прилива на веслах к деревянным настилам пристани Михайловского редута, а 26 сентября Новоархангельск встретил героя Юкона.

Только впоследствии Л. А. Загоскин мог узнать, что месяцем ранее, в августе 1844 года, закончился второй грандиозный поход по дебрям Северной Америки. Джон Чарльз Фримонт (1813—1890), инженер-лейтенант армии США, прошел от Колумбии до Калифорнии, побывал в Великой пустыне, ски-

тался в Сиерра-Неваде, осмотрел проходы Скалистых гор. Но Фримонт двигался во главе военного отряда, его грело солнце Калифорнии. Загоскин же с горстью людей шел по снежным пустыням.

Отечественная печать отдала должное научному подвигу Лаврентия Загоскина. В 1847 году журнал «Библиотека для чтения», одно из лучших изданий того времени, писал, что русский путешественник «открыл совсем новую Америку, целые государства с сильною пышною растительностью, под широтою Архангельска, с богатыми лугами и долинами, с чудными реками и озерами, настоящий рай гиперборейский...»

В 1848 году Лаврентий Загоскин вышел в отставку в чине капитан-лейтенанта и поселился в Рязанской губернии. Он был смотрителем департамента корабельных лесов в глухом Мещерском крае, в стране непроходимых лесных дебрей и озер, которые напоминали ему Аляску.

К тому времени и вышла его замечательная книга «Пешеходная опись».

«Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся,— предрекал А. Пушкин,—и пространные степи, необозримые реки, на которых сетями и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревьями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский...»

Как бы переключаясь с А. Пушкиным, русский исследователь жизни индейцев Лаврентий Загоскин поведал в своих записках правду о суровой жизни народа ттынай. Он долго делил горе и радости с этими людьми.

Значение работ Л. Загоскина, изучавшего жизнь эскимосов и индейцев Аляски, огромно. Труды эти не потеряли своего значения до нашего времени, тем более что сейчас советские и американские ученые упорно стараются решить загадку происхождения населения Аляски. Путь Загоскина пролегал по тем местностям Аляски, где особенно ярко были видны законы переселения, смешения племен, живших на материке от берега Ледовитого океана до Берингова поморья, на самой границе Старого и Нового света. В наше время к этой границе устремлены взоры ученых исследователей СССР и США. Лаврентий Загоскин был первым европейским исследователем быта индейцев из племен Волка, Ворона и Орла «Песнь о Гайавате» тогда еще не была со-

здана, не был написан знаменитый труд ученого-этнографа Льюиса Генри Моргана о древнем обществе.

На глазах Загоскина сбылось пророчество Пушкина. Лаврентий Загоскин был еще жив, когда вблизи мыса Ном на северо-западе Аляски, недалеко от Михайловского редута (Сент-Майкл), были открыты золотые россыпи.

Задымли пароходы на Юконе. Вероятно, Лаврентий Загоскин читал рассказы Брет-Гарта, в которых были описаны и места, знакомые русскому путешественнику по его плаваниям из Новоархангельска в залив Сан-Франциско. При жизни Загоскина на Юкон пришли первые золотоискатели Джо Ладю, Мартенс и Хильби. Отсюда начинается история золотого Клондайка, Доусона и Нома.

Вскоре после смерти Л. А. Загоскина молодой Джек Лондон в своей «Северной Одиссее» писал о Михайловском редуте, Головинской бухте, Прибыловых островах, о русском купце из Паштолика. Все это были места, когда-то посещенные и описанные Л. А. Загоскиным. В северных рассказах Джека Лондона не раз упоминается об обычае «пóтлача», открытого Загоскиным. Джек Лондон знал и о современнике Загоскина креоле Василии Малахове.

Лаврентий Загоскин был и остается в истории исследования земного шара первым человеком, открывшим для нас и для всего мира суровые просторы, сквозь которые пронесит свои могучие воды величавый Юкон.

Сергей МАРКОВ.

★

Современные проблемы астронавтики

В связи с близящимся началом Международного геофизического года особый интерес приобретает состоявшийся в Риме в сентябре—октябре 1956 года 7-й Международный конгресс по астронавтике.

В работе этого конгресса приняли участие ученые многих стран, в том числе и представитель СССР академик Л. И. Седов, который на заключительном заседании был избран вице-президентом Международной федерации по астронавтике.

Сорок четыре доклада и сообщения, прочитанные на римском конгрессе, в своем большинстве содержали изложение различных проектов искусственных спутников Земли и космических кораблей недалекого будущего, а также разнообразных проблем, связанных с межпланетными полетами.

Интерес у делегатов конгресса вызвало сообщение американского инженера Н. Фельта о конструкции ракеты, предназначенной для запуска искусственного спутника Земли. Следует, однако, отметить, что доклад Фельта многим энтузиастам межпланетных путешествий принес некоторое разочарование, поскольку для достижения расчетной скорости миниатюрному спутнику весом около десяти килограммов потребуется ракета, взлетный вес которой был бы в тысячу раз больше.

По страницам зарубежных журналов «Жет пропалашн», «Мисайлс энд ронет», «Механик иллюстрейтед» (США), «Интеґавиа резью» (Швейцария), «Форс ээринс франсез» (Франция) и др.

Другой американский инженер, Д. Ромик, рассказал о разработанном им проекте огромного искусственного спутника Земли с населением в двадцать тысяч человек. Проект предусматривает постройку трехступенчатых ракет, из конструктивных деталей которых и должен быть сооружен межпланетный «город». По поводу этого проекта нужно сказать, что стоимость постройки такого спутника стоила бы ресурсы даже самых богатых стран.

Ряд докладчиков (например, Стругольт и Жератуол), выступавших на конгрессе, пошел дальше запуска искусственного спутника Земли и доложил о своих работах, касающихся космических полетов в сфере солнечной системы (экосфере).

Любопытна проблема радиации Солнца и возможности ее использования в качестве источника энергии для межпланетных кораблей. Эрик (США) предлагает для этой цели применить огромные шары из мягкой пластмассы. Эти шары, разделенные на две половины, будут играть роль вогнутых зеркал и отражать солнечные лучи на особые элементы, расположенные в центре шаров и совпадающие с фокусами зеркал. Эти элементы должны нагревать некоторый объем водорода, который затем будет выбрасываться через соответствующие отверстия — реактивные сопла.

Профессор Грокко (Италия) анализировал возможности межпланетного путешествия с Земли на Венеру и Марс. Он предлагал установить июнь 1971 года как дату

для совершения кругового полета, так как в это время относительное расположение планет будет наиболее благоприятным. По его соображениям, такое путешествие должно продлиться минимум год: 113 дней для первого скачка на Марс, 154 дня для перелета Марс—Венера и 98 дней для возвращения на Землю.

Луне—этому наиболее изученному небесному телу — были посвящены четыре доклада. Профессор Бушдейн рассказал о возможности запуска с Земли искусственного спутника Луны. Профессор Петерсон изложил свои взгляды на межпланетный корабль с людьми для полета на Луну.

Проблеме исследования отдаленных звезд посвятил свое выступление Е. Зёнгер, являющийся инициатором создания ракеты с фотонным двигателем. Он говорил о возможности исследования Млечного пути, связывая свои предположения с быстрым развитием ядерной физики на базе теории относительности Эйнштейна и его концепции «расширения времени»¹. Вывод Зёнгера сводится к следующему:

«...Продолжительность человеческой жизни достаточна, чтобы (со скоростью света, которую должна обеспечить фотонная ракета.—Л. В.) позволить облететь всю Вселенную. Будет ли к моменту возвращения еще существовать наша солнечная система, — вот то, что является сомнительным, так как отлучка может продлиться в течение трех миллиардов земных лет... Совершенно неверно мнение, что для достижения звезд потребуется столько лет, что поколения людей (в ракетном корабле.—Л. В.) будут рождаться, жить и умирать, прежде чем можно будет вернуться из этого путешествия...»

По существу этого заявления можно сделать лишь одно замечание: облететь «всю Вселенную» невозможно, так как она бесконечна во времени и в пространстве. Все же остальное в речи профессора Зёнгера, как бы оно и ни казалось парадоксальным, соответствует учению современной физики о том, что при скоростях, сравнимых со световой, начинают действовать особые законы. На космическом корабле, летящем со скоростью света, время будет протекать значительно быстрее, нежели на Земле. Поскольку понятие времени относительно, не

будет никакого чуда в том, что ракетный корабль отдаленного будущего сможет совершить скачок через тысячелетия.

В этой связи небезынтересно вспомнить, каких скоростей достигла современная техника. В июне 1956 года американский летчик-испытатель Эверест на экспериментальном самолете «Х-2» (который затем был уничтожен в результате катастрофы) на протяжении нескольких секунд летел со скоростью около четырех тысяч километров в час, что составляет более километра в секунду! Но даже эта огромная по сегодняшним масштабам скорость должна быть увеличена в триста тысяч раз, чтобы человек смог совершить путешествие по Млечному пути.

Возвращаясь к более простым и реальным проблемам, связанным с проникновением человека в космическое пространство, следует упомянуть и о тех докладах, которые затрагивали вопросы межпланетной медицины и... межпланетного «права».

Доктор Жератуол, специалист по авиационной медицине, представил доклад, основанный на ощущениях, испытанных шестнадцатью добровольцами. Они подверглись опытам на состояние невесомости, вызванного быстрым пикированием. Большинство находило состояние невесомости приятным; другие отмечали ощущения, похожие на чувство падения, плавания или вращения. Некоторые же испытывали неприятное чувство как при морской болезни. Полученные данные говорят о том, что во время полета межпланетного корабля должны приниматься во внимание индивидуальные особенности членов экипажа (например при решении вопроса о том, нужно ли создавать искусственное тяготение).

Другой американский специалист в этой области, Симон, сообщил участникам конгресса о биологических эффектах первичной космической радиации, которая, как он думает, представляет большую опасность для живых организмов в том случае, если экспозиция радиации будет превышать двадцать четыре часа. Между прочим, он рассказал об опытах, проведенных над мышами, морскими свинками и обезьянами, поднятыми на большую высоту.

Присутствие на конгрессе по астронавтике юристов порадовало вот почему. Применение в астронавтике юридического принципа Аккурсиуса, ныне принятого в авиационном праве и гласящего: «Владение землей распространяется без ограни-

¹ Интересующихся адресуем к книге А. Эйнштейна и Л. Инфельда «Эволюция физики» (раздел III, глава «Время, пространство, относительность»).

чения до небесного свода», означало бы, что проектам космических путешествий угрожает удушье в самом их зародыше. Какие реакции у правительств различных стран вызовет появление на старте первого космического корабля с людьми, которому придется пересекать воздушное пространство над разными странами? В предвидении подобной ситуации два юридических эксперта А. Кокка и А. Халлей ограничились предложением о заключении соответствующей международной конвенции.

Зарубежная печать продолжает обсуждать различные проекты межпланетных путешествий. Весьма характерной является статья некоего Пьера Дж. Гасса, опубликованная в февральском номере американского журнала «Мэканикс иллюстриейтед». Автор бьет тревогу по поводу того, что СССР может раньше США послать межпланетный корабль на Луну и захватить этот «стратегически» важный пункт! Гасс ссылается на опубликованную в советской печати статью молодого ученого Ю. С. Хлебцевича. В ней излагается проект посылки на Луну автоматической ракеты, выпускающей управляемую по радио с Земли танкетку-лабораторию, снабженную телевизионной установкой и комплексом чувствительных приборов для различных исследований лунной поверхности. Проект Ю. С. Хлебцевича сразу же обратил на себя самое широкое внимание и был перепечатан в десятках газет различных стран мира.

Гасса ужасно беспокоит то, что СССР захватит Луну и будет владеть ею на основании действующих на Земле международных законов, как если бы был открыт новый остров. «...Русские нанесут нам тяжелый удар, захватив Луну, после чего нам будет

трудно разговаривать с ними...» — пишет Гасс и приходит к выводу, что правительству США необходимо немедленно и всерьез заняться этой проблемой. Гасс, между прочим, сообщает, что Даллес якобы уже поставил вопрос о признании суверенного космического пространства.

Наиболее важным в этой ситуации, по мнению Гасса, является то, что русские положительно смотрят на возможность межпланетных полетов в ближайшее же время. «Их не беспокоит, верят ли этому в США или нет, и называем ли мы это пропагандой!» — восклицает огорченный автор статьи. Особенно волнует его то обстоятельство, что «большинство американских специалистов по ракетам заявляют, что мы достигнем Луны не раньше чем через тридцать лет». Советский же ученый утверждает: «Полеты в межпланетное пространство и на Луну, как нам представляется, можно осуществить в ближайшие пять — десять лет. Реальная возможность таких полетов имеет под собой твердую научную почву». Из всего сказанного, говорит Гасс, видно, что «риск потери Америкой первенства в пространстве и вместе с тем в достижении Луны представляется очень большим. Почему бы нам не предпринять сейчас гигантские усилия, чтобы поднять флаг США на Луне?» По последним данным американской печати, военно-воздушные силы США получили указание приступить к подготовке запуска на Луну не позднее 1962 года автоматической ракеты — носителя приборов.

Следующий, восьмой конгресс по астронавтике должен собраться в октябре 1957 года в Барселоне, видимо уже после того, как будут запущены первые искусственные спутники Земли.

Л. ВАСИЛЕВСКИЙ.

★

Читая Курта Типпельскирха...

Передо мной лежит изданная в русском переводе книга гитлеровского генерала Курта Типпельскирха «История второй мировой войны».

Предисловие генерал-лейтенанта В. Ф. Воробьева напоминает о «послужном списке» автора книги. Он был начальником главного

К. Типпельскирх. История второй мировой войны. Перевод с немецкого. Под редакцией генерал-лейтенанта В. Ф. Воробьева. 608 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1956.

разведуправления штаба сухопутных сил Германии, а затем, последовательно, командиром дивизии, командиром корпуса и командующим одной из армий на Восточном фронте.

Когда в 1944 году на советско-германском фронте началась серия тяжелейших поражений фашистской армии, Типпельскирх убыл на западный театр военных действий и закончил вторую мировую войну командующим армией в Мекленбурге,

где он в числе других видных гитлеровских генералов сдался англичанам в плен.

Американский обвинитель Додд на Нюрнбергском процессе в список военных преступников — гитлеровских генералов — внес и Типпельскирха, однако благодаря покровительству английских и американских правящих кругов Курт Типпельскирх избежал международного суда.

В предисловии отчетливо и вполне справедливо характеризуются и те позиции, с которых написана эта книга. Она написана «с позиций нацистского генерала и ему подобных, а также с учетом взглядов наиболее реакционных элементов США и Англии». Вместе с тем книга бесспорно ценна имеющимся в ней документальным материалом.

Я не собираюсь рецензировать книгу К. Типпельскирха с этих точек зрения. Мне, офицеру запаса, хочется остановиться лишь на одной теме, точнее, на одной тенденции, которая проходит через всю книгу.

Автор стремится обелить генералитет вермахта и изобразить генералов гитлеровской армии людьми, не только не разделявшими военно-политическую программу Гитлера, но даже противостоявшими ей.

Для Типпельскирха важнее всего доказать «немецкую порядочность» гитлеровских генералов. Он пишет (попутно растворяя вполне конкретное понятие «генералитет» в общем и неконкретном «немецкий солдат»): «Он (то есть немецкий солдат.— Т. Л.) был скован политической системой, которая без его ведома и участия совершала тягчайшие преступления против законов западной культуры». (Здесь и в дальнейшем разрядка моя.— Т. Л.)

Итак, один Гитлер с его политической системой виноват в том, что гитлеровские войска из-за своих зверств на оккупированной территории, из-за нарушения элементарных законов войны и человечности «лишились уважения». Но при всей ненависти народов мира к Гитлеру справедливость требует поправок к этому утверждению Типпельскирха. Нет, виновен не один Гитлер! Именно его генералитет, на который теперь возлагают свои надежды вдохновители НАТО, усердно воспитывал германскую армию в человеконенавистническом, изуверском духе.

Советские ветераны войны, фронтовики хорошо помнят роль гитлеровского генера-

литета, пропагандировавшего войну против Советского Союза, устанавливавшего бесчеловечные военные законы, учившего войска презирать население оккупированной территории, поощрявшего зверства немецких военнослужащих.

Типпельскирх озабочен тем, чтобы набросить флер благопристойности на бывший гитлеровский генералитет, который, мол, всегда стоял за соблюдение правил войны, принятых цивилизованными государствами.

В условиях боевой обстановки я, естественно, не собирал специального архива, не до того было. Но кое-что у меня сохранилось. Я перелистываю свои блокноты с выписками из приказов, захваченных в гитлеровских штабах, из показаний пленных гитлеровцев, из актов о зверствах. Чем воспользоваться, чтобы опровергнуть утверждения Типпельскирха? Думается, что наиболее красноречивыми будут документы самой гитлеровской армии.

Когда началась война с Советским Союзом, вслед за Гитлером, Геббельсом, Риббентропом гитлеровские генералы, не полагаясь на пропагандистский аппарат национал-социалистской партии, стали уделять большое внимание «политической обработке» своих солдат и офицеров.

Вот специальный секретный приказ № 0973/41 командующего 17-й армией генерала Хота. Основываясь на своей поездке по войскам, он пишет: «У меня создалось представление, что отсутствует единое понимание наших задач и вытекающее отсюда поведение немецкого солдата в завоеванных нами областях. Ниже указывается, как следует понимать эти задачи, основываясь на неоднократных высказываниях фюрера. Эти указания являются для армии руководящими и должны стать в ближайшее время предметом обсуждения офицерского корпуса, а также войск снабжения».

Вот как—в полном соответствии с гитлеровско-геббельсовской пропагандой—характеризует Хот особенности войны с Советским Союзом. Цитирую тот же приказ:

«Война против Советского Союза должна быть доведена до конца, но иначе, чем, например, война против французов. За это лето нам стало яснее, что здесь, на Востоке, борются друг против друга два внутренние непримиримых мировоззрения: германское понимание чести, расовое чувство, германское понимание солдатского духа —

против азиатского образа мышления и низменных инстинктов».

Самодовольный пруссак, один из тех, кто действительно развязал низменные инстинкты у гитлеровских солдат, провозглашал войну «против азиатского мышления» и уверял:

«Более чем когда бы то ни было, мы уверены, что наступил поворотный момент в истории, когда руководство Европой в силу расового превосходства и больших способностей переходит к германскому народу. Совершенно четко мы сознаем нашу миссию спасти европейскую культуру от азиатского варварства. Мы сознаем, что геем борьбу с ожесточенным и упорным врагом. Эта борьба может окончиться только уничтожением одного из противников. Примирение невозможно».

Не Геббельс, а гитлеровский генерал столь обнаженно прокламирует стремления третьего рейха к господству над Европой. При этом он внушает своим офицерам и солдатам:

«Я требую, чтобы каждый военнослужащий армии, гордясь нашими успехами, был бы проникнут чувством безусловного превосходства над противником. Мы являемся господами положения в этой стране, которую мы завоевали».

Ну, а как «господам» вести себя на оккупированной территории? И на этот вопрос Хот дает совершенно определенный ответ, без всяких недомолвок:

«...Надо зорко следить за всеми, кто относится к нам враждебно или даже с безразличием. Те, которые сообщают нам сведения о враждебной деятельности в отношении немецкой армии, но не принимают активного участия в борьбе против красных партизан, являются нашими врагами, и мы должны к ним относиться в соответствии с этим. Пусть страх населения перед германскими войсками будет сильнее боязни угроз репрессиями со стороны красных».

В отношении к населению не должно быть никакого сострадания и никакой мягкости... Забота о снабжении населения должна быть предоставлена самому населению».

Поистине «слова улетают, написанное остается».

Но, быть может, один Хот являлся верным сподвижником Гитлера и его человеконенавистнических георий?

Вот директива другого военного деятеля германского фашизма, командующего группой, генерала-от-инфантерии фон Шведлера, который 6 декабря 1941 года сообщил своим войскам на Украине: «наступило время пожинать плоды наших побед». Но, так как его беспокоили трудности снабжения войск, он счел нужным предупредить своих подчиненных, что «соображения о бережном отношении к местным ресурсам на данный период не должны приниматься во внимание. Нормы «полагающегося» продовольствия в расчет не принимать». Грабь население — вот к чему призывает свои войска генерал-от-инфантерии.

Немецкая военно-строительная организация, так называемая организация Тотта, не смогла справиться со строительством и исправлением дорог, разрушавшихся партизанами. Гитлеровские генералы находят выход в принуждении к этим работам населения оккупированных сел.

В директиве № 40/42 от 8 января 1942 года, подписанной за командование Южной армейской группой начальником штаба фон Зоденштерном, предлагается «еще в большей степени, чем до сих пор, привлекать гражданское население к работам, не считаясь ни с какими нормами. В этой связи необходимо указать на то, что трудности со снабжением населения, привлекаемого к работам, должны отступить на задний план по сравнению с тем значением, которое имеет строительство укреплений и дорог».

Другими словами, если расшифровать эту директиву: выжимай все, что возможно, из местного населения на дорожных работах, но не беспокойся о нем — пусть умирает от истощения во имя «великой» Германии.

Но все эти директивы меркнут перед кровожадными приказами в отношении раненых военнопленных и мирного населения, издававшимися тем же генералитетом.

В приказе по 76-й пехотной дивизии за № 665/41, подписанном де Ангелисом 11 октября 1941 года, говорится:

«По мере приближения к индустриальной области надлежит приучить войска к методам ближнего боя, к выделению команд по разминированию объектов, ле-

жащих впереди наступающей части. Необходимо применять для работ, связанных с опасностью для жизни, пленных и отдельных лиц из местного населения».

Еще более открыто говорится об этом зверском нарушении международного права в отношении военнопленных в приказе № 109 от 2 ноября 1941 года командира 203-го пехотного полка Роденбурга из той же 76-й пехотной дивизии. Без всяких обиняков приказ объявляет:

«Главкомандующий армии приказал, чтобы вне боевых действий, в целях сохранения германской крови, поиски мин и очистка минных полей производились русскими военнопленными. Это также относится и к германским минам. Для этой цели команды военнопленных должны быть снабжены трофейными электроминоискателями, а при их отсутствии выдавать германские миноискатели».

Типпельскирху, вероятно, известны эти установки главного командования. Надо думать, что в качестве командира дивизии он сам их придерживался. Как должное, он, вероятно, принимал и указания, подобные тем, которые отдавал его коллега на Южном фронте, командовавший 76-й пехотной дивизией. Когда под нажимом наших войск этой дивизии пришлось в Донбассе отходить на новые рубежи, ее командование в приказе № 137/42 поставило перед отдельными частями задачу уничтожить мосты, блиндажи, а заодно и жилища местного населения. Приказ предлагал:

«Долг каждого солдата — разбить окна и рамы, полностью разрушить в домах печи, а также всякую утварь, которая могла бы пригодиться врагу. Разрушение произвести также там, где еще живет гражданское население».

Начать поджигать дома в 5.00 22.2.42 г.

Годное к военной службе мужское население построить в рабочую колону и увести с собой».

Неслыханны в истории цивилизованных европейских народов приказы гитлеровской военщины о «помощи» советским раненым военнопленным! Вот директивы от 8 августа 1941 года штаба 49-го горного корпуса

за подписью генерала Кюблера «Относительно медицинской помощи русским раненым пленным». Здесь черным по белому написано:

«1. Медицинская помощь русским пленным на поле боя может оказываться только после того, как будет оказана помощь своим раненым и последние будут эвакуированы».

...Эта помощь оказывается при условии, если в наличии имеются в достаточном количестве лекарства и перевязочные средства с учетом своих собственных потребностей в дальнейших боях и операциях, а также и возможность подвоза санитарного имущества».

2. Транспортировка русских раненых с поля боя до перевязочных пунктов в санитарных машинах санитарных частей дивизии запрещается. Транспортировка должна осуществляться самими же пленными».

Совершенно ясно, что все оговорки и «условия», придуманные автором директивы, по существу сводили на нет медицинскую помощь раненым военнопленным. Какой же забывчивостью надо было страдать Типпельскирху, чтобы после всего этого без всякого стеснения утверждать в своей книге, что «немецкие солдаты стали невинными жертвами бесчеловечности прекратившего свое существование режима».

В. И. Ленин в «Письме к американским рабочим» указывал, что «германские разбойники побили рекорд по зверству своих военных расправ». Во второй мировой войне, особенно против Советского Союза, арийские «сверхчеловеки» значительно превзошли своих предшественников. И это всецело относится к гитлеровскому генералитету, ко всем этим Шпейделям, Хойзингерам, Ценкерам, Типпельскирхам. Открещиваясь от Гитлера, они хотели бы уверить мир, что, во-первых, были невинными агентами, а во-вторых, если бы не Гитлер, то не проиграла бы войну».

Но, как говорит пословица, «черного кобеля не отмоешь добела». Читая Типпельскирху и одновременно перечитывая зверские приказы немецких генералов, понимаешь справедливость этой пословицы. У народов крепкая память. И никакие переименования гитлеровского вермахта в аденауэровский бундесвер не скроют агрессивности западногерманских милитаристов и не обелят его генералитет».

Т. ЛИЛЬИН.

Уроки войны на Тихом океане

Перед нами переведенный на русский язык труд «Кампании войны на Тихом океане». Среди множества вышедших за границы работ, посвященных операциям второй мировой войны, эта работа — одна из наиболее документированных.

Книга составлена Комиссией по изучению стратегических бомбардировок авиации США, которой было поручено, как гласила директива президента США, «проведение беспристрастного и квалифицированного изучения эффекта воздушных атак... и создание базы для оценки важности и возможностей воздушной мощи в качестве инструмента военной стратегии, для планирования будущего развития вооруженных сил США и для определения будущей экономической политики, связанной с национальной обороной».

Как известно, вступлению Америки в войну с Японией предшествовало нападение японцев на тихоокеанские базы и владения США. 7 декабря 1941 года подверглись атаке американские базы на Гавайях (Пёрл-Харбор) и Филиппинских островах, а также на островах Гуам и Уэйк. Американский флот в результате этих ударов понес тяжелые потери, японцам же удалось овладеть стратегической инициативой, обеспечить себе выгодные условия для наступательных действий в юго-западной части Тихого океана. Ими были захвачены Филиппинские острова, Малайя, Сингапур, Новая Гвинея, в результате чего позиции японских сил приблизились вплотную к Австралии.

В последующем благодаря большому военно-экономическому превосходству США над Японией, более высокому техническому уровню ее промышленности и, что является весьма важным, полной безопасности американского континента от ударов со стороны японских вооруженных сил, США в довольно короткий срок восполнили свои потери и создали силы, значительно превосходящие силы противника. Это в конечном счете и обеспечило возможность нанесения ряда крупных поражений японским воору-

женным силам, но до середины 1944 года темпы продвижения американцев были весьма низкими. Так, борьба за остров Новая Гвинея продолжалась около двух лет.

Лишь после достижения в 1944 году решающего превосходства в силах, когда, по словам комиссии, «авиация союзников совершала тысячи самолето-вылетов, японская авиация отвечала лишь десятками», когда «союзники имели в море у побережья Новой Гвинеи крупные силы авианосцев, крейсеров, эскадренных миноносцев, торговых судов, у японцев здесь не было ничего», продвижение американских и союзных войск начало осуществляться в более высоких темпах.

В дальнейшем военно-экономическое превосходство США возрастало все в большей и большей степени и, наоборот, сила сопротивления Японии убывала, так как ее военная промышленность оказалась не в состоянии восполнять свои потери прежде всего в самолетах, авианосцах и торговых судах.

Занятие Марианских островов (середина 1944 года), имевших исключительно важное значение для Японии, открыло американцам путь на север — к японским островам и на запад — к Филиппинам, Формозе (Тайвань) и побережью Китая. После поражения у острова Сайпан кабинет Тодзиро уступил место новому правительству, которое вынуждено было подвергнуть «коренному пересмотру» проблемы дальнейшего ведения войны.

С захватом западных Каролинских островов (сентябрь 1944 года) флот США получил передовые базы для дальнейшего наступления. До этого времени цепь островов Филиппины — Формоза (Тайвань) — Рюкю достаточно надежно прикрывала коммуникации Японии, проходившие в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, что решало задачу снабжения Японии сырьем и особенно нефтью. С прорывом этой «цепи» могли быть нарушены коммуникации, от которых в значительной степени зависел исход всей войны.

Спасение от нависавшей угрозы общего поражения японское командование видело в проведении успешного генерального сражения. Главнокомандующий японским соединенным флотом в специальном приказе от 4 июня 1944 года писал: «Мы должны достигнуть поставленных перед нами целей, сокрушив в одном ударе» (разряд-

Кампании войны на Тихом океане Материалы Комиссии по изучению стратегических бомбардировок авиации Соединенных Штатов. Под общей редакцией и с предисловием профессора, адмирала флота Советского Союза И. С. Исакова. 510 стр. Военное издательство. М. 1956.

ка моя. — Л. В.) основное ядро крупных сосредоточенных сил противника, чтобы изменить тем самым создавшееся военное положение», и дальше: «и в одном сражении решить судьбы империи». Таким сражением, в котором японцы имели еще какие-то надежды нанести крупное поражение американцам, и явилось сражение за Филиппины, происшедшее в октябре 1944 года.

Странное впечатление производит это решение в современную нам эпоху, когда всем ясно, что одним сражением уже нельзя решить судьбу крупного государства. В нем проскальзывает авантюризм не только стратегии, но и всей политики японской военной клики. Конечно, упорное сопротивление японцев не прекратилось и после этого проигранного ими сражения за Филиппины. И, безусловно, в призыве к решающему сражению прежде всего нужно видеть стремление японского командования поднять боевой дух армии и флота, вселить уверенность, что еще есть возможность нанести поражение врагу.

В результате боев за Филиппины, длившихся с октября 1944 года по январь 1945 года, японцы потеряли 68 кораблей и около семи тысяч самолетов¹.

Характерной чертой операций, завершающих войну, является подавляющее численное превосходство американской авиации. Невозможность пополнения летными кадрами и острая нехватка горючего лишали японскую авиацию способности к эффективной борьбе в воздухе. Это вынудило японцев перейти к тактике «камикадзе» (летчики-смертники), которая применялась и раньше, но в меньших масштабах.

«Высадка и захват о. Окинава были величайшей десантной операцией тихоокеанской войны», — свидетельствует комиссия. В этой операции экспедиционные силы состояли из 1 213 кораблей, 564 самолетов и 451 866 солдат и офицеров. Эти силы поддерживались авианосными соединениями, имевшими 104 корабля и 1 163 самолета. Японские части, защищавшие остров, составляли около 80 тысяч человек.

Несмотря на столь значительное превосходство американской стороны, «боевые действия на берегу, — говорят материалы комиссии, — развивались медленно». Пона-

добилось около трех месяцев для захвата и ликвидации сопротивления на острове длиной около 120 километров и шириной (в средней части) до 15 километров.

Потеря острова Окинава, расположенного всего лишь в 350 милях от острова Кюсю, была тяжелым ударом для японцев.

Американцы начали готовиться к вторжению на остров Кюсю, которое было намечено провести в ноябре 1945 года. Но уже 15 августа военные действия прекратились, причем, по свидетельству комиссии, «10 августа были получены первые данные о согласии Японии на капитуляцию».

Так выглядят некоторые основные разделы официального отчета огромной комиссии, размещившейся в Токио в 1945 году и состоявшей из трехсот гражданских сотрудников (химиков, физиков, инженеров, врачей, экономистов и т. д.), трехсот пятидесяти офицеров и пятисот рядовых. В своей работе комиссия использовала не только официальные японские документы, но и данные опросов многочисленных участников боев и операций.

Описание действий стратегической авиации, бомбардировавшей японские города, порты, базы и сбросившей две атомные бомбы, вошло в остальные доклады, составившие сто семь томов.

Адмирал флота Советского Союза И. С. Исаков в предисловии к книге «Кампании войны на Тихом океане» справедливо отмечает, что настоящий отчет «представляет собой американский вариант описания главнейших событий войны на Тихом океане», и дает критическую оценку этому труду.

Комиссия не делает политических выводов о причинах капитуляции Японии и не упоминает о таком событии, сыгравшем решающую роль в сроках завершения войны на этом театре военных действий, как вступление в войну с Японией Советского Союза. А между тем даже самое общее рассмотрение событий, развернувшихся на этом театре в августе 1945 года, дает весьма убедительную картину причин столь быстрой капитуляции Японии.

Как известно, 9 августа, выполняя свои договорные обязательства перед союзниками, Советский Союз вступил в войну с Японией, поставив ее перед необходимостью вести войну на два фронта. Вот почему 10 августа японское правительство решило принять требования о капитуляции, тогда как еще 26 июля

¹ По данным комиссии, к которым следует относиться критически.

оно отклонило эти требования. Как американские исследователи второй мировой войны, так и раболепствующие перед США исследователи из других зарубежных стран, стремясь умалить роль Советского Союза, обходят молчанием этот факт, объясняя капитуляцию Японии только воздействием двух атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Нельзя отрицать, что взрывы этих бомб оказали серьезное влияние на решение о капитуляции. Но в то же время остается историческим фактом, что японское правительство сообщило о своем решении капитулировать на следующий день после выступления Советского Союза.

Основная ценность книги «Кампании войны на Тихом океане» заключается в том, что публикуемый материал содержит большое количество подлинных документов — отчетов, докладов, схем боев и сражений, карт передвижений японских соединений, что позволяет составить определенное суждение о характере военных событий на Тихоокеанском театре. Анализ изложенных материалов дает возможность определить основные черты не только стратегии и оперативного искусства противостоявших друг

другу флотов, но и некоторые особенности тактики корабельных соединений и даже отдельных кораблей.

Особое значение в ведении боевых действий на таких обширных океанских просторах имела боевая деятельность оперативных авианосных соединений, являвшихся основной ударной силой флотов противников и развенчавших роль линейных кораблей, которые до тех пор считались «становым хребтом флота».

Действия подводных лодок — как американских, так и японских — представлены в отчете наиболее слабо. Однако из книги видно, что действия подводных лодок США протекали в значительно более простой обстановке (отсутствие у японцев эффективной организации конвоев, малочисленность и техническая отсталость средств противолодочной обороны), чем, например, действия немецких подводных лодок в Атлантике.

При изучении труда комиссии советский читатель должен будет и, конечно, сможет критически оценить ее заключения и выводы, которые часто грешат предвзятостью и односторонностью.

Адмирал Л. ВЛАДИМИРСКИЙ.



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

не только не платят жителям их прогонных денег, но еще и с них собирают.

«Ужасно! — отмечает головнинская рука на полях книги. — Но к несчастью справедливо.

НА ЕДИНЕ С КНИГАМИ

Много лет я собираю книги. Много лет книги дарят меня находками. Найдки позволяют проникнуть в глубину жизни писателей, отделенных от нас иногда столетиями. Исследователи литературы хорошо знают радость таких находок: надо пройти сложный лабиринт фактов, сопоставлений, архивных материалов, эпистолярного наследия писателя.

Открытия книголюба проще, но не менее поучительны. На моих книжных полках есть книги, с которыми у меня давно установилось потаенное содружество. Я знаю некоторые их тайны, открытие которых волнует меня потому, что они дополняют образ писателей, написавших эти книги, или образ владельцев этих книг; на мой взгляд, это общение с книгами чудесно; попробую рассказать о некоторых книгах читателям.

За плечами знаменитого русского флотоводца Василия Михайловича Головнина лежали не одно морское плавание и изыскание; знал он много. Книги он любил и читал их вдумчиво и критически, делая на полях карандашные отметки, то гневные и обличительные, то деловые и саркастические; описания личных его плаваний были сделаны превосходным литературным языком.

В моей библиотеке хранятся два томика, некогда принадлежавшие Головнину, с надписью владельца, и исписанные на полях его карандашными пометками. Томики эти под названием «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним» отпечатаны в Санкт-Петербурге в Морской типографии в 1810 году. Пометки Головнина на полях этих книг свидетельствуют о внутренней прямоте прославленного моряка.

Описывая свое путешествие, Давыдов отмечает, что, несмотря на крайнюю бедность жителей, поселенных к низу Лены, между Олекминском и Якутском, бывают такие проезжие, которые, считая себя по отдаленности края вне опасности от жалоб,

Штатные чиновники дерут с них кожу. В 1813 году почтмейстер из Якутска ехал в Иркутск, брал по 9 и 11 лошадей, а прогоны платил по подорожной за пару!»

В другом месте, где Давыдов отмечает, что тунгусы приучены русскими купцами к водке, справедливая головнинская рука приписывает сбоку: «Да и чиновниками тоже». Головнин возмущен притеснениями русскими чиновниками чукчей (чугачей), научивших чукчей притворяться и говорить неправду.

«Да и как же быть сему иначе? — гневно восклицает он. — Какой народ может говорить искренно со своими притеснителями?»

Царская политика на Крайнем Севере России отличалась колонизаторской жестокостью. Так называемых островитян заставляли присягать в верности государю. Резкая отметка Головнина имеется на полях книги против соответственного текста: «Однако ж это дело! Присваивать вольный народ себе в собственность есть дело крайне несправедливое!»

Тяжела жизнь островитян, страдают они болью в груди от усиленной и продолжительной гребли в байдарке, впадают в чахотку и лишаются сил, отмечает в своем описании Давыдов.

«Везде видны следы христиан, озаряющих светом истины народы непросвещенные... для пополнения своих карманов», — отмечает Головнин. «Поступки человека к человеку поневоле заставляют сомневаться в бытии божием. Провидение! открой истину непросвещенным обитателям земного шара и избавь от трудов и хлопот библейские общества приготавливать им на многих типографических станках царство небесное!» — пишет со страстью Головнин, имея в виду библейские и миссионерские общества, насаждавшие во всем мире колониализм.

Головнин с величайшим сочувствием относится к малым северным народам.

«Сколько открытий имеют дикие, могущих быть для нас полезными, но пользоваться ими несомненно с нашим честолюбием!» — отмечает он по поводу сообщения Давыдова

об умелости и сноровке островитян. В главе о распространении среди островитян христианской веры Давыдов отмечает, что прибывшие на Кадьяк архимандрит и монахи встретили много препятствий в исполнении своих намерений и что препятствия эти были и от незнания священниками языка. Головин добавляет на полях: «и дурного их поведения и от нелепости преподаваемого, но более от того, что примеры отнюдь не способствовали учению», имея в виду невежество и распутство духовных лиц, «самых мерзких людей!» — определяет Головин.

Во множестве карандашных пометок, подчеркнутых строчках, восклицательных и вопросительных знаках можно ощутить твердый характер знаменитого мореплавателя, патриота и оберегателя русской чести. В пометках этих во всей полноте проявляется благородство просвещенного деятеля, непримиримого к взяточничеству, поборам и угнетению человека.

«Убей, да поделись, эпитафия русского законодательства на опыте», — пишет Головин по поводу царской политики, осуществлявшейся чиновниками среди малых разоряемых народов Севера.

В двух томиках Хвостова и Давыдова с пометками Головина запечатлен целый исторический период России, когда ее просвещенные и отважные люди проникали в далекие моря, открывали новые земли, с сочувствием описывали малые, дотоле неизвестные народности, и следом хищно шли чиновники и полицейские, порабощая, грабя и спаивая целые народы.

В 1794 году у Гавриила Романовича Державина умерла его первая жена. В «Записках» Державина, изданных «Русской беседой» в 1860 году, есть такая запись:

«Июля 15-го числа 1794 году скончалась у него первая жена. Не могла быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он Генваря 31 дня 1795 года на другой жене, девице Дарье Алексеевне Дьяковой.

...В одно время, сидя в приятельской беседе, первая супруга Державина и вторая, тогда бывшая девица Дьякова, разговорились между собой о счастливом супружестве. Державина сказала, ежели бы она г-жа Дьякова вышла за г. Дмитриева, который всякой день почти в доме Державина и коротко был знаком, то бы она не была безсчастлива. «Нет, отвечала девица, найдите

мне такова жениха, каков ваш Гавриила Романович, то я пойду за него, и надеюсь, что буду с ним счастлива». Посмеялись, и начали другой разговор. Державин, хотя близь их, слышал отзыв о нем девицы, который так в уме его напечатлелся, что когда он овдовел и при мысли искать себе другую супругу, она всегда в воображении его встречалась».

Библиотека Державина попала в составе так называемой «Нарышкинской особой библиотеки в г. Тамбове» в Тамбовскую губернскую библиотеку, после революции частично распавшуюся; ряд книг из этой библиотеки поступил в букинистические магазины Москвы. Уже в давние годы приобрел я книжку «Анакреонтические песни» Г. Державина, изданную в Петрограде в 1804 году. На первой чистой страничке этой книжки, переплетенной в красный марокен, есть дарственная надпись Державина. Надпись эта, однако, зачеркнута Державиным в такой степени, что можно только разобрать следующее: «Ее превосходительству Дарье Алексеевне Дьяковой автор...» Внизу же вместо зачеркнутой надписи следует написанное Державиным двустишие:

Пышная надпись черна
В память Дашиныьке дана.

Вторая надпись последовала, когда Д. А. Дьякова стала его женой.

В книжке множество стилистических и смысловых поправок рукой Державина, но наибольший интерес представляет шуточный вариант его известного стихотворения «Пчелка». Приведем печатный текст стихотворения и написанный на полях рукой Державина вариант:

ПЧЕЛКА

Пчелка златая, Что ты жужжишь? Все вокруг летая Прочь не летишь. Или ты любишь Лизу мою?	Каша златая, Что ты стоишь? Пар испущая, Вкус мой манишь. Или ты любишь Пузу мою?
---	--

Соты ль душисты В желтых власах, Розы ль огнисты В алых устах. Сахар ли белой Грудь у неа?	Зерны ль златисты Полбы в крупах, Розы ль огнисты Гречи в горшках, Сахар ли белой Проса с млеком?
---	--

Пчелка златая, Что ты жужжишь? Слышу, вздыхая,	Каша златая, Что ты стоишь? Слышу, вздыхая,
--	---

Мне говоришь: Мне говоришь:
К меду прилипнув, К каше привыкнув,
С ним и умру. С тем и умрешь.

В библиотеке Державина были книги, подаренные ему другими авторами. Почти в ту же пору, уже много лет назад, купил я одновременно с «Анакреонтическими песнями» Державина первые две части «Сочинений Ивана Дмитриева», изданных в 1803 году и подаренных автором Державину. На первой чистой странице есть автограф Дмитриева: «Его Высокопревосходительству Милостивому государю Гавриилу Романовичу от автора. Москва, 1803 года, Сентября 21 дня».

Свыше двух десятилетий стояли у меня на книжной полке эти переплетенные в один том первая и вторая части сочинений Дмитриева, когда вдруг я натолкнулся в одном из букинистических магазинов в каком-то из городов на третью часть этих же сочинений, вышедшую в 1805 году, тоже с автографом Дмитриева Державину: «Его Высокопревосходительству Милостивому Государю Гавриилу Романовичу Державину в знак душевного почтения от Издателя».

Так после многолетней разлуки соединились у меня все три части, и, глядя на них, я с особым чувством думаю об удивительной судьбе книг.

Авдотья Петровна Киреевская была племянницей поэта Василия Андреевича Жуковского. К своим племянницам, сестрам Юшковым, — одна из них впоследствии Авдотья Петровна Киреевская-Елагина, другая известная в свое время детского писательница Анна Петровна Зонтаг, — Жуковский относился с глубоким вниманием и нежностью. Известна обширная переписка с обеими племянницами.

Однажды, заключая, видимо, какие-то давние взаимные споры о назначении поэзии, Жуковский подарил А. П. Киреевской книжку из своей библиотеки. Книжка была на французском языке под названием: «О старости или древний Катон. О дружбе или Лелий. Творения Цицерона, переведенные М. Королевским судьей Д***. Париж, 1780». На титульном листе книжки есть надпись на французском языке: «Василий Жуковский — госпоже Киреевской», сделанная рукой Жуковского. На первой же пустой страничке книжки Жуковский написал четверостишие, из которого можно

понять, что был спор между ним и племянницей о поэзии:

Пусть Дружба, не смотря на спор,
Нас поведет до Старости веселой.
Цитайте в добрый час поэзию за вздор.
Но верте, что теперь она сначала дело.
1814. Генварь 11.

Подчеркнутые Жуковским слова «дружба» и «старость» находятся в перекличке с названием подаренной им книжки. Маленькое неизвестное четверостишие характеризует взгляд Жуковского на значение поэзии и приоткрывает страничку из биографии поэта.

Иван Андреевич Крылов скончался 9 ноября (ст. стиля) 1844 года. Его последним распоряжением было разослать всем знакомым по экземпляру нового издания его басен («Басни И. А. Крылова в девяти книгах. Санктпетербург. 1843»).

Душеприказчик Крылова Я. И. Ростовцев на рассвете того же дня, когда умер Крылов, распорядился, чтобы в типографии ручным способом была тиснута на первом чистом листе каждого экземпляра следующая надпись:

«9-го Ноября.
4¹/₂ часов утра.
По желанию Ивана
Андреевича Крылова

Присланное душеприкащиком его Яковым Ивановичем Ростовцевым».

В таком виде вместе с траурным объявлением экземпляры книги были в то же утро разосланы знакомым Крылова.

На экземпляре, который хранится в моей библиотеке, написано от руки следующее: «1844. Через три часа с четвертью, после изъявления желания чтобы всем знакомым его было послано по экземпляру басен, И. А. Крылов — скончался!».

Книга эта была прислана отцу моему в 4 часа пополудни вместе с приглашением на погребение поэта, и немедленно отдана была мне.

В память траурной ее обертки из белого картона с черным ободочком я сделал настоящий ее переплет.

Николай Арбузов».

Переплет, сделанный из белого муара с черным траурным ободком в точности воспроизводит картонную обложку. Николай Алексеевич Арбузов был, по-видимому, племянником поэта Н. А. Арбузова.

Предсмертное распоряжение И. А. Крылова глубоко трогательно; трогает и то, что наборщики в несколько часов успели тиснуть ручным способом на каждом экземпляре надпись.

За плечами Ивана Александровича Гончарова уже лежали и кругосветное путешествие на фрегате «Паллада», и романы «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». Он был знаменит, но до чрезвычайности одинок и впечатлителен к чужому вниманию. В эти годы он редко выходил из дому, болел, сомневался в себе; ему казалось, что больше он уже ничего не напишет, а то, что написано им, никто читать не будет.

В числе его немногих друзей были редактор—издатель журнала «Вестник Европы»—Михаил Матвеевич Стасюлевич и его жена Любовь Исаковна. В 1882 году Стасюлевичи пригласили Гончарова встречать у них Новый год. Иван Александрович, вероятно, долго отнекивался, ссылаясь на недомогание; вероятно, больших трудов стоило его вытащить из дому. Но его встретили восторженно, глубоко растрогали старого больного писателя, и его дарственная надпись на романе «Обломов», вышедшем год спустя новым изданием, сохранила умиленную теплоту писателя. Гончаров не забыл встреченного в семействе Стасюлевичей Нового года и в память об этом вечере послал 31 декабря 1883 года Л. И. Стасюлевич свою книгу с надписью слабым стариковским почерком:

«Дорогой приятельнице Любви Исаковне Стасюлевич 31 декабря 1883 г. благодарный от души и сердца за венок, сплетенный ею 31 декабря 1882 года, и неизменно преданный автор».

Строки эти как бы воскрешают в наглядности новогодний вечер 1882 года, когда специально сплетенный венок был торжественно и любовно возложен на голову Гончарова в доме Стасюлевичей.

Александр Иванович Урусов был одним из блистательных московских адвокатов. Его судебные речи до сих пор служат образцом ораторского и юридического искусства.

Помимо адвокатской деятельности, Урусов занимался еще и литературой, писал критические статьи, пропагандировал лучших западных писателей. Кроме того, он

был и прославленным собирателем книг, обладателем исключительной библиотеки. Книги Урусова можно узнать не только по тому, что на корешке есть инициалы А. У., но и по тому, как эти книги оформлены; на оформление принадлежавших ему книг Урусов не жалел денег, и книги эти всегда хранят следы талантливой выдумки владельца.

Одним из больших друзей Урусова был известный адвокат по уголовным делам С. А. Андреевский, тоже одновременно литератор и поэт.

Я приобрел как-то одну из великолепно переплетенных в полный марокен книг, принадлежавших Урусову: «С. А. Андреевский. Стихотворения. 1878—1885. С. Петербург. 1886».

Авторская надпись на книге: «Кровному эстетике слова А. И. Урусову на снисходительный суд и добрую память. С. Андреевский. 24 Дек. 1885».

Урусов вклеил в книгу портрет Андреевского, оригинал неопубликованных стихотворений «Голоса» и «Поэт», а также письмо Андреевского, которым тот сопроводил посылаемую книгу.

Приведу текст письма, характеризующего Урусова как ценителя литературы и библиофила:

«Посылаю тебе, мой друг, портрет, автограф и вырезку из газеты. Ты меня совсем конфузишь таким приемом книги, на который у нее нет никакого права. Одно помни — что грех издания отчасти лежит на тебе...

Портрет плох, т. е. подкрашен, приглажен и мало меня передает — какой-то полнощечный фронт. За автограф извиняюсь — даю отрывок, который никогда не помещался в печати — из моих старых набросков. Новое, что есть в зачатке — совсем сырое. Если портрет найдешь окончательно дрянным, то для твоей роскошной затеи готов сняться. Чудак ты! — Твой С. Андреевский».

Затея Урусова была действительно роскошной: он создал уникальный экземпляр стихотворений Андреевского, заботливо пометив на нем рукой библиофила: «Один из десяти экземпляров на слоновой бумаге. Прим. А. Урусова».

К А. И. Урусову с большим уважением относились многие писатели, и на книгах из его библиотеки можно увидеть самые сердечные дарственные надписи авторов.

Сборники стихотворений Сергея Аркадьевича Андреевского вышли в 1886 и 1898 годах. Его же перу принадлежит книга «Ли-

тературные чтения»: сборник статей о Толстом, Лермонтове, Достоевском, Некрасове и других (1891). Широко известна и его книга «Защитительные речи», вышедшая в 1898 году третьим изданием.

В 1907 году вышло и два больших тома сочинений А. И. Урусова, в которых помещены его превосходные статьи по вопросам литературы, театра и искусства.

Вплетенное в книгу стихотворение «Поэт» раскрывает отношение к поэзии С. А. Андреевского.

ПОЭТ

Из непроглядного тумана,
Как шум далекий океана,
Наш гимн звучит иным векам
О всем, что близко было нам,
Как вы — я сын своей эпохи,
Моих трудов сметутся крохи
С трудами прочими в архив:
Рассудит нас, кто будет жив.
В тот хор невольных песнопений
Я также лепту приношу;
Хвалы от вас я не прошу
И не желаю поощрений,
Но, для грядущих поколений,
Я ваши стоны заношу.

С. Андреевский.

Приобретя однажды собрание литературных статей Н. И. Пирогова, изданное в 1858 году в Одессе и переплетенное в один том с другими интереснейшими материалами о Пирогове, я обнаружил автограф вклеенного в книгу неизвестного стихотворения Ивана Бунина. Ни в одном из собраний стихотворений Бунина публикации этого стихотворения я не нашел.

ПАМЯТИ Н. И. ПИРОГОВА

«Я счастлив тем,— не раз он говорил,—
Что вот имею голову седую,
А юности своей не позабыл
И уважать привык чужую!»

Да, это счастье! В мертвой тишине
И сумраке осеннего ненастья
Идти вперед, мечтая о весне,
О светлых днях — большое счастье!

Прекрасна, верно, та весна была,
Сияло ярко солнце над землею,
Когда земля воскресшая цвела,
Дышала вешней красотою...

И дух велик, не сгинувший в борьбе,
Тот дух, что с беззаветною любовью
Восторг весны не умертвил в себе
И не предал его злословью.

А если он лишь вечному служил,
Оберсгал святое в человеке,—
Он смерть своей любовью победил
И не умрет уже вовеки!

Ив. Бунин.

Стихотворение это было написано, по-видимому, в 1891 году, когда отмечалось десятилетие со дня смерти Н. И. Пирогова. Бунину в ту пору было двадцать один год.

Так книги иногда приоткрывают глубокие страницы прошлого и одаряют находками не только книголюба, но и всех тех, кому дороги судьбы писателей и интересы литературы.

Вл. ЛИДИН.



РЕПЛИКИ

КРАСИВОЕ, НЕДОРОГОЕ — В БЫТ

В Москве недавно были организованы подряд две выставки прикладного искусства — РСФСР и Всесоюзная. Я их посетила и решила поделиться своими мыслями и впечатлениями с читателями.

Прикладное искусство призвано украшать быт людей. Меня всю жизнь привлекали солнечные, яркие тона, смелые сочетания красок. И выставка порадовала нас богатством воображения художников, множеством изящных недорогих вещей. В зале Эстонской ССР вдоль стен свисали полотнища декоративных тканей красиво-го рисунка, ярких и вместе с тем мягких сочетаний красок. На стендах — кувшины и кувшинчики, блюда и чашки из майолики, ткани, дачная мебель и забавные плюшевые игрушки, выполненные художницей Адамсон с большим искусством и мягким юмором. Наверное, нашим детям очень захотелось бы потереться щекой о спинку грустного зайца с поднятым ухом, взять в руки пушистого ярко-желтого и задорного цыпленка, но... из-под стекла их не достанешь, а в магазине не купишь — нет их не только в Москве, но и в самой Эстонии.

И еще одно достижение эстонских художников мне хотелось отметить — общее для всех. В рисунках тканей,

в орнаментах, украшающих вязанные джемперы и детские костюмы, в форме керамических изделий — везде присутствуют элементы народного творчества, но выглядят эти вещи отнюдь не архаично, они вполне отвечают современным вкусам и моде.

Мы прошли все залы выставки, видели туркменские ковры, дагестанские сосуды для вина, украинские костюмы и многое другое. Это очень интересно и своеобразно. Но описывать все я не могу — и не специалист, и места нет. Скажу о другом — на мой взгляд, очень характерном.

Мы долго осматривали самый большой зал, отданный Российской Федерации. Стенды были заставлены множеством чрезвычайно дорогих и далеко не всегда красивых сервизов. Но вот мы увидели прелестный желто-коричневый фаянсовый прибор для завтрака художницы Альтерман. «Где его можно купить?» — спросили мы экскурсовода. «Нигде. Он не тиражируется» (то есть не делается на заводах). И вот это словечко «не тиражируется» сопровождало нас почти по всему залу. «Не тиражируется» сервиз «шиповник», «не тиражируется» кувшин для воды, сделанный художником Титовым из цветного стекла. Кувшин называется «петух» и необыкновенно привлекателен своими солнечными, яркими красками и петушиной головкой на носике. Фаянсовый кофейный сервиз художницы Литвиненко «тиражируется» и стоит 60 рублей, но оказалось, что фаянсовый завод

имени Калинина выпускает в месяц десятки таких сервизов, а выпускать надо десятки тысяч.

И так весь зал: красивые ситцы, которых нет в магазинах, яркие и дешевые декоративные ткани, прелестное белое детское платьице с цветным фартучком-купоном. «Кто это сделал?» — «Модель художницы Тимченко, а фартучки делала Трехгорка». — «Делала?» — «Да, теперь не делает». — «Почему?» — «Не знаем».

Экскурсовод не мог ответить на мой вопрос, почему же наша промышленность не выпускает простых, изящных, дешевых вещей — тех, что стоят на стендах выставки, почему на полках магазинов красуются сервизы ценой от полутора и до пяти (!) тысяч рублей и нет сервизов и просто чашек, дешевых и красивых, почему выпускают аляповатые фарфоровые статуэтки и не выпускают изящных экспрессивно сделанных статуэток из керамики.

На выставке я не получила ответа на свои вопросы, но впоследствии выяснила вот что. Для заводов — фарфоровых и фаянсовых — существует преёскурант, и составлен этот преёскурант так, что заводу невыгодно выпускать дешевые изделия. Почему же не выпускают вещей средней стоимости, но красивых, новых форм, новых рисунков? Заводы в период освоения новой модели, как правило, план выполнить не могут и, следовательно, премий не получают. Потому-то директора заводов и отмахиваются от новых моделей, особенно от дешевых.

На выставке я видела работы замечательных народных художников. Они со-

здают простые и красивые вещи. Художникам устраивают выставки, выдают почетные дипломы, а дальше дело не идет.

Мне бы хотелось, чтобы все краски этой выставки были перенесены в квартиры советских людей, чтобы простые, изящные, недорогие вещи украсили их быт.

В. МАРЕЦКАЯ,
народная артистка СССР.

★

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Издания избранных работ даже наиболее видных наших литературоведов и критиков появляются крайне редко. Если за последнее время вышли в свет сборники статей ныне работающих советских литературных критиков, то совсем плохо обстоит дело с изданием произведений тех представителей науки о литературе и критике, которых уже нет с нами. В журналах тридцатых и сороковых годов, пылящихся на полках библиотек, во всевозможных академических изданиях и «Ученых записках» различных институтов, как правило, выходявших ничтожными тиражами, погребено немало ценных и интересных статей, которые сохраняют и сейчас свое значение, но перечитать которые сейчас практически невозможно.

Конечно, есть множество книг и статей критиков и литературоведов, которые скучно и бесполезно перечитывать спустя даже несколько лет после их публикации. Впрочем, не больше интереса возбуждали они у читателей и в момент их выхода. Тем больше внимания и интереса должно быть уделе-

но нашим достижениям в литературоведении, над которыми нависла угроза забвения.

Правда, за последнее время издано несколько книг, нарушающих этот заговор молчания. Вышел через шестнадцать лет после смерти автора сборник избранных работ В. Р. Гриба, оказавшихся свежими и нужными и сейчас, не менее чем в момент их создания. Вышел сборник избранных статей В. Б. Александрова, правда, не слишком удачно составленный (из интереснейших его статей о Пушкине включена только одна, зато включена одна из слабейших статей покойного критика о Некрасове, отсутствуют указания, где впервые были опубликованы статьи). Появились избранные работы М. М. Морозова. В печати было сообщенье о подготовке сборника статей М. А. Щеглова.

Думается, что стоит напомнить еще некоторые имена. Скокчавшийся в 1950 году С. Д. Кржижановский был интересным и остроумным исследователем. Увы, в журналах двадцатилетней давности покоятся его яркие и талантливые статьи о Б. Шоу, Шекспире, Чехове и других, на каждой из которых сказалось незаурядное дарование их автора. Стоит пожелать скорейшего издания избранных статей С. Д. Кржижановского.

Умерший в 1940 году Л. В. Пумпянский был литературоведом широких знаний и научных интересов. Его статьи о Тютчеве, Лермонтове, Тургеневе, Тредняковском и других перечитывать сейчас не менее поучительно, чем в момент

их появления. И хотя уже семнадцать лет прошло со дня смерти Л. В. Пумпянского, его избранные работы, если бы их объединить и издать, читались бы с большой пользой многочисленными нашими литературоведами и просто читателями, интересующимися прошлым нашей литературы.

Во время блокады Ленинграда погибли два крупных литературоведа—В. В. Гиппиус и В. Л. Комарович. Первый из них касался разнообразных проблем истории русской литературы (проза Пушкина, Тютчев, Некрасов в истории русской поэзии XIX века, Гоголь, Салтыков-Щедрин и др.). Его работы и сейчас представляют большую ценность и, безусловно, заслуживают издания отдельной книгой. В. Л. Комарович был знатоком Достоевского, автором ряда серьезных исследований о нем, помещенных в различных журналах и сборниках двадцатых годов, а в последнее время работал преимущественно по древней русской литературе, не оставляя, однако, и тем, связанных с XIX веком (Пушкин, Веневитинов и др.).

Также во время блокады Ленинграда погиб молодой, одаренный литературовед Ц. С. Вольпе, автор ряда интересных работ (о Жуковском, Козлове, Андрее Белом и др.).

Перечисленные имена, разумеется, не исчерпывают собой списка тех наших забытых критиков и литературоведов, чьи труды и сейчас представляют интерес. Список этот может быть значительно расширен. Цель настоящей заметки — привлечь внимание к неутраченным своей ценности работам наших исследователей,

переиздание которых будет содействовать росту нашей научной культуры.

А. НАРКЕВИЧ.

★

КОМУ ЭТО НУЖНО?

Около года назад на станции московского метро «Библиотека им. Ленина» загремели отбойные молотки. Выламывали мраморные плитки — фон для металлических букв надписей, украшающих стены. Мрамор — стекловидный облицовочный материал, недорогой и красивый, широко использовался в архитектуре станций первой очереди метро. Мраморные панели на «Библиотеке им. Ленина» выдержали испытание временем: за двадцать лет их блеск не потускнел, и зеркально-черную поверхность не пересекла ни одна трещина. И вот теперь их уничтожали — с трудом выдирали из стены вместе с кусками окаменевшего цементного раствора, обламывая края окружающей панели облицовки.

Зачем, с какой целью была затеяна эта бессмысленная работа? А очень просто. Кому-то показалось, что скромная мраморная облицовка слишком дешева, недостаточно «шикарна» для столичного метро. То ли дело мрамор!

Улучшилось что-нибудь? Нет. На стенах станции появились прямоугольные заплатки грязно-бурого цвета с не слишком ровными краями, ибо отбитые куски

окружающей облицовки были насхлеп затерты цементом. О вкусах не спорят, но трудно согласиться с тем, что мутный серо-коричневый мрамор лучше зеркально-гладкой черной поверхности мраморита, отражающей движение людей, поездов, блеск станционных ламп.

Затея эта, стоившая немалых денег, не единственная в таком роде. Примерно в то же время, когда происходило «поновление» станции «Библиотека им. Ленина», был переделан вход в другую станцию московского метро — «Кировские ворота». Имел вестибюль станции изящный, но скромный портал из цемента с мраморной крошкой, а теперь у него новый портал — более неуклюжий, но зато из натурального гранита.

Странно, что в то время, как всюду происходит борьба с излишествами в архитектуре, она не коснулась стремления «обогатить», «украсить», заменить дешевый «бедный» материал дорогим «шикарным», стремления, которое стало серьезной угрозой памятникам советской архитектуры и искусства. Угроза исходит от людей, искажающих по своей прихоти ранее созданные произведения советского искусства, а иногда даже уничтожающих их. Так, между прочим, два года назад был уничтожен превосходный барельеф на стене Московского почтамта — самый крупный из сохранившихся памятников «монументальной пропаганды».

Барельеф, являвшийся не только отличным произведением искусства, но и драгоценным свидетельством личного участия Владимира Ильича в становлении советской культуры, был бессмысленно уничтожен.

Советская архитектура, советское искусство имеют свою историю, каждый этап которой ценен для нас и для будущих поколений. И если вкусы того или иного нашего современника расходятся со вкусами, которые отразились в зданиях, построенных 20—30 лет тому назад, — это еще недостаточное основание для того, чтобы простые и скромные (пусть несовершенные) сооружения той эпохи увешивать гипсовой лепниной, обстраивать портиками и увенчивать куполами и шпилями. А именно так, ненужно, расточительно, были «украшены» жилые дома на улице Чкалова и на улице Чаплыгина, и здание института в 1-м Донском проезде, и клуб завода «Серп и молот». Эти и десятки других домов демонстрируют неуважение к прошлому советской архитектуры, и странные вкусы заказчиков переделок, и беспринципность некоторых архитекторов, берущихся за этот бесславный труд.

Мы тщательно охраняем памятники древней культуры. Не пора ли нам поднять голос в защиту памятников советской культуры?

Архитектор
С. ХМЕЛЬНИЦКИЙ



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

КРОВОСМЕШЕНИЕ НА ОЛИМПЕ

На ком был женат председатель сонма богов древней Эллады, владыка Олимпа, громовержец Зевс?

До наших дней греческая мифология и классическая литература давали на этот вопрос совершенно определенный ответ. Супругой Зевса считалась волоокая Гера, соперница лукавой красавицы Афродиты. Между этими двумя богинями царила непрерывная распря. Гера была покровительницей семейного очага, Афродита же «пропагандисткой» свободной любви. Во время Троянской войны распря дошла до апогея, как поведал потомству вдохновенный слепец Гомер.

Но в настоящее время фантастические вымыслы Гомера и других авторитетно опровергнуты Кириллом Андреевым, автором беллетризованной биографии Жюль Верна, вышедшей в издании «Молодая гвардия».

Вот что напечатано в этой книге на странице 98 в главе «Лицом к лицу со свободой», посвященной женитьбе писателя на Онорине Морель:

«Вот фотография Жюль Верна и Онорины Верн после свадьбы. Онорина Анна Эбе кротко опирается на руку мужа. Эбе — французская форма имени Геба: так звали верную супругу Зевса, и оно (?), как нельзя больше,

подходит к этой молодой женщине...»

До сих пор мы предполагали, что Геба была скромной официанткой в закрытом ресторанчике на Олимпе, где подавала богам нектар и амброзию, не претендуя на первое положение.

Кирилл Андреев единым махом развел громовержца с Герой и вывел девушку в царьцы Олимпа, одновременно уличив Зевса в преступном кровосмесительстве, ибо по мифологии Геба была дочерью Зевса и Геры.

Хвала К. Андрееву, а задно редактору книги Н. Филипповой, внесшим полезные коррективы в устарелую мифологию Эллады.

Борис ЛАВРЕНЕВ.

★

НА БУКВУ «Ф»

Что случилось? Стыдно сказать. Что-то на букву «Ф». До буквы «Ф» дошло второе издание Большой Советской Энциклопедии. Появился том «Ужи — фидель». И в томе том статья «Фельетон».

Кто писал ее? Не обозначено. Стыдно сказать.

Что такое фельетон? Что-то на букву «Ф». Что именно? Стыдно сказать.

...Вы не знаете, что такое фельетон? Сейчас узнаете. Фельетон занимает «...промежуточное положение между газетной статьей (передовой, пропагандистской) и произведением художественной литературы (рассказ, новелла, очерк)...»

Попробуйте представить себе нечто среднее между передовой статьей и новеллой. Представили? Ну, как самочувствие?.. Впрочем, здесь, возможно, имеется

в виду «среднее» не в том смысле. В смысле местоположения.

Но что объяснит такое, например, определенное: «Брюшной пресс занимает промежуточное положение между головой и ногами»? Занимает, верно. А на кого он похож? На голову или на ноги?

На что похож фельетон? На статью? Нет. «Ф. отличается от статьи и корреспонденции элементами сатиры и юмора, художественной образностью, легким литературным слогом».

Это весьма печально слышать. Значит, в статье и в корреспонденции неуместна художественная образность. И чтоб никаких элементов юмора. А слог должен быть не литературным, не легким, непременно трудным.

Зачем же так преждевременно обижать все газетные жанры и сразу всех журналистов? А может, не у всех трудный слог и отсутствие элементов юмора?

Далее энциклопедия разъясняет, что Ф. вообще ни на что не похож:

«От художественных произведений Ф. отличается своим заостренным общественно-политическим содержанием (публицистичностью), конкретностью жизненных фактов, лежащих в его основе, злободневностью».

Это уж совсем нескладно получается. Зачем обижать всю нашу художественную литературу? Общественно-политическое содержание, а также злободневность, а также и конкретность достоверных жизненных фактов — все это свойственно, конечно, и очеркам, и многим стихам, и даже иным пьесам и романам.

Публицистичность не лишает произведение художе-

ственных достоинств. Мы убеждены, что она, публицистичность, сама есть одно из важнейших художественных достоинств.

Убеждение это неколебимо. И мы уверены, что работники энциклопедии не будут настаивать на противоположной точке зрения. Они явно случайно употребили некоторые неверные фразы, формулировки, дефиниции.

И потому в заключение мы позволим себе выразиться на букву «Ф». Хотелось напомнить древнее латинское изречение: «Фестина ленте», что в переводе означает: «Торопись медленно».

Торопись медленно—и ни на какую букву ничего худого не случится.

Даже на коварную букву «Ф».

Александр ЛАЦИС.

★

СКОЛЬЗКИЕ МЕСТА

Книги, крепко полюбившиеся в детстве, остаются нашими друзьями на долгие, долгие годы. И когда, повзрослевшие в жизненных испытаниях, мы вновь встречаемся с ними, сохранивими свою юность и свежесть, то чувствуем, что нас вновь охватывают теплые воспоминания о давно прошедших днях.

Но иногда бывает так, что время не шадит и книги. Мы имеем в виду не внешние признаки — пожелтевшие страницы, отставший переплет,—а вещи куда более необычные. Оказывается, помимо воли автора, в них иногда изменяется даже текст. Хорошо знакомый, любимый друг превращается в таинственного незнакомца.

Книга Мери Мейл Додж «Серебряные коньки» заслуженно пользовалась и пользуется любовью молодых читателей. Не случайно она в советское время неоднократно переиздавалась. Велико, однако, было наше удивление, когда мы познакомились с последним ее изданием, выпущенным Ставропольским книжным издательством в 1956 году.

«На каменной полке стояла мебель корабля...» (стр. 152). Немало времени потратили мы, чтобы уяснить себе, каким образом мебель корабля могла разместиться на какой-то каменной полке, загромождая жилище мейнхеера ван-Генда. После тщательных текстологических изысканий нам удалось установить, что фраза эта должна была звучать несколько по-иному: «На каменной полке стояла модель корабля».

Читаем дальше: «Гретель... долго понимала ясную сострадательную улыбку, мелькнувшую на лице Хильды» (стр. 184). Читатель долго не может понять значения этой фразы, пока не догадается, что вместо слова «понимала» следует читать «помнила».

На стр. 227, где дано описание конькобежных состязаний, мы, удивляясь причудливой моде в старой Голландии, узнаем, что среди зрителей были и «старосветские щеголи в треугольниках и бархатных штанах до колен». Не сомневаемся, что столь далеко идущее щегольство, при котором используются даже геометрические фигуры, отвлекло бы внимание зрителей от долгожданных соревнований. Но на головах щеголей красовались всего лишь обычные трусы.

Довелось удивить читателей и тетушке Бринкер Она это проделала на стр. 246. Узнав, что Гретель слишком быстро убежала от госпожи ван-Глек, почтенная тетушка, вместо того чтобы пожуричь дочь, неожиданно заявила: «Она вела себя очень вежливо». В предыдущем издании книги тетушка была более последовательной, сказав, что Гретель «вела себя очень невежливо».

Не будем останавливаться на более мелких ошибках и опечатках, имеющихся в книге.

Ставропольскому издательству не пришлось утруждать себя переводом на русский язык книги «Серебряные коньки». Это было уже сделано не раз, и, естественно, работники издательства использовали готовый перевод, прямо указав, что книга печатается по изданию Детгиза 1941 года. Но и с этой весьма примитивной задачей, сводившейся лишь к технической перепечатке прежнего текста, издательство не справилось: перечисленных ошибок в предыдущем издании нет. Таким образом редактор Л. И. Хохлова и корректор К. К. Журавлева возвели напраслину на Детгиз и на переводчицу книги М. И. Клягину-Кондратьеву.

Очевидно, подражая героям книги М. Додж, красочно бегавшим по льду, работники Ставропольского издательства также показали образцы легкого скольжения... по тексту.

А. И.

★

ВПЕРВЫЕ ЛИ?..

В «Огоньке» № 12 за 1957 год опубликовано несколько эпиграмм Гёте

(«Скоропортящийся товар», «Общество», «Оригиналу», «Вопросы и ответы»), которые переведены Борисом Тимофесвым.

Все названные эпиграммы, как уверяет сноска, «в русском переводе печатаются впервые». Но, увы, это не так. Эпиграмма Гёте «Общество» была переведена на русский еще В. В. Вересаевым, много занимавшимся переводами стихотворений великого немецкого поэта. Перевод был сделан им около сорока лет тому назад и впоследствии опубликован.

Убедиться в этом нетрудно — стоит лишь раскрыть последнюю страницу последнего тома полного собрания сочинений В. В. Вересаева, вышедшего в 1928 году.

Е. САШЕНКОВ.

★

НЕБЫВАЛАЯ ЦАРИЦА

Недавно Московский университет порадовал нас со-

лидной книгой: «Б. И. Спасский. История физики. Часть I. 1956». Книга эта представляет собой большой интерес и для неспециалистов, ибо содержит некоторые факты общей истории, доселе не известные. Так, сообщая биографию Ломоносова, Б. И. Спасский указывает, что молодой русский ученый возвратился в Петербург из-за границы «во время царствования Анны Леопольдовны» (стр. 260). Мы-то до сих пор полагали, что Анна Леопольдовна никогда не была русской царицей, а только «правительницей», регентшей. Царствовал же малолетний Иоанн Антонович, который был свергнут во время дворцового переворота 25 ноября 1741 года.

Но, вероятно, мы так считали, начитавшись Лажечникова и других романистов, весьма не твердых по части истории.

Надо думать, что в Московском университете русскую-то историю знают лучше!

А. М.

ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ

Недавно вышла книга «Рассказ о далеких странах» (Военное издательство Министерства обороны Союза ССР. Редактор Михлин Е. И.). Автор ее — С. Напалков. В книге, между прочим, читаем: «Самое любопытное то, что копты говорят на языке, близком к древнеегипетскому. Это очень помогло ученым расшифровать староегипетскую письменность» (стр. 129).

Это действительно любопытно. Даже можно сказать сенсационно.

До сих пор, правда, ученые считали, что коптский язык уже к XVII веку был мертвым языком и в настоящее время копты, как и все египтяне, говорят на арабском языке.

Но в свете сообщений С. Напалкова эту концепцию придется, пожалуй, пересмотреть. Открытие капитальное!

П. С.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ДЕВЯТЬСОТ ДНЕЙ. Литературно-художественный и документальный сборник. Лениздат. 1957. 596 стр. Цена 18 р. 80 к.

«Ленинград! Ленинград, наисмелый из смелых, величавый, суровый. — кто не знает его!» — стихотворением А. Прокофьева открывается этот сборник, посвященный героической обороне Ленинграда. В него вошли художественные произведения, созданные в годы Великой Отечественной войны ленинградскими писателями — участниками обороны города-героя.

Читатель найдет в книге и некоторые документы, и воспоминания, и отрывки из дневников, и записки военных корреспондентов. Названия разделов книги — «Ленинград принимает бой», «Враг у ворот», «Так жили в те дни...», «Город — фронт», «Блокада прорвана!», «Великая победа под Ленинградом», «Высокая награда» — как бы определяют основные вехи героической ленинградской эпопеи. В книгу включены стихи Н. Тихонова, О. Берггольц, В. Инбер, В. Лифшица, Н. Брауна, И. Авраменко, Вс. Азарова, А. Чивилихина; погибших в боях за Ленинград поэтов А. Лебедева и Г. Суворова.

Есть в сборнике произведения А. Фадеева, Вс. Вишневского, В. Саянова, В. Кетлинской, Б. Галина, М. Дудина, И. Эренбурга и многих других писателей, чьи стихотворения, рассказы, выступления по радио становились действенным оружием борьбы, помогали нашему народу добывать победу.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА. Сборник материалов. Госполитиздат. М. 1957. 312 стр. Цена 5 р. 70 к.

Проблемы международной солидарности рабочего класса, крестьянства, трудовой интеллигенции приобретают в настоящее время особое значение в связи с провокационной деятельностью реакционных кругов буржуазных государств, направленной на ее подрыв.

Выступления В. Пика, П. Тольятти, Э. Ходжа, Я. Кадара, М. Тореза, Т. Живкова, В. Гомулки, А. Новотного, Г. Георгиу-Деж, Л. Лонго, а также некоторые правительственные и партийные документы, включенные в сборник, проникнуты заботой о еще большем сплочении трудящихся всего мира, о всемерном укреплении и раз-

витии пролетарского интернационализма — кровном деле братских коммунистических и рабочих партий.

Л. ДЕЛЮСИН. Великие перемены в китайской деревне. Госполитиздат. М. 1957. 176 стр. Цена 2 р. 15 к.

Пять шестых населения Китая занято в сельском хозяйстве. Неудивительно поэтому, что на протяжении столетий самым жгучим, самым острым вопросом в стране был аграрный вопрос. Миллионы китайских крестьян, лишенные земельных наделов, владели жалким существованием, обогащая своим трудом феодалов-помещиков. Но великий китайский народ, как писал В. И. Ленин, «умеет... не только мечтать о свободе и равенстве, но и бороться с вековыми угнетателями Китая». Победоносный путь к освобождению крестьянские массы прошли под руководством Коммунистической партии Китая.

В книге Л. Делюсина рассказывается о великом переломе в жизни китайского крестьянства. В июне 1950 года был утвержден закон об аграрных преобразованиях, установивший крестьянскую собственность на землю. Свободный труд на своей земле вскоре ознаменовался переходом к коллективным формам хозяйства, высшей из которых являются кооперативы полностью социалистического типа. Автор рассказывает и о трудностях, которые стояли на пути коллективизации сельского хозяйства и были преодолены Коммунистической партией.

ЮРИЙ ГОНЧАРОВ. Повесть о ровеснике. «Молодая гвардия». М. 1957. 184 стр. Цена 4 р. 20 к.

Андрей вытащил из нагрудного кармана книжечку с ленинским профилем на обложке, раскрыл:

«Солодовников Андрей Иванович... Русский. Год рождения 1921. Время вступления в ВЛКСМ — сентябрь 1936 года...»

Летчик-комсомолец Андрей, спустившийся с парашютом с подбитого немцами самолета, очутился во вражьем тылу, в узком коридоре между продвинувшимися вперед клиньями фашистского наступления. Кругом враги. Его могут схватить каждую минуту.

И вот он сидит на краю оврага перед раскрытым комсомольским билетом. Никто не осудит его, если он уничтожит серенькую книжечку: поймут, какие исключитель-

ные обстоятельства заставили его так поступить. Но у него самого навсегда останется воспоминание о позорном отречении, которым он надеялся облегчить свою участь.

И решительным движением он кладет комсомольский билет обратно в карман...

Вы читаете повесть Юрия Гончарова, и перед вами вновь встают героические дела нашей молодежи в первые, самые тяжелые месяцы войны с фашистскими захватчиками.

«Повесть о ровеснике» — это рассказ об одногодках героя повести Андрея, рассказ о юношах, воспитанных на девизе Николая Островского: «Только вперед, только на линию огня, только через трудности к победе, и только к победе — и никуда иначе!»

Н. М. ДОБРОТВОР. Рабочие депутаты в III Государственной думе. Издание Горьковского педагогического института имени М. Горького. 1957. 248 стр.

Книга посвящена малоизученному периоду в истории русского революционного движения. А между тем за время существования III Государственной думы (1907—1912 гг.), по своему составу черносотенно-кадетской, большевики получили ценнейший опыт использования легальных возможностей для разоблачения политики царизма и организации сил революции, для развития и укрепления союза рабочего класса и крестьянства. В монографии Н. Добротвора показана роль рабочих депутатов в III думе, деятельность которых проходила под руководством большевистского Центра.

В современных международных условиях, как правильно замечает автор, история революционной борьбы большевиков на думской арене в годы столыпинской реакции особенно поучительна и полезна.

Б. П. КОЗЬМИН. Русская секция Первого Интернационала. Издательство Академии наук СССР. М. 1957. 411 стр. Цена 14 р. 85 к.

Русская секция Международного товарищества рабочих была создана группой политических эмигрантов в 1870 году в Женеве. Ее создание явилось первой попыткой связать русское революционное движение с рабочим движением на Западе. Авангардом его был Интернационал, руководимый К. Марксом. Книга Б. Козьмина, посвященная Русской секции, — плод большой и серьезной работы. Она дополняет и расширяет наши сведения о Русской секции, деятельность которой до настоящего времени была изучена совершенно недостаточно. Объясняется это отчасти тем, что ни один из ее участников не оставил воспоминаний о своей революционной деятельности.

Первая часть работы Б. Козьмина посвящена роли журнала «Народное дело» до образования Русской секции. Вторая и третья части рассказывают о Русской секции Интернационала и об участии ее членов в западноевропейском рабочем

движении и в Интернационале. Деятельность Русской секции, говорит в заключение своей книги автор, должна рассматриваться как проявление интернациональной революционной солидарности, связывавшей уже тогда трудящихся различных в экономическом, политическом и культурном отношениях стран.

Т. МОТЫЛЕВА. О мировом значении Л. Н. Толстого. «Советский писатель». М. 1957. 727 стр. Цена 15 р. 10 к.

Влияние творчества Л. Н. Толстого поистине распространилось на весь мир. Роль гениального писателя в развитии мировой литературы — тема книги доктора филологических наук Т. Л. Мотылевой. «В эпоху Толстого, — пишет автор, — и в громадной степени именно благодаря ему — русская литература завоевала широкое международное признание и авторитет». В первой части своей книги, озаглавленной «Толстой — новатор мировой литературы», автор дает характеристику творчества Толстого на фоне русской и западноевропейской литературы XIX века. Во второй части — «Толстой и зарубежные писатели» — автор рассматривает предпосылки, характер влияния Толстого на мировую литературу и приводит обширный конкретный материал, связанный с писателями Франции, Англии, США, Германии, Польши, Болгарии, Чехословакии, подтверждающий это влияние.

Книга эта — итог многолетней работы автора над темами, связанными с творчеством Л. Н. Толстого.

БОЛЬШОЙ ПУТЬ. К столетию со дня основания Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина. Лениздат. 1957. 192 стр. Цена 5 р. 5 к.

«...Имя славное носит завод, и оно нам досталось недаром». В этих словах одного из заводских поэтов оражена большая правда: предприятие, истории которого посвящен настоящий сборник, прошло замечательный трудовой и революционный путь. Люди бывшего Семяниковского завода находились в первых рядах пролетарната Петербурга в 1905 году, участвовали во взятии Зимнего дворца, несли охрану штаба революции — Смольного. Семяниковцы первыми организовали у себя рабочее заводоуправление. В книге рассказано и о видной роли завода в развитии отечественной индустрии — кораблестроения и паровозостроения, о различных сложных машинах, создаваемых на заводе в наши дни.

Авторы сборника стремились показать многогранную жизнь большого заводского коллектива, активно участвующего в борьбе за построение коммунистического общества.

А. НАЗАРОВ. Золотые огни. Стихотворения. Таджикгосиздат. Сталинабад. 1957. 78 стр. Цена 2 р. 50 к.

К декаде таджикской литературы и искусства в Москве среди других книг была издана и эта — переводы на русский язык стихотворений Аширмата Назарова.

Большой путь пройден поэтом. Первый сборник его стихов—«Урожай»—вышел более двадцати лет назад, в 1934 году. С тех пор свыше десяти книг получил читатель, в которых автор писал о том, что видел, что чувствовал, что переживал. В Великой Отечественной войне А. Назаров принимал непосредственное участие и немало тем для своих произведений черпал из событий

тех лет. Поэтому большое место в новом сборнике занимает цикл «Тетрадь бойца».

С любовью говорит А. Назаров о своей стороне, о родных местах в цикле «Родной кишлак». В новую книжку входят также циклы стихотворений «Чабан» и «Золотые огни». В книге есть краткая, но содержательная биографическая справка о поэте В. Кириллова.

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

В нынешнем году Ленинград—колыбель Великой Октябрьской революции—будет отмечать не только сорокалетие Советской власти, но и 250-летие своего существования.

Эти две славные годовщины нашли большое отражение в плане выпуска литературы Лениздата.

Несколько книг, уже сданных в производство, подготовлено Институтом истории партии при Ленинградском обкоме КПСС.

«Владимир Ильич Ленин в Петербурге—Петрограде». В этой работе указаны памятные места, связанные с жизнью и революционной деятельностью В. И. Ленина в период 1890—1920 годов.

Краткие сведения о двух с лишним тысячах участников Октябрьской революции в Петрограде составляют содержание книги «Герои Октября».

Душой Октябрьского революционного восстания были коммунисты. Об организаторской и пропагандистской деятельности петроградских большевиков среди широких народных масс повествует книга «Петроградские большевики в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции».

К этой книге примыкает издание «Листовки петроградских большевиков (1917—1920)», где воспроизведен текст более чем трехсот листовок, относящихся к периоду подготовки и проведения Октябрьской революции, а также к периоду гражданской войны и иностранной военной интервенции.

В летопись Октября войдет «Хроника революционных событий в Петрограде в 1917 году», составленная на основе документальных материалов.

Герой очерка Н. Я. Иванова «Великий Октябрь в Петрограде»—партия большевиков, направлявшая народные массы России на свержение власти буржуазии.

Победа Великой Октябрьской революции резко изменила положение женщины, бесправной в условиях царской России. Об участии женщин в октябрьских боях рассказывается в работе Т. Карпенко и Р. Фрадкиной «Петроградские работницы в борьбе за победу Великого Октября и на защите его завоеваний».

Об активной роли, которую сыграли комсомольцы и рабочая молодежь Петро-

града в Октябрьском восстании и в разгроме белогвардейских банд Юденича, читатель узнает из книги К. Лебедева «Петроградский комсомол в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции».

Инженеры В. Герст и Б. Бочин написали книгу «Ленинград—важнейший центр технического прогресса». В годы Советской власти город Ленина стал обширнейшей творческой лабораторией, где создаются и проверяются новейшая техника и передовая технология, перед тем как начать применяться на многих предприятиях страны.

Героическая оборона Ленинграда во время Великой Отечественной войны стала темой ряда литературных произведений.

В своем «Ленинградском дневнике» В. Саянов повествует о мужественных ленинградцах, защищивших родной город от фашистских полчищ.

250-летию Ленинграда и сорокалетию Октября посвящены два литературных сборника—«Ленинградский альманах» №№ 12 и 13.

«Краткий очерк истории Ленинграда» написали В. Мавродин, С. Окунь и А. Предтеченский. Рассказ начинается с основания города. Книга иллюстрирована.

В Ленинграде немало памятных мест, связанных с именами Чернышевского, Беллинского, Добролюбова, Некрасова. О них рассказывает С. Рейсер в книге «Русские революционные демократы в Петербурге».

Ленинград справедливо считается одним из красивейших городов мира. О его великолепных архитектурных ансамблях и отдельных зданиях (интересных не только в архитектурном, но и в историко-революционном, научном и культурном отношении) мы узнаем из книги «Достопримечательности Ленинграда» (авторы Л. Белова, П. Канн).

Наше знакомство с городом расширит издание «Путеводитель по Ленинграду», содержащий 50 листов и снабженный обширным справочным материалом.

Об одной из достопримечательностей Ленинграда, неразрывно связанной с основанием города и с его революционной историей, рассказывает очерк: П. Канн. «Петропавловская крепость (памятник революционной борьбы русского народа)».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Н. С. Хрущев. О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством. Доклад на VII сессии Верховного Совета СССР четвертого созыва 7 мая 1957 г. 64 стр. Цена 75 к.

О Государственном бюджете РСФСР на 1957 год и об исполнении Государственного бюджета РСФСР за 1955 год. Доклад и заключительное слово министра финансов РСФСР депутата И. И. Фадеева на третьей сессии Верховного Совета РСФСР четвертого созыва 12 и 14 марта 1957 года.

Закон о Государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1957 год. 40 стр. Цена 40 к.

Е. А. Фурцева. По ленинскому пути — к победе коммунизма. 32 стр. Цена 30 к.

Д. Т. Шепилов. Творить для блага и счастья народа. 36 стр. Цена 40 к.

М. А. Яснов. О Государственном плане развития народного хозяйства РСФСР на 1957 год. 40 стр. Цена 40 к.

Г. Андреев. Экспорт американского капитала. 452 стр. Цена 8 р.

Б. П. Бещев. Железнодорожный транспорт СССР в шестой пятилетке. 176 стр. Цена 4 р. 70 к.

Л. С. Владимиров. Дипломатия США в период американо-испанской войны. 256 стр. Цена 5 р. 50 к.

Вопросы организационно-хозяйственного укрепления колхозов. 460 стр. Цена 7 р.

Вопросы экономического районирования СССР. Сборник материалов и статей (1917—1929) под общей редакцией академика Г. М. Кржижановского. 344 стр. Цена 6 р. 50 к.

Записная книжка партийного активиста. 1957. 288 стр. Цена 3 р.

Категории материалистической диалектики. 392 стр. Цена 6 р. 25 к.

В. Костеников. Об экономическом районировании СССР. 64 стр. Цена 75 к.

Г. М. Кржижановский. Избранное. 568 стр. Цена 10 р. 40 к.

Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. 439 стр. Цена 7 р. 50 к.

М. И. Лебедев. Воспоминания о ленинских событиях 1912 г. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

П. Г. Москатов. По пути технического прогресса. 244 стр. Цена 6 р.

Общегосударственная конференция Коммунистической партии Чехословакии. 304 стр. Цена 6 р.

К. Остроухова. Шестая (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

Роль народных масс и личности в истории. 376 стр. Цена 6 р. 60 к.

Советы народного хозяйства и плановые органы в центре и на местах (1917—1932). Сборник документов. 232 стр. Цена 3 р.

Б. Спиноза. Избранные произведения в двух томах. Том 1. 632 стр. Цена 9 р. 60 к.

Ю. Смирнов, В. Софинский. СЕАТО — агрессивный блок колониальных держав. 144 стр. Цена 1 р. 70 к.

П. К. Фигурнов. Мировая система социализма. 88 стр. Цена 1 р.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заседания Верховного Совета СССР четвертого созыва, 7-я сессия (7—10 мая 1957 года). Стенографический отчет. 314 стр. Цена 7 р.

Стенографический отчет издается на языках: русском, украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском и эстонском.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

К. Алтайский. После грозы. Стихи. 132 стр. Цена 2 р. 45 к.

И. Альтман. Избранные статьи. 456 стр. Цена 10 р.

С. Антонов. Дело было в Пенькове. Повесть. 172 стр. Цена 3 р. 50 к.

Т. Арслан. Стихи. Перевод с башкирского. 83 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Берестов. Отплытие. Стихи. 72 стр. Цена 1 р. 20 к.

О. Волков. «Последний мелкоотравчатый» и другие. Записи старого охотника. 192 стр. Цена 3 р. 75 к.

С. Гехт. Будка Соловья. Повесть. 240 стр. Цена 4 р. 50 к.

В. Дудинцев. Не хлебом единым. Роман. 356 стр. Цена 7 р. 50 к.

Б. Егоров, Я. Полищук, Б. Привалов. Пыль столбом. Юмористические рассказы. 200 стр. Цена 3 р. 55 к.

Р. Кармен. Свет в джунглях. Очерки. 328 стр. Цена 7 р. 50 к.

В. Конецкий. Сквозняк. Рассказы. 172 стр. Цена 2 р. 25 к.

Л. Лиходеев. Открытое окно. Стихи 92 стр. Цена 2 р.

А. Минчковский. Шестой вагон. Рассказы. 212 стр. Цена 4 р. 5 к.

М. Миршакар. Памирские поэмы. Перевод с таджикского. 115 стр. Цена 2 р. 50 к.

С. Муканов. Школа жизни. Повесть о детстве. Перевод с казахского. Книга 1. 382 стр. Цена 7 р.

А. Новиков. О душах живых и мертвых. Роман. 501 стр. Цена 8 р. 65 к.

В. Норенц. Стихотворения. Перевод с армянского. 120 стр. Цена 2 р.

Очерки колхозной деревни. Сборник. 516 стр. Цена 9 р. 20 к.

К. Портнов. Возрождение. Роман. 472 стр. Цена 8 р. 35 к.

Т. Сидельникова. В. Катаев. 248 стр. Цена 6 р. 10 к.

М. Турсун-заде. Хасан-арбакеш. Поэма. Перевод с таджикского. 76 стр. Цена 1 р. 25 к.

П. Шебунин. Простые дела. Рассказы. 280 стр. Цена 4 р. 90 к.

В. Шкловский. За и против. 260 стр. Цена 6 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

А. Антоновская. Великий Моурави. Часть 8 586 стр. Цена 10 р. 25 к.

Аристотель об искусстве поэзии. Перевод с древнегреческого. 183 стр. Цена 3 р.

И. Басс. Иван Франко. Биография. 351 стр. Цена 10 р.

Валентин Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого. 535 стр. Цена 12 р. 65 к.

Дружба. Статьи, очерки, исследования, воспоминания, письма об армяно-русских культурных связях. 718 стр. Цена 16 р.

Михаил Исаковский. Стихи и песни. 383 стр. Цена 5 р. 75 к.

Лео Книачели. Избранное. Перевод с грузинского 560 стр. Цена 10 р. 35 к.

М. В. Ломоносов. Сочинения: 576 стр. Цена 11 р. 80 к.

Оскар Лутс. Весна. Картинки из школьной жизни. Перевод с эстонского. 327 стр. Цена 6 р. 70 к.

С. Михалков. Басни. 106 стр. Цена 10 р.

Абульхасан Рудаки. Избранное. Перевод с таджикского-фарси. 151 стр. Цена 3 р.

Мушрифаддин Саади. Гулистан. Розовый сад. Перевод с персидского. 323 стр. Цена 4 р. 50 к.

Статьи о Горьком. Сборник. 421 стр. Цена 11 р.

Рабиндранат Тагор. Пьесы. Перевод с бенгальского 271 стр. Цена 5 р. 60 к.

Иштван Тёмёркени. Новеллы. Перевод с венгерского. 248 стр. Цена 5 р. 15 к.

Мирзо Турсун-заде. Избранное. Стихи и поэмы. Перевод с таджикского. 247 стр. Цена 5 р. 80 к.

Шелли. Лирика. Перевод с английского. 136 стр. Цена 2 р. 40 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Георгий Айдинов. Как юности положено. Очерки. 152 стр. Цена 2 р. 10 к.

Р. Бархударян. Мухтар из Карадаша. Повесть. 216 стр. Цена 4 р. 70 к.

Александр Беляев. Избранные научно-фантастические произведения в трех томах. Том 1. 568 стр. Цена 10 р. 10 к.

Лев Гумилевский. Тепловозы. 80 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Дрозденко. Молодые строители коммунизма. 119 стр. Цена 2 р. 15 к.

В. Куйбышев. Эпизоды из моей жизни. 80 стр. Цена 1 р. 25 к.

Станислав Лем. Астронавты. Научно-фантастический роман. Перевод с польского. 344 стр. Цена 6 р. 70 к.

Павел Нилин. Жестокость. Испытательный срок. Повести. 392 стр. Цена 7 р. 35 к.

И. Осипов. Из путевого блокнота туриста. 87 стр. Цена 1 р. 20 к.

Б. Рябинин. Рассказы о верном друге. 272 стр. Цена 6 р. 50 к.

К. Свердлова. Яков Михайлович Свердлов. 560 стр. Цена 10 р. 40 к.

П. Толис. Первое испытание. Рассказы. 103 стр. Цена 2 р. 40 к.

Мирзо Турсун-заде. Голос Азии. Стихи и поэмы. 56 стр. Цена 2 р. 30 к.

Аминджон Шукухи. Лирика. 40 стр. Цена 2 р. 10 к.

Марианна Фофанова. В добрый путь. Стихи. 136 стр. Цена 3 р. 85 к.

Г. Фиш. Клятва. Повести и рассказы. 392 стр. Цена 8 р. 55 к.

Вера Щербакова. Девушки. Повесть. 272 стр. Цена 5 р. 75 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию с 1825 по 1880 г. 680 стр. Цена 18 р.

История философии. Том 1. 718 стр. Цена 29 р. 10 к.

С. А. Мхитарян. Борьба вьетнамского народа за национальную независимость, демократию и мир (1945—1955 гг.). 198 стр. Цена 6 р.

Некоторые вопросы китайской грамматики. 128 стр. Цена 7 р. 90 к.

Основные проблемы автоматического регулирования и управления. 336 стр. Цена 15 р.

Г. В. Плеханов. О религии и церкви. Избранные произведения. 607 стр. Цена 20 р.

В. В. Постников. США и дауэсизация Германии. 1924—1929 гг. 286 стр. Цена 9 р. 5 к.

Суэцкий вопрос и империалистическая агрессия против Египта. 143 стр. Цена 4 р. 30 к.

М. А. Цветков. Изменение лесистости европейской России с конца XVII столетия по 1914 год. 214 стр. Цена 14 р. 60 к.

З. К. Эггерт. Борьба классов и партий в Германии в годы мировой войны. 734 стр. Цена 29 р. 85 к.

Электроснабжение сельского хозяйства от районных энергетических систем. 102 стр. Цена 5 р. 70 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Т. Е. Конникова. Организация коллектива учащихся в школе. 400 стр. Цена 10 р. 20 к.

Русская советская литература в X классе. Сборник. 200 стр. Цена 5 р. 55 к.

Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Сборник. 128 стр. Цена 1 р. 75 к.

ГЕОГРАФИЗ

В. К. Арсеньев. Жизнь и приключения в тайге. 288 стр. Цена 7 р. 45 к.

Д. М. Затуловский. Среди снегов и скал. 558 стр. Цена 10 р. 80 к.

А. Конан-Дойл. Маракотова бездна. 88 стр. Цена 1 р. 35 к.

И. И. Пузанов. В Швейцарских Альпах. Между Нилом и Красным морем. 280 стр. Цена 4 р. 45 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Народное хозяйство РСФСР. Статистический сборник. 370 стр. Цена 14 р. 50 к.

Промышленность СССР. Статистический сборник. 448 стр. Цена 16 р. 25 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

П. А. Вадиа и К. Т. Мёрчент. Экономические проблемы Индии. Перевод с английского. 658 стр. Цена 35 р. 70 к.

У. Гейленсон. Производительность труда в промышленности СССР и США. Перевод с английского. 284 стр. Цена 14 р. 35 к.

Суад Дервиш. Фосфорическая Джервие. Роман. Перевод с турецкого. 198 стр. Цена 5 р. 15 к.

П. Жуа. Тресты в Бельгии. Перевод с французского. 193 стр. Цена 8 р. 10 к.

Итоги второй мировой войны. Сборник статей. Перевод с немецкого. 640 стр. Цена 21 р. 75 к.

Р. Каранджия. СЕАТО. Безопасность или угроза? Перевод с английского. 129 стр. Цена 2 р. 35 к.

Ю. Кучинский. Положение рабочего класса в Западной Германии (1945—1956 гг.). Перевод с немецкого. 406 стр. Цена 14 р. 70 к.

Дорис Лессинг. Марта Квест. Роман. Перевод с английского. 340 стр. Цена 10 р. 60 к.

Эйнар Ольгейрссон. Из прошлого исландского народа. Перевод с исландского. 331 стр. Цена 12 р. 40 к.

Хедвиг Паулине (Хенри Петер Маттис). Женщины находят путь. Роман. Перевод с шведского. 297 стр. Цена 9 р. 55 к.

Ева Пристер. Венгерский репортаж. Перевод с немецкого. 107 стр. Цена 2 р. Экономическая география Китая. Перевод с китайского. 262 стр. Цена 20 р. 35 к.

«ИСКУССТВО»

Н. Горчаков. Режиссерские уроки Вахтангова. 190 стр. Цена 14 р. 60 к.

Современные корейские пьесы. 438 стр. Цена 13 р. 90 к.

Эстрада. Сборник. 152 стр. Цена 3 р. 40 к.

МЕДГИЗ

В. Н. Архангельский. Глазные болезни. (Пособие для участкового врача). 124 стр. Цена 3 р. 60 к.

Е. Б. Рабкин. Атлас цветов. 56 стр. Цена 9 р. 80 к.

Г. Ф. Ланг. Болезни системы кровообращения. 484 стр. Цена 23 р. 70 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Ю. Арбат. Фарфоровый городок. 244 стр. Цена 5 р. 50 к.

А. Логинов. Наш Кремль. 326 стр. Цена 8 р. 30 к.

В. Напастников. Центральный стадион имени В. И. Ленина. 93 стр. Цена 1 р. 30 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренев**,
М. К. Луконин, **А. М. Марьямов**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 19/IV-57 г.

А 04150. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л. — 24 66 печ. л. Тираж 140 000. Зак. № 1048.

Подписано к печати 4/VI-57 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.